СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Поэзия. Судьба. Россия

Книга 1

Русский человек

"НАШ СОВРЕМЕННИК"
Москва
2001

ББК 63.3(2)—3(2Рос—Рус)
К91

Куняев С.Ю.

К91 **Поэзия. Судьба. Россия**: Кн. 1. Русский человек.— М.: Наш современник, 2001.— 456 с., ил.

ISBN 5-901483-02-2 (т.1.) **ББК 63.3(2)—3(2Рос—Рус)**
ISBN 5-901483-04-9

Двухтомник русского поэта Станислава Куняева объемлет более шестидесяти лет сегодняшней истории России.

На его страницах читатели встретятся со многими знаменитыми людьми эпохи, вместе с которыми прожил свою жизнь автор «Воспоминаний и размышлений». Среди них поэты — Николай Рубцов, Борис Слуцкий, Анатолий Передреев, Евгений Евтушенко, Александр Межиров, композитор Георгий Свиридов, историк и критик Вадим Кожинов, прозаики Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов и другие...

Но «Поэзия. Судьба. Россия» — книга не только и не столько об «элите», сколько о тайнах русской судьбы с ее героическими взлетами и трагическими падениями.

Книга обильно насыщена письмами, дневниками, фотографиями, впервые публикуемыми из личного архива автора.

ISBN 5-901483-02-2 (т. 1.)
ISBN 5-901483-04-9

Чему, чему свидетели мы были!

А. Пушкин

На берегах Оки и Волги

Пишите воспоминания! Детство. Родословная. Семья. Деревня Лихуны и Карамзинская больница. Довоенное время. Жизнь в эвакуации. Пыщугская библиотека и Георгиевская церковь. Детские страсти. Записки советского врача

Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: "И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способы оболгать и объявить отбросами общества". И комплимент и приговор одновременно...

Да, многое нынче у нас на родине вершится согласно этому плану. Но я все-таки не верю, что адский замысел — "грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа" — успешно осуществится, к радости мировой элиты. Во-первых, потому, что людей, понимающих, "что происходит" на самом деле, у нас немало. Иные из них, с которыми я прожил бок о бок чуть ли не полжизни — Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Георгий Свиридов, Юрий

Селезнев, — уже совершили все, что должно было им совершить. С другими — Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожиновым, Юрием Кузнецовым — я встречаюсь и по сей день и вижу в их глазах столь понятные мне и боль, и раздумье, и свет надежды. Не может быть того, что предсказал Даллес. Не только потому, что нас много, а еще и потому, что "все позволено", как говорил Достоевский, лишь при одном условии: "если Бога нет"...

В сущности книгу этих воспоминаний и размышлений можно было назвать обычно и просто: "Русский человек", если бы я писал только о них. Ведь для чего-то, подчиняясь какому-то неясному для самого себя инстинкту, я сохранял их письма ко мне, делал какие-то записи в дневниках и блокнотах, не утрачивал и не терял фотографии, книги с дарственными надписями... Может быть, судьба выбрала меня для осмысления дела, которое мы начинали в далекие времена. Книги воспоминаний всегда подводят итог эпохам. Как бы велика и гениальна ни была проза и поэзия XIX века — его полноту невозможно понять без герценовской эпопеи "Былое и думы". Книга Ильи Эренбурга "Люди. Годы. Жизнь" определила в 60—70-е годы читательское понимание 20—30-х годов. И мне бесконечно жаль, что мы понимали эту эпоху "по Эренбургу", поскольку ни Михаил Шолохов, ни Леонид Леонов, ни Алексей Толстой, ни Лев Гумилев не оставили после себя своих мемуаров!

Наши оппоненты знают силу и влияние мемуарной литературы и не жалеют времени и усилий на создание подобных книг. Как по своеобразному социальному заказу, написаны книги воспоминаний В. Шкловского и В. Катаева, А. Борщаговского и К. Симонова, Л. Разгона и А. Рыбакова. И так может случиться, что о нашем времени будущий читатель станет судить по ним, потому что у нас нет воспоминаний об эпохе ни А. Твардовского, ни Я. Смелякова, ни Ф. Абрамова. Мемуары Ваншенкина и Бакланова лежат на прилавках, а где Юрий Бондарев? Михаил Алексеев? Уже изданы мемуарные книги Е. Евтушенко и А. Вознесенского, но как не хватает нам книг того же жанра, созданных Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожиновым, Михаилом Лобановым.

* * *

Составляя в последние годы книгу своих избранных стихотворений, раздумывая над каждой главой своих

воспоминаний и размышлений, я часто в сомненьях отодвигал бумаги и откладывал ручку. Оставлять то или иное стихотворенье? Упоминать тот или иной факт? Публиковать ли какое-то личное письмо — свое или ко мне? Нет, не потому, что мне стыдно за какие-то стихи или письма. К власти я за все сорок лет своей, как говорят, творческой жизни не подлаживался, идеологию не обслуживал, никаких масок на лицо не напяливал. Был верен завету, который сформулировал для себя еще в 1963 году:

Пишу не чью-нибудь судьбу,
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.
....
А все же кто-нибудь поймет,
где грохот времени, где проза,
где боль, где страсть, где просто поза,
а где — свобода и полет!

Перечитываю стихи, письма, дневники и начинаю подозревать, что я счастливый человек, потому что всегда был свободен и независим как поэт. Потому что свободу я понимал не как политическое разгильдяйство и не как кухонный набор прав человека, а как меру полноты бытия, полноты ответственности, в коих я сам жил и понимал свое время.

Многие люди, с которыми я пребывал бок о бок в своей эпохе, так называемые шестидесятники, всю жизнь положившие на борьбу с идеологией и государством, никогда не были внутренне близки мне. Я всегда сторонился их, как вечно несовершеннолетних женихов революции — Пенелопы.

Кто там шумит: гражданские права!
Кто ратует за всякие "свободы"?
Ведь сказано "слова, слова, слова..."
Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Это стихи 1975 года, когда в моей душе окончательно сложилось неприятие "мировой демократии". Но я инстинктивно не принимал ее и раньше. Стихия жизни для меня была глубже, бесконечнее, прельстительней любого самоутверждения, любой идеологии, любой политики. Те, кто был не в силах объять или хотя бы полюбить стихию жизни, на моих глазах неизбежно становились борцами, протестантами, диссидентами. Они лишь на время могли притвориться гонимыми творцами.

Я мог понять и оправдать эмиграцию Бунина, спасавшего

от великой революции великий мир своих чувств, своего таланта и своей души. Вот он идет по осенней аллее провинциального французского городка:

Ветер в полыни шуршит,
воет в пустынной аллее:
"Тяжко без Родины жить,
а без души — тяжелее!"

(1975)

Остаться на родине или спасать душу. Выбор нелегкий, но я с Буниным.

Однако, когда началась третья эмиграция, я, повинуясь не менее искреннему чувству, обязан был написать:

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, память отринуть
и любовь позабыть и войну.

(1968)

Помню, как в один из послевоенных дней, когда мне исполнилось уже лет четырнадцать-пятнадцать, я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы"... Она поразила меня, я запомнил ее сразу, уходя в школу — а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу, пел ее про себя, повторял, бормотал. Отчетливо помню, как в один из осенних вечеров, глядя в холодное небо над Окой, в котором кружились перед отлетом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в осеннее пространство: "Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой". Да с таким чувством выдохнул, что горло перехватило и слезы на глаза навернулись.

Наверное, мое неприятие "ихней" эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни "Темных аллей", ни "Деревни", ни "Жизни Арсеньева", а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходившие из-под перьев гладилиных, аксеновых, синявских. И все-таки я старался понять этих людей тоже:

И вас без нас и нас без вас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет.
Вам есть где жить, а нам — где умирать.

(1974)

Стихотворение, видимо, навеянное пушкинскими строками об "отеческих гробах". Помню, я послал его в один из ленинградских журналов, там произошел в это время какой-то скандал. Секретарь обкома, член Политбюро Романов затребовал верстку очередного номера, наткнулся на мое стихотворение и возмутился: "Как! Этим эмигрантам с израильской визой "есть где жить", а нам, кто никуда не уезжает, только умирать остается?"

Сознавая неполноценность людей, бросающих родину в новую эпоху, я тем не менее не мог избавиться от предчувствия трагедии, которое, начиная с середины шестидесятых годов, все неизбежней нарастало в душе. Как бы я ни отмахивался от этого предчувствия, как бы ни гнал его из ума и сердца, оно возвращалось и воплощалось в какие-то строки. Это было предчувствием трагедии не только личной, но и нашей общей, народной, национальной, мировой. Скорее всего, оно диктовалось не какими-то событиями и катаклизмами, а странным напряжением, жившим в народе и в каждом из нас.

Иногда эта трагедия давала о себе знать, как мысль о незаконченности русской истории, о незавершенных, неразвязанных ее узелках, источающих свои разрушительные напряжения в жизнь. И тогда наша вечная российская неуспокоенность, наша охота к перемене мест начинала казаться мне болезненной судорогой:

Не хватает нам постоянства,
потому что версты летят,
непрожеванные пространства,
самоедство и святотатство
у России в горле сидят.

(1963)

Иногда эта трагедия вдруг, как призрак, возникала в суздальском пейзаже, где в алый морозный закат свою краску вплетал язык пламени от коровы, облитой бензином и подожженной во время съемок фильма Тарковского "Андрей Рублев".

Слишком много в России чудес:
иней на куполах золоченых,
почерневший от времени лес,
воплощенье идей отвлеченных...
....
И в полнеба кровавый закат,
и снега, как при жизни Рублева.

(1965)

Тогдашняя критика оскорбилась за Тарковского, не понимая того, что "воплощенье идей отвлеченных" — в качестве последней жертвы — потребовало еще и жизнь несчастной буренки, что Тарковский в этой эпохальной драме был всего лишь навсего одним из ее актеров и жрецов.

Часто русская неизжитая трагедия представала предо мной в виде обычного безымянного, живущего рядом человека.

Как много печального люда
в суровой отчизне моей!
Откуда он взялся, откуда,
с каких деревень и полей?

Вглядишься в усталые лица,
в одно и другое лицо.
И вспомнишь — войны колесница!
И ахнешь — времен колесо!

(1972)

Многие поэты, жившие рядом со мной, всю жизнь жаловались на цензуру, на то, что "притесняют", "не пущают", не дают сказать правду. Мне цензура и редакторы, за исключением двух-трех случаев, почти не мешали, потому что, когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для идеологии и цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира. (Цензоры и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали как шило в мешке.) Потому-то в те времена читатель мог прочитать в моих стихах многое, что, будучи вырванным из контекста, казалось крамольным и недопустимым.

Мчатся кони НКВД...

(1964)

Я один, как призрак коммунизма,
по пустынной площади брожу.

(1966)

Церковь около обкома
приютилась незаконно..

(1964)

В 1973 году, побывав в Карабахе, я понял, что там будет война. Ко мне, жившему в палатке возле озера Карагель, приходили то азербайджанские, то армянские вооруженные

пастухи и конокрады и просили одного, чтобы в следующий раз я привез им патроны. Я впервые увидел тогда раздираемый противоречиями мир, готовящийся к войне мир,

где луч полуночной звезды
сверлит пустынные просторы,
а отзвук племенной вражды
еще волнует нарсуды
и проникает в приговоры...

Предчувствие близкой трагедии все росло и росло, заполняя мою душу, чтобы наконец выразиться в строчках из моей любимой “Калужской хроники”. Однажды, гуляя в городском парке, я в который раз поглядел на гипсовую полуразрушенную скульптуру и вздрогнул: это нелепое сочетание слабого материала гипса и могучей, но ржавой арматуры как бы явило передо мной всю внутреннюю сущность нашего, готовящегося к катастрофе времени:

Взирая из калужской мглы
на вехи мировой культуры,
я вам скажу, что мне милы
шедевры гипсовой скульптуры.
Я вам напомню — два вождя
сидят в провинциальном парке.
И лебедь, темный от дождя,
плывет, уплыл, уже на свалке.
Я вам напомню: тяжкий бюст
дважды героя из Калуги...
И столько возникает чувств
под ропот среднерусской вьюги.
А пионер, трубящий в горн,
вновь побеленный к Первомаю?!
Гляжу на них и всем нутром
свою эпоху понимаю.
Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура...
Вот дискобол — плечо и диск,
а между ними арматура...

(1968)

Помню, как я обрадовался этому точному образу и как ужаснулся своей роковой находке! На фоне этих трагических открытий мои личные трагедии, выраженные в стихах, отзвуки которых читатель найдет в книге, могут показаться прикладными, дополнительными, незначительными по сравнению с великой катастрофой, которую я предчувствовал и которая произошла.

1 Зак. 425

Но видит Бог, я боролся с ее приближением всеми силами души! Я видел еще кровоточащий, где-то заживший, а где-то еще гноившийся зазор между прошлой русской историей и советской эпохой. Я понимал, что полноценного национального будущего у нас без возвращения всего вечно живого, что было создано до революции, быть не может. Но как начать это возвращение, чтобы оно не разрушило реальную историческую жизнь последнего семидесятилетия?! Как примирить красных с белыми? Бунина с Есениным? Шолохова с Солженицыным? Русское с советским? При первом удобном случае, при любом "дуновении вдохновения" я пытался остановить эту еще сочившуюся кровь, вытереть гной, продезинфицировать рану...

Помню послевоенные церкви. Пустые, угрюмые, таинственные, величественные в своем поругании. Бог поруган не бывает... Мы с моим другом Аликом Мончинским любили лазить по их полуразрушенным сводам, разглядывать росписи на куполах, озирать городские зеленые кварталы с высоты обесчещенных колоколен. Но, право, в калужских церквах, униженных, заросших травами и кустарниками, была своеобразная страдальческая святость, которой мне не хватает в нынешних благополучных приходах с батюшками, строящими для себя особняки, с "новыми русскими", которые, переправив очередную порцию валюты за рубеж или оплатив заказное убийство, со скорбными, гладко выбритыми лицами, благоухая одеколоном, склоняют коротко стриженные затылки перед ликом Николая Угодника... Глядя на разрушенные интернационалистами первого призыва церкви родного города, я шептал, не желая быть участником приближающегося реванша:

Реставрировать церкви не надо:
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада,
в наготе и в разрухе своей.

Я страстно жаждал верить, что время почти засыпало эту трещину, что трава забвенья поросла на могилах уничтожавших когда-то друг друга русских людей, что не хватит жизненных сил у семян возмездия выбросить свежие ростки и пробиться сквозь почву, утоптанную после кровопролития уже двумя поколениями.

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет...

(1975)

Пусть лучше все забудут и ничего не понимают!

То, что цензура легко пропускала эти стихи, успокаивало меня: вот и у них там тоже трава забвенья шумит, мягкость нравов, никакого кровожадного тоталитаризма... Все нормально, все обойдется... Так хотелось думать. Но то, что в последнюю строку залетело пассионарное слово “угрюмо” — не давало мне покоя. Хотел было как-то заменить его — не получилось, стих сопротивлялся, жил собственной жизнью, а слово это как бы призывало к действию, а действие это неизбежно должно было стать возмездием. Но я не сдавался без боя своим собственным предчувствиям и в других стихах настойчиво искал пути мирного исхода исторической драмы.

“Здравствуй, русско-советский пейзаж!” — восклицал я с надеждой:

здравствуй, родина, многая лета!
В годы мира и в годы войны
ты всегда остаешься собою,
и, как дети, надеемся мы,
что играем твоею судьбою...

Как дети — и русские и советские, “играющие” в войну и ранящие тело матери-родины. Я понимал, что другого выхода нет, кроме как:

Чтоб в зоне вечной мерзлоты,
выдерживая перегрузки,
жить по-советски и по-русски
и пить и петь до хрипоты.

Всю жизнь я старался быть посредником, послом, глашатаем этого примирения во имя торжества великой общерусской идеи. Иногда мне казалось, что оно произошло, и тогда я с облегчением писал:

А недруги, что отворяли жилы
для этой крови?
Но река времен
все унесла. Мы выжили. Мы живы.
И вспоминать не будем их имен.

А наша кровь густая, молодая
свернулась, извернулась, запеклась,
и, раны полусмертные латая,
мы поняли, что нагулялись всласть.

Что надо вспомнить о родимом доме,
что серый пепел мировых костров
ушел на дно, растаял в Тихом Доне...

Я как бы хотел сказать: будем помнить все, но уже исторической памятью, а не той, что призывает к реваншу, разрушению и возмездию.

Однако время показало, что я преувеличивал созидательные силы и своего народа, и свои собственные. Из тлеющих угольков провокаторский ветер нового мирового порядка и перестройки снова раздул “пламя мирового костра”. Первый акт трагедии завершился. И доживать нам придется в ней.

Хотелось бы надеяться, что мой опыт, выраженный в книге воспоминаний и размышлений, будет востребован новым временем. Если такое случится, моя душа обретет хотя бы относительный покой от сознания исполненного перед Россией долга.

* * *

Я родился в Калуге, где прожил до двадцати лет, куда часто приезжаю и по сию пору. По материнской линии моя родня происходит из калужских деревень Лихуны и Железняки. Дед был сапожником, а бабка — крестьянкой. Она и растила меня до войны (покамест мать с отцом учились и работали в разных концах нашей земли) то в деревенской избе на высоком зеленом берегу Лихунки, то в калужской квартире — в тихом, заросшем липами уголке старого города недалеко от Загородного Сада, где жил когда-то у губернаторши Смирновой-Россет Николай Гоголь, недалеко от скромного домика, замыкавшего возле Оки мощенную булыжником Коровинскую улицу... Домика, ныне знаменитого тем, что в нем жил и работал Циолковский.

Я помню, кажется, первую годовщину со дня его смерти. Калужане толпами шли на Загородный Сад к могиле ученого. В осеннем ясном небе над крутым откосом, сбегавшим к черному бору, кружил тупоносый дирижабль, из которого, как разноцветные куклы, высыпались парашютисты...

По вечерам моя неграмотная бабка рассказывала мне сказки, а иногда и запевала песни, которые, видно, знала со времен молодости.

Выгоняйте-ка скотину
На широкую долину,
На попову луговину...
Гонют девки, гонют бабы,
Гонют малые ребята...
Гонют стары старички,
Мироеды-мужички.

Не знаю, как нынешние старухи — рассказывают они своим внукам сказки или нет, а от своей Дарьи Захарьевны несколько сказок и песен я успел услышать...

Когда были живы бабушка, матушка и тетя Дуся, я часто приезжал в Калугу, и долгими зимними вечерами мы сидели на кухне, гоняли чаи и толковали о житье-бытье, о минувших временах, о деревенской жизни, о войне, а чаще всего о судьбе их старшей сестры тети Поли, семнадцать лет прожившей на Колыме.

— Иду ночью с дежурства, — рассказывает тетя Дуся, — луна светит. Тепло. Июнь. Смотрю, на каменном мосту навстречу Полька в темной юбке и в белой шелковой блузке. Я ей: “Поль, ты куда?” А она мне: “Молчи!” — и тут же вижу: за ней двое в штатском.

Утром прихожу на работу, а мне говорят: “Ты уже уволена”. На другой день муж Поли, выдвиженец, неграмотный, ничего не умеющий, но партийный, выступил по радио с отречением от жены, бывшего директора фабрики, врага народа. Я Юрку сразу к себе и взяла — отчим его выгнал. Он приходит в школу, ему сообщают: “Ты исключен из комсомола. Откажись от матери”. Он возвращается и рассказывает мне обо всем. Я говорю, — Юра, от матери отказываться нельзя. На том и порешили.

Ходила я к Поле в тюрьму. Выходила в три-четыре часа ночи, чтобы очередь занять для передачи — узелок с едой, записка в узелке, на узелке бирка — фамилия, номер камеры... Их столько забрали, что кормить нечем было, потому и передачи разрешили... Идешь ночью, луна светит. Тишина. Только такие же, как ты, с узелками. Молча все идут. Возле тюрьмы рассвет встретишь и стоишь в очереди до двенадцати часов, пока пройдешь. Народу! Давка. Плач. Никто ничего не знает. (Я смутно вспоминаю, как тетя Дуся однажды взяла меня с собой — помню какую-то белую стену, ворота, народ и зеленую лужайку, на которой я сидел, пока тетя Дуся стояла в очереди.) А на работу придешь — смотришь — нет того, нет этого. За год четыре начальника дороги сменились.

— А вернулся кто-нибудь из арестованных?

— В тридцать восьмом году один вернулся. Сидели они в подвалах под управлением железной дороги. Однажды мы с Клавкой стоим возле управления, вдруг ворота открываются и выводят их — смотрю, все наши. Мы так и обалдели, пока они мимо шли. Охранники подходят к нам: “Что смотрите? Какие знаки делаете?” Мы говорим: “Ничего!” — “Как ничего?” Забрали, увели к себе и восемь часов держали.

В разговор вступает матушка.

— В сороковом году я уже после финской приехала в Москву хлопотать за Полю. Пришла во двор, вроде бы где нынешний Моссовет, дождалась очереди, вошла. Сидит следователь. Я говорю так и так, Полина Железнякова за что сидит, какова ее судьба? Он порылся в папках и говорит: "Нечего приезжать было. Сестра враг народа. Она затоваривала фабрику продукцией".

— А чем там затоваривать? — сказала я. — Шьют они ватники да стеганые брюки! Подумаешь, продукция! — Как он вскочил, как хлопнул по столу: "Не разговаривать!". Входит солдат. "Заберите!" Ведут в какую-то комнату и закрывают. Ну, думаю, все... Хорошо, с собою пачка папирос была. Вечером слышу — отпирают. Входит солдат, выводит меня по коридору во двор и говорит: "Идите и больше никогда здесь не появляйтесь..."

Мать замолкает, а Дуся копается в памяти и вытаскивает из нее всяческие большие и малые подробности.

— Увезли Полю зимой. Я успела ей теплых вещей передать. Платок. Пальто. Кофту. Ночью погрузили в вагоны — вагон по ветке прямо к тюрьме подавали. Три дня на Фаянсовой вагон стоял — ждали другой из Киева, в котором везли жен Постышева, Косиора и всякого украинского начальства... Те были одеты по-летнему, Поля в дороге с ними делилась теплыми вещами — я много ей передала, знала, что собрать, другие бабы как курицы растерялись: что передавать? когда увезут? — а я знала, что надо...

Матушка машет рукой:

— А как в Лихуне раскулачивали Барановых да Сидоровых — какие они кулаки? Работали всей семьей от мала до велика с утра до вечера... Дом, говорят, у них был кирпичный... Так я сама помню, как Танька, бывало, глину для кирпичей месит — ноги все аж до крови растрескиваются.

Моя бабка глуховата, в 1918 году переболела тифом, но время от времени порой не к месту, но вступает в разговор:

— Ты, Шурка, советскую власть не ругай, ты при ей два института кончила!

Мать действительно после рабфака кончила сначала Московский институт физкультуры (была какой-то чемпионкой по прыжкам в высоту с места!), а потом медицинский институт, чем неграмотная бабка очень гордилась.

— Мать, но я слышал, что тетя Поля сама тоже раскулачивала.

— Она в нашу деревню не ездила, — с неохотой вспоми-

нает матушка, — она чаще бывала в Доможирове, в Каменке. Да, раскулачивала, ну ее тоже заставляли, она же партийная была. За ней мужики как-то с кольями гнались, — а она на лошади, едва-едва убежала.

Мы долго молчим, и я думаю о том, что судьба жестока, но, в конечном счете, и справедлива. Наверно, по тетиполиной милости не одна крестьянская семья была выслана куда-нибудь в Нарым или еще дальше. С детьми и стариками. А потом и до нее очередь дошла. "Какой мерой вы судили, такой и вам отмерится..." Так что ли было сказано две тысячи лет тому назад?

А послали тетю Полю в лагеря по делу секретаря Калужского горкома Трейваса — латышского еврея. Он был в свое время активным сторонником Троцкого, коих в партии после изгнания их вождя оставалось еще немало, что совершенно естественно для постреволюционных времен. Сталин, добивавшийся перед войной полной идеологической и организационной монолитности общества, взял курс на жестокое искоренение из партийного аппарата всех тайных и явных сторонников своего врага. Черед дошел и до Трейваса, а вместе с ним и до городского партийного бюро, членом которого была моя тетка — в молодости калужская крестьянка, потом выдвиженка, и в 1937 году директорша швейной фабрики. Откуда ей было знать, что, сделав партийную карьеру, придется заплатить свободой за грехи неизвестных ей троцкистов. Лес рубят — щепки летят.

— А наша семья, — снова начинает разговор тетя Дуся, — нянька с детьми, три коровы держали, две лошади, овечки, куры. Мужиков в доме не было, одни бабы.

Разговор становится веселее, переходит на деда, на бабку, на жизнь в родовой деревне Лихуны.

— Дед твой легкий на подъем был человек. Работать умел. Хотел всех выучить. Хотел в Америку уехать, да бабка как гиря висела на ногах. Одевать любил нас в магазине и обувал из магазина, хотя сам был сапожник известный. Как-то Серегу-брата повел в магазин, купил ему мерлушковую шапку с красным верхом, синюю поддевку, лакированные сапоги. А Поле какое приданое дал: серебряный самовар, двенадцать серебряных рюмок, дюжину серебряных ложек столовых, дюжину чайных... А помнишь, Шура, нашу бабку Евдоху? Шестеро детей у ней было. Все разные. Степан и нянька — черные, цыганистые, Федор — другой. Бабка как две капли воды похожа на соседку Баранову, как близнецы, даже родинка на щеке в том же самом месте. Как пойдут в ночное лошадей

пасти, так и не поймешь — кто потом от кого. А кто же согрешил? Да конечно, бабка Евгенья. Бойкая была. С шестью детьми за церковного старосту вышла. После революции одна осталась с детьми. Приедет в город в башлыке каленом от мороза — как в буденовке, за что ее и звали Буденный, — дрова привезет, да нам картошки, да бутылку молока, молоко теплое — за пазухой всегда возила. Одна всю землю обрабатывала, что ей досталась от этого старосты. А у няньки муж был, работал пекарем в Москве. Ну красавец — белокурый, чистый Есенин.

Няньку — бабкину сестру, вырастившую и мою мать и тетю Дусю, я видел в семидесятых годах, когда она жила в городе у своей внучки. Шел ей тогда девяносто третий год, но волосы еще были черные с проседью, а чистое лицо, обрамленное беленьким платочком, еще хранило приметы византийской иконописной красоты. Только была согнута она в пояснице и не разгибалась. Помню ее разговоры о колхозной жизни:

— Земли у меня было сорок соток. А налогу — сто рублей в год, да пятьдесят кило мяса, да триста литров молока, да шестнадцать мешков картошки. Самообложение двадцать рублей седьмого ноября сдавали, а потом еще и облигации — хошь не хошь бери. А как мяса сдать пятьдесят кило? Бывало, едем на рынок бригадой, покупаем корову и сдаем. Ненавижу я и Сталина и Ленина вашего... — И вдруг ни с того ни с сего тетя Маша с той же ненавистью вспоминала своих соседей-кулаков Барановых, Муриных, Сидоровых: — В кирпичных домах жили, мироеды!

А ведь глину-то для кирпичей кулацкие дочери месили ногами, пока кожа до крови не трескалась. Тетя Маша... Я стихи о ней когда-то написал:

А какая была молодица,
византийские брови дугой...
Тете Маше ночами не спится,
все мерещится вечный покой...

Ну откуда было знать неграмотной тете Маше о том, что ее жизнь и судьба, ее самообложение и ее налоги были определены и запрограммированы на самом высшем этаже власти, обсуждены на самом высоком партийном уровне? Ведь именно о ее тяжелой доле говорил Сталин на пленуме ЦК в апреле 1929 года: "Кроме обычных налогов, прямых и косвенных, которые платит крестьянство государству, оно дает еще некий сверхналог в виде переплат на промтовары и в виде недополучек по линии цен на сельскохозяйственные продукты...

Можем ли мы сейчас уничтожить это сверхналог? К сожалению, не можем. Мы должны его уничтожить при первой возможности в ближайшие годы. Но мы его сейчас не можем уничтожить... Это есть "нечто вроде дани" за нашу отсталость. Этот сверхналог нужен для того, чтобы двинуть вперед развитие индустрии и покончить с нашей отсталостью... Посилен ли этот добавочный налог для крестьянства? Да, посилен. Почему? ...У крестьянина есть свое личное хозяйство, доходы от которого дают ему возможность платить добавочный налог, чего нельзя сказать о рабочем, у которого нет личного хозяйства и который, несмотря на это, отдает все свои силы на дело индустриализации".

И еще неграмотная тетя Маша не знала знаменитых слов Сталина, сказанных в то же время: "Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". Одно утешение, что ее мясо и молоко, картошка и шерсть, ее пот и слезы легли в фундамент Магнитки и Кузнецка, а не в обрамление особняков на Канарах и вилл на Лазурном берегу... Земля ей пухом и вечная память...

А матушка все продолжает свои воспоминания о дореволюционном еще детстве...

— Приедем в ночное, бабка в тулуп, а меня лошадей пасти, чтоб овсы или рожь не потоптали. А когда дрова продавать в Калугу ездила — так обыденкой, чтобы к вечеру вернуться. У Святого Колодца всегда останавливалась напиться. Почему Святой Колодец? А когда хоронили, то кресты с покойников снимали и на деревянный крест, что у колодца стоял, вешали. Кресты в могилу не клали. Вода была хорошая, ключевая.

— А где же этот Святой Колодец?

— Да под Азаровом, где церковь Георгия на поляне. Там и твой дед похоронен. Да ты должен помнить: от деревни как через речку перейдешь — и на горе. Церковь-то до сих пор стоит....

На другой день я поехал разыскивать Святой Колодец, поляну и могилу моего деда, Никиты, померщего от тифа в тысяча девятьсот двадцатом году.

Долго я плутал по промышленной окраине Калуги, крутился в лабиринтах заводских бетонных заборов, подъездных тупиков, глотая выхлопной газ от самосвалов и цементную пыль. Наконец по раскаленной бетонке миновал переезд и выехал на старую дорогу к поселку Северному, от которого мне надо было искать кладбище. А где могила — даже мать не помнит. Вдоль пустынного когда-то большака,

вымощенного булыжником, ангары, подстанции, складские помещения, железные ворота. Все горячее, пыльное, раскаленное... Я миновал бетонный завод с его корпусами, конвейерами, самосвалами, разбитой дорогой, с выбоинами, наполненными тестообразной цементной массой, с обнаженными до пояса коричневыми солдатами из строительного батальона, выехал к какому-то кафе, вышел спросить дорогу. В кафе вино продавалось в разлив. Парень в рабочем синем халате нес в руках два стакана "Солнечной осени", его толкнул кто-то из компании, встоячку привалившейся к столику, граненый стакан грохнулся об пол, выложенный выщербленными плитками, и разлетелся вдребезги. Запахло сладким спиртным...

Я проскочил территорию завода, съехал с горы и, сообразив, что церковь осталась где-то сзади, расстроился, но увидел мостик и речушку, быстро бегущую в ивовых зарослях. Да это же родная Лихунка! Не найду кладбища — хоть освежусь в родной воде, подумал я и свернул с бетонки на глинистый проселок, подъехал к реке, вылез из машины и вдруг увидел перед собой на горе, с которой я только что съехал, в зеленых кущах деревьев два просвечивавшихся насквозь купола. Вот он храм Георгия на поляне! Просто он не виден с той пыльной застроенной дачно-бетонной стороны, а отсюда, от речки, с низины, словно бы выплыл из зеленого облака и завис над ним. Его погнутые кресты были отпечатаны в синем июньском небе.

Я успокоился и решил искупаться в водах, где купался в детстве. Не может быть, чтобы они не помогли мне и не вернули хотя бы маленькую искорку той жизненной силы, которую я когда-то черпал из этой воды целыми пригоршнями. А коли частица той свежести осталась во мне — она должна почувствовать связь с водой, с землей, откуда вышла, чтобы воплотиться в мое существо... Я вошел в ручей. Он был мне едва по колено — но песчаное дно и холодная вода успокоили меня. Я лег в воду на грудь, потом на спину и долго лежал, пока струи не сняли с меня цементную пыль и усталость, остудившись, вылез на берег, заросший сурепкой, тысячелистником и полынью. По тропинке бежало трое ребятишек. Один из них размахивал копьем, вырезанным из орешника. "Да это же я!" — пронеслось в моей голове.

А ноги-то отвыкли от засохшей глины, от травы-муравы, от земли-матушки... Неуверенно по ней ступают. Бывал я в Риме, бродил по Колизею, но, ей-Богу, говорю не лукавя, развалины этой сельской церкви были для меня более вели-

чественны и волнующи. Когда-то церковь действительно была на поляне, но сейчас обросла кустами и деревьями, даже внутри церкви росли мощные вязы. Одна стена, где, видимо, находился главный вход, была сломана, ворота и двери разбиты — от них осталась лишь кирпичная кладка — косяки, и церковь, вернее, остов ее, стоит — видимо, местные жители выбирали из нее кирпичи — на нескольких мощных останках кирпичных стен, как Эйфелева башня на подпорках, оттого она стала воздушной и кажется чудом зодчества. Однако под куполом во всех четырех углах, несмотря на ветры, снега и дожди, которые хозяйничают в каждой ее щели вот уже несколько десятилетий, сохранились силуэты святых, а над головами их еще кое-где догорает золото венценосного сияния. Но сквозь кирпичи, пройдя мощную кладку, свисают тонкие волокнистые корни берез, растущих уже не на земле, а в каменном теле. Мощные решетки еще стоят в окнах второго и третьего ярусов. На пяти-шестиметровой высоте сохранились остатки штукатурки и росписей. Четыре золотых сияния над головами. Птицы шуршат в листве деревьев, что растут на месте, где был алтарь и царские врата. В первом ярусе решетки выломаны из стен. Одна стена, соединяющая колокольню и алтарь, разобрана. На стенах надписи: “здесь были...”, “Игорь”, “Васек”, “Зураб”. На колокольне, если задрать голову, под куполом еще видны металлические и деревянные перекрытия, на которых висели колокола. Пол выломан. Видимо, плиты нужны были. В земле громадные ямы — копали, искали чего-то, клад какой-нибудь. Все заросло крапивой, бузиной... А рядом кладбище, где лежат те, кто строил эту церковь, и те, кто ее ломал, и где хоронят их потомков... Где тут найдешь могилу деда? Все заросло. Давно уж и крест над ним, наверное, повалился и сгнил. Новые могилы навалились на старые. Где-то рядом урчат комбайны, грохочет бетонный завод, и только река Лихунка еще бежит по тенистой влажной низине, холодная, святая, ничем пока что не тронутая, и Георгий на поляне виден только с ее берега.

Кирпич разложился, выкрошился, вот-вот горловина под куполом обломится, но железный купол с каждым годом тоже ветшает, становится легче, ржавчина осыпается с него, сдуваемая ветрами, метелями, смываемая дождями, крест и полумесяц под ним истоньшаются, тяги, идущие от креста к куполу, тоже тоньшеют, но все это еще держится, словно вычерченное черной тушью на выцветшей сини июньского неба. Один купол из железных обручей, другой еще покрыт черным полуистлевшим листовым железом. А поляна заросла клевером, пижмой, тимофеевкой, таволгой, зверобоем. Со всех

сторон к церкви подступают молодые дубки и кусты бузины. И сколько я ни бродил в их зарослях, нигде не мог обнаружить никаких следов Святого Колодца.

С юга потянуло теплым ветром, и березы, растущие высоко в небе, на кирпичных карнизах, зашелестели молодой листвой.

Не найдя ни могилы деда, ни Святого Колодца, я решил пройтись по родовой деревне. Спустился в овраг и по петляющим выбитым стежкам поднялся, минуя огороды, к избам.

Вот он и знаменитый кирпичный дом кулаков Сидоровых. Наверное, какие-нибудь потомки здесь живут в летнее время, огород держат.

— Вам кого, молодой человек? — Меня окликнула еще крепкая старуха, и я решил рассказать ей, кто я такой и почему брожу по деревне.

Минуты три она слушала, потом всплеснула руками.

— Да помню я тебя мальчиком белобрысым. Из города тебя бабка на лето к няньке привозила. Ну пойдем, хоть чайком угощу...

За чаем она рассказала мне о многом, чего я уже не знал. Оказывается, у бабки было три брата — Иван, Степан и Михаил. Иван воевал на гражданской, а когда напивался, доставал саблю и бегал по деревне. "Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня". Да нет, Сергей Александрович, много чести. В русской деревне столько крику стояло в те годы, что никто бы на лишний крик и не обернулся. В доме Марьи Васильевны Сидоровой резной буфет, дубовый шкаф, комод, старинный барометр, круглые старинные часы. Дом каменный, построен на две семьи. Одна половина на пять окон, другая на шесть. Держит корову и двух собак. Дети живут в городе.

— А войну-то помните?

— Ну как не помнить, я ведь старше твоей матери на два года. Фронт-то со Смоленска разошелся. Идут по нашей деревне трое, у одного нога клеенкой перевязана. Зашли поесть, он и говорит: "Я коммунист, и послушай меня: дойдет до вас немец, режьте скотину". Куда там!..

А твоей бабушки брата немец ранил на пороге избы, избу сожгли. Он немца обозвал сволочью, когда тот лукошко яиц у них забрал из сарая. Хотел немец его дострелить, да нянька — его сестра — на руках у немца повисла. Мы всего-то два месяца под немцем были. Велели нам старосту выбрать. Ну, мы выбрали прежнего председателя, старика Ивана Михайловича. Он мужик умный, на Соловках побывал. И народ не давал

обижать. А наши пришли: кто был старостой? — забрали. Так и не вернулся.

Она проводила меня до речки Лихунки. Какая речка — ручеек! — а когда-то в ней были омута, где однажды я чуть было не утонул — взрослые ребята спасли. Нахлебался. Тропинка через овраг прошла, на Доможирово, и на развилке мы попрощались. У развилки из-под камня пробивался ручей и песчинки плясали, поддерживаемые струйкой воды, бьющей из какого-то чистейшего водоносного слоя.

— Ну, попей, попей родимой водицы, у нас вода святая, ничем не тронутая...

— Марья Васильевна, а я помню, на том склоне до войны еще какие-то развалины стояли.

— Там имение было с еловыми аллеями. Сожгли в революцию.

— А зачем сожгли?

— Да чтоб помещику не досталось...

Я иду к машине по дну влажного оврага. Кругом таволга, иван-да-марья, лещина... Аж голова кружится от этого сырого дурмана. Надо еще водицы попить, пока от ручья не ушел.

Сколько всего исчезло с моей родной земли — нет ни дедовской могилы, ни еловых аллей, ни Святого Колодца, ни церкви Георгия на поляне, и поляны скоро не будет...

Одна святая вода осталась...

Однако воспоминание о деде-сапожнике вдруг вернулось ко мне самым неожиданным образом в 1992 году, когда я уже работал в "Нашем современнике".

Покойная мать рассказала мне однажды о том, как в 1918 году, когда ей было одиннадцать лет, поздно вечером в дверь кирпичного флигеля, где они жили и где у деда была в одной из комнат сапожная мастерская, раздался стук... Бабка отворила дверь. На пороге стоял офицер, снимавший в доме напротив квартиру. (Сейчас на стене того дома висит мемориальная доска, свидетельствующая, что он принадлежал отцу Наталии Николаевны Пушкиной — Николаю Гончарову, владельцу Полотняного Завода.) Офицер настоятельно попросил деда срочно, за несколько часов, стачать ему яловые сапоги за хорошие деньги... Он вошел с отроком-сыном и с громадной овчаркой в мастерскую, дед снял с него мерку, раскроил кожу и принялся тачать союзки. Мать с братом и сестрами с любопытством время от времени разглядывали в неплотно прикрытую дверь и усатого офицера, и красавицу собаку, и офицерского сына, который, видимо, впервые в жизни видел, как шьют сапоги...

Рано утром офицер с сыном и собакой исчезли из Калуги. Новые сапоги, наверное, были нужны нашему соседу, чтобы уйти куда подальше из советских областей, на Дон или на Украину... А донашивал он их где-нибудь в Турции или Сербии...

Но это не все. Весной 1992 года в редакции раздался телефонный звонок.

— Скажите, вы, Станислав Юрьевич, калужанин?

— Да...

— Я ваш земляк, живу в Америке, зовут меня Игорь Леонидович Новосильцев. Мне бы хотелось встретиться с вами.

...Через час благообразный, подвижный, ухоженный старик сидел в моем кабинете, мы пили чай, и он рассказывал о своей жизни.

— А до революции мы в Калуге жили в так называемом доме Гончаровых, возле Георгиевской церкви.

— Как интересно, в том же дворе жила и наша семья, дед, бабка, мать с отцом и сестрами.

— А где они жили?

— Во флигеле из красного кирпича.

— Ну, я прекрасно помню этот флигель, и жильцов его помню, и детей... Наверное, я и с вашей матушкой встречался... Какого она года рожденья? Девятьсот седьмого? Ну, я немного старше...

Слово за слово, и через несколько минут я убедился, что офицер, которому мой дед шил сапоги перед бегством из Калуги — отец Игоря Леонидовича, а мальчик, сидевший в мастерской деда и при колеблющемся свете керосиновой лампы наблюдавший, как на его глазах мастер-сапожник тачает сапоги, — он сам...

Старик прослезился, обнял меня с таким чувством, как будто встретил родного человека, с которым не виделся семьдесят с лишним лет...

— Ну знаете — это перст судьбы! Я создал в Америке общество “Сеятель”. Мы зарабатываем деньги, собираем пожертвования, покупаем семена и привозим их в Россию — фермерам, колхозам, монастырям. Всем, кто в них нуждается. Вот и сейчас я везу семена в Оптину пустынь и Шамординский монастырь. Мы, русские, живущие в Америке, любим ваш журнал, выписываем, читаем. Перед отъездом читатели журнала собрали две тысячи долларов, чтобы поддержать “Наш современник” в такое трудное для патриотов время.

Тут я чуть не прослезился... Цены росли на глазах, сотрудники журнала, получавшие копеечную зарплату, были разорены гайдаровской реформой — и вдруг такая помощь!

Поистине ничего не пропадает даром. Мой дед за ночь сшил отцу Игоря Леонидовича яловые сапоги на глазах сына, а сын через семьдесят четыре года как бы возвращает долг внуку сапожника... Русские люди, земляки, снова встретились. Разорванный круг истории сомкнулся...

Мы обнялись и, не стыдясь своих слез, расцеловались.

* * *

Отцовская же родня — три или четыре поколения были в основном офицерами, земскими учителями, мелкими чиновниками государственной службы в Петрозаводске. Брат деда Алексей, работая учителем в Олонецкой губернии, писал стихи народнического, "надсоновского" толка ("Впервые здесь мы о свободе держали речь и о борьбе, о нашем загнанном народе, который жизнь влачит во тьме") и вместе с ссыльными революционерами занимался просветительской работой среди крестьян в окрестностях Петрозаводска. В 1919 году Олонецкий губернский отдел народного образования издал книгу "Стихотворений народного учителя Алексея Николаевича Куняева". Петрозаводские газеты в 70-е годы в материалах, посвященных истории края, не раз вспоминали его имя. Другой брат деда Евгений воевал солдатом в первой мировой войне, стал полным георгиевским кавалером и был произведен в офицеры. Погиб на Великой Отечественной в звании майора. Еще один брат Борис ушел с белыми в эмиграцию. А мой дед Аркадий учился в Петербургской Военно-медицинской академии, из которой после участия в студенческих волнениях 1905 года был исключен и закончил медицинское образование в Киеве. Во многих отношениях он был человеком незаурядным. Блестящий хирург, педагог, общественный деятель, — дед в 1913 году построил на пожертвования нижегородцев больницу, которой заведовал вплоть до 1919 года. В этой же больнице работала врачом моя бабка — Наталья Алексеевна Покровская. Когда во время гражданской войны в Поволжье вспыхнули очаги тифа, дед стал одним из главных организаторов борьбы с эпидемией, в конце концов заразился сам и умер, как врач, на посту. Незадолго до его смерти от тифа умерла и моя бабушка. В 60—70-е годы горьковские газеты в связи с юбилеями всякого рода медицинских учреждений несколько раз печатали портреты деда и воспоминания о нем, земском враче, профессоре медицины, потомственном русском интеллигенте, председателе суда чести врачей в Нижегородской губернии.

В 1957 году, когда я закончил филологический факультет МГУ, диплом в деканате мне выписал седенький старичок Алексей Петрович. Почерк у него был каллиграфический, дореволюционный, писал он тушью, там где надо — с жирным нажимом, а где — тончайшей, волосяной линией. Его и держали при деканате за это искусство. Выдавая мне диплом, он спросил: — А доктор Куняев из Нижнего Новгорода не ваш ли родственник? — Это мой дед! — с удивлением ответил я.

— Так вот, ваш дед сделал мне в 1915 году редчайшую операцию. У меня был остеомиелит лучевой кости. Кость гноилась. Руку уже хотели ампутировать. Но ваш дедушка выпилил у меня часть ребра и заменил им омертвевшую костную ткань руки. Вот этой рукой, — Алексей Петрович засучил рукав пиджака и показал мне едва заметные шрамы на коже, — я вам, молодой человек, с благодарностью выписываю диплом.

Оба они, дед и бабушка, были похоронены, как известные нижегородские врачи, с траурными торжествами. Некрологи, появившиеся в нижегородских газетах, стоят того, чтобы процитировать их. Студенты медицинского факультета Нижегородского университета писали об Аркадии Николаевиче самым что ни на есть "высоким штилем", объединившим гимназические навыки студентов с трогательной риторикой революционной эпохи:

"Пройдут года, и на месте убогого домика нашего теперешнего анатомического института будет выситься прекрасное грандиозное здание, оборудованное по последнему слову науки, и в нем будут учиться толпы пролетарской молодежи, прокладывать путь к знанию и искать средства спасения человечества от потрясающих его жизнь болезней и эпидемий... У открытой могилы, готовой взять дорогого нам человека, с тяжелым от скорби сердцем и глазами, полными слез, нам слышатся вещие слова Аркадия Николаевича, мертвое тело которого есть первый камень, но камень редкой благородной красоты в фундаменте дивного храма науки и жизни, которому благородные последователи дадут его имя..." ("Нижегородская коммуна", 17 авг. 1920 г.)

О смерти бабушки газеты сообщали стилем не менее возвышенным:

"Образ Натальи Алексеевны глубоко запечатлен в нашей памяти, и взвешивая ее деятельность как врача и оценивая ее как человека, с грустью, искренне скажешь о ней теплыми словами Надсона: "Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа слома-

на — аккорд еще рыдает". ("Нижегородский листок", 6 дек. 1917 г.)

За гробом деда шел эскадрон красных кавалеристов, два оркестра сопровождали траурную процессию, когда опускали в могилу гроб, то воинский караул произвел три прощальных залпа.

Могила их находилась в почетном месте возле стен Печерского монастыря на откосе, возле слияния Оки и Волги... До 1930 года больница, основанная дедом, называлась "Больница имени доктора А. Н. Куняева", но в 1931 году это было расценено как самоуправство местных властей, мемориальную доску со стены больницы сняли, а когда в том же году закрывали монастырь, то разорили монастырское кладбище, и я никогда уже не узнаю, где покоятся кости деда и бабушки.

Однако весной 1978 года в моей московской квартире раздался звонок из Горького — звонила Альбертина Васильевна Кессель — работник городского Общества охраны памятников:

— Станислав Юрьевич, приезжайте на открытие мемориальной доски вашему деду!

На красивейшей набережной города, застроенной купеческими ампирными особняками, откуда простирается вид на Волгу и заречные дали, во дворе уютной больницы, огороженной старинной чугунной оградой, состоялся небольшой митинг, на который пришли писатели, журналисты, врачи города, согбенные годами медсестры — некоторые из них помнили и деда и бабку, принесли с собой старые фотографии, и наконец-то с мемориальной доски сползло белое покрывало, и я с волнением прочитал слова, вырезанные на мраморе:

В этом здании
с 1913 по 1919 год
работал организатор больницы
Красного Креста
А. Н. Куняев

Дело сделано, справедливость восторжествовала. Я подумал о том, что моим внукам и правнукам легче будет сохранять в жизни честь и достоинство русского интеллигента, зная о существовании этой мраморной доски на кирпичном фасаде старенькой нижегородской больницы.

Однако имя деда в 1990-е годы было увековечено еще в одном месте... В 1995 году со всеми своими тремя внуками я совершил путешествие в Арзамасский уезд. Сначала в Дивеевский монастырь, а потом в земскую карамзинскую больницу, в арзамасский край, в места, благословенные

Серафимом Саровским. Пройдя за световой день 700 километров, автобус к ночи привез нас из Москвы к стенам Дивеевского монастыря.

Темной дождливой ночью, скользя и опираясь друг на друга, мы добрались по глинистым размытым тропам к монастырской гостинице, стоявшей в чистом поле за пределами села. Несмотря на страшную осеннюю грязь и нашествие паломников, в гостинице было тихо и чисто. Молоденькие молчаливые послушницы в белых платочках непрерывно сновали по коридорам с ведрами и тряпками, протирали полы, встречали паломников, приказывали им снимать облепленную глиной обувь в прихожей, наливали воду в бочки и умывальники, разводили нас по комнатам. В каждой из комнат на двухэтажных железных кроватях умещалось по двадцать человек. Мы с младшим внуком залезли на второй этаж, уронили свои тела и головы на серо-зеленые, но чистые солдатские простыни и наволочки и тут же заснули...

Утром я огляделся. Молодые ребята сидели у своих тумбочек, пили чай, ели постную пищу и вполголоса, чтобы не мешать спать другим, разговаривали. На тумбочках возле их кроватей лежала святоотеческая литература, на стенах висели иконки и сюжеты из Священного писания. В воздухе витал дух смирения и добровольного аскетизма. Каждое утро они встают чуть свет, читают молитвы, завтракают и уходят на целый день. Большинство из них работает на восстановлении монастыря...

Мы с внуками умылись, пошли к монастырю, приложились к мощам Святого Серафима, отстояли утреннюю службу и вышли на площадь, куда вскоре должна была подойти машина, чтобы отвезти нас в карамзинскую больницу, километров за сорок от монастыря. В этом-то, собственно, заключалась главная и тайная цель нашего путешествия.

Карамзинскую больницу в середине прошлого века построил старший сын великого историка Александр, который, выйдя в отставку, покинул блистательный Петербург, отказался от светской карьеры и уехал с молодой женой Натальей Васильевной Оболенской в свои наследственные заволжские угодья, чтобы посвятить вторую половину жизни земскому обустройству в этих глухих русско-мордовских местах. Благодаря его стараниям на окраине села Рогожка вскоре вырос каменный двухэтажный корпус земской больницы, родильный дом, хозяйственные постройки, была открыта целая система прудов и разбит прекрасный парк с липовыми аллеями, благородными кустарниками, экзотическими для этих мест лиственницами и кедрами.

Вскоре после смерти Карамзина и Оболенской — а их похоронили в склепе посреди парка — заведовать больницей приехал молодой врач с молодой женой. Случилось это в 1905 году. Через семь лет деда с бабкой, как толковых врачей и организаторов земской медицины, перевели в Нижний Новгород, а местное земство постановило, чтобы его портрет работы знаменитого нижегородского фотографа Дмитриева "вечно висел в кабинете главного врача карамзинской больницы". Я знал, что он висит здесь вот уже восемьдесят пять лет, что на стене больницы открыта мраморная доска, повествующая о заслугах деда, и очень хотел, чтобы мои внуки прикоснулись душой, зрением, памятью к истории нашего рода...

Вскоре нынешний главный врач Олег Михайлович Бахарев после моего утреннего телефонного звонка подъехал на санитарной машине в Дивеево, и мы отправились в легендарную карамзинскую больницу. Олег Михайлович вместе с женой Мариной Владимировной (тоже врачом — сильны-таки традиции земской медицины!) заведует больницей вот уже лет двадцать. Полноватый, с поседевшими висками, бородкой и в очках, он похож и на типичного чеховского доктора, и на моего деда со старинных коричневатых фотографий, у него доброжелательная печальная улыбка и приветливые жесты рук. Сам сидит за рулем и рассказывает по дороге о нынешней "больничной жизни".

— Зарплату в этом году получали дважды — по 200 тысяч. Тесть недавно умер, а его военной пенсией мы оплатили расходы сына на учебу: учится на врача в Нижегородском университете. Платили один миллион в год. Как теперь учить будем — не знаю. Люди в поселке и их семьи живут впроголодь только на пенсионные деньги, заработать негде. Совхоз развалился. А ведь раньше давал 600 тонн мяса ежегодно! Распустили согласно немцовским реформам, отрезали каждому работнику несколько гектаров земли, которая за три года заросла кустарником и подлеском. Нам, врачам и медсестрам, тоже дали по восемь гектаров. А что с ними делать? Нам людей лечить надо!

По моей просьбе он притормозил у придорожного ларька. Я взял бутылку водки. Олег Михайлович смутился, покраснел, отвел глаза. Ему было неудобно, потому что у него, хозяина, не было десяти тысяч, чтобы купить спиртное к обеду и выпить по чарке за встречу.

Перед самой больницей, когда уже показались ровные липовые линии знаменитого парка, он заканчивал свой невеселый рассказ:

— Больница умирает. При вашем деде она была на сто коек. Сейчас осталось пятнадцать. Больше класть не можем, нет денег на содержание больных. Нет лекарств. Чтобы зря не выписывать рецепты, прямо спрашиваем: “Деньги есть?” Больные, как правило, мотают головами. Обучаемся лечить травами. На бинты собираем старые простыни, дезинфицируем. В округе снова появился сифилис, с которым ваш дед справился в начале века. Котельная в аварийном состоянии. Выйдет из строя — больница замерзнет. Гвозди рубим из проволоки. Штат врачей, медсестер и санитарок сократили вдвое. А можно и втрое. Ну, посудите — в начале перестройки у нас рождалось 45—50 младенцев ежегодно. Сейчас 8—10...

...Мы вышли в парк. Между вековых лип и лиственниц еще угадывались не до конца заросшие березняком, рябиной и жимолостью аллеи, на которых фотографировались местные земские врачи, приезжавшие в гости к деду и бабке. В сером ноябрьском небе над парком кружила пара воронов.

— Сколько им лет — никто не знает. Даже местные старухи помнят это семейство с молодых лет. Вполне возможно, что они еще при Аркадии Николаевиче здесь кружили. А парк — один из лучших на Новгородчине был. Александр Карамзин паркового архитектора и садовника содержал...

Мы прошли в сырую, пахучую черно-золотую глубь парка, дошли до холма, где когда-то стоял склеп Карамзина—Оболенской.

— Во время революции разорили, золото искали. А недавно мы обнаружили под школьными порогами в земле надгробную плиту черного гранита с именами Карамзина и Оболенской. На берегу пруда — я вам покажу — поставили крест, плиту положили... Правда, одна ее сторона сильно побита. Несколько поколений школьников стальными подшипниками ее долбили, отскакивали здорово, высоко... Вот так и живем: плиту и крест поставили, мемориальную доску зашему деду открыли, а больница умирает. Лет пять тому назад столько надежд было, столько планов! А автобус купили, хотели по “Золотому кольцу” — Карамзинская больница —Арзамас—-Дивеево—Темниковский монастырь — туристов возить, водолечебницу наладили, авторемонтный завод шефствовал над нами... А чем все кончилось? Завод лежит на боку, водолечебницу, как ненужную роскошь, прикрыли, гвозди из проволоки рубим. И вообще, мы, местные врачи, чувствуем: у губернаторской администрации появилось страстное желание избавиться от всех подобных “земских” больниц, построенных и в прошлом

веке, и в советское время. Нам прямо говорят: дорого вы стоите, народные больницы, крестьянам достаточно фельдшеров и “повивальных бабок”...

Перед отъездом хозяйка пригласила нас поужинать. Поставила на стол по тарелке супа и по котлете. Извиняется:

— Холодильник открыть стыдно. А помните, как мы принимали вас в девяностом, даже в девяносто втором году? Стол ломился! Чего только не было: и мясо, и рыба, и варенья, и соленья, и пироги...

Мы проглотили по стопке водки и обнялись на прощанье. Вышли на улицу. Выгрузили коробки с книгами, которые я привез для больничной библиотеки, сели в машину.

— Погодите, — забыли детям показать портрет их пращура и дом, где он жил!

В кабинете главврача мои внуки с почтением поглядели на портрет, окаймленный коричневой дубовой рамкой с медной табличкой, привинченной к дереву, потом вышли к почерневшему от времени рубленому дому о шести комнатах со светелкой, стоявшему на берегу пруда. В светелке компания окрестных врачей частенько собиралась на чаепитие за медным самоваром. Моя бабушка садилась за рояль, врач Капустин брал в руки скрипку, дед декламировал модные в то время среди прогрессивной интеллигенции стихи:

Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай, мы заняты делом,
строим мы, строим тюрьму...

Играли Чайковского, читали вслух “Капитал” Маркса, влюблялись друг в друга, баловались вольномыслием, ругали церковь, обожали Льва Толстого. В этом доме родились и прожили свое детство мой отец и дядя. Стекла выбиты, ветер качает перекосившуюся, повисшую на одной петле раму... Средний внук Алексей хмур и возмущен:

— Это же наш наследственный дом! Стану бизнесменом, заработаю денег и отремонтирую все — и дом и больницу, здесь жить буду!

Марина Владимировна улыбается и, чуть не плача, обнимает его:

— Дай тебе Бог! Только вот нас уже в живых не будет.

На прощанье Олег Михайлович со счастливой улыбкой выносит из дома книгу в обветшалом кожаном переплете, открывает пожелтевшую титульную страницу. С трудом я разбираю надпись, сделанную выцветшими чернилами:

“26 августа 1879 поднесено моей милой Таше с покорнейшей просьбой не дарить другим. А. Карамзин”.

Том “Истории государства Российского” 1851 года издания, подарок Александра Карамзина своей жене Наталье Оболенской, Таше!

— Откуда это у вас, Олег Михайлович?!

— Недавно старушка одна принесла. Сохранилась в ее семье еще со времен революции, когда склеп разоряли, дом барский рушили, библиотеку растаскивали... Возьмите себе на память от Карамзина, от вашего деда, от меня...

Мы обнялись на прощанье.

— А больницу спасать надо! — сдавленным голосом шепнул Олег Михайлович, горячо дыша мне в ухо...

Когда мы отъезжали от Рогожки, высоко в небе кружил ворон, хозяин здешних мест, помнящий все времена: и расцвета и разорения жизни...

* * *

Может быть, гены, как оказалось, живущие в этом роду, сделали свое дело, когда я впервые, как сказал поэт, “с рифмою схлестнулся”. Было это в эвакуации в северном селе Пыщуг, затерявшемся в лесах на стыке Горьковской, Костромской и Вологодской областей, куда нас с матерью и сестрой занесло ветром войны. Сюда мы эвакуировались из Ленинграда, где оставили отца, который, будучи белобилетником по зрению, обучал ополченцев при институте физкультуры имени Лесгафта и умер голодной смертью в феврале 1942 года.

В Пыщуге я окончил четыре класса начальной школы, и помнится, что первое стихотворенье мое было “опубликовано” в школьной газете. Оно было о войне, и от него в памяти осталась только одна строчка: “чаша народного гнева полна”... С нежностью вспоминаю деревянную крашеную школу в окружении почерневших от времени берез.

Недавно я побывал на родине Рубцова в селе Николе и аж взволновался, увидев, насколько эти края похожи на мои пыщугские.

Школа моя деревянная,
Время придет уезжать,
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать, —

да это же — о моей пыщугской школе, со двора которой тянулись необъятные для глаза просторы глухого леса, болотистая кочковатая низина, пересеченная чистой холодной рекой, где мы купались и ловили бельевой корзиной юрких пескарей...

Вспоминаю школьных товарищей — деревенских ребят — Боборыкиных, Бессоновых, Хариновых. Сначала у нас, эвакуированных, с ними были жестокие стычки, но потом мы подружились. Они учили нас, как делать крестьянскую работу в поле, добывать в лесу грибы и ягоды, ловить рыбу, а мы помогали им решать задачи по арифметике, писать изложения и рассказывали, где и как мы успели увидеть войну. В летние дни все вместе мы то окучивали колхозную картошку, то собирали в лесу мох сфагнум для госпиталей, где не хватало ваты, то черные угольки спорыньи с ржаных колосьев, нужной в тех же госпиталях как кровоостанавливающее средство... А вообще — росли как трава в поле...

Там, в тихом северном селе, куда одна за другой к нам пришли похоронки о смерти отца в осажденном Ленинграде, о гибели материного младшего брата, летчика дяди Сережи, именно там я мог видеть и понять детским сердцем, что такое горе... Одну сцену из той жизни я запомнил навсегда. Однажды после звонка я помчался в школьную раздевалку, отыскал в куче рваных заношенных пальтишек свою одежду и вышел на крыльцо деревянной школы, окруженной старыми березами. Школа стояла рядом с церковью, переделанной под клуб, в центре села. Мать работала главврачом в деревенской больнице. Врачей было мало, больных много, и я не видел ее целыми днями. Она часто уезжала в дальние деревушки на санях, чтобы добыть для больницы мешок муки, кастрюлю масла или куль картошки, потому что еды в ту зиму не хватало всем — и больным, и здоровым. В редкие вечера, когда я, вернувшись в избу из школы, заставал мать дома, она каждый раз заставляла меня снимать рубаху, выворачивала фитиль в керосиновой лампе, чтобы она светила поярче, и начинала искать в складках рубахи крупных платяных вшей, которые с хрустом лопались под ее ногтями.

Потом я подставлял матери стриженую голову, и она очищала ее от насекомых при помощи рук и гребешка...

Тепло, струящееся от русской печки, нежные прикосновения материнских рук навевали на меня сонливость, и я, уронив голову на колени матери, иногда погружался в сладкую дремоту...

Но сегодня утром мать сказала, что уезжает на два дня в

деревню Бобры, дала мне синенький клочок бумаги с печатью, по которому я должен пойти в столовую, где эвакуированным детям иногда давали дополнительное питание — тарелку щей, миску пшенной каши, по стакану сладкого чаю или компота.

Дверь школы с шумом распахнулась, и на крыльцо вывалилась толпа моих одноклассников — в отцовских пиджаках по колено, в лаптях и валенках, кто с домоткаными дерюжными, кто с противогазными сумками через плечо. Мелькали руки, головы, шапки слетали с голов. Увлекая за собой меня, груда тел скатилась со школьного крыльца. Я почувствовал, как кто-то ударил меня сумкой по голове, сделал усилие, чтобы выбраться из-под Саньки Харинова, но Санька сам был придавлен сверху сыном начальника милиции Дрожниковым, заварившим, как всегда, эту потасовку между местными и эвакуированными. На помощь Саньке скатились с крыльца братья-близнецы Бессоновы, и когда я, разъяренный тем, что пришлось, барахтаясь, набрать снега в валенки, в рукава, за шиворот и надышаться кислым запахом деревенской лопотины, наконец-то, как щенок, выкарабкался из орущей кучи, то, войдя в раж, затолкал в кучу Володьку Червякова, а заодно, ловко сделав ей подножку, и Антонину Боборыкину, которая не успела прошмыгнуть мимо нас и вскоре очутилась, слабенькая и беспомощная, в самом низу.

— Что тут творится! — раздался визгливый голос учительницы Нонны Петровны. Она была хромоножка и, входя в класс, смешно переваливалась, припадая на одну сторону, как утка, и про нее была сложена насмешливая песенка:

Нонна Петровна
Поехала по бревнам,
Зацепилась за пенек,
Просидела весь денек...

— Что творится! Дрожников! Харинов! Куняев! А ну, ко мне! Антонина! Как тебе не стыдно, а еще девочка!

Раскрасневшиеся, мы, тяжело дыша, выстроились перед крыльцом, ожидая наказания.

— Останетесь после уроков пилить дрова. А ты, Антонина, иди домой...

Но Антонина сидела на снегу, не в силах вылезти из сугроба. Ее заплатанное пальтишко, даже не пальтишко, а рванинка какая-то, было распахнуто настежь — пуговицы во время давки отлетели, и было видно, что на ее худеньком тельце надета всего лишь одна длинная замызганная холщовая рубаха, которая задралась выше посиневших коленок. Ее тонкие

детские ноги были обернуты серыми портянками, перетянуты онучами, и небольшие, ладно сплетенные детские лапотки торчали из-под снега. Коричневый платок во время свалки слетел на снег, обнажив стриженную после тифа голову, и на истощенном темном лице были видны одни широко раскрытые глаза, в которых я увидел застывшие слезы. Я протянул девочке руку.

— Ну че ты, Тонь, вставай, мы ведь не нарочно...

Девочка поднялась, отряхнулась от снега, подняла платок, повязала голову и стала копаться в сугробе красными от холода руками, разыскивая тетрадку и книги...

Мы шли по узкой протоптанной среди снежных заносов тропинке. Ранние синие сумерки быстро окутывали деревню. В редких избах кое-где зажигались огоньки, потому что люди берегли керосин и насколько возможно пытались жить в темноте.

Сумерки уже поглотили и растворили в себе далекую черную кромку леса, смягчили очертания каменной церкви, слились с дымками, тянущимися из черных труб к тускнеющему небу.

— Ну че ты, Тонь, не плачь, я не нарочно!

— Я ись хочу! — не поворачивая головы, тихим голосом сказала Тоня и повернула с тропинки к своей темной избе.

Я дошел до столовой, перестроенной из высокого поповского дома, и, не раздеваясь, сел за стол. Женщина в белом халате подошла ко мне, взяла талончик с печатью и принесла из кухни щи и не пшенную, как всегда, кашу, а тарелку картошки с мясом и стакан компота.

Я сдернул шапку, сел за желтый выскобленный стол и, чувствуя, как слюна заполняет рот, жадно опорожнил тарелку щей с серым хлебом, передохнул и взялся за горячее мясное варево, как вдруг почувствовал, что кто-то сел за стол напротив меня. Я поднял глаза. Передо мной сидел человек со слипшимися всклокоченными волосами, обросший жуткой бородой. Его лицо, казалось, все состояло из впадин. Две впадины вместо щек, впадина рта и, самое страшное, — глубоко провалившиеся в лицевых костях глазницы, в глубине которых горели глаза. Он глядел на меня так пристально, что мне расхотелось есть, и я отодвинул от себя тарелку. Тут же из-под края стола бесшумно выползла коричневая костистая рука незнакомца и придвинула тарелку к себе. Вслед за тарелкой мужчина схватил деревянную ложку, недоеденный мною кусок хлеба и, боязливо поглядывая то на меня, то на дощатую перегородку, за которой копошилась повариха, начал, безостановочно работая ложкой, заглатывать

4 Зак. 425

остатки еды. Я, как завороженный, не в силах оторвать от него глаз, молча провожал взглядом каждый кусок, который незнакомец проглатывал, почти не разжевывая. Было видно, как вздувается его горло и какие усилия он делает, чтобы побыстрее проглотить пищу.

— А, ты опять тут! Поесть людям не даст! — повариха выскочила из-за перегородки, но мужчина втянул голову в плечи и замер, обхватив миску обеими руками.

— Ты, милок, не боись его. Он припадочный — его и на войну не взяли. С дочкой живет, с Тонькой Боборыкиной. Мать-то у них осенью померла от тифа. Он тихий, ты его не боись...

Дверь скрипнула, в щель ворвалась струя морозного воздуха, а вместе с ней в столовую, как тень, прошмыгнула девочка. Громко стуча лапотками по деревянным половицам, она подошла к отцу и дернула его за рукав:

— Пошли в избу! Я печку растопила...

Мужчина оторвался от чисто вылизанной миски и молча вылез из-за стола. И тут я увидел, как они похожи друг на друга — отец и дочь — темными худыми лицами и огромными круглыми глазами.

Сумерки окончательно опустились с низких северных небес на землю. В редких избах зажглись окна. Кое-где во дворах, услышав отдаленный волчий вой, зашлись лаем собаки. Заскрипели полозья, раздалось конское ржанье, и по дороге пронеслись сани, запряженные парой громадных лошадей. В санях, застегнутый с головы до ног в черный тулуп, сидел военком, уезжавший в дальнюю лесную деревню за мужиками, которых пора отправлять на войну.

Я шел, поскрипывая подшитыми валенками, по обочине накатанной санями дороги и думать не думал о том, что проживу целую долгую жизнь, что множество лиц и взоров встретятся мне, что они будут излучать любовь, ненависть, восхищение, страх, восторг, — все равно я забуду их. Но эти два изможденных лика отца и дочери, эти два пронзительных взгляда не забуду никогда, потому что в них светилось то, что без пощады, словно бы ножом освобождает нашу душу из ее утробной оболочки, — горе человеческое...

* * *

В годы эвакуации, когда я учился в начальных классах школы села Пыщуг, во мне проснулась жажда чтенья. А в библиотеке я засиживался еще и потому, что книги там

выдавала Галя Сухарева. Гладко причесанная, с овальным лицом девушка из эвакуированных, бывшая лет на пять старше меня. Библиотека в селе была богатая, я очень хорошо помню, что в третьем-четвертом классе я прочитал, кроме нескольких романов Жюль Верна и Джека Лондона, все четыре тома "Войны и мира", "Записки охотника" и "Пошехонскую старину". Даже "Наполеона" Тарле осилил. И не скучно было — до сих пор помню радость от этого чтенья. Много ли может прочитать за десять-двенадцать лет мальчик-отрок-юноша, покамест не станет взрослым мужчиной? Да если книг пятьдесят из мировой классики прочтет — вполне будет достаточно. Достоевский читал своим семилетним детям Шиллера, русские былины, кавказские поэмы Лермонтова, "Тараса Бульбу", Алексея Толстого, Вальтера Скотта, Диккенса. Потом "Историю" Карамзина. А если вспомнить Свифта, "Дон-Кихота", "Песнь о Гайавате", Чехова, Виктора Гюго, Горького, сказки-легенды и эпические сказания народов! Да что там — не более ста книг наберется из золотого фонда человеческой культуры! Даже их дитя человеческое не успеет прочитать до своего возмужания... Да, кстати, в те же годы эвакуации в деревенской рубленой избе при свете коптилки я читаю "Маугли" и наслаждаюсь вольной и высокой фантазией автора, сказочным человеко-звериным миром джунглей, начинаю любить наших "меньших братьев" любовью старшего. Грустно мне стало, когда недавно открыл собрание сочинений Маршака, изданное в 1971 году, и прочитал следующее: "Киплинговские "джунгли" это, конечно, не сказка. Главный стержень повести, как и почти всей западной беллетристики — это закон зверя-охотника, "закон джунглей". Упрощенная в своей законченности философия хищника суживает, а не расширяет мир. Сказке здесь делать нечего".

Неужели ничего больше нельзя сказать об этом бессмертном шедевре, полном истинной поэзии? Вот что тот же автор пишет о трогательной и тоже прочитанной мною в годы войны повести Неверова "Ташкент — город хлебный":

"Странно перечитывать теперь даже такую талантливую и связанную с реальностью книгу... Сколько в ней народнического "горя горького", сколько ругани, кряхтенья, "чвоканья"! А какое изобилие натуралистических подробностей! Тут и засаленные лохмотья, и вши, и гниды, и дерьмо. На протяжении всей повести тащится из Бузулука в Ташкент облепленный умирающими мужиками поезд". Какое интеллигентское еврейско-высокомерное отношение к народу выразилось, выклюнулось из нутра якобы великого детского писателя!

А вот мне в годы войны не странно было ее перечитывать. Она была близка военной жизни, с ее эшелонами, эвакопунктами, "горем горьким", тифом, вшами, необходимостью терпеть все, что ни пошлет судьба.

* * *

Зима 1944 года в Калуге выдалась холодной, и для того чтобы натопить комнату, где было четыре больших окна, затянутых толстым слоем желтоватого льда, требовалась охапка дров и два-три ведра каменного угля. В комнате были две печки: голландка и буржуйка. Голландка растапливалась из маленького чуланчика и нагревала кафельную стенку, выходившую в комнату. Я очень любил, прибежав с мороза, прижаться щекой, покрасневшими ладошками, всем замерзшим тельцем к глянцевым горячим изразцам, на которых синей лазурью были изображены ветвистые цветы, похожие на ландыши.

Другая печка — круглая чугунная буржуйка — стояла прямо в комнате. От нее изгибом шла жестяная ржавая труба, которую печник, выломав один изразец, вправил в кафельную стенку и замазал изломы в кафеле глиной. Когда надо было срочно согреть комнату, тогда топили буржуйку, но она так же быстро накалялась, как и остывала, и для того, чтобы тепло сохранялось до утра и чтобы хоть немного оттаяли окна, надо было с вечера растапливать голландскую печку.

Кованой кочергой бабушка выгребала из нее золу и остатки угля, из которых она, не жалея рук, отбирала самые крупные, не до конца прогоревшие куски, смачивала их водой и снова засыпала в топку на сухие полешки. Приоткрыв чугунную дверцу топки, я любил смотреть, как сначала желтым пламенем занимаются дрова, как постепенно докрасна раскаляются глыбы спекшегося старого угля и как, наконец, пламя начинает мелкими синими язычками пробиваться сквозь слой свежего блестящего антрацита.

Обеспечивать голландку и буржуйку каменным углем было моей обязанностью, и однажды, вернувшись из школы, я привязал к санкам старую бельевую корзинку и отправился к "Дому матери и ребенка", чтобы под покровом сгустившихся зимних сумерек отодвинуть доску в заборе и, оглядываясь по сторонам, подобраться к запорошенной снегом куче угля, нагрести его в корзину и так же бесшумно исчезнуть через свой лаз, волоча за собой отяжелевшие санки.

Я торопился, потому что вечером должен был во что бы то

ни стало побывать в церкви, чтобы повидаться там с девочкой в белой пуховой шапке.

Проводить время в Георгиевской церкви меня научил Витька Волчок, который как-то, заглянув туда погреться, сообразил, что у каждой старухи, пришедшей в храм Божий, в кармане старомодного салопа или потрепанной кацавейки лежит скомканная денежная бумажка, приготовленная или на помин чьей-нибудь души, или на свечу восковую, или просто на нужды храма. Подростки шныряли в плотной толпе народа, среди старух, осенявших себя крестами и припадавших лбами к выщербленным плитам. Когда от влажного жара и спертого человеческого дыханья, от сладкого духа ладана и горелого воска у меня начинала кружиться голова, я протискивался к зарешеченному окну, откуда в церковь тянуло свежим воздухом с улицы, и разглядывал икону, на которой светоликий кудрявый юноша на белом коне поражал копьем корчащегося под копытами дракона с открытой пастью и длинным красным языком...

Набрав за час-другой горсть мелких денежных бумажек, мы выбирались из церкви, сопровождаемые иногда негодующими, но приглушенными голосами, и мчались на рынок, где брали кринку топленого молока, или миску студня, или пирожков с золотистой хрустящей корочкой, начиненных мясом...

Как-то на Пасху, когда старухи сошлись на церковный двор с белыми узелками святить куличи, Витька Волчок, подойдя к паперти, толкнул меня в бок.

— Глянь, бабка!

Маленькая старушка, облокотившись на перила, держала в одной руке кулич, а в другой — старую кожаную сумку с металлической защелкой. Глаза у бабки были закрыты, — должно быть, она дремала от усталости.

— Сука буду, у ней в сумке гроши! — зашептал Волчок. — Давай, ты вырви сумку, а я тебя подожду у забора — и ходом ко мне, мы через забор и аникеевским двором слиняем...

Слыша, как у меня бьется сердце, я подошел к бабке, огляделся и, улучив мгновенье, вырвал из морщинистой руки сумку и бросился было бежать, но меня догнал истошный крик:

— Мальчик, милый, отдай, там паспорт мой!

И, должно быть, такое отчаянье было в этом крике, что, не отдавая себе отчета, зачем это делаю, я на бегу обернулся, швырнул обратно сумку и тут же взлетел на забор, за которым только что исчез мой напарник. Ну и попало мне тогда от Волчка!

Но сегодняшним морозным вечером я шел в церковь один, не для того, чтобы чистить старушечьи карманы, а чтобы повидать девочку, с которой недавно познакомился во время всенощной. В тот вечер я толкался среди старух, исподлобья поглядывая на их лица и пытаясь поближе пристроиться к тем, что особенно страстно крестились, отбивали поклоны, шептали молитвы и слабыми голосами, вторя церковному хору, подпевали: "Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-и-лу-у-у-й!" Они не замечали ничего вокруг себя, лишь время от времени вытирали платочками, скомканными в руках, сочащиеся из глаз слезы и тяжело вздыхали, бормоча старческими губами ведомые только им имена.

Я пристроился к одной из таких бабок и уже стал потихоньку нащупывать широкий карман ее вытертого пальтишка, как вдруг увидел, что рядом со старухой стоит девочка моих лет, курносая, с тонким личиком, в белой пуховой шапочке, связанной так, что на ее голове возвышались как бы два маленьких мягких рожка.

— Смотри, рогатик! — шепнул мне Витька. — Она на Смоленке живет, я знаю где. Ее Ирка-рогатик зовут... Пошли на рынок... Хватит... А то гляди, как вон та тетка на нас зыркает...

— Тише вы, анчутки, прости меня, Господи, — раздался свистящий шепот за нашими спинами. — Чай, не в кино пришли! — И жесткие костяшки чьих-то пальцев ткнулись мне в лопатку...

Но сегодня я шел в церковь без Витьки, потому что смутно понимал, что Витька не нужен. Я поднялся по чугунной лестнице на паперть, где сидели знакомые нищие — юродивый Порфиша и бабка Аксинья, и протиснулся в храм, переполненный народом. Сначала я пролез к приделу, где светилась икона с юношей на коне, поражающим красноязыкого змея, но девочки там не было, и я боком стал продираться сквозь тулупы и кацавейки поближе к алтарю, на котором стоял седовласый батюшка в златотканой одежде... Дьякон прохаживался перед алтарем, помахивая кадилом, и дым ладана синеватыми струйками плыл над обнаженными головами стариков, над коричневыми в полоску старушечьими платками.

— Господи, даруй победу воинству российскому правосла-а-вному-у-у! — голос раскатывался по всем углам храма и уходил в темный купол, отражаясь от колеблющегося паникадила, от тускло поблескивающего иконостаса, от застекленной иконы с ликом Богоматери, в котором, подрагивая, плясали язычки свечей.

— Аллилу-у-я-ааа!.. — Толпа опустилась на колени, и я вдруг увидел белую шапочку с двумя пушистыми рожками. Ввинчивая свое худенькое тело в людскую массу, я протиснулся к девочке и остановился вплотную к ней. Чтобы не привлекать ничьего внимания, я стал делать все, что делала она — крестился, опускался на колени, снова подымался на ноги и все время скашивал глаза, разглядывая тонкую линию лица, по которому пробегали волны света, оттого что пламя свечей, горевших перед нами на медной подставке, все время подрагивало от сквозняков и людских вздохов. Я видел рядом со своим лицом ее длинные ресницы, чуть припухшую верхнюю губу, на которой сверкали капельки пота. Она, видимо, недавно вошла в церковь, потому что на белой шапочке и на завитках волос, выбивавшихся из-под нее, еще не успели обсохнуть капли растаявшего снега.

Девочка повернула голову ко мне, и в ее темных глазах я увидел отблески свечей, печаль, недоумение, любопытство, сердце мое учащенно забилось, и я вдруг, чувствуя, что краснею от внутреннего жара, понял, что мы стоим прижатые друг к другу и что никто нас не видит — все растворены в тусклом сиянье, в клубах кадильного дыма, в пенье, несущемся откуда-то сверху.

И тогда я, затаив дыханье, вдруг нащупал рукой маленькую ладошку девочки в белой шапке и, замерев от восторга, почувствовал, как та ладошка покорно и согласно легла мне в руку. Так мы простояли до конца службы, уже не глядя друг на друга, переговариваясь между собой кончиками влажных пальцев и прикосновением горячих ладоней...

А потом этот мальчик вырос, стал мужчиной, мужем, отцом. Не раз душа его, как и положено земной душе, изнемогала под бременем страстей человеческих. Но никогда более он не испытывал чувства, подобного тому, которое посетило его в древней церкви маленького русского города лютой снежной зимой, в разгар Великой войны.

* * *

Весной 1975 года моя мать тяжело заболела, я положил ее в одну из московских клиник, а чтобы ей было чем занять себя в тягостной атмосфере больничной жизни, попросил, чтобы она написала нечто вроде воспоминаний о том, как мы жили до войны, во время эвакуации и в послевоенные годы... Словом, обо всем, что я сам помню детской памятью отрывочно или смутно.

Потом я забыл о своей просьбе и лишь весной 2000 года, через пятнадцать лет после смерти матери, нашел эту тетрадь с бледно-зеленой обложкой, заполненную летучим, волевым материнским почерком, который кое-где начал портиться и меняться из-за ее болезни. Я публикую ее записи лишь для того, чтобы будущие люди, которые, надеюсь, когда-нибудь без злобы и лжи спокойно изучат советскую жизнь с ее неприхотливым бытом и будничным героизмом, с ее скромными надеждами и аскетической привычкой к сверхчеловеческим испытаниям, воздали бы должное человеку той эпохи, которая была мобилизационной по воле истории.

Итак, перед вами рукопись простой русской женщины Александры Никитичны Железняковой (1907—1985).

* * *

“В 1939 году, после окончания Ленинградского мединститута имени Павлова я была направлена специализироваться по хирургии в Новгород на Волхове на шесть месяцев. Когда я, переночевав на вокзале, утром явилась в больницу, главврач Шатунов очень обрадовался и распорядился, чтобы я немедленно готовилась к операции. Я ему сказала, что самостоятельно еще не оперировала, а он в ответ засмеялся и велел операционной сестре во всем мне помогать, а сам ушел в горсовет на прием, так как был депутатом.

Обливаясь потом, я стала оперировать под одобрительные реплики операционной сестры, которая все время повторяла, что у меня диплом с отличием и что я буду хорошим хирургом. После удачно законченной операции я пошла звонить твоему отцу в Ленинград. Юра в это время был уже преподавателем истории в Институте имени Лесгафта, он велел мне больше читать и чаще оперировать. Я даже не стала в Новгороде искать себе комнату, а жила в дежурке для врачей и потому участвовала во всех операциях.

Вскоре началась Финская война. Меня чуть не забрали на передовую, но тут, на мое счастье, вышел приказ Ворошилова, чтобы медработников, у которых есть дети до 8 лет, использовать только в тыловых госпиталях. В Новгородский госпиталь из Ленинграда прибыли хорошие клинические специалисты, и у нас создался дружный рабочий коллектив. По выходным дням мы ходили в Софийский собор, на старые городища, в Юрьевский монастырь, лишь иногда сильные морозы, стоявшие в ту зиму, удерживали нас от этих прогулок.

Хорошо запомнилось мне, что в Софийском соборе на ночь для охраны ценных икон запирались сторожевые собаки.

В это же время, осенью и зимой 1939 года, в городе велись раскопки древнего Великого Новгорода. Улицы все были перекопаны траншеями и устланы деревянными досками.

После окончания войны я поехала с твоим отцом за тобой в Калугу, где встретилась с братом Сергеем — кадровым летчиком. Он уже был награжден орденом Красного Знамени за Финскую войну. Когда мы с ним разговаривали о завтрашнем дне, он сказал мне, что скоро будет война более страшная, чем эта. Потом мы забрали тебя и вместе с Сергеем поехали в Ленинград. Летная часть дяди Сережи располагалась в Сольцах, недалеко от Ленинграда. Почти каждый выходной день он приезжал к нам в Ленинград, твой отец водил нас по городу и рассказывал о его истории. Мы с тобой уже жили в 60—70 километрах от Ленинграда в Губаницкой больнице, недалеко от Кингисеппа, куда меня направили на работу. Нас там было трое врачей, все наши мужья работали в Ленинграде, летом они в отпуска приезжали к нам, зимой мы с тобой каждый выходной ездили в Ленинград. Юра всегда брал для тебя билеты в ТЮЗ, что на Невском проспекте, где мы смотрели "Снежную королеву", "Волшебную лампу Аладдина" и другие сказки. Это днем. А вечером мы с отцом уходили в Мариинский театр, а ты оставался дома с нашими соседями по квартире. В понедельник рано утром с Балтийского вокзала Юра провожал нас в нашу Губаницкую больницу.

В летнее время мы, когда я не была занята на работе, отправлялись гулять к заколоченным хуторам, где в садах собирали малину и яблоки. В этих хуторах до Финской войны жили чухна и финны, а после войны их куда-то переселили, подальше от границы. Было как-то страшно видеть заросшие сады, забитые окна домов, каменные колодцы, хорошо уложенные камнем дворы, одичавших кошек. Весь низший медперсонал нашей больницы были финны или эстонцы...

* * *

Вот так, счастливо и спокойно, мы прожили до июня 1941 года. Рано утром 22 июня мы были разбужены страшным грохотом: рядом с нашей больницей были расположены аэродромы, и немцы в первую очередь стали бомбить их. Мне сразу же велели немедленно явиться в военкомат, начался медосмотр

мобилизованных мужчин. Я взяла тебя с собой, так как боялась оставить одного, а сама уже находилась в декретном отпуске. Приехав в Волосовский военкомат, я увидела тысячную толпу людей, пришедших проводить мобилизованных. На станцию Волосово один за другим совершались налеты немецких бомбардировщиков. От дыма и пыли порой солнца не было видно. Мы с тобой остались ночевать в военкомате, а народу скапливалось все больше и больше, и я предложила военкому перевести всю медкомиссию в ближайший лесок, потому что на станции мы были открыты для налетов немецкой авиации. В середине дня такой массированный налет повторился с особой силой. Немцы на бреющем полете строчили по толпе из пулеметов. Каким чудом мы с тобой уцелели, не знаю. Я со своим беременным животом низко приседала в картофельном поле и закрывала тебя полою халата. Во время этого обстрела весь мобилизационный пункт разбежался, мы пешком добрались до Гатчины, и только я хотела привести тебя и себя в порядок, отмыть грязь с одежды, рук и лица, как вновь раздался вой сирен и на Гатчину обрушился бомбовый град. Я с тобой прижалась к стене дома и уже не пыталась прятаться, а по улицам мимо нас как лавина бежали наши отступающие войска. Потом все стихло. Мы вышли с тобой к железнодорожным путям, по которым двигались открытые платформы с солдатами и орудиями — на запад, другие, с людьми для оборонных земляных работ, — к Ленинграду. Какой-то мужчина, завидев нас, подхватил тебя и посадил на платформу, а потом помог сесть и мне. К вечеру мы приехали в Ленинград. Юра был дома и пришел в ужас от нашего вида, а самое замечательное, что я, вся испачканная, измученная, в руках держала авоську с вареной курицей, которую захватила с собой из Волосова...

В Ленинграде все было спокойно. Юра начал хлопотать о нашей эвакуации в Горький к своему брату. Люди из райсовета и районо предлагали нам отправить тебя с каким-либо детским учреждением в тыл, но я решительно отказалась и сказала, что поеду только с тобой. Через месяц, в сентябре, мы эвакуировались в Горький к дяде Коле, папа провожал нас на Московском вокзале и очень огорчился, что мы не могли взять теплые вещи: ты был еще мал, чтобы таскать чемоданы, а я готовилась к родам и захватила лишь простыню, спички, огарок свечи и кружку для питья. На станции Вишера мы опять попали под бомбежку. Целый день наш поезд маневрировал в разные стороны, и только ночью мы выехали на нужный нам путь. Ты, сынок, у меня был на редкость выдержанным парнем и,

глядя на мое лицо, не задавал лишних вопросов. Еда у нас была, а воду пили из бачка в вагоне. Дня через 3—4 мы добрались до Горького.

* * *

В Горьком в начале сентября было тихо, но дядя Коля и его жена — врач, жили на казарменном положении у себя на работе. Потом начались налеты на город. В Горький понаехало много людей из Москвы, и мне с большим трудом удавалось не отпускать тебя от себя надолго, ты все время интересовался городом и уходил незнамо куда. А я решила, что мы с тобой ни в какие бомбоубежища не будем прятаться, а будем сидеть во время налетов на крыльце нашего дома. В бомбоубежищах было всегда много народа, душно и темно, и я тебя то и дело теряла в этой толпе.

Деньги наши с тобой кончились, окружение Ленинграда, по-видимому, было завершено, так как от папы перестали поступать письма и переводы. Я тогда пошла в облздравотдел, предъявила свой врачебный диплом, сказала, что скоро жду второго ребенка, и мне дали направление в Пыщугский район заведовать районной больницей. И вот мы с тобой в товарном вагоне на охапке сена в углу — поехали. С питанием в пути было трудно. Хорошо, что, живя в Горьком, я насушила черных сухарей и засолила несколько кусочков сала. Единственная мысль была скорее доехать до Пыщуга, так как я боялась, что рожу в дороге и меня снимут с поезда в ближайшем населенном пункте, а тебя отправят в какой-нибудь детдом.

Ехали мы с тобой недели две. В какой-то деревне недалеко от станции Шарья я позвонила в Пыщуг, чтобы за мною прислали лошадей, так как нам еще предстояло от станции ехать 120 километров. В этой же деревне нас накормили горячей картошкой с молоком, и там же мы познакомились с каким-то ответственным работником. Он ехал с женой и сыном твоего возраста.

Узнав, что мы из Ленинграда, он угостил нас колбасой и предложил перевезти на другой берег реки Ветлуги в своей машине. Но я почему-то отказалась, и мы вышли их провожать на паром... И ты не можешь себе представить весь мой ужас: когда их машина с крутого берега стала подъезжать к парому, последний, почему-то оторвавшись от берега, поплыл по течению, а машина со всей семьей и шофером как-то сразу нырнула в воду и — все... Я загородила от тебя эту жуткую картину и, выбежав на горку, увела тебя в деревню. Деревен-

ские уже бежали к реке с веревками и баграми на место катастрофы, но никого не спасли.

На другой день за нами пришла подвода, и мы с тобой, стоя на пароме, переехали реку, а дальше три дня тряслись на телеге по лесной дороге.

* * *

Приехав в Пыщуг, я стала сразу знакомиться с работой. Оказалось, что больница обслуживает десять сельсоветов, которые разбросаны далеко друг от друга. Имеется одно здание стационара, одно — амбулатории и недостроенный родильный дом. Сарай. При больнице одна лошадь и две коровы, небольшой участок земли во дворе. В райцентре начальная школа, райком партии, райисполком, милиция, церковь, превращенная в клуб. Тротуары из досок. Есть своя электростанция, которая работает до 12 часов ночи и дает электроэнергию для больницы.

Мы жили в обыкновенной деревенской избе на территории больницы. Но, как все дома на Севере, эта изба была высотой в двухэтажный дом. Внизу двор для скотины, овец и кур. Вход в это помещение был и с улицы, и из избы, и называлось оно "голбец". Вообще на Севере существовал свой язык. Прошлый год люди называли "лонись", одежду — "оболочка" или "лопотина". Я долго не могла привыкнуть к этому языку.

И вот 16 ноября 1941 года я с завхозом поехала в ближайший колхоз выбирать телку для больницы, и там у меня начались схватки. Едва успев вернуться и добежав до роддома, я очень быстро родила Наталью. Акушерка — девчонка Нюра, только что окончившая медшколу, слушая мои указания, принимала роды. К вечеру я попросила Нюру привести тебя к нам в палату, боясь, что тебе одному будет страшно ночью. Так ты и прожил в роддоме с нами три дня, а на четвертый я уже пошла в райисполком на совещание просить дрова для больницы. Вероятно, у меня был далеко не блестящий вид, когда, едва держась на ногах, я поднималась на второй этаж, в кабинет предрайисполкома Крохичева. За мной шел секретарь райкома партии Андреев. Узнав, что я только что из роддома, он приказал Крохичеву наш больничный вопрос решить первым, после чего дал мне сопровождающего, и я с трудом дотащилась до дома. Потом, не отдохнув ни одного дня, я взялась за экстренное оборудование старого сарая под инфекционное отделение, потому что в районе начался сыпной тиф. Вместе с санитарками и сестрами мы сделали завалинку

вокруг сарая, настелили пол, поставили перегородки — получилось 4 палаты, и в каждой из них сложили из кирпича печки. Среди нас работал только один мужчина — старик-конюх. Гвозди, стекло я выпросила через райком в сельпо. А эпидемия сыпняка все разрасталась. Мыла не было, эвакуированные прибывали, люди скапливались по нескольку семейств в одной избе, появилась сыпная вошь, и стоило в избе заболеть одному человеку, как заражались другие, особенно слабые и истощенные. Мне, хирургу, пришлось вспомнить все инфекционные болезни, и я стала настоящим земским врачом. Разъезжая по деревням, я сталкивалась с такой завшивленностью, что волосы шевелились на голове. В некоторых избах вши обитали не только на людях, но даже в пакле, которой были проконопачены бревна. Мы с сестрами и санитарками сбились с ног, борясь со вшами, но почти две зимы сыпняк не покидал нашу больницу. А одновременно с ним свирепствовала скарлатина, дифтерия, дизентерия, коклюш.

Когда я лежала в роддоме, то позвонила на почту, чтобы послать "молнию" в Ленинград о рождении Наташи и нашем с тобой благополучии. Начальница почты долго мне доказывала, что это бессмысленно, что с Ленинградом нет связи. Но все же я ее убедила принять телеграмму. Ты отнес текст и деньги на почту, и мы с тобой через неделю получили радостное сообщение: "Целую всех троих. Юра". Это была последняя весточка от него. Больше мы уже ничего не получали.

* * *

Потянулись жутко морозные дни. Мне приходилось работать буквально сутками. А по ночам Наташа очень плакала, и все время приходилось носить ее на руках. Утром без сна, с красными глазами я шла на работу. Хорошо еще, что кормить грудью я могла забегая домой в любое время. Наталья росла толстой здоровой девочкой, и я, невзирая на морозы, ежедневно вывозила ее на улицу гулять. Когда ты возвращался из школы, я тотчас осматривала твою одежду — нет ли на ней вшей. Каким-то чудом ни я, ни ты не заболели сыпняком.

Я впервые в жизни видела рецидив сыпняка, когда у больного после кризиса вновь подскочила температура со вторичным высыпанием сыпи. Ты этого больного должен помнить, это был фотограф — инвалид Бессонов. И все же мне удалось его спасти, а его жена Шура за это согласилась работать няней в инфекционном бараке.

Ты часто уходил на самодельных лыжах в лес, а я обычно беспокоилась, так как в наши леса, спасаясь от войны, набежало много всякого зверья, да и охотиться на них было некому. Помню, как белки шли тучами по деревьям, которые росли на больничном участке, а по ночам к окнам нашей избы подходили лоси, и я первое время не понимала, что это за громадные ветви раскачиваются у нас под окнами. Ты спал, нянька Маруся спала, а я ходила по ночам с Наташкой на руках и все это видела.

* * *

Наступила весна 1942 года. Нам, для больницы, распорядились отдать землю под посевы овса, и вот мы с завхозом Хихлухой сделали двухметровую "шагалку" и по колено в грязи стали мерить землю. Промучились все воскресенье, но ничего из наших измерений не вышло. В понедельник я пошла в райком, там посмеялись, но дали мне землемера. Сеяли овес в сырую землю силами работников больницы.

Этой же весной я, слава Богу, избавилась от прежнего завхоза Скворцовой из Москвы. Она эвакуировалась в Пыщуг с ребенком, матерью и сестрой. Мы жили в одной избе — в разных половинах, — и я часто видела, как они жарят котлеты, пекут пироги и т. п. Оказалось, что она хорошее мясо из больничной кладовки брала себе, брала пшеничную муку и манку, а заменяла их плохим мясом, купленным на рынке, и овсяной мукой. Когда это выяснилось, секретарь райкома Андреев снял ее с работы, а вместо нее мне дали Проню Карповну Хихлуху из Конотопа. Она была очень честным работником. Часто вечерами приходила на нашу половину, мы пили чай, и она все время любовалась на Наташу, которая в распашонке ползала по кровати.

У Хихлухи в первые же дни войны погибли муж и сын, и она была вся седая. Возможно, что одиночество и привязало ее к нам.

Весной я кое-как заказала тебе сапоги и сшила сама куртку и кепку. А мне в местной мастерской из казенного одеяла пошили пальто, Наташа росла в марлевых распашонках. А зимой на чердаке нашей избы я нашла какое-то тряпье и скроила ей платье и фланелевое пальто на вате и себе сделала из холщовой юбки, которую купила у одной старухи, вполне приличное платье.

С бельем и одеждой было трудно, но меня угнетало другое: мысли о том, что Юра погибает от голода в Ленинграде,

сводили мне судорогой глотку, как говорится, кусок хлеба застревал в горле, и до того я была тощая, что все поражались, глядя на меня: откуда бралась энергия у этой истощенной особы. Но я знала, что надо только так работать в тылу, чтобы победить врага. Каждую ночь, нося Наташу на руках, я слушала сводки по радио, а вот ты, слава Богу, их не слыхал и спал себе спокойно. Но после того, как немцев отогнали от Москвы, мне стало полегче.

Той же весной мы с Проней Карповной развели огород, посадили картошку, лук, огурцы, морковку. В Пыщуге не было ни яблонь, ни слив или вишен. Но зато в лесу и на болотах росла дикая смородина, клюква, малина, брусника. Вот этих ягод ты за лето, бывало, наносишь столько, что нам хватало на всю зиму, особенно брусники и клюквы. А белые грибы ты порой собирал прямо на территории больницы, где росли елки.

Мои больные ко мне относились хорошо: кто принесет пару луковиц, кто яичек, кто меду. А иногда — за удачное лечение — и живую курицу. Я вначале возмущалась и не брала, так они сами заходили в сенцы нашей избы и там все оставляли. Они знали, что в больнице кроме хлеба и тарелки супа я ничего не получаю. Изредка в сельпо нам давали молоко, и, как ни странно, там на полках стояли ряды банок с крабами. Я их покупала, а ты с большим удовольствием ел.

Так что наша жизнь в Пыщуге протекала довольно сносно. Одно меня огорчало, когда я должна была с Проней Карповной ездить “побираться” по колхозам, то есть собирать продукты для больницы. На это обычно уходило воскресенье. Твердой разнарядки на продукты у нас не было, и мы довольствовались добровольными пожертвованиями, кто что мог, то и давал. А я ведь кормила Наташу грудью, и мне приходилось где-нибудь в деревенской избе сцеживать молоко, грудные железы набухали, и мне было больно поднять руки. Деревенские бабы обступали меня, жалели, сочувствовали, обмазывали мне грудь и заклинали, чтобы я не простудилась, иначе начнется грудница. Такая же история повторялась, когда мне целыми днями приходилось работать в военкомате, но сюда нянька приносила Наташу, и, устроившись где-нибудь за шкафом, я кормила ее грудью, а у самой от боли лились слезы, так как молока было много и Наташа не могла все молоко высосать. Кормила я ее грудью целый год. Потом с нами подружился директор молокозавода Макар Виноградов. Он страдал эпилепсией и был белобилетником, у него была жена — очень добрая женщина, и двое детей. И когда я начала Наташу отнимать от груди, он иногда посылал для нее сливки.

А летом сорок второго он даже продал мне по государственной цене поросенка. Я отказывалась, потому что не знала, чем буду его кормить, а он назвал меня дурой и велел каждый день нашей няньке приходить на маслозавод за сывороткой, которая стоила 30 копеек ведро.

Мы с нянькой Марусей довольствовались скромными больничными обедами. В общем, не голодали. Плохо было лишь с мылом. Если я доставала кусочек, то берегла его для Наташи, а мы с тобой мылись щелоком, и белье Маруся стирала тоже щелоком.

Стасик, ты, наверное, помнишь, как ты однажды в "черной бане", думая ополоснуться в теплой воде, залез в бочку со щелоком и заорал благим матом. Я сразу вытащила тебя из бочки и начала обливать холодной водой, и все кончилось благополучно. Каждую субботу одна моя больная приглашала нас с тобой в "черную баню", после которой мы шли к ней пить чай с медом и ржаными лепешками. Их называли "пряженниками". Это было целое пиршество. Алексей Бессонов и его жена Шура за то, что я спасла его от сыпного тифа, иногда приносили нам жареную щуку — он сам рыбачил. Шура почти насильно затаскивала меня к себе и угощала, чем могла, охала, что я такая тощая, потому что много работаю. Милые, добрые люди! Как они старались мне помочь и скрасить нашу убогую жизнь!

И хотя ты все пыщугские зимы отходил в легком самодельном пальтишке, в стареньких катанках, на которые в весеннюю распутицу надевал вместо галош мои белые теннисные туфли, мы с тобой за три года тамошней жизни ни разу ничем не болели.

А помнишь, как любовались северным сиянием?

Бывало, сидим на своем крыльце — дом стоял на горе, а внизу простиралась болотистая равнина, переходящая в лес, — и как зачарованные смотрим на белые столбы на небе, которые переливаются голубым и зеленым светом, и в моей голове каждый раз мелькала мысль, что если немцы появятся в Пыщуге, то мы укроемся в этом лесу.

* * *

На вторую зиму в Пыщуг приехал первый секретарь Горьковского обкома партии Родионов.

Пришел познакомиться в больницу. Когда за мной прибежала санитарка, я моментально надела свой тяжелый пиджак на собачьем меху, подшитые громадные валенки —

дредноуты, которые нашла летом на чердаке, и побежала, но какие-то двое в штатском остановили меня в дверях и не пропускают, хотя я им показала круглую печать и назвалась главврачом. В это время из палаты вышел Родионов и, глядя на меня, ахнул: такой смешной был у меня вид, не соответствующий виду главного врача. Мы с ним прошли в мой кабинет и, несмотря на вечернее время он по телефону вызвал секретаря райкома Андреева и председателя райисполкома Крохичева. Те быстро пришли, и Родионов в моем присутствии начал их распекать за то, что я получаю только 400 граммов хлеба при том, что кормлю грудного ребенка. Он кричал на них, что в райкоме есть 10 литерных пайков, что какая-то машинистка получает паек, а тут человек, оберегающий здоровье людей в окружности 100 километров!

Мои начальники только кряхтели и молчали, а когда Родионов увидел, что я сворачиваю из махорки "козью ножку", он совсем вышел из себя. Как ни уговаривали его Андреев и Крохичев, он не пошел ночевать к ним, а остался ночевать в моем служебном кабинете.

Через несколько дней после его отъезда меня вызвали в райком, дали какие-то талоны, и я пришла домой с папиросами, белой мукой, манной крупой, сахаром и с мануфактурой на всех трех человек.

С тех пор жизнь наша стала много легче. Я сама пошила тебе рубашку и штаны, а Наташе платьице. У нас появилось мыло. И только мысль о том, что в Ленинграде погибает Юра, не давала мне покоя ни днем, ни ночью.

Почти каждую ночь, уложив Наташу спать, я уходила на кухню, садилась на порог и плакала, пока сон не одолевал меня...

* * *

Помимо больницы мне часто приходилось работать в военкомате председателем врачебной комиссии. Однажды меня туда вызвали неожиданно, хотя там постоянно работали два местных врача. Но оказалось, что они все время давали отсрочку от призыва мужу Анфисы Бессоновой — заведующей райздравотделом. А тут Андреев заподозрил что-то неладное и вызвал меня. Я освидетельствовала призывника и дала заключение, что он годен к строевой службе. После этого начались многие мои беды. Анфиса Бессонова чуть ли не каждую неделю стала ревизовать хозяйство больницы, придираться к каждому пустяку, но так как я ничего больнич-

ного не брала, то ее ревизии не давали никакого результата. Однако меня так издергали ее придирки, что я пришла к секретарю райкома и попросила освободить меня от заведования больницей. Он резко отказал мне, Анфису вызвали на бюро, и она прекратила все свои ревизии. Жизнь снова пошла нормально.

Работая в больнице, я стала подбирать себе персонал из эвакуированных, особенно как-то хорошо относилась к ленинградцам. Не имея близких родных, я считала их своими родными.

Так, я устроила одну женщину на кухню. У нее был мальчик шести лет, и благодаря кухонной работе они не голодали. Счетоводом у меня тоже работала ленинградка Аня, к которой с фронта приехал на свидание муж — на одну неделю — и очень мне не понравился своим хвастовством. Также к нам в больницу приезжал контр-адмирал Фокин, к своей сестре врачу Фокиной, и все меня утешали, что скоро освободят Ленинград и что я увижу Юру. Но я этому не верила, так как все чаще в больницу поступали дистрофики. От них я узнавала об ужасах, которые пережил город в первые месяцы окружения. Многие из них погибали от истощения, несмотря на назначенное им усиленное питание.

Единственно, за что я себя ругаю — это за то, что у меня не было пункта переливания крови. Доноров я бы нашла, но определять группу крови в больнице не было возможности. А мне казалось, что если бы я это сделала, многие из них могли бы выжить. Это были живые скелеты с потухшими глазами, ничего не желавшие, впавшие в апатию, но со светлой памятью... Весной 1942 года мы с тобою узнали из письма дяди Коли, что Юра умер в своем институте, в своем кабинете. Он был непрактичный человек, верящий во все, что ему скажут, потому он не запасся продуктами на первые, самые тяжелые месяцы блокады. А последующие были полегче, после того как открылась "Дорога жизни".

В одном из писем мой брат Сергей обещал мне, что на парашюте спустится в Ленинград, чтобы спасти Юру. Но Сергей тоже погиб, сгорел на самолете вместе с пилотом и радистом. Он был штурманом эскадрильи авиации дальнего действия, мастером ночных полетов, бомбил Берлин и Кенигсберг, был за это в октябре 1941 года награжден орденом Боевого Красного Знамени.... Пытались они на горящем самолете дотянуть до своего подмосковного аэродрома, но врезались в землю. Их целый день откапывали друзья-летчики и похоронили на воинском кладбище возле станции Щербинка.

Не забывай, Стасик, эту могилу. И к отцу в Ленинград на Пискаревское кладбище наведывайся...

У Сережи от перегрузок во время ночных полетов на Германию началась желтуха, его хотели перевести в штаб, но он категорически отказался. И писал мне, что будет бить немцев и освобождать родину, несмотря ни на какие болезни. Он был настоящий летчик. Вечная память ему и слава*.

* * *

В 1943 году в Пыщуге появилась Нюшка Углова, которая сразу же напомнила мне персонаж из рассказа Лавренева — атаманшу Лёльку. Углова была одновременно и судьей, и исполнителем приговоров. Любимое ее дело было делать налеты на сельпо, детский садик, магазин, столовую, школу, мельницу, и, заподозрив какую-либо недостачу, она сразу арестовывала подозреваемое лицо и, не вдаваясь в судебную волокиту, выносила приговор, как правило, с конфискацией имущества, а самого подсудимого отправляла по этапу в ближайший лагерь.

Однажды к нам вечером прибежала заведующая яслями, бывшая учительница, муж которой был на фронте, и умоляла меня взять ее одеяла и подушки, так как завтра у нее конфискуют все личные вещи, а ее отправят в Гороховецкий лагерь. Я, конечно же, отказалась что-либо брать,. и Проня Карповна мне отсоветовала... Однако в скором времени в Пыщуге открылась какая-то аукционная лавка, где продавались конфискованные вещи.

Нюшка Углова объявляла начальную цену, стучала револьвером по столу до трех, и вещи переходили к новым владельцам. Я категорически запретила тебе к этой лавке подходить.

Углова ходила по деревянным тротуарам села, похлопывала рукой по кобуре, а люди молча с испугом глядели на нее и уступали ей дорогу.

* * *

Второй год жизни в Пыщуге был легче. Я уже знала, что моя сестра Дуся вернулась из Сибири, где была в эвакуации, в Калугу, и она обещала мне прислать вызов на право проезда.

---

* Имя майора авиации Железнякова С. П. включено в Книгу памяти Калужской области.

Наташа уже ходила, ты учился во втором классе, летом пропадал с ребятами на речке или в лесу, а зимой вечерами мы много читали. Библиотека в селе была хорошая. Вызов пришел ко мне осенью 1943 года, и под новый сорок четвертый год мы выехали на двух санях на станцию Шарья.

Персонал больницы и больные провожали нас очень сердечно. На проводы пришли десятки бывших больных, которых я спасла, кого от сыпняка, кого от скарлатины, кого от гнойного аппендицита... Да не счесть было за три года больных, кому я помогла и кого вернула к жизни. Думаю, что многие из них до сих пор поминают меня добрым словом.

К нашему счастью, в Пыщуге был в отпуске после ранения солдат, часть которого стояла в Калуге. Из Пыщуга, чтобы посадить нас на поезд, поехал сам начальник милиции, у которого были ключи от вагонов. Проехав за трое суток 120 километров по морозным, занесенным снегом дорогам (вы были с головой укрыты тулупами), мы остановились в Шарье в какой-то избе недалеко от вокзала. Спали не раздеваясь в ожидании поезда. На второй или третий день в четыре утра нас разбудили, и мы пошли по темным улицам к вокзалу. Наташка у меня на руках, а ты схватился за мое пальто. Мужчины несли вещи и продукты. Начальник милиции открыл первую попавшуюся дверь, впихнул нас с вещами в тамбур, сунул мне в руки проездные документы, и поезд тут же тронулся. До Москвы мы ехали три дня.

В Калуге нас с машиной встретил Дусин муж.

Поселились мы у моей матери, твоей бабушки, — жили все пятеро в одной комнате без электричества, без водопровода, без уборной, на первом этаже. Один угол в комнате всегда промерзал и был в инее. Сердобольные знакомые дали нам чугунную буржуйку, и жилье стало теплее.

2 января 1944 года я начала работать хирургом в эвакогоспитале “14-19”. Уходила в 8 утра, а возвращалась в 12 ночи. Ты рос как в поле трава, и потому однажды случилась с тобой беда. Мне позвонили и сказали, что Стасик попал под машину. Оказывается, ты катался на коньках по улице, держась за бампер автомобиля, а когда тот подпрыгнул, тебе бампером раздробило переносицу, и хорошо, рядом был венерический госпиталь для военных — тебя сразу оттащили туда, остановили кровотечение, но несколько дней ты был без сознания. Мы боялись, что у тебя перелом основания черепа, но обошлось...

После операции, которую сделал лучший калужский хирург Осокин, я в течение 10 суток держала у тебя на голове пузырь

со снегом... Какой-то молодой лейтенант выгнал из палаты в коридор самых шумных венериков и стал помогать мне: ходил на улицу, приносил свежий снег... После выписки кости на лбу и переносице гноились у тебя еще несколько месяцев, но потом гниющие осколочки постепенно вышли один за другим, и все зажило... Нет слов благодарности моим коллегам по госпиталю — пока я самое трудное время ухаживала за тобой, они взяли на себя все заботы о моих пациентах.

Вскоре меня назначили начальником отделения тяжелораненых. Начальник госпиталя Гладырь поглядел на меня и, узнав, что у меня в отделении 3 операционных дня в неделю, а раненых — 200 человек, предложил мне сдать все мои и ваши продуктовые карточки в госпиталь, чтобы мне там питаться, и распорядился, чтобы вам с Наташей на кухне отпускали обед и давали хлеб по детским карточкам.

Так мы прожили последний год войны. Ты и Наташа были сыты, а самое главное, больше не болели. Работать мне было тяжело, но, на счастье, средний и младший персонал моего отделения был очень хорошим. И вот, наконец, пришел день Победы. Все радовались окончанию войны, а я сидела в своей ординаторской комнатушке и горько плакала. Это была реакция на все пережитое мною во время войны.

* * *

Вскоре госпитали были расформированы, и я получила направление заведовать железнодорожной больницей в городе Конотопе, где жила моя подруга по эвакуации Проня Карповна Хихлуха.

Больница была недалеко от вокзала, и в нее часто поступали раненые военнослужащие, возвращавшиеся с Запада домой. Многие из них были ранены бендеровцами, которые даже осенью сорок пятого еще нападали на наши поезда... Да и на вокзале мы часто слышали стрельбу, в городе было много бандитов, и наутро иногда к нам привозили и раненых, и убитых.

Почти весь персонал больницы — врачи, сестры, санитарки — работали у немцев во время оккупации Конотопа в течение трех лет. Каждое утро, приходя в свой кабинет, я находила кучу писем, доносов, которые друг на друга писали хохлы. Мне было очень трудно работать в такой двуличной атмосфере. Я в Пыщуге и в Калуге привыкла к честной работе и доверяла своему персоналу. А тут — доносы. Вначале я их читала, но потом, когда в моей голове все перепуталось — кто

прав, кто виноват, я решительно собрала всю эту подметную литературу, отнесла ее в НКВД и приказала персоналу больше не приносить мне пакостную писанину, чтобы я могла спокойно выполнять свои непосредственные обязанности.

В это же время в больницу вернулись хорошие врачи И. И. Пепловский и Т. А. Макунина. Но Пепловский с ранеными попал как-то в плен, и начали его, бедного, таскать ежевечерне на допросы. У него от нервного напряжения открылась язва, и пришлось мне идти в некое учреждение и просить, чтобы его оставили в покое. А с тобой все получилось неладно. Ты каждый день приходил из школы взбешенный плохими отметками, которые тебе ставили по украинскому языку и литературе.

И вот из-за этой украинской школы я все-таки решила снова вернуться в Калугу. Проня Карповна, пришедшая к нам в гости, когда я ей рассказала о персонале, о доносах, о твоей школе, тоже посоветовала мне возвращаться на родину. Да и жизнь в Конотопе была еще очень тревожной. Однажды в мое дежурство в больницу ввалились четыре летчика. Двое тащили товарища в летной форме лет двадцати. Он не мог переставлять ноги. А третий вел под пистолетом парня, который кричал: "браты, рятуйте, мэнэ вбивають!" Оказывается, эти летчики из авиагородка имени Осипенко были на базаре, и шулер в шинели при них обыгрывал в "веревочку" доверчивых людей. Летчики сообразили, в чем дело, вырвали у него веревочку, наподдали ему, повернулись и стали уходить, и тут негодяй выстрелил одному из них в спину. Пуля попала в позвоночник самому младшему, у него сразу отнялись ноги, и он упал.

Двое летчиков бросились к жулику, схватили и притащили его и раненого товарища в больницу. Я осмотрела раненого, красивого молодого парня, у которого отнялись ноги, и сразу поняла, что пуля перебила спинной мозг, наложила повязку, вернулась в кабинет, где на диване сидели летчики и с вынутыми револьверами стерегли негодяя. Я сказала, что их товарищ в очень тяжелом состоянии и его надо срочно на самолете доставить в нейрохирургический госпиталь в Харьков. Они мне назвали номер телефона санчасти авиагородка, и когда я стала объяснять по телефону, в чем дело, базарный аферист соскочил с дивана, юркнул за спинку моего кресла и стал крутить меня, закрываясь мной и креслом, как щитом... Я в панике закричала, чтобы летчики не стреляли, но один из них, ловко перегнувшись через стол, схватил-таки мерзавца за рукав. Они выволокли его через коридор в больничный сад и тут же пристрелили на моих глазах...

* * *

В 1947 году я все-таки вернулась в Калугу, где, чтобы выучить вас, стала работать сразу на трех работах: хирургом в железнодорожной больнице, по совместительству в поликлинике и в физкультурном диспансере. Я ведь до медицинского окончила в начале тридцатых годов еще один институт — физкультуры.

Ставка врача после войны была 850 рублей, а мешок картошки на рынке стоил 550 — 600. А если еще вспомнить о вычетах на Госзаем, да профсоюзы, да подоходный налог...

Вот и приходилось совмещать, чтобы заработать две, а то и три ставки. Тем более что ты уже в институт поступил, и тебе каждый месяц надо было посылать 150 рублей, а Наташа кроме школы училась за плату английскому языку и музыке. В конце сороковых — начале пятидесятых я не знала годами ни выходных, ни праздничных дней. Брала дежурства, где только было можно, оперировала до поздней ночи, а к 9 утра бежала в поликлинику, потом домой перекусить на ходу, потом в физкультурный диспансер или в фармацевтический техникум. Не понимаю одного до сих пор — как я могла выносить такие нагрузки! Но меня в Калуге как врача любили и знали.

Помню, как летом 1953-го после ворошиловской амнистии ко мне в железнодорожную больницу пришел главарь какой-то базарной шайки Иван, фамилию не помню, попросил, чтобы именно я его прооперировала. Рука у него была пробита пулей, которая засела в области таза. Слепое ранение. И рана уже нагнаивалась. Дружки ждали его в приемной. Я занялась им, но пулю никак не могла найти, так как у меня в это время не было рентгенолога: дело было в майские праздники. Ванька быстро затемпературил. И вот я сказала его дружкам: может начаться заражение крови, срочно нужен пенициллин, который в то время был большой редкостью, но они принесли мне через час коробку пенициллина. Температура быстро упала, и из гноящейся раны во время одной из перевязок мне удалось извлечь пулю. Иван выписался. А я после этого в городе была окружена особой заботой. У меня ничего из карманов не вытаскивали, портфель с зарплатой не резали, каждое дежурство я находила на столе букет цветов или флакон духов. А однажды, когда я шла на очередное дежурство, в скверике Мира мне повстречался Иван и стал расспрашивать, сколько я получаю. Когда мы распрощались с ним, придя в ординаторскую, я открыла портфель, а из него посыпались сторублевки — целых пять штук. Это, конечно, было делом

его рук, он сидел рядом со мной, сворачивал трубочкой каждую бумажку и засовывал в мой портфель. Сделано это было артистически. Я ничего не заметила... До сих пор с благодарностью вспоминаю о нем, потому что он понял, как тяжело было мне зарабатывать на жизнь... Я ведь до той поры, как ушла на пенсию в 1962 году, ни в одном доме отдыха, ни в одном санатории ни разу не была..."

* * *

На этом рукопись заканчивается. Но, может быть, подобные воспоминания хранятся во многих русских семьях. Может быть, прочитав эти бесхитростные записи, кто-либо из моих читателей вспомнит о своей жизни и о жизни своих отцов и матерей. Нам нечего надеяться на официальных историков и продажных летописцев рыночной демократии, на прикормленную в различных "институтах" и "фондах" образованщину с академическими и докторскими званиями. Будем осмысливать свою историю и великую советскую цивилизацию сами.

На закате великой эпохи

Школа сталинских времен. Университет. Студенты и профессора. Похороны вождя. Раздвоенность мировоззрения. “Права человека” и ход истории. Оттепель. Ее герои и жертвы. Путевка в жизнь

Летом 1952 года на Моховой, в левом крыле старинного университетского здания я влился в толпу юношей и девушек, приехавших со всех концов нашей страны поступать в храм науки.

Надо сказать, что те сталинские годы были временем расцвета и могущества советской школьной системы. В нашей калужской обычной школе-десятилетке, нас, оказывается, подготовили к дальнейшей учебе настолько добросовестно, что из 20 выпускников моего класса 17 или 18 провинциальных юношей, у большинства из которых не было отцов, погибших на войне, а матери работали врачами, мелкими служащими, продавцами, почтальонами и даже уборщицами, выдержали конкуренцию с детьми московской элиты и с первого раза поступили в лучшие вузы страны.

Алик Мончинский и Борис Фомин поступили в Энергетический институт, Виктор Алексеев, Стасик Лысобык и Юра Ряжнов в Институт железнодорожного транспорта, Витя Баранов и Алик Боровков в Институт стали, Вадим Багдасарьян — в медицинский, Юра Андрианов — в Ленинградское высшее мореходное училище, Юра Никольский в Менделеевский химический институт, Борис Горелов в пушно-меховой, ну а я, после того, как полгода проучился в авиационном, по второму разу бесстрашно принял решение поступать на филологический факультет МГУ. И добился своего. Никуда

не поступили из нашего класса лишь два-три человека, и то потому, что не захотели уезжать из дома, от родителей, и стали строить свою судьбу в родной Калуге.

Возможно ли сейчас, чтобы школьники из дальней глубинки, из поселков или даже деревень российских, из простых государственных школ, а не каких-нибудь частных, привилегированных "колледжей" смогли повторить наш путь?

А тогда на чугунных лестницах и в коридорах филфака я встретил сотни провинциальных десятиклассников, уверенно ворвавшихся в святая святых советской науки...

Аркадий Баландин из мордовской деревни, Геннадий Калиничев — тоже из провинции, кажется, из Куйбышевской области, Виктор Коржев из лесного костромского села Павино, Володька Гамалей из дагестанского города Хасавюрта... Да разве всех перечислишь! По моим предположениям, более половины студентов и студенток тех сталинских лет были высокообразованными, хорошо подготовленными детьми рабочих, крестьян, скромных служащих, солдатских и офицерских вдов, учителей, врачей, а весьма часто и воспитанниками детских домов, потерявшими родителей во время войны... Именно люди этого поколения, этой системы образования через десять лет создали базу и условия для прорыва нашей страны в космос. После чего, глядя на нас и подражая нам, даже спесивые американцы вынуждены были усовершенствовать систему своего школьного образования.

Я думаю, что эта необыкновенная воля к осуществлению любых целей, выносливость и жажда успеха в любом деле, за которое мы брались, определялась самим воздухом победы, в котором мы жили и которым мы дышали в первые послевоенные годы... Мы были не просто несчастными детьми войны, но детьми великой победы. Может быть, поэтому мы не унывали, хотя жили бедно. Обычной едой в те годы в нашей семье была пшенная каша да толченая картошка с молоком. Прохудившиеся кастрюли и ведра мы не выбрасывали, я чинил их, вдохновенно орудуя паяльником, оловом и соляной кислотой. О велосипеде, о часах или о коньках многие из нас могли только мечтать. Чтобы одеть, прокормить и выучить нас с сестрой, мать работала на двух, а то и на трех работах. Уходила рано утром и возвращалась к полуночи. Всю свою многотрудную жизнь мать — хирург высокой квалификации! — гордившаяся тем, что заработала себе приличную пенсию (120 рублей!), благодаря которой может быть на старости лет независимой ни от подруг, ни от детей, прожила сводя концы с концами. Шить она умела и любила с детства. Но занималась,

как правило, бедным шитьем: что-либо переделать, из бросовой вещи сотворить нечто сносное, перекроить старое пальто на куртку сыну или внуку, украсить стареньким, но дорогим в ее глазах кружевцом крепдешиновый ("такого материала теперь не достать!") воротничок. Не жалея пальцев, без наперстка ("мешает только!") она с помощью плоскогубцев чинила цигейки, кожаные куртки, туфли, зимние сапоги, протаскивая туда-сюда толстую иголку сквозь задубевшую кожу.

После ее смерти я нашел в гардеробе несколько коробок с пуговицами, когда-то отрезанными с различных одежек и тщательно рассортированными по размерам и расцветкам. Среди этой груды пластмассы, цветного металла и перламутра, я уверен, были пуговицы, которыми я застегивался в холодную зиму сорок первого года, и пуговицы от пальтишек моей покойной сестренки, и от гимнастерки погибшего брата-летчика...

Эта бережливость и привычка "по одежке протягивать ножки" перешла по наследству и ко мне.

До сих пор я испытываю бережную нежность к недоношенным вещам, к недоеденному куску, ко всякой ерундовой вещице, в которую вложен труд человеческий. "Хлеб наш насущный даждь нам днесь" — эти горестные слова молитвы всегда трогают и размягчают мою душу. У меня непроизвольно сжимается сердце, когда я вижу мужиков-охранников везде — в поликлинике, в школе, в театре, в магазине (сколько их по всей России — сотни тысяч!), или когда утром вытаскиваю из почтового ящика груду цветной глянцевой рекламной макулатуры, которую тут же отправляю в мусоропровод, или когда вижу доверчивых дебилов, жаждущих выиграть большие деньги в телевизионной игре "О, счастливчик!", или (даже смешно признаться!), когда мне продавщица подает буханку хлеба, булку или ватрушку, обязательно упакованную в целлофановый пакетик. И я думаю: десятки миллионов этих пакетиков ежедневно засоряют наши луга и леса, нашу небогатую землю.

Не может, не должна моя не легкая для жизни во все времена, исповедовавшая правило разумного достатка, а порой и аскетического самоограничения, Родина долго выдерживать такое навязанное ей расточительство... Дождемся очередного дефолта, как наказания за то, что не удержались от соблазна.

Невозможно выдержать подобных бессмысленных нагрузок и затрат, которые навязываются нам обществом потребления. "Так нельзя. Это путь к медленной смерти", — говорит мне тихо и печально голос всей моей прошлой жизни и голос совести.

Вот, видимо, почему в 1959 году мою душу тронули стихи Бориса Слуцкого о XX веке:

Он одел меня в парусиновое,
в ватно-стеганое одел,
лампой слабою, керосиновою
осветил, озарил мой удел.
Если я из ватника вылез
и одел костюм выходной,
значит, общий уровень вырос
приблизительно вместе со мной.
Вот иду я двадцатилетний,
средний, может быть, нижесредний
во своей, так сказать, красе.
Кто тут крайний? Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.

Это мировоззрение, перекликающееся с древней народной мудростью, живущей в пословице “о суме и тюрьме”, было и до сих пор остается заповедью моей жизни.

Я вплоть до десятого класса ходил во всем перешитом и перелицованном, и первый костюм мне справили только в университете, да и то лишь потому, что в 1954 году к нам приехала в отпуск из Магадана сестра матери тетя Поля, которая подарила мне ко дню рождения отрез серого коверкота. Я ждал, когда мне сошьют этот костюм, с чувствами не меньшими, нежели чувства героя из повести Гоголя “Шинель”. Кстати, тетя Поля, отсидев свои пять лет, остальные двенадцать работала в Магадане на швейной фабрике как вольнонаемная и вернулась в 1956 году в Калугу весьма богатой по тем временам женщиной. Но как бы трудно ни жилось нам в те годы, мы были уверены в своем будущем.

Мы ходили в школу пешком за несколько километров, жили в тесных коммуналках, где трудно было учить уроки, а потому образованием занимались в читальных залах и городских библиотеках, где сидели не только над школьными учебниками, но готовили вне всяких программ доклады по теории относительности Эйнштейна и по “Слову о полку Игореве”... Из репродукторов для нас пели Лемешев и Обухова, Козловский и Русланова. У нас были такие фанатичные учителя, как учитель физики и математики Сергей Васильевич Инютин, который выставлял нам переводную отметку в следующий класс лишь тогда, когда каждый из нас приносил ему сделанные своими руками электромотор, паровую машину и детекторный приемник... Ах, какая красивая паровая машина была у меня: выточенный из медной трубки блестящий цилиндр, отлитый из баббита поршень, блестящие штоки, точно просверленные отверстия для пара, котел из консервной банки... Совершенно настоящая, тщательно смазанная, сверкающая и подрагивающая во время работы, с легким

шумом, она работала всего-навсего от свечки, подогревавшей воду в котле... Никакие учебники физики не могли дать больше знаний, нежели полученные нами во время, когда мы паяли, вытачивали, крепили и запускали в дело все эти волшебные механизмы.

В январе 2000 года мы похоронили в Калуге на Пятницком кладбище нашего любимого учителя литературы и русского языка Григория Ивановича Блинова. Вот уж кто умелой и железной рукой научил нас любить великую русскую литературу и сделал грамотными людьми. Именно при нем мы в 9-й железнодорожной школе начали выпускать рукописный литературный журнал, в котором я напечатал первые свои стихотворения. Именно Григорий Иванович в восьмом классе в первый же день знакомства с нами приказал нам написать домашнее сочинение по “Слову о полку Игореве”. Через несколько дней, проверив тетради, он изрек: — Станислав Куняев! — Я встал. — Тройка! — Я огорчился, но учитель продолжил: — Всем остальным двойки!

А увлечение спортом? Всем нам, как бы в противовес испытаниям, перегрузкам и полуголодному существованию, выпавшим на нашу долю, хотелось быть сильными, здоровыми, ловкими. Мы не думали о международных турнирах и состязаниях. Нет, наши мечты были проще и скромнее — научиться хорошо плавать, бегать, прыгать, драться, чтобы отстаивать свое достоинство в уличных схватках. А когда стали постарше, то, конечно, приглашали девочек из женской школы на волейбольные яростные бои в парк культуры, на стадион “Локомотив”, где каждый из нас в присутствии желанной подруги делал все, чтобы первому разорвать ленточку на финише или приземлиться в яме для прыжков на черте, не доступной для соперников...

Целой артелью — тогда жили и дружили даже не домами, а улицами — через весь город (общественного транспорта в Калуге тогда почти не было) мы бегали три раза в неделю зимой и летом к единственному спортивному залу в дальней 10-й школе, накачивали на брусьях бицепсы, крутили “солнышко”, отрабатывали на коврах всяческие перевороты и сальто...

Иногда до сих пор мне снится, как я выпрыгиваю, несмотря на свой невысокий рост, над волейбольной сеткой и с четвертого номера, минуя блок, с поворотом кисти, посылаю тугой кожаный мяч, да не по первому или пятому номеру — это каждый дурак сумеет, а в центр площадки по шестому, или хорошо набежав на планку — мощно отталкиваюсь и лечу под гул стадиона над ямой для прыжков в длину, продолжая в

воздухе бег, словно бы стригу его ножницами, чтобы вынести таз перед приземлением вперед и выбросить ноги в шиповках на заветную семиметровую отметку, до которой мне всего недоставало каких-то полметра!

* * *

Одна из первых встреч, запомнившихся мне осенью 1952 года, когда я, счастливый студент 1-го курса, вошел в Коммунистическую аудиторию, была встреча с легендарным профессором тех лет Сергеем Михайловичем Бонди. Седовласый старик оглядел разномастный, в основном, скромно и даже бедновато одетый первый курс и высоким голосом задал вопрос, озадачивший нас:

— Ну вот вы, молодые люди, решили стать филологами. А думаете, это просто? Нет, не просто. Вот разгадайте одну филологическую загадку. Вы “Капитанскую дочку” читали?

— Читали!!! — с некоторым чуть ли не возмущением выдохнула студенческая масса, и в этом выдохе слышалось: — Как можно такие вопросы задавать! Мы тут все золотые или серебряные медалисты, или набравшие 20 баллов из двадцати — и конкурс прошедшие, в котором было пятнадцать человек на место!

Но хитрый Бонди, как бы не замечая недовольства, продолжал дразнить нас.

— Как вы думаете, Пугачев — патриот?

— Патриот! — хором рявкнули мы.

— А капитан Миронов — патриот?

— Патриот! — не так громко и убежденно, но все-таки выдохнула аудитория.

— А теперь объясните мне: почему один патриот повесил другого патриота? — и, поглядывая на притихших и недоумевающих вчерашних десятиклассников с коварной улыбкой, Сергей Михайлович закончил: — Вот когда вы сумеете ответить на этот вопрос, — тогда вы станете настоящими филологами.

Эту сцену я запомнил на всю жизнь, поскольку, став литератором, всю жизнь пытаюсь ответить именно на этот вопрос, ставший для меня в ряд с другими знаменитыми вопросами: “кто виноват?” и “что делать?

Через несколько месяцев после нашего триумфального поступления в МГУ случилось великое событие, повергшее страну и народ в смятение. 5 марта 1953 года умер Сталин.

Я, поскольку мне не дали общежития на Стромынке, снимал тогда угол в старом доме на Рождественском бульваре

и платил 150 рублей в месяц (стипендия была 290) старому еврею Максиму Семеновичу (на самом деле его звали Мордух Стихович), бывшему коммивояжеру нэповского универмага “Мюр и Мерилиз”... Маленький, лысый, красноносый старичок в пенсне, чем-то похожий на телеведущего программы “Поле чудес”, живший в одной из комнат громадной многосемейной коммуналки, в первый же день похвастался мне своим гардеробом: несколькими чесучовыми костюмами — тройками палевого, песочного, голубого цветов, которые сохранились у него с нэповских времен вместе с двумя десятками галстуков немыслимых расцветок, с тростью из черного дерева, увенчанной серебряным набалдашником, и целой кучей всяческих флакончиков для духов, маникюрных приборов и шляп, возвышающихся на гардеробе в картонных коробках.

— Я ведь в Москве живу с 1903 года, — хвастался мне Мордух Стихович. — Нам, евреям, никакая черта оседлости не была страшна, с полицмейстером всегда можно было договориться! — При этом он победно разглаживал рыжие усы, и его выцветшие голубые глаза весело сверкали из-под золотого пенсне... Иногда раза два в месяц он просил меня не возвращаться домой раньше 11 часов вечера, и злоязычные соседки как-то объяснили мне, что в эти дни к Мордехаю приходят знакомые проститутки, племя которых, по словам тех же соседей, в районе Трубной площади, славившейся когда-то своими публичными домами, до сих пор по традиции живет и промышляет в облюбованном издавна ареале.

Так вот, 9 марта 1953 года, решив проститься со Сталиным, я вышел из нашего подъезда и повернул к Трубной площади, чтобы через Неглинку добраться до Пушкинской улицы, а по ней до Колонного Зала, где лежало тело вождя. Людской поток, текущий вниз от Сретенки, сразу подхватил меня и властно потащил к Трубной, над которой стоял густой туман, то ли от вечернего влажного воздуха, то ли от дыхания толпы, которое я слышал все сильнее по мере приближения к площади... Водоворот человеческих тел вытолкнул меня на Трубную и, когда я, хорошо подготовленный спортсмен — легкоатлет, гимнаст, пловец — попробовал было пробиться к Неглинке, то с ужасом почувствовал, что не владею ни своим телом, ни маршрутом, ни судьбою. Зажатый со всех сторон такими же беспомощными существами, я с ужасом слышал вокруг себя стоны, сопение, сдавленные крики тех, кто уже не мог сопротивляться сверхчеловеческой силе, давящей на каждого из нас со всех сторон. (То же самое происходило через тридцать шесть лет на площади в Тбилиси, и я хорошо понимал, отчего

погибли несколько грузинских женщин и что Собчак врет, будто бы их зарубили саперными лопатками.)

Локти вперед! В стороны! Лишь бы ребра не раздавили, побольше воздуха в грудь набрать надо, ведь у меня легкие почти шесть тысяч кубиков! Не может быть, чтобы я не выбрался из этой мясорубки! Отчаянно протискиваясь к Неглинке мимо запрокинутых голов, посиневших лиц, наполненных ужасом глаз, колыхаясь в толпе туда-сюда, я преодолел, может быть, за полчаса или за час несколько десятков метров и уже выполз было на угол площади и Неглинки, как вдруг толпа медленно, словно океанская волна, приподняла меня и еще нескольких бедолаг и прижала к громадному окну угловой аптеки... Ни ограждение, ни толстое стекло не выдержали — лопнули вдребезги. Каким-то чудом я, бывший в надежной куртке, избежал порезов и влетел внутрь аптеки, вскочил на ноги, перебежал к двери, выходящей на Неглинку. Под напором нескольких таких же уцелевших авантюристов, как я, засовы и замки хрустнули, дверь распахнулась, и мы вывалились на Неглинку. К нам бросились было солдаты, но мы уже нырнули под грузовики, и вскоре, преодолев какие-то дворы, стены и заборы, вырвались на Пушкинскую улицу — в самый конец очереди, медленно движущейся от Столешникова к Колонному Залу.

Очередь шла по тротуару, минуя кордон за кордоном из солдат и милиционеров. Но когда я уже был совсем близко от Колонного зала, то услышал за собой шум и крики и, оглянувшись, увидел, как какой-то большой чин в серой шинели, серой смушковой папахе и брюках с лампасами бежит что есть сил вниз по Пушкинской, и за ним катится толпа, где-то наверху не по своей воле, а из-за напора прибывающих людских волн прорвавшая двойную цепочку охраны... Однако в течение нескольких секунд как из-под земли возникшие чекисты бросились наперерез толпе — приняли на себя ее натиск, образовали плотину в несколько рядов и удержали поток, мчащийся во всю ширину Пушкинской, вернули его в тротуарное русло, и властно, с криком, матом, рукоприкладством закрыли своего генерала от обезумевшей стихии.

В Колонном Зале людской поток превратился в тихий, безмолвный, благоговейный ручеек, обтекавший возвышение, на котором, утопая в цветах, лежал вчерашний владыка полумира, игумен, тридцать лет правивший великим монастырем — Россией.

Эти всемирно-исторические дни похорон Сталина я вспоминаю и осмысливаю всю жизнь.

Ворота хрустнули. Скорей
под крышу, на карниз...
Я жил во времена царей,
во времена гробниц.

(1969)

То с одной, то с другой стороны в последующие годы я разглядывал и его фигуру, и народ — толпу, и человека, которого неодолимая сила волокла попрощаться с вождем.

Когда удушье или страх
берут тебя за горло —
ты локоть сам поставишь так,
что хрустнут чьи-то ребра,
тогда ты вспоминать не рад
о совести и чести...
В толпе никто не виноват
и все виновны вместе.

(1976)

Но в те дни я написал стихотворение о его смерти, где были строки о Зое Космодемьянской, вспомнившей Сталина перед смертью, о героях Краснодона и о наших солдатах, чертивших своими штыками его имя на руинах Рейхстага. Стихи были очень высокопарными, риторическими, но искренними...

К фигуре Сталина я обращался не раз, можно сказать, на каждом крутом повороте истории (как писал Борис Слуцкий: "О Сталине я думал всяко-разное, еще не скоро подведу итог"). Доклад Хрущева на XX съезде потряс меня, и я попытался несколько иначе определить свое отношение к Сталину.

Помню длинное стихотворение, в котором мне хотелось выразить и его величие, и его трагедию.

В окружении каменных стен,
полных преданности и измен,
ночью бродит он одинок,
вся страна у старческих ног.

(1956)

Далее поэтическая мысль развивалась по шаблону: мрачному, величественному и недоступному диктатору противопоставлялся человечный и демократический Ленин, свой парень, чуть ли не персонаж из студенческой среды:

Кепка сжата, рука за жилет,
вождь, оратор, интеллигент.

Однако жизнь делала необходимые поправки к такого рода шаблонам. Однажды, уже после того, как Сталина вынесли из Мавзолея, я приехал в Калугу и за вечерним чаем с баранками и постным сахаром, которые я всегда привозил бабке, сразу влез в спор о Сталине, начавшийся между матерью и бабкой. Бабка в ответ на материнские нападки на Сталина резонно возражала ей, одновременно обращаясь ко мне:

— А про Сталина, золотка, все болтают! В Лихуне у Демидихи муж помер. Девять человек детей мал мала меньше остались. Приходят к ней противоналог брать (так бабки называли продналог), а брать-то нечего — одна корова. Демидиха на рога легла и кричит: "Не отдам!" Сняли, в сторону положили, увели корову. А Демидиху Васька Длинный научил в Москву написать. Так, золотка, и корову ей воротили и девять тыщ ей Сталин на детей дал! Когда Сашка и Юрка начнут что про Сталина говорить — и такой он, и сякой, у меня один ответ: "Выучились вы по сталинскому приказу, а то раньше одни поповские да дворянские дети учились!" Плюнут и пойдут: "Ничего ты, мать, не понимаешь!" А Сережа мой сказывал, что когда он учился в летном училище, вся Расея была генералами разделена, и граница была назначена в Москве — только в ночь всех поарестовали — и ни слуху ни духу! Вот как Сталин делал. Если бы не он — давно бы у нас германская власть была. Вон соседей-то наших знаешь? Когда фронт со Смоленска разошелся, Женюшка, что за стеной живет, мне и говорит: "Э, бабка, гитлеровская власть сильнее сталинской!" А брата его, Вальку, помнишь? Так он в управу пошел работать, помощником бурмистра стал. Я-то, когда немец к Калуге подошел, говорю девкам — уезжайте, а я в деревню пойду, все равно вы все ко мне вернетесь. А потом при немцах уже из деревни пошла в Калугу за керосином, встретила Наталью Егоровну — мать Женькину и Валькину, она самовар поставила, сахар достала, хлеба белого... Вдруг, смотрю, немец в дом заходит. Я испугалась, говорю: "Наталья Егоровна, немец!" А она мне: "Да ты не бойся! Это наши немцы, хорошие..." А я думаю: какие они могут быть хорошие? Так мне не по себе стало, ну, думаю, не нужен мне твой чай-сахар, и ушла потихоньку. Как же Сталину со всеми хорошим быть, когда народ-то разный! Вон в деревне у нас, когда немец подходил, бригадир Федя говорит: "Надо всю колхозную скотину резать". А бабы кричат: "Придет германец — и скотинку нам отдаст! Не будем резать!" Федька с Лукерьей только и успели трех подсвинков зарезать. А пришел германец и все поел — и колхозное и наше... Вся эта жизнь, золотка, при

мне делалась, и законов много правильных было. Бросили дитенки мать-старуху, побирается, заберут ее, спросят, детей в суд вызовут, пенсию ей назначут... Плохо только, что не все по Сталину делали. Про Демидиху-то я тебе сказывала? Так рази корову у нее по его приказу со двора увели? А теперь, говорят, Сталина из мавзолея выкинули? Чего ж теперь его судить! Лежит он, и воины его лежат... И мой Сережа с ними...

Интерес к Сталину еще подогревался и тем, что частенько на чугунных узорчатых лестницах и переходах филфака на Моховой я встречал рыжеватую, хрупкую женщину, некрасивую, но какую-то ладную, с быстрой походкой и внимательным, сосредоточенным взглядом. Голоса ее я не помню, скорее всего потому, что Светлана Сталина была молчаливой и всегда одинокой. Она приходила на факультет, вела какие-то занятия со студентами, никогда я не видел ее окруженной друзьями или преподавателями, смеющейся и оживленной. Но что хочу засвидетельствовать: даже при жизни отца никогда она не приезжала на Моховую ни на каких машинах, не было рядом с ней никакой охраны, и любой из нас мог подыматься по чугунным лестницам рядом с нею, сидеть за одним столом в библиотеке, стоять в очереди к буфету... А кто из вас видел "вживе" какую-либо из дочерей Ельцина, кто сталкивался в общественном транспорте с сыном Лужкова или дочерью Березовского? Вот вам и материал к размышлению об "открытом обществе", о нравах при диктатуре и при демократии.

Однако стихи я писал, конечно же, не только о Сталине или о жизни в военных лагерях, мои студенческие тетради и блокноты были буквально переполнены любовными посланиями, вздохами об уходящей молодости, рифмованными мелодрамами, приступами юношеского пессимизма, перемежающимися с ницшеанской гордыней и пророчествами о своем высоком призвании.

Да иначе и быть не могло, если вспомнить, что шедеврами любовной лирики в школьные годы я считал строчки из песенки, исполняемой Петром Лещенко, "Упали косы, душистые, густые, свою головку ты склонила мне на грудь" и "Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая"...

Добром все это кончиться не могло, и к концу первого учебного года меня, единодушно избранного в начале учебы секретарем комсомольской организации (умел я внушать какое-то доверие к себе и товарищам и начальству!) за богемную жизнь на Стромынке выгнали с моей весомой, почетной по тем временам должности с большим скандалом. Но я не унывал. Нет худа без добра! Мои блокноты тех лет непрестанно

пополнялись всякого рода сюжетами, крамольными размышлениями, житейскими историями (я стал уже "замахиваться" и на прозу!). Вот одна из них, отражающая ворошиловскую амнистию и атмосферу "холодного лета 1953-го..." Записано в поезде Калуга—Москва двумя годами позже.

* * *

В последнем купе раздавались тихие звуки гитары, заглушаемые ходом поезда. Я заглянул — там сидел маленький сухой старичок с острым носом и густыми седовато-черными волосами.

— Интересуетесь? — он кивнул на гитару.

— Да, люблю послушать.

— Значит, любитель. Вот так и надо. Любишь — подойди, посиди в компании, послушай. — Старик вдруг заговорил со злостью, возбужденно размахивая руками: — А то подходит ко мне один дурак и говорит: "Друг, пойдем к нам в купе, поиграешь!" А что я — клоун? Я — артист, я себя уважаю.

Старик, помолчав, взял несколько аккордов, начал было какую-то плавную плясовую и, внезапно оборвав игру, повернулся ко мне:

— О, как мы играли на гастролях в Калуге! Наш цыганский струнный ансамбль! Приехали — до начала три часа, а публика валит валом! Пришлось продавать на одно место два билета, да. А потом все в "Оку", выпили хорошо. — Он понизил голос и пахнул перегаром: — Компанию составить не желаете?

— Нет, с удовольствием бы, но не могу, врачи запрещают, язва, — быстро придумал я, не желая ни пить, ни терять собеседника.

— Мда-а, жаль, у меня тоже язва и пью, как не пью — хуже!

Он был одет в старый, потертый костюм, на ногах фетровые боты, засаленный галстук неряшливо съехал с шеи.

Я решил совершить благое дело и увести артиста со скользкого пути.

— А у вас, видно, старинная гитара.

— Да, гитара хороша, — он самодовольно погладил ее, как животное, и с грустью добавил: — У меня их две, одну продать придется, денег нет. Любительская, семиструнная, одно слово — инструмент! Ведь в гитаре главное плавность, напев. Шестиструнка — что! — старик презрительно махнул рукой, — это ж испанская классическая, на ней трень-брень — ни аккордов, ни сочности, ни напева. Иванов-Крамской с Володькой Поляковым все спорят: у Володьки семиструнка,

так он говорит, я все твое на моей сыграю, а ты не сыграешь на своей. И все играет, сукин сын, все!

...Вошел парень из моего купе. Черноволосый, широкоплечий, лихо сплясал, но цыган нам скоро надоел, и мы вернулись в свое купе. Я предложил собеседнику поужинать, он отказался:

— Не хочу, отвык, бывало, по восемь суток не ел.

Оказалось, он двенадцати лет убежал от матери на Дальний Восток на рыболовные суда, по пути встретил вора — Васю Римского, и тот уговорил пацана уйти с ним в Западную Германию. Оттуда перешли в Венгрию, Чехословакию, Польшу. Там ограбили ювелирный магазин, попались. Залезли через трубу. Как попались? Пили в ресторане, не хватило денег, пошел продать золото, тут и взяли. Судил военный трибунал. Пять лет. Исправительно-трудовые лагеря. Работал в Совгавани, Нордвике, Магадане, Тайшетлаге.

— Я вором не был. Воровал? Не всякий, кто ворует — вор. Вор тот, кто живет по воровским законам. Законы? Всякие. Коль ты вор — должен знать других. Всегда об этом спросят. С кем воровал, где. Не знаешь — не вор, значит, и тебя никто не знает, а за то, что назвался, зарежут или по хоботу.

Вора всегда признаешь, войдет в камеру, два слова скажет, и сразу узнают, вор или нет. Кто кричит на каждом слове — я вор, — бей того в морду, это не вор, а шпана, руб на базаре украл, "тафтовый вор". Вор не грабитель, этих сук я бы сам передушил, часы снимают! Ты укради, да по воровским законам живи.

Раз сидел я в Минске. Вхожу в камеру, сажусь на нары, подходит один: "У тебя, друг, пальтишко хорошее, дай мне. Я скоро по этапу пойду".

— На, возьми!

Другой подходит: "У тебя брючата хорошие, дай мне". Ну я ему: "Заменить-то что есть?" — "Есть". Отдал брюки. Сам все смотрю. Третий встал: "У тебя кепка новая, возьми мою".

Бросил кепку, встал, схватил лавку — одного по морде, другого, третий лавку вырвал, — я его бачком с водой — все лицо в кровь. Кричу ребятам: "Бери, что хошь!"

Вечером по кружке в соседнюю камеру говорю: так-то и так-то. Ночью приходит один, спрашивает, кто я, где был, кого знаю. Я говорю, в Польше был, в Венгрии... Васю Римского знаю, Ваню Лысого. Послушал, ясно, говорит. Этот пальтишко снимал? Ножом поронул и вытащил за дверь.

А кто по воровским не живет законам — тех зовут суками. Выдал за то, чтоб срок меньше дали, — значит, ты сука. И всякий вор тебя должен резать. Война самая настоящая. Раз

мы попали в сучий лагерь. 38 человек. Заперли нас в барак, отобрали ножи, у нас лом и топор. Лезут! Ну одного топором, другого ломом — а их сколько! Идут по бараку, подходят ко мне: "Вор?" — отрекешься — свои зарежут. "Вор!" — раз! — в руку, в плечо, в живот, я и сел. Два месяца лежал. А из тридцати восьми двадцать насмерть, и один только не раненый.

Есть еще в лагерях "прокуроры", это кто за спекуляцию, за аферы, за подделку, чечня, эти за 10 рублей зарежут...

Я вором не был, воровские законы знал, жил по ним; сколько раз мне говорили: назовись вором! а я не хотел. "Я, — говорю им, — всю жизнь вором не буду, отсижу — работать пойду, погулял по глупости и хватит".

Натерпелся, сколько другому на всю жизнь. В 20 лет — инвалид второй группы, легкое отбито, из желудка и из кишки 12 квадратных сантиметров вырезали, черный хлеб есть не могу, да и есть-то не хочется, отвык в лагерях. Раз восемь суток не кормили, сволочи. Разве так исправляют! Ходишь — голова в тумане, руками водишь. Упадешь, поднимут — встанешь, не поднимут — подохнешь. Я-то раньше думал, что в лагерях водку пьют и в карты играют. А там работают. Лес пилят. В снегу по пояс. Не выполнишь — не пожрешь, а жрать — пайка хлеба, 800 грамм, утром баланда, днем баланда и овсянка, вечером баланда. Вода мутная и две крупинки. Убежишь — два года прибавят и в штрафные лагеря, все как в общих, только кормят два раза, утром не кормят. А если в закрытую тюрьму (это за убийство или за побеги), то там сидят в одиночках, на пять лет сажают. Там с ума сходят. Лучше уж 25 в общих. Пили мы лак (я в столярных мастерских работал), через ватку процедишь и пьешь.

Сами мучились, а работягам помогали. Работяги? Ну это кто случайно попал, раз украл, да неудачно. Выйти скорей они хотят, а выполнишь норму на 120 процентов — день за три. Помогали им, денег пришлют с воли — купишь маргарину, хлеба, поедят. Жалко работяг. Им посылки приходили. Раз прихожу голодный, смотрю — в тумбочке сахар, сало. Кто положил? Я, я! Ребят, не надо, ну давайте вместе! Бригадиром я был, а коль ты бригадир — умри, а чтоб зачет был у бригады 120 процентов. Если нет, не приходи в барак. Дрался счётами в бухгалтерии, чтоб зачет был, в изоляторе сидел — стены в инее, рядом человек помирал, ничем не мог помочь, снял с покойника бушлат, чтоб самому не замерзнуть. А утром прибегает бухгалтер в изолятор (я ему счётами голову разбил): "Буду,— говорит, — 120 процентов ставить".

Вор по человечности как коммунист. Вот ты мне поесть предложил, заснешь — твой чемодан сторожить буду.

Много я повидал. Бежали двое — вечером идем с работы — лежат под соломкой и снежок припорошил. Начальник лагеря выстроил: "Так, — говорит, — с каждым будет, кто побежит".

Немцев видал, работал со мной в столярной личный шофер Гитлера. Их домой отправляли — приказ вышел: кто немца фашистом назовет — год прибавят. Двое получили.

Самая тяжелая жизнь воровская. Врагу заклятому не пожелаю. В 1953 году по амнистии вышел. К матери приехал в Москву. Не прописывают. Участковый приходит каждый день, жить спокойно не дают.

Двадцать лет, а повидал — не видать бы больше. Инвалид! Начну кашлять — на полчаса. Ну что ж, пожито, похожено по белу свету, а когда и попито. Приезжаю к матери — принимай сына; помирились, да мы с нею и не ругались... Хорошая у меня мать, только вот сын непутевый...

Так что когда спустя много лет я смотрел фильм Шукшина "Калина красная", то вспоминал эту встречу и этот разговор, и тюремные судьбы многих своих друзей.

Хотя мы жили весьма напряженной культурной жизнью — часто ходили в Третьяковку, в Консерваторию, были завсегдатаями Большого театра (куда билеты стоили всего лишь по 2 рубля при нашей стипендии 290 рублей!) — словом, пользовались на полную катушку официальным лозунгом "Искусство принадлежит народу", — но одно дело пользоваться всеобщими возможностями — другое вырабатывать личный вкус, избегая соблазнов всеядности и дополняя эстетику идеологии, окружавшую нас со всех сторон, опытом собственной судьбы.

Я подражал, как это ни смешно, двум своим кумирам сразу: Маяковскому и Есенину. Мы даже устраивали с моим сокурсником Аркадием Баландиным соревнования — кто из нас знает наизусть больше стихотворений — он читал стихотворение Есенина, я отвечал — Маяковским, проигрывал тот, кто первым сознавался, что выдохся... Турниры, как правило, проходили на улицах Москвы, мы бродили по Моховой, спускались к Александровскому саду, поворачивали на набережную и, конечно же, производили странное впечатление на прохожих, оглашая стихами площади и улицы Москвы.

Особенно я любил раннего Маяковского — "Флейту-позвоночник", "Люблю", "Про это", сочинял курсовую по его лирике у входившего тогда в моду литературоведа Виктора Дмитриевича Дувакина. Будущий диссидент Дувакин хвалил меня и гордился моей работой, впрочем, как и замечательный

педагог, выпивоха и, по-моему, тайный русский националист Николай Иванович Либан, у которого на первом курсе я писал сочинение об оде Гавриила Державина "На смерть князя Мещерского"... "Глагол времен, металла звон". Мы с Баландиным, а чаще с Геннадием Калиничевым или Далем Орловым бродили по Москве, я не выпускал из рук блокнота, куда записывал уличные сценки, необычные рифмы, наброски стихотворений, экспромты курсовым красавицам, в которых на ходу и ненадолго влюблялся... Мы забредали в букинистические магазины — ими была напичкана Москва тех лет, копались в книжных развалах, слушали разговоры книжников-знатоков. Именно в 1953 году в одном из букинистических на Сретенке я впервые узнал о Бунине из разговора двух стариков о его судьбе, о переписке с Телешовым, о его смерти. Они разговаривали со вкусом, подробно, ярко.

— Ну как же, конечно, он до восьмидесяти дожил. Я же помню, когда мы ему в день рождения шестьдесят пять свечей зажигали!

А я стоял, как зачарованный, и слушал, слушал.

Правильно развивать вкус в те годы было трудно — усилия наших лучших профессоров Радцига, Либана, Гудзия, Бонди были обращены к прошлому и не могли совладать с программой современной советской литературы, в которой, естественно, не было ни Ивана Бунина, ни Михаила Булгакова, ни Андрея Платонова, ни Осипа Мандельштама с Павлом Васильевым, ни настоящего Сергея Есенина.

О Николае Клюеве или Анне Ахматовой, естественно, и слыхом не слыхивали, а что уж говорить про Михаила Бахтина, Алексея Лосева, про Марину Цветаеву или Владислава Ходасевича...

Зато программы были просто перенасыщены именами и произведениями Александра Фадеева, Федора Панферова, Константина Симонова, Ильи Эренбурга, скучнейшего Константина Федина и так далее вплоть до Веры Пановой или даже Антонины Коптяевой... Роман "Далеко от Москвы" Василия Ажаева считался чуть ли не современной классикой.

Более или менее сообразительных и неглупых студентов, конечно, выручало то, что можно было изучать Шолохова в семинаре Льва Якименко, писать курсовые и дипломы по Горькому или на худой конец по Алексею Толстому... Но если где и существовала жесткая система идеологии и эстетики социалистического реализма, то, конечно, в первую очередь это соблюдалось на нашем филологическом факультете... Но меня спасало еще то обстоятельство, что я постоянно бывал

на сборищах нашего литературного объединения, которое вел старик Павел Григорьевич Антокольский. Мне даже доверяли встречать его у входа на факультет — смуглого, с живыми карими глазами, со щеточкой усов, в столь необычном для тех времен черном берете, с кожаной полевой сумкой через плечо и с отполированным посохом в руке...

— Хорошее время наступает, — восторженно вещал Павел Григорьевич, — многие неизвестные имена писателей и поэтов вам, молодые люди, в ближайшее время предстоит для себя открыть — Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Бруно Ясенского, Марину Цветаеву... А из молодых читайте Александра Межирова и Семена Гудзенко!

А тут еще в общежитии у кого-то появился альманах "Литературная Москва", который стал переходить из рук в руки. Еще бы! "Рычаги" Александра Яшина, статьи Марка Щеглова, стихи Марины Цветаевой с предисловием самого Эренбурга.

Поэзия Цветаевой, конечно же, была для нас крупнейшим открытием тех лет. Со временем, правда, до меня дошло, что она представляла собой редкий тип русского поэта, миры которого видоизменялись в зависимости от страстей и убеждений, сменявших друг друга в её экзальтированной натуре. Ее стихи свидетельствуют, что она могла быть сегодня страстной юдофилкой, а завтра антисемиткой, во время гражданской войны вдруг ощутить себя "белой монархисткой", а через десять лет, восхитившись подвигом челюскинцев, переродиться в советскую патриотку. И любую новую роль Марина Цветаева играла самозабвенно и талантливо. Но я предполагаю, что Антокольский и Эренбург вспомнили в 1956 году в первую очередь о Цветаевой еще и потому, что знали одно ее до сих пор мало известное стихотворение 1916 года.

Евреям

Израиль! Приближается второе
Владычество твое. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои!
Предатели! — Пророки! — Торгаши!

В любом из вас — хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа...

Чего в этом стихотворении больше — преклонения перед Ветхим Заветом или отвержения Завета Нового — трудно сказать... Во всяком случае русские поклонники поэзии Марины Ивановны, особенно православные, должны знать его.

В 1956 году произошло еще одно неожиданное литературное событие. В одном из осенних номеров "Нового мира" была опубликована повесть никому не известного писателя Владимира Дудинцева "Не хлебом единым".

Это было, как взрыв бомбы. Журнал зачитывали до дыр, передавали друг другу на ночь, общежития на Стромынке и Ленгорах гудели, Дудинцев в две недели стал кумиром студенческой молодежи...

Повесть сейчас заслуженно забыта, как многие злободневные произведения той эпохи: "Оттепель" Эренбурга, или любой из романов Всеволода Кочетова, или "Здравствуй, Университет!" Свирского, или "Студенты" Трифонова. Но тогда!

В центре повести стоял честный изобретатель Лопаткин, которому партийно-научная бюрократия, олицетворением которой был некий Дроздов, во имя своего спокойствия и своей якобы монополии на истину не давала внедрить в жизнь какое-то изобретение, касающееся, кажется, то ли отливки труб, то ли чего-то еще. Словом, это был тот же самый производственный роман, каких штамповалось много, но в отличие от тьмы "благополучных" исходов завершившийся драматически.

Никаких духовных открытий в романе не было, и стилистика его была достаточно примитивной — всего лишь "антибубенновской" или "антикочетовской", но нам, жаждавшим в то время свежего воздуха общественных перемен, и того было достаточно. Ровно через тридцать лет подобную же роль катализатора общественного мнения сыграл, пожалуй что, ныне так же заслуженно забытый роман Анатолия Рыбакова "Дети Арбата"...

Филологический факультет волновался, все ждали обсуждения романа в писательской среде, назначенной на 26 октября, были среди нас и такие счастливцы, которые всеми правдами и неправдами достали приглашения в Дом литераторов. У нас с Геннадием Калиничевым приглашений не было, и мы, чтобы помочь прогрессу и честным людям в борьбе с бюрократией, сели за статью о романе Дудинцева. Несколько дней и ночей мы буквально жили ею, спорили, кляли культ личности, присягали на верность Ленину, ругались, мирились, переписывали один черновик за другим, но наконец-то к началу октября статья, до небес возносящая Дудинцева, была готова,

и мы понесли свое живое, теплое детище в журнал "Октябрь". Через несколько дней заведующая отделом критики журнала Лидия Фоменко сказала нам, что статья ей понравилась и она предложит ее в один из ближайших номеров. Называлась статья весьма многозначительно "Чем люди живы". В ней был, конечно же, весь джентльменский набор либеральных "духовных ценностей" той эпохи: возвращение к ленинским идеалам, осуждение обывательской философии жизни — "бойтесь равнодушных!", разоблачение бюрократов и карьеристов, живущих в неприступной крепости, которая в романе называлась то "скифским городищем", то "градом Китежем".

Сегодня я понимаю, каким кощунством со стороны автора было использование самой светлой поэтической русской легенды о граде Китеже: под пером Владимира Дудинцева понятие "град Китеж" стало восприниматься как пристанище безнравственных негодяев и интриганов, как обитель социального и политического зла.

Но восторгу двух наивных студентов-дипломников с филфака не было предела.

Вот он, воздух перемен, наша грудь дышит и наслаждается им!

Восторг еще более усилился, когда мы узнали о том, как триумфально прошло обсуждение романа в Доме литераторов. Помню, как мы с Калиничевым стояли у входа в ЦДЛ, куда с улицы Воровского валом валил народ с билетами, надеясь на чудо — а вдруг и мы проскочим как-нибудь в заветный дубовый зал. Не проскочили, но терпеливо слонялись по улице несколько часов, чтобы узнать у первых выходящих счастливчиков — кто и что сказал о романе. А говорили о нем, до небес вознося Дудинцева, такие гиганты художественной мысли, как Всеволод Иванов, Константин Паустовский, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков... Особенной популярностью пользовалась речь Константина Паустовского. Ее размножали, передавали из рук в руки, восхищались смелостью популярного прозаика. Я нашел сейчас в своем архиве, перечитал эти два пожелтевших от времени листочка и был поражен, как мы в то время верили любому демократическому краснобайству! Впрочем, мне только сейчас открылось, почему эта речь стала тогда манифестом московской интеллигенции. Паустовский вспоминал в ней, как летом 1956 года он был в туристическом круизе на теплоходе "Победа". Вокруг него якобы была тьма высокопоставленных бюрократов-дроздовых, и одна фраза в речи стала ключевой,

обеспечившей Паустовскому неожиданную славу и популярность: *"Эти циники и мракобесы, совершенно не стесняясь и не боясь ничего на той же "Победе", открыто вели погромные, антисемитские речи"*... Но тогда я не обратил внимания на подобную мелочь, поскольку еврейский вопрос совершенно не волновал меня. Разве что однажды я столкнулся с ним во время крайне забавной сценки. Воспроизвожу эту запись из блокнота 1956 года:

"Еду в метро. Напротив меня сидит молодой офицер с женщиной — по внешнему виду еврейкой. Входит пожилой священник. Офицер встал, чтобы уступить ему место. Женщина раздосадованно и громко выговаривает своему спутнику: "Тьфу! Попу место уступать!" И вдруг поп, обращаясь даже не к ней, а куда-то в пространство, спокойным голосом произносит:

— А меня с детства учили, что попов надо называть священниками, а жидов — евреями!"

...Маленькая "литературная оттепель", спровоцированная романом Дудинцева, продлилась всего лишь три месяца. В январе 1957 года "Литературная газета" вышла с отчетом об очередном писательском партийном собрании, на котором многие из тех, кто восхвалял роман в октябре, почуяв послевенгерские январские заморозки, заговорили по-другому.

Тон, естественно, задавали партийные функционеры с еврейскими фамилиями, вроде критика Александра Исбаха: *"Роман Дудинцева следует настоящей большевистской традиции"*, — фрондировал Исбах в октябре, а в январе, выполняя новый социальный заказ, уже давал задний ход: *"фрондерство, нигилистические нотки, результат незнания жизни"*.

Словом, вернули нам наш вдохновенный трактат из "Октября" безо всяких объяснений, да мы и сами уже понимали, что после венгерской трагедии время всяческой оттепели и слякоти миновало, и надолго.

— Стаська! — сказал тогда Калиничев, принимая рукопись из рук Фоменко. — Первый блин комом!

Я до сих пор с нежным чувством — нет-нет да и вспомню своего друга по Стромынке, с которым пять лет бок о бок учились в одной группе — в первой немецкой. Русского провинциального юношу, из семьи учителей, тщедушного, насмешливого, одаренного. Он, в отличие от меня, не менял от курса к курсу научных руководителей, не шарахался от Державина к Маяковскому, от Маяковского к Алексею Толстому... Он с первого года взялся за "Тихий Дон" и под руководством добросовестного Льва Григорьевича Якименко

все пять лет осмысливал и комментировал великий роман и мне открывал глаза на многие его загадки. Когда мы после окончания университета разъехались — я в Тайшет, а он в куйбышевскую молодежную газету, Геннадий постоянно поддерживал меня в моем сибирском одиночестве письмами, советами, планами, он был из той породы русских идеалистов, без которых жить было бы скучно.

Из его письма от 27 октября 1957 года:

"А у меня, Стаська, в творческом смысле трудностей до черта. Главное, сейчас нужно, чтобы сердце глодала хорошая тоска по чему-то несделанному, недостигнутому, и у тебя эта тоска есть. И отлично. Творческий потолок, смерть наступает, по-моему, тогда, когда человек начинает "устраивать" себе дачку, знакомство с заведующим ателье, часами болтает по вечерам с соседями у подъезда на скамеечке о том, кто красивее — Стриженов или Рыбников... Одним словом, все в порядке, Станислав Юрьевич! Жизнь еще только начинается".

Но воли продолжать ее у Геннадия не хватило. Он стал пить, переезжать в поисках газетной работы из города в город, и в 1966 году я узнал, что он, работая в какой-то районной газете Новосибирской области, в зимние морозы заснул по пьяному делу на улице и не проснулся...

Далеко в земле сибирской,
в захолустном городке
умер мой товарищ близкий,
и сегодня я в тоске.
Пишут, что прилег с похмелья
отогреться у земли —
и сибирские метели
юношу не пожалели,
белым снегом замели.
Говорят, что много пил,
только в этом ли причина?
Песню русскую любил:
— Догорай, моя лучина.

(1966)

Гром венгерского восстания заглушил на время все остальные звуки политической жизни. Думаю, что до сих пор историки еще не написали объективную картину этого мятежа, поскольку, как свидетельствовали многие очевидцы, неизвестно, каких больше лозунгов и призывов было в Будапеште в конце октября 1956 года: антисоветских или антисемитских...

Венгерский еврей Матиаш Ракоши и его окружение стали

главной ненавистной мишенью венгерского студенчества, в среде которого всегда жил дух национализма. А для меня буквально через несколько лет венгерские события обрели совершенно неожиданное продолжение. В начале 60-х годов я поехал из Москвы в Киргизию по литературным делам.

Мой друг Суюнбай Эралиев устроил мне путешествие к озеру Иссык-Куль. По дороге мы проезжали какой-то районный центр, кажется, Токмак. И я вдруг увидел среди пыльных и невзрачных домов поселка хороший особняк, окруженный высоким забором, за которым росла пышная растительность — деревья, кустарники, цветы...

— А кто же здесь живет в таком богатом и необычном доме? — спросил я у молодого чиновника, сопровождавшего нас. Тот помялся, помолчал и все-таки решился ответить:

— Ракоши, бывший генсек Венгерской компартии. На его место пришел Янош Кадар, у которого при Ракоши в тюрьме ногти вырвали... Ну, после такого Ракоши в Москве держать было неудобно, вот его и поселили в наших краях...

По истечении десятилетий все-таки становится ясным, что тип человека "оттепели" на самом деле был весьма усложнен и идеализирован писателями, журналистами и политиками той эпохи. На самом же деле в основном эта прослойка, особенно в российской провинции, состояла, как правило, из тщеславных молодых людей, полужурналистов, полуактеров, полуписателей, как правило, неудачников из местной богемы, питавшихся речами Паустовского, повестями Дудинцева и Эренбурга, стихами Евтушенко и Рождественского... Они ощущали себя будущей политической элитой России, властителями дум, а на самом деле, как правило, были кухонными заговорщиками, бесталанными протестантами, людьми тогда еще не сформировавшегося в политическую силу (поскольку не было подпитки от Запада) диссидентского движения.

Литературное объединение "Факел", возникшее в те времена в моей родной Калуге при комсомольской областной газете "Молодой ленинец", состояло в основном из подобных молодых людей. В него помимо поэтов, журналистов и художников входил и мой школьный товарищ Борис Усов, сын калужской писательницы Надежды Усовой. "Факел", просуществовавший год-полтора, был вскоре за изготовление антисоветских листовок разгромлен... Чтобы не попасть под статью, Усов, бывший в числе "авторитетов" "Факела", симулировал психическую болезнь, полгода отлежал в дурдоме, а когда вышел на волю, то на тридцать лет погрузился в полупьяную разговорчивую жизнь, которую ему постоянно

обеспечивали женщины, имевшие на него серьезные виды. Парнем он был видным, обаятельным, артистичным. Местные обыватели частенько видели его на улицах города, обвешанного всякого рода фототехникой. Он мечтал стать выдающимся хроникером-фотохудожником эпохи, и основания к тому у него были.

Однажды в середине 80-х годов я навестил его.

Мы сидели в его комнатушке, набитой радиотехникой, иконами, картинами местных художников, пустыми бутылками, западными журналами, медными крестами и складнями, увешанной фотографиями знаменитых людей, заезжавших в наш городок.

— А ты читал у академика Тураева о том, что скрижали судеб и появления богов находятся в созвездье Вега? Пока еще, извини за выражение, Иисуса Христа не было, вавилоняне молились на звезду из созвездия Вега. О друг Горацио! Нет пути человеку, нет возможности! Мог быть писателем, историком, дипломатом — стал фотографом! — на глазах у него блеснули слезы, и он постарался, чтобы я их заметил.

Он быстро запьянел, стал кричать, размахивать руками, стащил с себя синюю спортивную рубаху. Потом устало сказал:

— Вчера заночевал у одной Наташи. — Сделал паузу: — Однако с женой уже мир. Она женщина хорошая, но, — мотнул головой, — не понимает меня и воли мне не дает! Жить невозможно! Гибнет русский человек от излишней талантливости. Как я в пединституте учился! Ничего не учил, а сдавал только на пятерки!

...Странно, что при таком образе жизни он выглядел молодо. Скульптурное красивое лицо. Уверенная походка с косолапинкой.

— Жду, когда начнется действие закона об индивидуальной трудовой деятельности. Посмотрим, как и что. Кто-то прогорит, надо будет подумать — почему... У меня вторая группа инвалидности, налогов мне платить не надо. Я вообще могу подать в суд на наше правительство: двадцать лет я со своими способностями вынужден был прозябать... У меня отняли мою молодость! Вон ветераны вьетнамской войны устраивают демонстрации возле Белого Дома, требуют моральной и материальной компенсации за отнятую государством юность. Я имею право на такой же протест... Но мне нужно такое дело, чтобы давало не меньше трех тысяч в месяц... Думаю, ломаю голову, не тороплюсь... Может быть, сувенирную мастерскую, может, фотоателье суперкласса, может быть, контору по торговле иконами и всяческой стариной... Но с уголовным кодексом считаться надо... А главный архитектор наш, видел, поставил бетонную бабу на площади Победы? — Лауреат

госпремии. За что?! Баба-то краденая, такие во всех городах стоят!

Полуголый, с черными прокуренными зубами, грудь волосатая, на животе фигурный шов — недавно вырезали половину желудка, из-под брюк торчат кальсоны, в одних носках — ботинки жена спрятала, чтобы не ушел из дому...

Умер он в полном забвении несколько лет тому назад. Я хорошо знал его, считал чрезвычайно колоритным, но совершенно бесполезным для русской истории человеком и думаю, что по-другому прожить свою жизнь это дитя "оттепели" просто не могло.

Трещина, образовавшаяся в наших душах после 1956 года, осталась с нами на всю жизнь. Многие из нас своей молодой интуицией понимали историческую неизбежность всего пути советской эпохи и старались, как могли, соответствовать ей мыслями и поступками. Я же помню, как, когда начался суэцкий кризис и западные державы были на грани войны с пытающимся освободиться от колониальной зависимости Египтом, мы с моим товарищем по университетской спортивной жизни студентом-физиком Николаем Киселевым пошли в военкомат, чтобы нас зачислили добровольцами для защиты дружественного Советскому Союзу Египта. А ведь я уже учился на пятом курсе филфака и был женат. Мы ждали ребенка. О другом бы надо было думать! Коля же Киселев — душа-парень, блистательный спортсмен, воспитанник белорусского детдома, человек, образцами для которого были Рахметов и Корчагин, записывал в те времена в своем дневнике (мы время от времени обменивались дневниками):

"Все-таки самая правильная политика построения социализма — наша политика. Железный порядок, единопартийная система, армия и, если надо, репрессии — это оправдало себя. Путь полной демократизации в наше время невозможен. Народ не настолько сознателен, чтобы воспользоваться им правильно. И Сталин во многом был прав. Отказ от диктатуры, многопартийная система, "полная демократия" — все это в настоящий момент привело Венгрию к катастрофе. А мы не можем вмешаться. Объявили на XX съезде политику невмешательства. Американцы — те вмешиваются. Дать полную демократию мелкобуржуазному народу, лишь десять лет, с ошибками и заблуждениями, строящему новую жизнь! Смешно, если бы мы это сделали в 1927 году, в самый разгар битвы с троцкистами. Смерть была бы всем завоеваниям социализма. В ближайшее время мы должны подкрутить гайки, иначе по морде будут нас бить все чаще и чаще. Но есть и другая сторона: мы доросли до

понимания того, что не дать дорогу демократии — тоже похоже на смерть. Нужен выход. Может быть, я не прав. Эти страны нельзя равнять с нашими, их народ с нашим. Они гораздо меньше получили от революции, нежели мы"...

Вот в каких противоречиях металась душа этого мускулистого интеллектуала, в котором, честно говоря, я видел будущего любимца масс, крупного государственного деятеля, образованного, мыслящего, волевого... А как иначе мог размышлять круглый сирота, выросший в провинциальном не то гомельском, не то могилевском детдоме, которому наше общество и государство дало все, о чем мог мечтать одинокий, как перст, юноша? Московский университет, стипендию, стадионы, великие библиотеки, профессию, обеспеченное будущее. Вот еще одна характерная запись из его дневника, сделанная после вселения в общежитие на Ленинских горах.

"Я в отдельной комнате! Изумительные условия — душ, стол письменный с прибором и настольной лампой, стол для еды с посудой, шкафы, секретер, вентилятор и радио — все что надо. И за это за все — с меня требуется только учеба и пятнадцать рублей! Просто нет слов!" (Мы с молодой женой жили в таких же условиях, которые могут показаться сказкой для студентов сегодняшней демократической эпохи.)

Конечно же, Коля Киселев был за социализм, но не как сынок какого-нибудь "ответственного работника", генеральский или кагебешный отпрыск, а как сирота, для которого государство и общество заменили отца и мать. Сегодня путь в будущее для таких талантливых, но одиноких и обездоленных людей, как Коля Киселев, закрыт наглухо.

Помню наше посещение с ним военкомата, когда мы хотели записаться добровольцами на суэцкий фронт. Запись из моего блокнота тех дней:

"В военкомате офицеры все худые, больные, нестроевые.

Позвал нас к себе язвенного вида майор, предложил сесть и стал расспрашивать про семейное и социальное положение... Записал все наши ответы в карточку и сказал, что если нужда будет — нам сообщат. Мы вышли на улицу, и Коля с каким-то почти счастливым лицом признался: — Ну вот, все данные наши записаны, приятно, что я не мошка какая-то, а человек... Без вести и без следа уже не пропаду, сразу обеспокоятся..."

Все важные, как мне казалось, вехи судьбы я в то время помечал в блокнотах, полных размышлениями, картинами жизни, поразившими меня разговорами и, конечно же, черновиками и набросками стихотворений.

Летом 1956 года я два месяца провел в военных лагерях на

Волге под Калинином. Лагеря были серьезными. Нас, видимо, хотели сделать настоящими, а не бумажными младшими лейтенантами, а потому спуска не давали... Строжайшая дисциплина, железный режим, суровые и бесцеремонные старшины и сержанты, пятидесятикилометровые марш-броски, изнурительная строевая подготовка, караулы и дежурства на кухнях, беспощадные за каждое нарушение наряды и гауптвахты — все это в первый месяц, пока мы не обвыкли — крушило наши студенческие, заболевшие либеральным вирусом души, изнуряло плоть, ломало убеждения. Тех, кто пытался сопротивляться, протестовать, качать права — наказывали вдвойне и деваться было некуда. Без успешного окончания сборов, без лейтенантского звания и присяги — ни один из нас не мог закончить университет и получить диплом... Душа моя металась в противоречиях между естественным сопротивлением военной машине и долгом.

Из писем жене:

"Ненавижу армию. Если б ты знала, как эта организация не считается с человеком, с его привычками, настроениями, способностями, как она обстругивает каждого из нас. Есть в армии команда, очень частая: "не пререкаться!" Так вот, обычно мы на марше поем — "Тачанку", или "Гремя огнем, сверкая блеском стали" (правда, вместо Сталина произносим "Жуков"), а когда и под Киплинга маршируем — "День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке", но вот недавно нам не хотелось петь по приказу комвзвода, шли на огневую подготовку. "Не поете? — разозлился он. — Бегом!" Сто метров в сапогах с автоматами пробежали. Опять команда: "С песней марш!" А нас зло взяло — молчим. Опять команда: "Одеть противогазы! Ползком!" А знаешь, до чего противная штука противогаз! Индивидуальная душегубка. Мы не пели и километров пять то ползли, то бежали в противогазах. Потом поняли, что наш бунт бесполезен, и сдались. Запели "Если ранят тебя в ногу, отделенному скажи..."

Но эти два месяца были для всех нас и для меня хорошей школой. В сущности, лишь летом 1956 года я почувствовал, что нащупал какое-то необходимое понимание хода истории.

А началось это со стихотворения "Марш-бросок", которое я до сих пор включаю во все свои итоговые сборники и которое читал осенью на вечере нашего литобъединения, когда к нам приехали никому еще не известные молодые поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина.

Рот пересох,
шаг невысок,
черные сосны
да желтый песок.
Даже пилотка
от пота набрякла.
Высохла глотка
и песня иссякла.
Раз! Два!
Час... Два.

Стихи были о танковой колее, которую "словно чешуйчатую змею" мы топчем солдатскими сапогами, об аскетической неизбежности службы и долга, и вся картина стихотворения входила в какое-то страшное противоречие с радужными надеждами, розовыми иллюзиями и гуманизмом, рожденными в наших душах воздухом XX съезда.

Ни сладкого сна,
чтоб кругом тишина,
ни отдыха праздного,
ни легкого хлеба,
ни солнца красного,
ни синего неба —
нету!
Все защитного цвету...

Поэзия, как ни странно, боролась в моей душе с прекраснодушной гражданственностью и побеждала, заставляла понимать себя не только дитем "оттепели", но и сыном тысячелетней России.

Вот запись, которую я сделал ночью в караулке тем же летом 1956-го.

"Напряженной, фантастической жизнью, скрытой за обыденностью службы, живет армия. Страна, увязанная цепью секретных армейских телефонов, по которым летят сигналы и приказы, шифрованные сводки и донесения, и, послушный всему этому потоку воли, качается и пульсирует гигантский организм... Чьей воле подвластна военная машина? Откуда такая сила, правящая миллионами? Где корни этой фаталистической необходимости?"

Но задавая эти вопросы самому себе, я одновременно проклинал армию, ее режим, ее бесчеловечность в негодующих письмах матери, молодой жене, друзьям, плакал и вздыхал о свободе личности, о том, что позднее стало называться "права человека", а вернувшись после службы домой в Калугу, с жадностью записывал рассказы тети Поли, только что возвратившейся из Магадана после 17 лет тюремной и ссыльной жизни.

— Прошел слух в Америке, что Магадан город заключенных. Вызывает начальник Дальстроя меня: Полина Никитична, завтра у нас будет американская делегация. На один день нужно сделать так, чтобы наша швейная фабрика была свободной. Вы ручаетесь за своих людей?

— За бытовиков нет. Они нас контрой называют. За “58-ю” ручаюсь. Там все почти коммунисты.

— Бывшие коммунисты. Бушлат, шапку-ушанку, серую юбку, бутсы — на завтра отменить. Пусть каждый приходит, в чем хочет, хоть в туфлях лакированных...

Пошла посоветовалась, собрала партактив. Ну что решим, бабы? Будем хоть на день свободными — нам начальство приказывает. На другой день девчата проволоку скатали, столбы из мерзлой земли выкопали и пришли, кто в чем мог. Американцы прошлись по цеху, спросили, кто сколько зарабатывает. Попросили показать квартиры. Девчата повели их к вольнонаемникам. Американцы видят одну кровать — почему? Вас же двое? — А мы по разным сменам работаем и не видим друг друга. Так и прошло. Всем по году сбавили. А мужики засыпались. Ох и неприспособленный народ мужчины! Иной доктор наук, пять языков знает, а костер не разожжет, куба дров за смену не заготовит. На лесопункте, бывало, размышляют:

— Анна Павловна, интересно, в какую сторону сосна упадет?

— Наверно, вон туда. Ветерок с севера и ветви у нее с той стороны погуще.

Я подойду к своим девкам.

— Ну что, балаболки, у вас же норма полтора куба, надо сделать.

А они похохатывают:

— Так ведь интересно с ними, Полина Никитична!

В результате никаким цельным мировоззрением ни моя душа, ни души моих сверстников жить не могли...

Коле Киселеву было легче. Он был сиротой, потерявшим всех родных во время войны, детдомовцем — обязанным государству всем спасительным и хорошим, что было в его судьбе.

Но в то же время я, хотя и справедливо, но несколько высокомерно недолюбливавший многих своих сокурсников из студенческого окружения за их московский снобизм, за откровенно карьеристские замашки и планы, вытекавшие, видимо, из благополучной, обеспеченной атмосферы семей, в которых они росли и жили, вдруг неожиданно для себя, когда на второй месяц сборов мне дали командовать отделением солдат, увидел, насколько лучше, надежнее, интереснее эти

простые рабоче-крестьянские ребята детей партийных и государственных чиновников, отпрысков генералов и дипломатов, которые тоже учились со мною на одном курсе все пять лет.

Вот короткая запись из летнего дневника того же 1956 года:

“А все-таки мои солдаты не винтики, они достойны лучшего, нежели политбеседы.

Семенов — головастый, белобрысый, курносый парень. Умница, но играет полушутя, иногда любуясь своей игрой. С Платоновым вполне можно разговаривать серьезно и откровенно. Судаков простоват, но очень добрый.

Вчера я целые сутки провел с ними в карауле. Наговорился вдоволь. Душевные ребята! Как им хочется работать на гражданке, с каким чувством и пониманием дела они толковали о клевере, картошке, ржи, когда мы шли через колхозные поля. Их язык приводит меня в восторг, живой, сочный, правда, и солоноват и матерком пересыпан чересчур. Но, наслушавшись их разговоров, уже никогда не удовлетворишься бледными, надуманными интеллектуальными диалогами. И при всем том в ребятах много детского. Возятся друг с другом, как щенки, грубо друг над другом подшучивают, отчаянно и заразительно смеются.

Место, где стоит наш караул, называется Желтиковым полем. Склады снарядов и патронов помещаются в подвалах полуразрушенного древнего монастыря. Я прошелся по монастырскому двору. Груды кирпича, смешанного с известью, могильные плиты с сентиментальными, но трогающими сердце надписями, могила Голенищевой-Кутузовой, урожденной Глинки. Занималась поэзией, переводила, основала Всероссийское общество доброхотной копейки для бедных. Словом, примерная гражданка. Как изменилось понятие “гражданина” за какие-то 80 лет!

А ветер клонит лютики, гогочут неокрепшими голосами в заросшем прудике молодые гусята. Зной. На развалинах монастыря трепещут березки в рост человека. И странно видеть на этих руинах нас, людей XX века... И мы умрем, но как утешение, призывающее наслаждаться зноем, запахами полыни и лопуха, шершавым теплом старинной кладки, вспоминаю гениальные строки Есенина:

Все мы, все мы в этом мире тленны,
тихо льется с кленов листьев медь.
Будь же ты вовек благословенно,
что пришло процвесть и умереть”.

“За доблесть в труде и за честность”

Люди права и люди долга. Путь на Восток. Я — журналист районного масштаба. Две правды. Первая выволочка в райкоме КПСС. Воздух воли и юности в краю ГУЛАГа. Иркутская богема. Возвращение на Запад

Университетская жизнь завершалась, и на горизонте замаячило суровое слово “распределение”. Нынешние молодые люди, наверное, уже не знают, что в те времена каждый закончивший учебу студент должен был поехать туда, где государство и общество нуждалось в нем. Сейчас это правило считается у идеологов демократии бесчеловечным изобретением тоталитарной системы, но, по моему глубокому убеждению, оно выражало не только советскую, но вековечную сущность российской истории, по крайней мере от петровских времен, истории, замешенной не столько на идеях права, сколько на осознании долга. Вот где проходил и до сих пор проходит главный водораздел между нами и людьми Запада.

То, что при советской власти судьбой каждого молодого человека, получившего образование за казенный счет, распоряжалось государство и посылало его своей волей туда, где не хватало агрономов, инженеров, учителей, лесоустроителей, врачей, было всего лишь навсего естественной необходимостью, а не какой-то сверхчеловеческой злой волей. А разве Петр Первый не обязывал тех же дворянских сыновей учиться в Европе, а потом осваивать рудники Урала, строить корабли, ткацкие и парусные мануфактуры, открывать морские пути и новые земли для процветания государства Российского?

Энергия этого долга была сильна в обществе еще в середине прошлого века, несмотря на все либеральные и прогрессивные веяния, постепенно разлагавшие ее.

Неисправимый либерал-демократ Тарас Григорьевич Шевченко, живший после освобождения из ссылки в Нижнем Новгороде, в своем дневнике от 18 февраля 1858 года сделал любопытную запись:

"Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои — Волконский и Милюга. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения!.. Варварство".

Лишенный государственного инстинкта (что было и всегда будет свойственно малороссийской образованной элите) украинец Шевченко не понимал, что без этой направляющей воли бесконечные русские просторы невозможно ни обжить, ни освоить, ни цивилизовать, ни "обустроить". Первой по-настоящему, пожалуй, поняла эту тяжкую закономерность русская церковь, которая уже со времен монгольского ига стала посылать своих миссионеров и подвижников в пространства Северо-Запада и Северо-Востока, на Валаам и Соловки, на берега Печоры и Сухоны возводить монастыри, возделывать пашни, просвещать евангельским светом души людские, кто бы они ни были по крови — русские, вепсы, пермяки, коми...

Да что говорить! В начале двадцатого века мои дед и бабка, закончившие Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию, государственной волей были направлены на работу за тысячу километров от родных онежских берегов в глухую русско-мордовскую деревню Нижегородской губернии, поскольку надо было кому-то бороться с трахомой, сифилисом и туберкулезом, которые сейчас снова возрождаются там. Сентиментальный аскетизм, которым буквально пропитано все массовое искусство тридцатых годов нашего века, был не просто антуражем, но сутью той эпохи. Клавдия Шульженко, создавая образ женщины-товарища, мужественно прощалась с возлюбленным: "Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года!"

Леонид Утесов в популярнейшей песне о двух друзьях, которых вызвал командир и приказал: "На Север поедет один из вас, на Дальний Восток — другой" — демонстрировал, как надо скрывать свои чувства, чтобы не расплакаться при расставании: "Ты мне надоел, — сказал один. — И ты мне, — сказал другой"... "Дан приказ — ему на Запад, ей — в другую сторону́..."

"На долгие года", "врозь", во имя высшей целесообразности, во имя аскетической идеи общественного служения, во имя пронзающей все общество, от члена

Политбюро до рядового рабочего и солдата, идеи Долга. Поистине, как в петровские времена, в тридцатые годы все стали слугами государства.

Лишь через пятьдесят лет после Петра Екатерина Великая освободила дворян от обязательного служения, издав "Указ о вольности дворянства..." Указа "О вольности партработника" у нас не было. Но фактически эта "вольность" разлилась в воздухе к концу 60-х годов, когда партия уже перестала в приказном порядке бросать свои кадры на укрепление колхозов, на подъем целины, на стройки Сибири. И такое положение дел, в сущности, стало началом ее естественного перерождения...

А в тридцатые годы мои отец и мать жили врозь три четверти своей совместной жизни. Потому что аскетическое суровое время приказывало всем без исключения: "На Север поедет один из вас, на Дальний Восток — другой". Потому я и вырос на руках у бабки, о чем совершенно не жалею. Кстати, во второй половине пятидесятых годов система распределения стала уже достаточно мягкой, избавилась от "мобилизационных", полувоенных форм, и каждому из нас уже предлагали на выбор — одно место где-нибудь в Сибири, другое в одной из советских республик, третье в европейской части России. Я не знаю, как сейчас устраиваются на работу молодые специалисты, но мы, подписавшие согласие распределиться куда-либо, твердо знали: нас ждет гарантированная работа, обязательное и скорое — в течение нескольких месяцев — получение государственного жилья и "подъемные деньги" в размере двух-трех окладов, на которые можно было свободно доехать до места распределения и даже кое-чем обзавестись на первых порах новой жизни. Но три года, как минимум, надо было отработать. Не так уж это было все плохо...

Впрочем, я мог бы устроиться на работу и в Москве, основания к тому были: жена только что родила сына и серьезно заболела, но я искал для себя другую судьбу. Ни Москва, ни родная Калуга, куда мне было попасть легче легкого, не манили меня. Я написал письма в несколько сибирских газет — в иркутскую "Советскую молодежь", в братскую многотиражку "Огни Ангары", в ангарскую газету со страстными просьбами прислать на меня запрос на филологический факультет и взять на работу. Жутко хотелось посмотреть Сибирь, побывать на сибирских стройках, испытать себя в неведомой, но властно зовущей самостоятельной жизни. Спасибо молодой жене — она печально, но спокойно выслушала меня и сказала: "Ну, если так хочешь — поезжай. А я выздоровлю и к тебе с сыном приеду..."

О том, какими мыслями и чувствами жили мы в то время,

лучше всего, пожалуй, скажет письмо университетского друга Геннадия Калиничева, который к тому времени уже работал в куйбышевской газете, но был недоволен тем, что вокруг слишком много цивилизации, и тоже рвался в Сибирь:

"Живу пока в гостинице... С квартирами здесь туго. Да плевать на все. Найду какую-нибудь мансарду, да и ладно! Как было бы замечательно, если бы мы с тобой двинулись в могучие матерые края России. Я даже в снах вижу, как мы плывем по сибирским рекам, добираемся на попутках до древних деревень, до берегов Ангары, до строительных площадок... Станислав Юрьевич! Жизнь только начинается, нам бы только и бродить по земле Русской..."

В сентябре 1957 года, получив из Иркутска подъемные, я, как сто лет тому назад земляки Тараса Шевченко, приехал в столицу Восточной Сибири. Но все мои отчаянные попытки рвануть из Иркутска в Братск или Ангарск были пресечены железной волей заведующей сектором печати обкома КПСС Елены Ивановны Яковлевой.

— Что вы все, москвичи, по Братску с ума сходите, — затягиваясь "беломориной", сурово сказала Яковлева. — Партия нуждается в подъеме сельского хозяйства. Поезжай-ка в Тайшет, поработай годик-другой, покажи себя, а там поглядим... К тому ж есть у партии план — построить в следующей пятилетке недалеко от Тайшета металлургический комбинат. Проектные работы уже ведутся.

Несколько воодушевленный сведениями о комбинате, я вышел на улицу Карла Маркса, главную улицу Иркутска. Погода стояла дивная, желтые листья из синевы медленно осыпались на тротуар. Солнце освещало изукрашенный кирпичной кладкой особняк "Восточно-сибирской правды". Напротив, чуть наискосок я увидел вывеску "Советская молодежь", вспомнил, что еще летом получил ответ от главного редактора Алексея Кривеля, который писал, что, хотя в его газете вакансий пока нет, но *"Вы правильно решили поехать на работу к нам в Иркутскую область. Здесь есть где развернуться. Место всегда найдется"*.

— Надо поблагодарить его за добрые слова, — подумал я и открыл парадную дверь в редакцию, прошелся по коридору, заглянул в первый попавшийся кабинет. Худенький скуластый юноша, чья голова, как мне показалось, как-то высоко сидела на длинной шее над белым воротничком рубашки, поднял на меня круглые и блестящие, как вишни, глаза. Я спросил его, где найти главного редактора, он мне что-то ответил... Много позже я понял, что это был никому тогда еще не известный Валентин Распутин...

Ну что ж, Тайшет, так Тайшет... Вот так я стал заведующим сельхозотделом с окладом в 900 рублей. Газета называлась "Сталинский путь". Через год ее переименовали в "Заветы Ленина".

Я сел на поезд, шедший на запад, и спустя сутки сошел на небольшой станции, где увидел деревянный вокзал, выкрашенный облупившейся желтой краской, дощатый перрон, в сквере возле вокзала памятник — две гипсовых фигуры, покрашенные серебрянкой — сидящий на скамейке Ленин и над ним Сталин во весь рост, сверху вниз глядит на Ильича.

А к северу от Тайшета, вдоль ветки, уходящей к Лене, раскинулись бараки знаменитого Озёрлага, наполовину опустевшего после недавних политических потрясений, амнистий и реабилитаций 1956 года.

Я поселился в шестиместном номере двухэтажной деревянной гостиницы, где моими соседями были геодезисты, снабженцы и заготовители древесины из южных республик. А через два-три дня поехал в свою первую командировку в поселок Юрты к знаменитому на весь район председателю колхоза Михаилу Шевченко.

Он принял меня вечером в колхозной столовой, где, впрочем, кроме нас уже никого не было. Румяная повариха поставила на дощатый стол две громадных отбивных с жареной картошкой, бутылку водки, хлеб и два граненых стакана. Не то чтобы я в университетской жизни не пил — но стаканами? Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и вскоре председатель, быстро захмелевший с устатку, стал жаловаться захмелевшему не меньше его молодому журналисту на жизнь, на порядки, на свою полную несвободу.

— Ну, посуди сам, вот сейчас идут хлебозаготовки. У меня до зернышка выгребают все фуражное зерно, хорошо еще, что в тайге есть две-три неучтенных заимки. А в марте, когда мы начнем скоту хвою запаривать, я все пороги в обкоме обобью, чтобы хоть малую часть этого моего зерна мне же в виде комбикорма вернули! Ну зачем его возить осенью из наших амбаров в Иркутск, а весной обратно! Все равно ить не позволят мне колхозных коров на мясо сдать, да и какое с них весной мясо!..

Я удивлялся, сочувствовал, охал, запоминал цифры, факты, фамилии и радовался тому, что мне во время моего первого редакционного задания попался такой откровенный и смелый собеседник.

На другой день, дождавшись, пока мои снабженцы и заготовители дрючка разойдутся по делам, я засел в гостинице и настрочил целую полосу о Шевченко, о всех его мытарствах и страданиях в дни хлебозаготовок. Когда я сдавал репортаж в

типографию, мой главный редактор Александр Иосифович Москвитин был то ли в легком запое, то ли в отъезде, никто моего сочинения не прочитал и наутро я, счастливый начинающий репортер, держал в руках свежую газету.

— Вот Елена Ивановна Яковлева будет рада, — первое, что подумалось тогда мне. Однако на другой день в редакции раздался звонок из райкома партии. Звонил секретарь райкома.

— Это ты у нас молодой специалист из Москвы? Заходи ко мне. Поговорить надо.

В секретарском кабинете я увидел моего юртинского собеседника. Шевченко сидел с газетой в руках и дочитывал репортаж. Лицо его было скорбным. А сам Шишков — худой, светловолосый язвенного вида человек, затянутый в общепринятую форму сибирских партийных секретарей — в темно-синюю гимнастерку, в галифе и фетровые бурки — нервно ходил по кабинету, дымя папиросой.

— А! Садись, садись! Ну, рассказывай, как вы оба решились посягнуть на святая святых — на хлебозаготовки! Из Иркутска Яковлева уже мне звонила!

Шевченко отложил газету и посмотрел на меня взглядом, полным укоризны и отчаяния:

— А я ничего подобного журналисту не говорил. Не знаю, зачем и почему он все эти глупости выдумал...

Я открыл рот, чтобы возразить, но, еще раз взглянув на сокрушенного председателя, понял, что всю вину надо брать на себя, и пробормотал какие-то жалкие слова о том, что, видимо, выпил лишнего и все перепутал, и что слушал собеседника невнимательно, да и писал репортаж второпях и что, действительно, кое-что, может быть, досочинил без злого умысла и вложил в уста председателя свои собственные соображения...

В конце разговора секретарь райкома сурово поглядел на меня и на прощанье сказал: "Был бы ты членом партии — не миновать бы строгого выговора с занесением в личное дело... Надо тебя в партию принимать, чтобы ответственность чувствовал..."

А выгонять меня из редакции надо было за другое. Дело в том, что мы получали все районные газеты, выходившие в области, и свою газетку рассылали по редакциям районных газет. Однажды, просматривая то ли тулунскую, то ли алзамайскую районку, я наткнулся на заметку, напечатанную под рубрикой "В мире интересного", где сообщалось о том, что "на болотах африканских прерий растут огромные деревья, которые питаются кровью и мясом". Их якобы называют "луатомвао", что на языке какого-то племени означает "дерево-людоед".

Дальше в заметке шла речь о том, как какой-то бельгийский офицер, отстав от своих солдат, подстрелил фазана, его собака рванулась за фазаном в чащу и вдруг завизжала. Офицер бросился за ней, и вдруг его обхватили какие-то ветви, похожие на хоботы слонов, и стали душить его, он закричал и выстрелил в воздух, прибежавшие солдаты едва успели освободить его от черных, гибких, как змеи, ветвей "луатомвао"... "А вскоре окружающие услышали треск собачьих костей, и ветви-пиявки выбросили непригодные остатки в кустарник. Потрясенный командир приказал сжечь страшное дерево, которое при горении стало источать смрад сожженного мяса"...

Я ночью сдавал номер, в котором у меня было на четвертой полосе пустое место, и рассказ о дереве-людоеде спешно заполнил его. Утром перечитал газету и ужаснулся: Боже мой, что я натворил, вот теперь-то меня точно уволят... Но ни из обкома, ни из райкома не позвонили. Ни Яковлевой, ни Шишкову не было никакого дела до газетных глупостей такого рода. Вот хлебозаготовки — это да.

А ближе к зиме по легкому морозцу в яркий солнечный день мы с Шишковым поехали на райкомовском "газике" в село Старый Акульшет, где он вручал переходящее Красное Знамя и отрезы на платье лучшим дояркам района. Потом прямо на ферме в красном уголке хозяева спроворили немудреный банкет для доярок с песнями и плясками, уже затемно мы пришли на ночевку к председателю колхоза и у него продолжили застолье. Председатель, руководивший колхозом со дня его основания аж четверть века, стал вспоминать дела давно минувших дней:

— У нас во время коллективизации как бывало? Вызывает уполномоченный единоличника: "Садись. Пиши заявление в колхоз". Тот отказывается. "Не хочешь?" Берет телефонную трубку, набирает номер. "Москва? Мне Михал Иваныча Калинина! Михал Иваныч? Вот тут в Старом Акульшете сидит рядом со мной один сукин сын и разговоры ведет против Советской власти, в колхоз идти не хочет... Что? Плохо слышу, Михал Иваныч! Выслать? Добре, Михал Иваныч, добре. До свиданья! Ну, слышал, что Калинин говорит?" А мужик уже дрожащими пальцами тычет ручку в чернильницу, заявление пишет...

Шишков расхохотался, но потом начал шпынять старика за недостачу хлеба и вдруг растерянно развел руками:

— План выполнить не сможем. А если выполним, то оставим колхозников без семян и без фуража. Общественное животноводство хоть сейчас пускай с торгов!

Я осмелел и напомнил ему о конфузе с Шевченко. Шишков вспылил:

— Да я ли не знаю, что он прав и что он тебе все рассказал так, как ты написал... Но что делать, коль там наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — нас и слушать не хотят...

...Чтобы там сегодня ни говорили "о льготах и привилегиях" партийных и советских чиновников — свидетельствую: на районном уровне в конце пятидесятых годов большинство из них были людьми самоотверженными, не щадившими ради дела ни своего времени, ни здоровья, ни личной жизни. В погоду-непогоду, в ночь-полночь они бороздили необъятные земли таежного района, убеждали, ругались, просили, награждали, наказывали, лишь бы лишние машины с сосновыми и лиственничными хлыстами доползли по разбитым дорогам до нижнего склада, лишь бы зерно в вагонах текло на запад и восток к элеваторам, лишь бы до наступления холодов успеть утеплить вагончики для рабочих строительно-монтажного поезда № 288, приехавших строить трассу Тайшет—Абакан. Думая о тех временах, о людях аскетического склада, людях долга, а не права, я часто вспоминаю честные и восторженные стихи Николая Рубцова:

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

Как все точно сказано и изображено в этой строфе! Именно "плясал, выбиваясь из сил", именно "требовал выпить", и не за что-нибудь, а "за доблесть в труде и за честность", и "проносил на руках", именно "как знамя"...

Это все-таки были люди общинных устоев и семейных традиций, а не какие-то винтики административно-бюрократической системы. Николай Рубцов не какой-нибудь Юрий Черниченко или Анатолий Стреляный, он не врал и не фальшивил, когда писал о праздничной скромности крестьянского бытия.

Лучшими доярками в колхозах, как правило, были литовки, лучшими трактористами и комбайнерами — немцы, лучшими животноводами — западные украинцы. Все — ссыльные военных и послевоенных лет. Дома у них были крепкие, просторные, огороды — ухоженные, скотины в стайках всегда было много, в горницах царили чистота и порядок. К таким хозяевам обычно определяли меня на постой председатели и бригадиры, когда я на редакционном мотоцикле, либо на

попутках, либо даже на лыжах добирался из Тайшета до их таежных сел. А по весенней распутице на полевые станы или дальние заимки я особенно любил добираться верхом — сибирская малорослая лошадка упорно одолевает версту за верстой по лесной дороге, от вешнего духа тающей земли, смешанного с резким запахом лошадиного пота, покруживается голова, в черемуховом распадке свистят рябчики. И стихи сами собой слагаются в голове.

Ах, по Сибири, по белому снегу
лайка следит соболиный побег,
а по России, по белому свету
ищет себя молодой человек.

Однажды несколько дней я жил в Байроновке у старика с Западной Украины. Чернобородого, длинноусого, с большими печальными глазами.

Вечером, выпив медовухи, мы разговорились о прошлой жизни.

— Та, хлопчик, такого мы навидались и хорошего и поганого — счету нема. И под поляками, и под немцами, и под русскими. Сына бандиты вбили. Ночью пришли и вбили. Придут: "Давай исты!" Как не дашь? А утром советские солдаты в дверь стучат: "Кому еду давал?" А я оружию давал, не человеку. Устал от такой жизни, потому, когда в Сибирь ссылали за помощь бандитам, с легким сердцем поехал. Здесь жить спокойнее...

Свидетельствую: понимая, что и немцы, и литовцы, и западно-украинцы ссыльные, местные власти всегда старались выделять, хвалить и награждать за трудовые успехи в первую очередь их, и советовали мне не жалеть добрых слов о немцах-трактористах, доярках-литовках. Я не жалел. О русских с их способностью сегодня совершить трудовой подвиг, а завтра натворить такое, что хоть святых выноси, с их фаталистическим терпеньем и покорностью всему, что Господь ни пошлет, писать было труднее.

В Енисейке — древнейшей деревне района — я ночевал в избе у старухи. Утром проснулся и увидел на полу белоголовую девочку лет шести. Она играла с толстым кудлатым щенком, который потешно повизгивал и валился вдруг на спину, кверху белым тугим брюхом.

Оказалось, что это бабушкина внучка. Отец ее — сын старухи погиб на границе в пятидесятом году. Мать бросила дочку на воспитание бабке и пошла на стройку в райцентр.

— А где сын-то погиб?

— А кто ее знает. В извещении город какой-то прописан, да я забыла...

Я с жадностью и безотказно отправлялся в дальние заимки и лесопункты, в палаточные городки, которые встречали меня гулом тракторов, ползущих по размокшим, рыжим глинистым дорогам, тротуарами, сбитыми из свежих досок, сверкающих золотыми натеками смолы, выцветшим брезентовым полотнищем полевой столовой, где под пологом за грубо сколоченными столами и на длинных лавках сидели девушки и парни, наворачивая за обе щеки, конечно же, борщ и вечную тушенку с макаронами, запивая, конечно же, компотом или мутным кофе.

А тут еще в какой-то газете прочитал стихи Смелякова, побывавшего в Братске, совсем неподалеку от Тайшета — всего в каких-то семистах верстах:

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.

Тут взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Я танцевал с этими бетонщицами вальс "Память цветов" в клубе-времянке. Клубящийся пар молодого жаркого дыхания вырывался через распахнутую дверь в морозное небо, на дощатой сцене лежали груды валенок и ватников, в которых сюда прибегали девушки из вагончиков, чтобы тут же переобуться в туфли. В клубе пахло креозотом, смолой, дешевыми духами, а в самом звенящем воздухе было вдоволь и кислорода, и морозной свежести, и выхлопной гари, и чего-то неведомого, что можно было назвать запахом юности, счастья и отчаянной веры в свою судьбу.

А по вечерам, воротившись со стройки в Тайшет, я шел к станции, подымался по скрипучим ступеням на виадук и со сладкой тоской глядел вслед поездам на запад, куда уходило за черную гряду леса вечернее солнце.

Я выходил на виадук,
вставал над гранью небосклона
и погружался в перестук
колес ночного эшелона.

Зари вечерней полоса
затягивалась синевою,
и стрелочников голоса
перекликались подо мною.
Но разом вспыхивала мгла
и отступала с косогоров,
когда вдоль насыпи плыла
струя сверкающих вагонов.
И паровозные свистки,
и запах дерева и дыма,
и ветер, лижущий виски —
все было так неповторимо!

...В дождливый ветреный день августа пятьдесят восьмого на станцию Саранчет приехал из Калужской области отец погибшей Нади Зайцевой. Ее задавил тяжелый самосвал, который перевозил бетонный раствор.

Когда мы пришли в женское общежитие, маленький усатый старик, сидевший на табуретке возле закрытого гроба, быстро встал, протянул каждому из нас сухую мозолистую ладонь и сдавленным голосом отчеканил:

— Прокоп Филиппович Зайцев!

И опять сел. И добавил:

— Коль похоронили бы ее до меня — мне было бы легче. Если бы хоть больная была...

Начальник строительства Иван Лукич Чабан обнял его за плечи:

— Открывать гроб не будем. Лучше не смотреть на нее, Прокоп Филиппович!

— Да, да, не будем открывать, — прерывистым, клокочущим голосом подтвердил отец и вдруг резко пошел к двери. Подружки Нади бросились следом успокаивать его.

— Хоронить сегодня будем, Прокоп Филиппович?

— Сегодня. Чего ее держать. Мать плакала, не пускала ее в Сибирь. А Надежда говорила ей: "Все едут, а я комсомолка, и я поеду". Что я приеду, что скажу старухе? Мол, от болезни Надюшка померла. Сердце у старухи больное...

* * *

К середине зимы местная власть предоставила мне казенное жилье — половину деревянного дома с одной комнаткой и маленькой кухней. Возвращаясь из поездок домой, я первым делом растапливал печку, и пока еловые дрова, разгораясь, трещали и пламя, просвечиваясь сквозь щели между железной дверцей и кирпичами, плясало на половицах, вскрывал банку

китайской тушенки, чистил картошку и с тихой радостью думал о том, кто сегодня вечером будет моим собеседником: может быть, Пушкин, чей коричневый академический десятитомник я привез из Москвы, а может быть, любимый и зачитанный однотомник Сергея Есенина, или Александр Блок из "Большой библиотеки поэта", или маленькая книжечка в темно-сиреневом переплете Николая Заболоцкого, которую я недавно купил в привокзальном киоске... А может быть, когда печка протопится, и медленное, растекающееся по комнате тепло дойдет до заиндевевших углов, я закрою трубу и, слушая шорохи и завыванье вьюги, скребущейся в ставни, потихоньку вытащу из стола свои заветные листочки и начну колдовать над ними, нашептывая рифмы и наощупь отыскивая слова. А вдруг сегодня у меня все сложится и я перепишу набело черновики, которые с самой осени не дают мне покоя. В Тайшете — что и говорить! — я первый поэт. Я печатаюсь в "Заветах Ленина", когда моей душе угодно, я руковожу литературным объединением, в котором и наш ответственный секретарь Александр Петров — автор книги о бирюсинских партизанах, и заведующий промышленным отделом Владимир Быковский, и рабочий из геологической партии Виктор Куренной, и техник-рентгенолог из поселка Суетиха Адольф Чернявский. Недавно он был у меня дома, рассказывал про свою жизнь. Сам из Воронежа. Пробыл в Тайшетлаге на поселении 18 лет... В Воронеже работал в областной газете, куда иногда заходил какой-то ссыльный, как говорит Чернявский, замечательный поэт Осип Мандельштам. Он даже на память мне его стихи читал. Но какие-то они темные, туманные. Не то, что у Заболоцкого...

На последнее занятие литобъединения к нам пришел высокий смуглолицый человек, он с трудом передвигался, опираясь на палку.

— Бывший военный летчик Виктор Бабонаков! — отрапортовал он мне. — Стихи пишу с 1939 года, жил в Москве, был знаком с Константином Симоновым, с Михаилом Лукониным... Но выше всех поэтов ценю Сергея Есенина.

Раненный незадолго до конца войны в позвоночник, он долгое время был парализованным, потом кое-как стал ходить, уехал на родину в Сибирь, где жизнь тоже не сложилась, и в конце концов осел старший лейтенант в Тайшетском доме инвалидов.

А еще мне рассказали старожилы из местной интеллигенции, что незадолго до моего приезда в Тайшет они похоронили писателя Муравьева, тоже недавно освободив-

шегося из лагеря... Пил сильно, и однажды рвота у него началась, ею он и захлебнулся.

А известен Муравьев был еще тем, что якобы о нем Александр Твардовский в поэме "За далью даль" написал, как встретился с ним, с другом своей смоленской юности, на тайшетском перроне:

Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.

Помню, с каким щемящим чувством боли и восторга, как будто это происходило не с Твардовским, а со мной, я перечитывал вечерами стихи о встрече поэта с освобожденным из неволи другом и поражался бесстрашию его взгляда и слова.

Я не ошибся, хоть и годы,
И эта стеганка на нем.
Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.

Это волшебное, народное *"с ходу ко мне работает плечом"* восхищало меня, как и многое другое: *"Зубов казенных блеск унылый", "хоть непривычно без конвоя, но так ли, сяк ли, пассажир", "но что еще без папиросы могли мы делать до свистка"*... Все, что я видел и слышал в тайшетской постлагерной жизни, — разговоры, "казенные зубы", "стеганки", люди, похожие на отсидевшего свой срок Василия Тёркина, с отчаянными надеждами на будущую жизнь — все каким-то образом сплавилось в одно целое с тайшетскими картинами из поэмы Твардовского, вникая в которую я естественным и незаметным образом обучался и русскому языку, и нравственному чувству, и стихосложению.

...А литературное объединение мое постепенно разрасталось, появился в нем Лева Шварц, тоже из реабилитированных, остроглазый, рыжий, веселый еврей, он у нас в редакции ремонт делал. Смотрю — в коридоре плавно машет кистью и поет: "Ты со сцены мне кинула сердце, как мячик"... Спрашиваю, откуда он в Тайшете (как почувствовал, что стихи пишет). "Я, — говорит, — был еще в "Синей блузе", вот тогда комсомольцы были не то, что сегодня у вас..." Любил поговорить о том, что он хороший мастер и не позволяет себе плохо исполнять никакую работу. "Но у вас здесь никакого гешефта у меня не будет, потому что я уважаю редакцию". Вскоре он признался мне, что отсидел четырнадцать лет, как фальшивомонетчик...

— Однако и в той сфере я работал классно! — с гордостью сказал Шварц на прощанье. К Новому году в Тайшет наконец-то приехала моя жена, хотя и без сына. Но об этом я лучше и точнее рассказал в маленькой поэме "Хроника пятидесятых годов".

Потом приехала она.
Он бормотал слова при встрече,
и видела одна луна,
как обнимал ее за плечи,
как иней на ресницах цвел,
как шубка при луне сверкала,
когда ее он к дому вел
по узкой тропке от вокзала.
Они гуляли по ночам,
метель гуляла по застрехам,
прислушиваясь к их речам...
Глаза и губы пахли снегом.
В полуночь город вымирал,
как бы в средневековье раннем.
Он руки ей отогревал
своим прерывистым дыханьем.
Сияли окна в блестках льда,
сверкали звезды над Тайшетом.
Он счастлив был. Но вся беда,
что не подозревал об этом.

Жена стала работать в редакции вместе со мной, а вскоре ее уговорили по утрам вести короткие передачи на местном радио. Зимой ей приходилось вставать рано и затемно бежать по безлюдным, горбатым от снежных заносов улочкам к радиокомитету. И никого, и ничего мы не боялись в те времена в городе печально знаменитом своими лагерями...

Вечерами, закончив хозяйственные дела, Галя иногда под свист метели медленно запевала что-нибудь издавна любимое нами: "Утро туманное", "Вот кто-то с горочки спустился", "Клен ты мой опавший"...

Я вступал вторым голосом, но часто фальшивил, давал "петуха", портил песню... Слух у меня скверный. Жена сердилась и по нескольку раз порой заставляла меня повторять мелодию, пока в конце концов она не начинала звучать в лад с ее голосом.

Мои стихи между тем уже печатались в иркутской молодежной газете и в солидной "Восточно-Сибирской правде". А в начале 1959 года я получил письмо из журнала "Сибирские огни". Известная сибирская поэтесса Елизавета Стюарт писала мне, что стихи, которые я послал в журнал, ей понравились, и что весной они будут напечатаны в старейшем и знаменитейшем журнале Сибири.

А тут еще пришло приглашение из Иркутска на совещание

молодых писателей, где будут многие мои иркутские ровесники, имена которых уже были известны мне — Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов, Юрий Скоп, Анатолий Преловский...

На этом совещании я с успехом читал своим новым друзьям стихи из Тайшетской тетради. С Шугаевым мы как-то сразу легко подружились и даже выбрались на утиную охоту. А с Юрием Скопом в составе веселой студенческой компании поднялись то ли на пик Черского, то ли на вершины Хамар Дабана, где провели весеннюю ночь возле костра под крупнозвездным байкальским небом, пили дешевое вино, толковали о будущем, где Юра читал мне стихи неизвестного поэта Бориса Слуцкого...

А упоительные богемные вечера на иркутских квартирах у Пети Реутского, у Жени Суворова, у Алика Стукова! Молодой, обаятельный Саня Вампилов, склонив курчавую голову к гитаре, с особым отрешенным от страстей жизни изяществом исполняет романсы на слова Федора Тютчева, Аполлона Григорьева и, конечно же, к всеобщему восторгу, свое заветное: "Когда еще я не пил слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я"... Ну разве такую жизнь найдешь в Тайшете?

А завтра меня обещали познакомить с Леонидом Кокоулиным, который работает прорабом на Иркутской ГЭС, пишет замечательные рассказы, Юру Скопа берет за поясной ремень и выжимает над головой одной рукою. Но главная легенда о нем гласит, будто бы Кокоулину после войны за его заслуги командир дивизии подарил трофейную автомашину, которая одновременно была и плавучей амфибией. Недавно хмельной Кокоулин посадил в нее кордебалет музыкального театра и, нарушая все правила движения, стал катать актрис по городу. А когда за ним погнались машины и мотоциклы ГАИ и прижали его к Ангаре, то будто бы он, под негодующие крики гаишников и к восторгу обывателей, махнул с визжащими от сладкого ужаса балеринами с берега в ангарскую пучину, как раз в том месте, где когда-то был расстрелян адмирал Колчак, и выплыл на другой берег аж к устью Иркутска... Только его и видели!

Нет, надобно мне переезжать в Иркутск...

Не зря я живу в Тайшете, но тесно мне здесь, уже первая книжка сложилась, и название хорошее — "Землепроходцы". Издаваться надо, пора поближе к цивилизации. Ну, сколько можно в литобъединении обсуждать стихи местных поэтов. Вот вчера целый вечер погубили на разговоры о стихах местного заслуженного графомана Николая Чуркина. И человек

он хороший, и поэзию любит, и не писать стихи не может, но как прочитал:

Дан стране компас, как кораблю:
пятилетка — радость боевая.
Жизнь светла. Я родину люблю.
Партию родную понимаю,

так мы с Чернявским и повалились на столы от смеха. А Чуркин и многие другие обиделись: мол, вы не поняли поэтического пафоса стихов... Надоело уже мне все это. Надо переезжать в Иркутск!

Но в Иркутске мне осесть не удалось. Не было там для меня ни работы, ни жилья. И я окончательно решил, коли так, если уже что и завоевывать — то сразу Москву...

Холодной снежной осенью 1959 года я провел последнее заседание литобъединения. Заполночь мы вышли на улицу. Низенькие крыши домов, присыпанные свежим снегом, сияли под круглой луной. Над крышами, словно продолжение ночных труб, стояли неподвижные изваяния дыма, стаи бродячих собак с урчаньем проносились по улицам.

Я обнялся с Адольфом Чернявским, рассказавшим мне о Мандельштаме. Маленький, сухонький рентгенолог в черных фетровых ботах поспешил на последний автобус, чтобы успеть домой в поселок Суетиха, где его ждала семья, которую он успел завести в Тайшете на старости лет.

Бывший военный летчик Бабонаков, гулко стуча толстым можжевеловым посохом о деревянный тротуар, заковылял в свой дом инвалидов, тихо радуясь тому, что во внутреннем кармане его телогрейки приятно прилегает к сердцу плоская фляжка с коньяком.

Старый синеблузник Лева Шварц распрощался со мной и трусцой побежал куда-то на окраину города, где снимал угол для жилья.

Прощайте, друзья! — мысленно говорил я им вслед. Спасибо за кусочек жизни, прожитый вместе с вами, за вечерние разговоры, за бескорыстную любовь к стихам...

Но перед тем, как распрощаться с Сибирью, надо было обязательно навестить город моей неосуществившейся мечты Братск... Александр Твардовский не написал бы своей знаменитой поэмы, если бы не побывал на Ангаре...

А другой мой кумир Ярослав Смеляков: *"В районе большого порога сурово шумит Ангара", "на фоне тайги и метели два слова: "Даешь Ангару!", "Устав от тряски, перепутий, совсем недавно, в сентябре, я ехал в маленькой каюте из Братска вверх по Ангаре"* — стихотворение о том,

как пошлая патефонная песенка о ландышах, шлягер тех лет, возмутила душу гражданского поэта:

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была.

Еще бы! А разве не в этом же "Ангарском цикле" Ярослав Васильевич, глядя на Илимский острог, вспоминая свой интинский лагерь и аввакумовское заточение в местах недалеких от заточения собственного, написал одно из лучших своих стихотворений о мятежном протопопе:

Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту —
язык мятежного предтечи,
светящийся, как угль, во рту...

Вот каким эхом откликнулась поездка поэта на Ангару и в Братск.

А недавно прочитанные мною стихи Владимира Соколова, тоже проехавшего мимо меня на Север к Братску: *"Я не ветром, а словом "ветер", как филолог какой, дышал"* (ну это почти обо мне), *"На улицах Старого Братска едва ль не последний апрель", "Где пурга обнимает у края прорана лебединую шею портального крана"* — вот ведь как еще можно писать о Братске, о стройке, о будущем, о себе самом...

Братск и Ангара в те годы были, как сейчас принято говорить, знаковыми понятиями. После Твардовского, Смелякова, Владимира Соколова туда вскоре приехал Евтушенко за своей поэмой "Братская ГЭС", Анатолий Кузнецов за повестью "Продолжение легенды"... Так что и мне самой судьбой положено повернуть по пути из Иркутска в Москву на север от Тайшета, что я и сделал. И не напрасно. Именно в Братске чуть ли не в день приезда я встретился в многотиражке "Огни Ангары" со стройным пышноволосым молодым человеком, который, протянув мне руку, отрекомендовался с улыбкой:

— Анатолий Передреев...

Но рассказ о нем пойдет в следующей главе, а сейчас я вспомню лишь о том, что недели через две, когда я сел в вагон "Лена—Москва", вместе со мной в купе с рулонами этюдов поселились трое художников, несколько месяцев живших в Братске. Изо всех троих одна фамилия запомнилась на всю жизнь. Это был Виктор Попков. Я еще не знал, что вскоре он станет знаменитым художником. Поезд наш спустился на юг,

к Тайшету и повернул на запад, я поднялся во время стоянки на виадук, чтобы в последний раз попрощаться с городом.

...Городок, где я когда-то был
юным, опрометчивым, влюбленным,
медленно качнулся и проплыл,
словно призрак, за стеклом вагонным.

Покачнулись дряхлые дома,
покачнулись люди и составы,
словно покачнулась жизнь сама,
постепенно уплывая вправо...

Но дыханье тлена и весны
вновь плывет вдоль насыпи с рассветом,
дождь шумит, и молодые сны
до сих пор витают над Тайшетом.

* * *

Через 15 лет, в 1974 году, я возвращался с охоты из Ербогачена, с Иркутских северов, где мы были вместе с Вячеславом Шугаевым, и после короткого колебания сошел на знакомый деревянный перрон. Скульптурная композиция Ленина со Сталиным еще стояла перед вокзалом, никакого Тайшетского металлургического комбината в окрестностях, конечно, и в помине не было, но дорога Тайшет—Абакан спокойно и деловито принимала поезда, идущие на юг, в Хакасию. Я заглянул в редакцию, где меня еще помнили и старые журналисты, и корректор Роза Израилевна, и наборщик Павел Семенович. На другой день газета опубликовала мой портрет со стихами, к тому же два дня тому назад мы с Шугаевым выступали по Иркутскому телевидению, которое и в Тайшете смотрят. Поэтому, когда я шел по главной городской улице и ко мне подбежали две девушки, сердце мое встрепенулось: сейчас скажут: “Вы Станислав Куняев? Дайте, пожалуйста, автограф!”

Но девушки схватили меня за руки:

— Дяденька, во дворе водопровод чинили и яму вырыли, в нее пьяный провалился, сам никак не вылезет... Там один милиционер справиться не может с ним, просил кого-нибудь с улицы позвать...

— Ну вот, а ты все о славе мечтаешь, — горько усмехнулся я и вошел во двор.

* * *

Только я закончил свои размышления о тщете славы земной и о наших тщеславных мечтах стать когда-нибудь знаменитыми, как вдруг попалась мне на глаза одна книга, словно бы нечистая сила подсунула мне ее под руку.

Полистал, посмеялся, и (такова уж судьба, видно) решил написать две-три странички на тему, честно говоря, давно уже опостылевшую мне...

Дорогой читатель! Если Вас попросят назвать нескольких знаменитых англичан — кого Вы назовете?

Ну, наверное, Шекспира, Ньютона, Байрона, Черчилля, может быть, Джона Леннона.

А кто попадет в Ваш список знаменитых французов? Бьюсь об заклад, что среди прочих там могут быть Робеспьер с Наполеоном, Бальзак, Эдит Пиаф, де Голль...

А знаменитые немцы? Ну, конечно, многие вспомнят Гете, Бисмарка, Марлен Дитрих, Гитлера, Вагнера...

Знаменитый человек — это не самый лучший, не самый честный, не святой, не идеальный, не самый красивый, не самый храбрый или богатый — это всего лишь навсего широко известный долгое время, известный миру, ну по крайней мере той части землян, которая читает, поглощает информацию, живет не только узко личной или семейной жизнью и не только жизнью своего племени и своего народа... Знаменитый человек в известном смысле один из всемирных символов своей нации, ее визитная карточка.

А теперь скажите мне, являются ли знаменитостями в этом смысле слова люди, носившие в прежние времена или носящие сегодня следующие фамилии: М. Анилевич, В. Аллен, И. Башевич-Зингер, Берлин Ирвинг, Э. Визель, П. Гельман, Г. Грец, Н. Закс, Э. Канетти, Б. Кац, Л. Котляр, П. Эрлих, Х. Кребс, Р. Леви-Монтальчини, Х. Риковер, М. Мидлер, Х. Сенеш, И. Фисанович, Ш. Калманович, К. Функ, Р. Хофман? Прочитали?.. Как вы думаете, чем, когда и в какой области стали знаменитыми эти люди? Если Вы не сообразили, то поможем Вам подсказкой. В этом перечне есть физико-химик, моряк-подводник, биохимик, адмирал, героиня и герой антифашистского сопротивления, биолог, разведчик, физиолог и биофизик, режиссер, бактериолог, еще один биохимик, спортсмен, историк, летчица, композитор и аж целых четыре писателя, и все четверо лауреаты Нобелевской премии. Да, в сущности, полсписка — это все “нобели”. Теперь, я думаю, когда Вам известны фамилии и профессии знаменитостей, уже не стоит никакого труда вычислить, кто есть кто. Если не

получается, тогда как в телевизионной игре на деньги, которую проводит Дибров (кажется, она называется "О, счастливчик!"), я еще раз подсказываю Вам: Б. Кац — кто он? из четырех вариантов один правильный: экономист? биохимик? физиолог? психиатр? Угадаете — 100 рублей Ваши. Вопрос легкий, игра только начинается. Что? И даже сейчас не угадали?

Странно. А ведь все вышеназванные фамилии взяты из книги, изданной недавно в Москве издательством "Внешсигма" и которая называется "Знаменитые евреи". Знаменитых евреев не знать! Это нехорошо.

Подзаголовок книги гласит: "165 мужчин и женщин. Краткие биографии. Издание второе, дополненное и исправленное".

Впрочем, я занимаюсь ерундой, предлагая вам поставить возле каждой фамилии профессию. Главное свойство знаменитых людей таково, что в добавлении к своим именам какой-то профессии они совершенно не нуждаются. Ведь недаром мы вспоминаем — Александр Пушкин, Кузьма Минин, Дмитрий Менделеев, Андрей Рублев, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Галина Уланова, и в голову нам не приходит уточнять, кто из них химик, кто поэт, кто космонавт, а кто балерина. Даже имен не нужно. Достаточно фамилий. Чем меньше нужно дополнительных пояснений, тем выше градус знаменитости. Помните в этом смысле дерзкую эпитафию, придуманную Державиным для надгробной плиты своего знаменитого современника: "Здесь лежит Суворов". Ведь никому в голову не придет, что речь идет о каком-нибудь однофамильце полководца, или об авторе "Ледокола" и "Аквариума". Впрочем, буду справедлив: люди такого градуса знаменитости в справочнике есть — Е. Азеф, Ф. Каплан, М. Бегин, А. Дрейфус, К. Маркс, Г. Гейне, Джордж Сорос, М. Ротшильд, Л. Троцкий, А. Эйнштейн, никому разъяснять не надо, кто из них политик, кто террорист, кто поэт, кто банкир, кто революционер, кто финансовый аферист.

Однако над большей частью фамилий, попавших в книгу "Знаменитые евреи", приходится голову поломать.

Каюсь, и я тоже сплоховал. Позвонил своему другу Вадиму, очень знающему человеку, я всегда его головой как справочным аппаратом или компьютером пользуюсь.

— Дима, — говорю, — не знаешь ли ты, что это за знаменитая поэтесса, лауреат Нобелевской премии Нелли Закс? Это не та ли, что к тебе в 70-е годы на литобъединение ходила? Нет? Ну, вот, а я-то думал, что ты все знаешь...

Будь моя воля, я бы все-таки сократил список сомнительных знаменитостей, перечисленных мною в начале, и

заменил бы их на куда более известных людей, почему-то не попавших в почетный словарь. Ну чем Мордка Богров, убийца Столыпина, менее известен миру, чем Фанни Каплан? А уж Хаим Юровский, выпустивший первую пулю в императора в Ипатьевском доме, герой нескольких фильмов и пьес о революции, за что не удостоен чести быть среди знаменитых евреев? А ведь Хаим Юровский был фигурой много крупнее, нежели несчастная полуслепая Фанни, промахнувшаяся в Ленина! Уж он-то, подобно Мордехаю Богрову, не промахнулся. А разве еще один знаменитый террорист Яков Блюмкин, убийца графа Мирбаха, не достоин быть в компании с Фанни Каплан? Увы. Какой-то Блюм есть, а Блюмкина нет.

Иона Якир законно присутствует в книге с портретом, две страницы биографии, а ведь рядом с ним должен быть его соратник по ленинской гвардии Генрих Ягода вместе с другими знаменитостями времен Великой Октябрьской социалистической революции — с Григорием Зиновьевым, Яковом Свердловым, Лазарем Кагановичем. А их как будто бы и не было в истории XX века!

Родной брат Свердлова, усыновленный Горьким, Зиновий Пешков почему-то попал в сонм бессмертных, хотя был всего лишь навсего французским генералом. Но что такое французский генерал по сравнению с Яковом Свердловым, главой первого ВЦИКа Советской России, чьим именем были названы улицы и площади любого мало-мальски приличного города нашей страны! Понимаю, что некоторые читатели, в том числе и евреи, вздрогнут, услышав имена Свердлова, Кагановича и Ягоды, но ведь, по-моему, сам Бен-Гурион, первый президент Израиля, сказал знаменитые слова: "Позвольте еврейскому народу иметь своих негодяев" (цитирую по памяти). А чем Парвус незнаменитее какого-нибудь Шаботая Калмановича, о котором сказано, что родился он в 1947 году в Каунасе, уехал в Израиль, был там в 1987 году осужден на 9 лет как советский шпион, вернулся в 1993 году в Россию, построил в Москве Тишинский и Щелковский торговые центры, а также серию аптечных киосков. И все. Разве можно сравнить размах "бизнесмена и филантропа" Калмановича с размахом Парвуса, финансировавшего чуть ли не всю русскую революцию?

Калманович среди знаменитых евреев есть, а Парвуса нету. Несправедливо. Так же несправедливо, как и отсутствие в книге первого мэра Москвы советской эпохи Льва Борисовича Каменева. Подумать только, Владимир Ресин, всего лишь навсего один из многих заместителей Лужкова, есть, а Каменева — нет! Да покойный Гриша Горин один намного знаменитей

нескольких вместе взятых драматургов, сценаристов и прочих “нобелей”, чьих портреты украшают уникальную книгу. Искал я Григория на ее страницах и не нашел.

Проблема “знаменитостей” не так проста, как кажется. Так, например, создатель автомата Михаил Калашников, который вооружил весь мир, знаменит всемирно. Даже иные американские обыватели, которые слыхом не слыхивали о нобелевских лауреатах биохимике Функе или о писателе Визеле (оба жили и померли в Америке), знают слово “Калашников”... Сравниваю его славу с известностью другого выдающегося изобретателя оружия Александра Нудельмана. Составитель сборника считает, что Нудельман знаменит. Но известен ли он Вам, читатель? Нет, не спорю, пользы нашей родине он принес немало, во время войны его пушки работали, как надо, а после пушек были ракетные комплексы и танковое вооружение. Но не знаменит, поскольку жил и помер засекреченным. Кстати, он был дважды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и пяти государственных, то бишь Сталинских премий. Столько государственных премий, сколько Нудельман, получил лишь кинорежиссер Михаил Ромм. Очень ценно, что в биографических справках есть информация о премиях, званиях и наградах советских евреев. А то ведь многое уже забывается. Ну кто, к примеру, помнит, что физик Лев Ландау, авиаконструктор Семен Лавочкин были не только Героями Социалистического Труда (Лавочкин дважды), но и четырежды лауреатами Ленинских и Сталинских премий. Их обогнал разве что Самуил Маршак, у которого этих премий было аж пять. Он их получал с 1942-го по 1951 год. Каждые два-три года. Трижды лауреатами были актриса Фаина Раневская, оперный певец Марк Рейзен, историк Евгений Тарле. А физик Юлий Харитон стал трижды Героем Социалистического Труда. Такие же звезды того же труда носили на лацканах и Аркадий Райкин, и Майя Плисецкая, и Исаак Дунаевский. И все это совершалось в основном в 30—50-е годы, когда в стране якобы господствовал “государственный антисемитизм”. Представьте себе, сколько у них было бы премий и наград, если бы они жили и творили в другую, “неантисемитскую” эпоху! Самосвала бы не хватило...

А все же порой, листая уникальный справочник и задумываясь над некоторыми именами, нет-нет да и вспомнишь крылатую фразу одного из нобелевских лауреатов, попавших в книгу: “Быть знаменитым некрасиво...”, особенно, когда ты безнадежно не знаменит или знаменит, как Гусинский или Бабицкий, которые живут, по словам Наума Коржавина, “не отличая славы от позора”.

"Прощай, мой безнадежный друг..."

Анатолий Передреев в Братске. Встреча с ним в Москве. Разговоры с Михаилом Светловым и Николаем Асеевым. Журнал "Знамя" начала 60-х годов. Литературное еврейство и псевдонимы. Знакомство с Ильей Сельвинским. Цереушник в нашем кругу. Визит к Ахматовой. Владимир Соколов и Андрей Битов в салоне Вадима Кожинова. Последние годы жизни Анатолия Передреева.

В конце 1959 года из Тайшета, где я работал в районной газете "Сталинский путь", я поехал на несколько дней поглядеть Братскую ГЭС. Я вообще мечтал после университета работать в Братске, быть очевидцем стройки века, но меня направили в Тайшет... Хоть и рядом, но все-таки за семьсот километров. И вот наконец-то я в Братске. Я с восторгом бродил по котловану будущего моря, утонувшему в клубах морозного пара, забредал в рабочие дощатые столовки, где хлебал горячие щи, засиживался в рабочих общежитиях, поднимался на выветренный гранитный утес под названием Пурсей и вглядывался с высоты в громадное чрево котлована, наполненное маревом, туманными огнями, урчанием железа и маленькими игрушечными фигурками людей, бормотал какие-то строчки, записывая их в блокнот замерзшими, негнущимися пальцами...

Вечером одного из сумеречных декабрьских дней в коридорах многотиражки "Огни Ангары" я встретился со стройным, породистым парнем, ходившим, несмотря на

морозы, нараспашку и без шапки, укрываясь есенинской копной светлых волос. Это был Анатолий Передреев, бок о бок с которым протекли последующие почти тридцать лет моей жизни. Много лет позже я так вспомнил нашу первую встречу в Братске:

Я помню деревянный дом,
где папиросный дым столбом,
за окнами собачий холод.
Вморожен в небо лунный круг,
но молод мой высокий друг
и я самозабвенно молод.

Нет, нам еще не вышел срок,
нас водка не сбивает с ног,
а только силы прибавляет.
Мы загуляли до утра,
нам дела нет, что Ангара
величественно прибывает.

Звезда над черною сосной,
фонарь на улице пустой,
сиянье в чреве котлована...
Вся эта жизнь уйдет на дно,
дыхание затруднено
волной морозного тумана.

Вся эта жизнь ушла на дно,
а вместе с нею заодно
и этот дом, и эти годы...
Над Братским морем тишь да гладь,
глядишь — и взглядом не объять
его искусственные воды.

(1967)

Сколько за эти годы у нас было душевных разговоров, размолвок, споров, восторгов — не припомнишь, — и все вокруг самого главного, чему в те романтические времена мы уже посвятили свои судьбы, — вокруг русской поэзии... Что она такое? Что значит быть русским поэтом? Что есть правда в поэзии?.. Как совместить поэзию и личную судьбу? На эти вопросы никто не мог ответить нам, кроме нас самих...

Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения, кто каким-то чутьем ощущал, что́ есть правда и что́ есть неправда в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую, духовную — любую) у него был абсолютный, и поэтому я свои новые стихи читал ему первому, начиная с 1959-го и кончая 1986 годом, когда летом приехал к нему в его новую

квартиру на Хорошевском шоссе, чтобы прочитать написанную мной в тяжелейшем душевном состоянии поэму “Русские сны”... Я верил ему больше, чем себе, когда нам было по двадцать пять лет, и продолжал верить, когда нам стало по пятьдесят... А через год с лишним мне пришлось сказать последнее слово над его могилой...

Через несколько месяцев после нашей встречи на берегах Ангары в моей московской квартире раздался телефонный звонок: Анатолий Передреев и его грозненский друг Володя Дробышев прибыли завоевывать Москву. Вечером мы встретились у Центрального телеграфа, откуда я повел своих друзей в ресторан ВТО — надо же было показать “провинциалам” столицу! Именно там, когда ресторан уже закрывался и нас начали потихоньку выгонять из него, до нас дошло, что за соседним столиком сидит Михаил Светлов. Мы были молодыми и бесцеремонными поэтами и тут же перетащили мэтра к себе. Да он и не возражал, поскольку хотелось еще выпить, а было не на что. Передреев же с Дробышевым приехали из Сибири с деньгами...

— Босяки, — сказал нам Михаил Аркадьевич, — здесь нас не уважают, пойдемте-ка в “Националь”...

Мы шли по неоновой, сумеречной, летней Москве, бережно поддерживая с обеих сторон сухонького Михаила Аркадьевича.

— Да вы, ребята, гуманисты, — растроганно бормотал автор “Гренады”. — Вы настоящие поэты, не то что те двое негодяев, которые недавно пришли ко мне домой и сразу начали антисемитские разговоры. Моему сыну боксеру пришлось спустить их с лестницы...

А мы тогда еще и знать не знали, что такое антисемитизм...

Я уже работал к тому времени в журнале “Знамя”, Дробышев начал сдавать экзамены на истфак МГУ, Передреев в Литературный институт, и мы встречались друг с другом чуть ли не каждый день.

Наша журнальная комната, где кроме меня сидели два сотрудника отдела критики — Самуил Дмитриев и Лев Аннинский, была настоящим литературным клубом. Здесь засиживались за чаем, а то за кое-чем покрепче — Владимир Соколов, Игорь Шкляревский, Юз Алешковский, Вадим Кожинов, Дмитрий Стариков, Василий Белов, Николай Рубцов. Иногда, спускаясь со второго — начальственного — этажа, к нам заглядывали ветераны советской литературы, остроумцы, краснобаи 20—30-х годов. Шкловский открывал рот и мог часами, как заведенный, вспоминать о Маяковском, о том, как по его, Шкловского, приказу в моторы броневиков, должных

защищать Временное правительство, подсыпали песку, и это в немалой степени способствовало победе советской власти...

Виктор Ардов — седовласый красивый старик, заходил в нашу комнату, оглядывал свысока Мулю Дмитриева, Леву Аннинского, меня и, остановив взор на мне — незнакомом ему сотруднике журнала, однажды грозно вопросил: "А вы, милейший, не полужидок?" Ошарашенный этим вопросом, я простодушно ответил Ардову: "Ну что вы, я русский и по отцу и по матери!" Но Ардов продолжал смотреть на меня с подозрением: как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале?! Вот отделом критики заведует "полужидок" Самуил Александрович Дмитриев, сын известной всей Москве Цили Дмитриевой, его помощник Лева Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публицистики сидят Александр Кривицкий, Миша Рощин (Гимельман) и Нина Каданер — это все наши! Секретарь редакции — Фаня Левина, зам. гл. редактора Людмила Ивановна Скорино вроде бы украинка, но муж у нее Виктор Моисеевич Важдаев... О самом Кожевникове говорить не будем, он из Сибири. А первый его заместитель Сучков Борис Леонтьевич, русский, но отсидевший восемь лет в одиночке, он тише воды и ниже травы... А в прозе София Разумовская, а ее муж Даниил Данин — и вдруг какой-то чисто русский!

Вот что было написано на челе Виктора Ардова, как бы проверявшего — а кто нынче работает в журнале "Знамя"? Кстати, туда я попал в известной степени случайно. По возвращении из Сибири я несколько месяцев подвизался в журнале "Смена", которым руководил будущий знаменитый главный редактор "Молодой гвардии" Анатолий Васильевич Никонов... Его жена, писательница-фронтовичка Ольга Кожухова, заведовала отделом поэзии журнала "Знамя". Когда она надумала летом 1960 года уходить оттуда, то Никонов посоветовал ей рекомендовать на эту должность меня, так как я жил стихами и очеркистом в журнале "Смена" был никудышным...

А в грозном вопросе Виктора Ардова "Вы не полужидок"? — естественно, никакого антисемитизма не было, наоборот, видимо, ощущая себя человеком чистой крови и высшей расы, он с удовольствием демонстрировал свою дарованную свыше левитскую власть всяческим "получистым" — Муле Дмитриеву, Льву Аннинскому и прочим "сухим" и "полусухим" ветвям еврейского родословного древа... Но со мной, от свойственных такого склада людям пошлой гордыни и высокомерия, у него произошла ошибочка...

Впрочем, почти все советские классики еврейского происхождения, русскоязычные ассимилянты, ровесники века, с которыми мне приходилось встречаться в 60-е годы, — были людьми крайне тщеславными, напыщенными, глубоко уверенными в том, что уж они навсегда вошли в пантеон русской литературы. Виктор Шкловский, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Виктор Ардов, Александр Безыменский, Вера Инбер, Илья Эренбург...

Впрочем, их можно было понять. Они чувствовали себя вне конкуренции (говоря сегодняшним языком), может быть, потому, что их русские ровесники Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин, Алексей Ганин, Николай Клюев, Иван Приблудный покоились в могилах, куда их уложили соплеменники одесситов Агранов с Ягодой. Русский конкурент Шкловского Бахтин влачил свои дни в безвестности при Саранском пединституте. Другие же выжившие русские поэты — Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Борис Ручьев — в отличие от "ассимилянтов" хлебнули каждый свою долю лагерной и ссыльной баланды и были запуганы на всю оставшуюся жизнь, так же, как Твардовский и Ахматова, бывшие заложниками своих репрессированных родных и близких... Ну как было на этом трагическом, ущербном для русской поэзии фоне не разыгрывать из себя классиков Кирсанову, Багрицкому, Шкловскому, Сельвинскому, Безыменскому с их звучными псевдонимами? Поразительно глубоко и точно сказал о сущности псевдонимов русский религиозный философ Сергий Булгаков: "Переменить имя в действительности так же невозможно, как переменить свой пол, свою расу, возраст, происхождение и пр. Псевдоним есть воровство, как присвоение не своего имени, гримаса, ложь, обман и самообман. Последнее мы имеем в наиболее грубой форме в национальных переодеваниях посредством имени... Здесь есть двойное преступление: поругание матери — своего родного имени и давшего его народа, и желание обмануть других, если только не себя, присвоением чужого имени. Последствием псевдонимности для его носителя является все-таки дву- или многоименность: истинное имя неистребимо, оно сохраняет потаенную свою силу и бытие, обладатель его знает про себя, в глубине души, что есть его истинное, не ворованное имя, но в то же время он делает себя актером своего псевдонима, который ведет вампирическое существование, употребляя для себя жизненные соки другого имени. Не может быть здорового развития для псевдонима, ни истинного величия и глубины при

такой расхлябанности духовного его существа, денационализации, ворованности".

Кстати, эпоха псевдонимов в русской литературе — это XX век. В XIX веке ни одному крупному русскому писателю и в голову не приходило заменить свою простую русскую фамилию на какой-нибудь роскошный псевдоним...

Все "псевдонимы" ходили с гордо задранными подбородками, брезгливо-презрительным выражением на лице, чему способствовало строение рта: нижняя губа неестественно отвисает вперед и вниз (посмотрите, к примеру, на Бенедикта Сарнова, или Евгения Рейна, или на любой портрет великого Михоэлса); все они любили поучать и воспитывать нас, молодых русских поэтов, ничего тогда не подозревавших о том, почему и зачем наши наставники ведут с нами назидательные разговоры.

Когда у меня в 1960 году вышла в Калуге первая книжечка стихотворений "Землепроходцы", руководитель литературного объединения "Магистраль" Григорий Левин, друживший с Ильей Сельвинским, из каких-то своих соображений попросил меня, чтобы я подписал ее мэтру... Он же и передал мой опус Сельвинскому.

Вскоре я встретился с "классиком" в Переделкино. Не то чтобы он был моим кумиром, но все-таки имя, авторитет... Лестно было, что он, прочитав мою первые незрелые стихи, написал письмо и пригласил к себе на дачу. Я поднялся к нему по деревянной лестнице на второй этаж. Мэтр спрашивать почти ни о чем не спрашивал, больше говорил сам, как будто хотелось ему выложить молодому поэту все о времени, о поэзии, что не удалось сказать в книгах. Запись этой беседы сохранилась у меня в блокноте. Я, как только вышел за ограду, обосновался, присел на лавочку и записал все почти стенографически... А разговор, как всегда, шел о главном: что останется в поэзии, что отомрет, развеется, забудется. Естественно, что говорил он, а я жадно слушал. Вот, к примеру, несколько записей из монолога маститого поэта: "Исаковский пишет: "впереди страна Болгария, позади река Дунай". Чтобы не спутали, о чем он пишет, ставит слова "страна" и "река". Это ориентация на самых отсталых из читательской массы! А "Василий Теркин" — вещь откровенно несовременная! Русофильская! Характер времен первой империалистической войны... Козьма Крючков!.."

А я сидел, слушал открыв рот и думал: как интересно, как смело мыслит! А может быть, в чем-то и прав! Не может быть, чтобы совсем был неправ... Ведь все-таки один из живых

классиков! Как это у Багрицкого сказано: "...на багровый Запад рвутся по стерням: Тихонов, Сельвинский, Пастернак..." Кстати, почему Багрицкий сказал "по стерням", ведь это слово не имеет множественного числа, надо бы "по стерне"?.. Впрочем, чего я придираюсь? Конечно, Багрицкий знал, как надо писать слово "стерня", но решил написать по-своему... В поэзии надо быть смелым, как Сельвинский, как Багрицкий...

Потом седой грузный мэтр начал разговор о Кирсанове, о его новаторстве, смелости, мастерстве, виртуозности, которых не хватает Твардовскому и Исаковскому... Помню, что сравнивал Кирсанова с наездником-джигитом высочайшего класса и прочил ему поэтическое бессмертие...

— А что вы сейчас пишете? — робко спросил я в конце разговора.

Мастер приосанился:

— Я сейчас работаю над циклом стихотворных трагедий о времени. Но трудно пишется, а печатать будет еще труднее. В этих трагедиях будут действовать Ленин, Троцкий, Эйнштейн... Едва ли мои трагедии будут поняты сегодня... Это — работа для будущего...

Все мы думаем, что наша работа для будущего, а будущее приходит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Время неуклонно делает свою таинственную работу, и посмертные судьбы поэтов да будут нам уроком. Вроде бы одним временем и в одном времени жили, дышали и творили Ахматова, Сельвинский, Твардовский, Кирсанов, Смеляков, Безыменский, Заболоцкий, Уткин. Каждый из них был по-своему популярен, каждому критики предвещали славное будущее. Но не все предсказания оправдались. Смотришь сейчас — и как будто бы незаметно для глаза их посмертное значение пошло по разным железнодорожным веткам, постепенно удаляющимся друг от друга, словно бы стрелки кто-то перевел, а кто и когда — не зафиксируешь и точно не скажешь. Так что рискованное дело — прогнозы и предположения делать, да еще на несколько десятилетий вперед. Тут надо больше доверять истории, времени, а не своим злободневным страстям, не своему критическому темпераменту. Ведь недаром Александр Блок как-то сказал суровые слова о любителях поспешных пророчеств: "Есть немало критиков, которые придают огромное значение тому, что не доживет до завтрашнего дня".

С комплексом еврейского высокомерия в характере Сельвинского я столкнулся еще раз, когда, пользуясь своим знакомством с мэтром, послал ему письмо, в котором пригла-

шал его напечататься в “Знамени” и выражал свою готовность приехать к нему за стихами в Переделкино.

В ответном письме неожиданно для меня Сельвинский излил совершенно неизвестному тогда молодому поэту все свои обиды на Союз писателей, на литературную судьбу, на редакторов журналов... Каждая буква этого, как я сейчас вижу, жалкого и глуповатого письма кричала о том, что не ценят великого соратника Багрицкого, современника Маяковского, соперника Твардовского.

“Переделкино 8.IX.60

Милый тов. Куняев!

Меня можно навестить в любой час любого дня, но боюсь, что наша беседа не даст Вам того, на что Вы рассчитываете, т. к. я очень быстро утомляюсь, и мои родичи не дадут нам с Вами долго разговаривать (Сельвинскому тогда было всего 60 лет. — **Ст. К.**). *Лично я буду Вам рад, т. к. я всегда любил молодость.*

Что касается Вашего любезного приглашения печататься в “Знамени”, то из этого ничего не выйдет, даже если Вы делаете мне это приглашение, согласовав его с главным редактором. Дело в том, что Ваша редакция очень хорошо ко мне относится, но так же дружно меня не печатает. Посудите сами: дал я Кожевникову трагедию “От Полтавы до Гангута” — ему она понравилась, но он ее не напечатал. Дал ему затем трагедию “Большой Кирилл” — не напечатал, дал роман в стихах “Арктика” — не напечатал. Поэмку об атомной бомбе не напечатал. Наконец, драматическую поэму о Ленине, которую он принял с восторгом (у меня есть свидетели) и, как обычно, не напечатал. Но, может быть, эти вещи недостойны печати? Дальнейшая их судьба показала, что совсем напротив: “От Полтавы до Гангута” напечатала “Звезда”, затем пьеса была издана издательством “Искусство”, издательством “Советский писатель”, наконец, Гослитиздатом и вдобавок поставлена Воронежским театром. По этой вещи я располагаю прекрасной прессой. То же нужно сказать о “Большом Кирилле”: напечатан в трех издательствах, поставлен театром им. Вахтангова, получил первую премию на фестивале в честь Октябрьской революции, переведен немецким поэтом Кубой на немецкий язык и ставится, как народное представление, под открытым небом в Германии. Роман “Арктика” издан “СП” и сейчас вышел в двухтомнике Гослитиздата. Кто же, по-Вашему, прав:

т. Кожевников или вся наша общественность, в том числе ЦК? Кстати: драматическая поэма о Ленине, которую я дал на отзыв в ЦК КПСС, получила высокую оценку как в политическом, так и в эстетическом отношении. Ее судьба еще впереди. Вы представляете, что если я с этими материалами выступлю с трибуны съезда или даже пленума? Это не принесет лавров Вашей редакции. Вспомнят при этом, пожалуй, мысль Хрущева о редакторах, которые считают себя умными потому, что ничего не печатают. Конечно, если б я принес Вам стандартные стихи, вам всем они бы не понравились, но из уважения к моим сединам вы бы их напечатали. Но я ненавижу стандарт и ничего в этом роде предложить Вам не могу.

Таково положение вещей.
Сердечно вас приветствую

Ваш Илья Сельвинский".

Это письмо, в котором Кожевников выглядит хитрым демагогом и циником, а Сельвинский тоже демагогом, но глупым человеком, который уже не понимает, в какую эпоху он живет, я публикую еще и потому, что оно весьма точно характеризует нравы литературной жизни хрущевского смутного времени...

Как бы то ни было, в 1961—1963 годах, за моим столом и на диване, что стоял в дальней половине нашей журнальной комнаты, сложился некий небольшой, но очень любопытный духовный центр того, что позже стало называться русской партией. Такие очаги были во многих уголках Москвы: при обществе Охраны памятников несколько позднее возник так называемый русский клуб, где витийствовали Петр Палиевский, Дмитрий Жуков, Олег Михайлов, Сергей Семанов; при журнале "Октябрь" полукровка Дмитрий Стариков и еврей Юра Идашкин успешно представляли русские интересы — недаром "Октябрь" был первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в Москве подборка стихотворений Николая Рубцова; в журнале "Молодая гвардия" под крылом Никонова возрастали Владимир Цыбин и Виктор Чалмаев, Владимир Фирсов и Анатолий Поперечный...

Но нас не устраивал "молодогвардейский" или "октябрьский" кружки, поскольку и тот и другой находились под мощным присмотром государственной денационализированной идеологии — "Октябрь" опекался цековскими

чиновниками, а “Молодая гвардия” — комсомольской верхушкой, нам же хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного свободы, и некоего лицейского царскосельского патриотического и поэтического содружества...

И вот тут-то явление Передреева и его поэзия пришлись всем нам как нельзя более кстати. Полная независимость и какая-то изначальная самостоятельность и естественность и его поэзии, и его жизненного поведения сразу же очаровали всех нас. В годы, когда вскипали споры эстрадных поэтов, когда в борьбе за монопольную любовь к родине-государству сходились на съездах и пленумах Евгений Евтушенко и Владимир Фирсов, вдруг зазвучал какой-то абсолютно естественный голос Анатолия Передреева, чурающийся любого публицистического разгильдяйства, любого политического подтекста, голос, стремящийся к одной цели — выразить простую русскую судьбу и русскую душу.

Я помню, как он читал нам на знаменском диванчике одно из самых заветных своих стихотворений тех лет:

МАТЬ

Уляжется ночь у порога,
Уставится в окна луна,
И вот перед образом Бога
Она остается одна.

Туманный квадратик иконы,
Бумажного венчика тлен.
И долго роняет поклоны
Она, не вставая с колен.

И пламя лампадки колышет,
Колеблет листочек огня.
Ночной ее вздох —
не услышит
Никто его, кроме меня!

Лишь сердце мое шевельнется,
Сожмется во мраке больней...
Никто никогда не вернется
С кровавых и мертвых полей!

Не будет великого чуда,
Никто не услышит молитв...
Но сплю я спокойно, покуда
Она надо мною стоит.

(1961)

Семья Анатолия Передреева, спасаясь от голода 30-х годов, сбежала из поволжской деревни Старый Сокур на юг, где можно было прокормиться, в город Грозный.

Не лови меня на слове...
Не о том рассказ...
По рожденью и по крови
Я не твой,
Кавказ!

Я из той земли огромной,
Где такой простор,
Что легко затерян дом мой,
Позабыт мой двор.

Где во славу бури только
С вековых берез
Посшибало ветром столько,
Разметало гнезд.

У Передреева была большая семья — пятеро братьев и сестра. Три брата, за которых мать молилась по ночам, погибли на Отечественной войне. Четвертый вернулся без ног и работал в Грозном сапожником. После того, как в 1960 году Анатолий написал “Балладу о безногом сапожнике”, которую напечатала “Лит. газета”, Борис Слуцкий, опекавший в те годы всех нас, показал эти стихи Николаю Асееву. Тому стихотворение настолько понравилось, что он, решив, будто бы Передреев стихи написал о самом себе, однажды, после того как Ворошилов вручил ему очередной орден и задал формальный по тем временам вопрос: есть ли у вас какие-либо просьбы? — вдруг решился:

— Климент Ефремович, у меня есть знакомый молодой поэт, чрезвычайно талантливый, но без ног, ему нужно бы за счет государства изготовить хорошие протезы...

Вскоре Асееву позвонили из приемной Ворошилова и сообщили, что вопрос о протезах решен, но старый поэт уже выяснил, что Передреев прекрасно ходит по Москве на своих собственных ногах.

Надо сказать, что со стороны Асеева это было решительным поступком, поскольку за ним водилась репутация скуповатого и черствого человека, которую он не раз подтверждал.

Летом 1960 года наша троица — Передреев, Дробышев и я, поехали к Асееву на Николину гору, где у него была дача. Поблагодарить старика за протезные хлопоты, да и поглядеть на соратника Маяковского хотелось.

Асеев встретил нас на просторной солнечной веранде, усадил в плетеные кресла и сразу же начал читать какие-то глуповатые стихи о строительстве Бухтарминской ГЭС.

Главный эффект стихотворенья был, видимо, по его замыслу, в звукописи. Поэт взмахивал руками, рубил воздух и нелепо выкрикивал: — Бух! Бухтарма! — изображая падение воды с плотины. Мы переглядывались, с трудом стараясь не рассмеяться. Наверное, Асеев понял, что стихи нам не понравились, и в отместку, когда наступило обеденное время и его жена Оксана позвала Николая Николаевича к столу, сказал весьма проголодавшимся нам: "Вы посидите здесь, книжки посмотрите, а я пообедаю, и мы продолжим нашу беседу..." Словом, был он не то что Слуцкий, который и яичницей угощал, и рюмку мог налить в своей тесной квартирке в Балтийском переулке.

В моей записной книжке 1960 года сохранилось еще несколько записей того, что говорил нам Николай Асеев:

"Я больше не хочу участвовать в авантюре, называемой советская поэзия. Я не хочу работать в рекламном бюро, я ничего не понимаю и не могу напечатать лучшую свою антивоенную поэму об испытании атомной бомбы".

"Слуцкий и Мартынов что придумали — перешагнуть Маяковского! Да его сначала понять нужно".

"Маяковского трижды в партию не принимали за мелкобуржуазность, вот почему он написал: "Я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек". А когда он решил в РАПП войти, что ему говорили? "Мы Вас принимаем, но у Вас есть отрыжки мелкобуржуазности". Он стоял, слушал, молчал, курил".

"Позднего Пастернака — не принимаю!"

"Шостакович был ничего, но стукнули ему по голове за "Леди Макбет" (тут Асеев неожиданно и сильно шлепнул себя по лысине), он и замолк..." Словом, Асеев и Сельвинский были два сапога пара, вечные "новаторы", уже не понимавшие, в каком времени они живут.

Анатолий Передреев до своего появления в Москве успел отслужить в армии, поработать в плавильном цехе и за баранкой самосвала, на Саратовском химическом заводе, и стихи написал естественные, предельно правдивые обо всех этапах своей трудовой жизни, но в этих стихах где-то между строк чувствовалось, что не для этой биографической правды он пришел в мир, а для чего-то большего, что на первых порах еще неясно было ему самому.

Помню, как в 1962 году, после первых своих летних

каникул, вернувшись из Грозного, он разыскал меня в "Знамени" и утащил в Дом литераторов, чтобы, не теряя ни одного дня, прочитать мне новые стихи. Пестрый зал ресторана был полупустой, мы уединились в углу, слава Богу, никто нам не мешал, и я слушал с наслаждением, как мой любимый друг, под обаянием которого я жил в те времена, читает мне, первому:

Заболев по родимым краям,
Из далеких вернусь путешествий,
Тишина... и струится заря,
И петух голосит на насесте.

Ничего не обещано мне,
Не завещано здесь ничего мне,
Никакое наследство не ждет,
Не вручается сызнова детство.

Простенькие рифмы, как бы спрятанные внутри строфы, придавали стихотворению дополнительную естественную изысканность и привели меня в восхищение!

Просто пахнет, как прежде, земля,
И высокий скворечник на месте...
И встает надо мною заря,
И петух голосит на насесте!

Стихи развивались как сама жизнь, обнаруживая какое-то ее скрытое величие, ее обыденную святость, это была поистине новая, еще никем так последовательно не осуществленная интонация в молодой русской поэзии 60-х годов.

Возвращаюсь к простым вещам,
К свету малому
В малом окошке,
Приобщаюсь к дымящимся щам,
Приручаюсь к домашней ложке!

Задеваю стол и кровать,
Как слепой, прикасаюсь тихо...
И гляжу на закате
На мать —
Мать сидит на скамейке тихо...
Я не видел ее никогда!

"Не видел", то есть не понимал поистине святой правды и красоты этих родных русских лиц, внезапно открывшихся ему.

Я склоняюсь к моей старухе, —
Что глядит она так?

И куда?
Отчего так сложены руки?

С этих поразивших его чувство и сознание картин и началась подлинная поэтическая судьба Анатолия Передреева. Свой путь к родине он искал, отвращаясь как от спекулятивно-эстрадной, евтушенковской, так и от сусально-патриотической колеи.

Обниму тебя, березка,
Слышишь мой привет?
Я пришел не за разверсткой
Ходовых примет.

Кто с отзывчивым талантом
Мчит на твой простор
Так, как будто эмигрантом
Был он до сих пор.

Много их, своих привычных,
Тяжких, как недуг.
Заповедных и столичных
Браконьеров душ.

А еще его выделяла изо всех нас какая-то монашеская, почти религиозная любовь к поэзии, жесточайшая требовательность не только к себе, не только к нам, грешным, но и к своим кумирам — Лермонтову, Есенину, Блоку. Мы подшучивали над Есениным и Блоком, как над людьми своего круга... Я читаю вслух одно из своих любимых стихотворений Сергея Есенина “Каждый труд благослови, удача”, дохожу до строчек:

Хорошо лежать в траве зеленой
и, впиваясь в призрачную гладь,
чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
на себе, уставшем, вспоминать.

Передреев не упускает случая свысока заметить: “На себе, уставшем! — лежит на берегу, а сам вспоминает, как на него глядела какая-то женщина. Это — женщина должна вспоминать, как на нее Есенин глядел! Тоже мне Нарцисс!”

Читает нам Николай Рубцов свою знаменитую ныне “Прощальную песню”:

Мы с тобою, как разные птицы,
что ж нам ждать на одном берегу,
может быть, я смогу возвратиться,
может быть, никогда не смогу.

Передреев тут как тут:

— Ты, Коля, все-таки перед тем как писать, реши: возвратишься или нет, не кокетничай.

А сам Передреев — высокий, статный, обладавший какой-то магнетической силой, в полную меру пользовался своим обаянием. Никто лучше его не мог в совершенно безнадежной очереди за вином улыбнуться всем страждущим и, уловив на их лицах ответные улыбки, а то и услышав: "Ну ладно, студент, бери, мы не против!" — протянуть через головы продавщице скромную купюру и принять в ладонь заветную бутылку. Помню, как Смеляков однажды в каком-то случайном застолье залюбовался Передреевым и сказал не о стихах, а о чем-то другом, не менее важном:

— Я ставлю на твою стать!

Яшин Александр, человек желчный и строгий, попавший под обаяние Передреева, в избытке нежных чувств при мне подарил ему со своей руки какие-то дорогие часы, чуть ли не золотые, потом Передреева уговорили вернуть дорогие часы владельцу, но Яшин рассердился и не принял их обратно.

Жили мы в те годы весело, рискованно, неосторожно. Но все сходило нам с рук. О том времени сейчас много лгут — о повальной слежке, о неизбежных наказаниях за знакомства с иностранцами, за любое вольномыслие. Недавно в передаче "Старая квартира", у Гурвича, некий "интеллектуал" — и в прошлом, что можно было понять из его воспоминаний о своей судьбе, обычный фарцовщик рассказал, будто бы его исключили из института за то, что он в начале 60-х годов взял автограф у иностранца... Но я помню, как в это же время наша компания познакомилась с американским филологом, который стажировался у нас в МГУ. Звали его Мартин Малиа. Мы все — Передреев, Рубцов, Кожинов, я, Дима Стариков — ему понравились, он был человеком при деньгах, и несколько месяцев мы дружно пропивали их то в Доме литераторов, то в кафе "Марс" на Тверской, то на моей или кожиновской квартире, то в общаге Литинститута. Говорили обо всем — о поэзии, о политике, о деле Пастернака, о Есенине, о Хрущеве, о XX съезде... Наверняка органам госбезопасности все это было известно, но мы, ощущая себя русскими патриотами и государственниками, ничего не скрывали и не боялись ничего. Мартин Малиа снабжал нас литературой — книгами Бердяева, Библией, четырехтомником Пастернака вместе с "Доктором Живаго". Мы даже подозревали, что он цэрэушник (что потом подтвердилось), но и это не смущало нас: "Мы, поэты, люди свободные и родину свою никогда не продадим, а уж

встречаться будем с кем нам угодно!" — так мы думали и чувствовали в то время. И никто нас не преследовал, никто никуда не вызывал, разве что Володю Дробышева на годик то ли отчислили из Университета, найдя какой-то предлог, то ли перевели на заочное, да меня вычеркнули из списков на какую-то туристическую поездку в Африку. Может быть, в связи с цэрэушником Малиа, а может быть, по другим причинам. Я ничуть не огорчился и ничего не стал выяснять. Мы были выше мелочей такого рода.

Передреев вносил в нашу жизнь дуновение полной свободы поведения и независимости в суждениях обо всем. Он очень не любил, когда в его присутствии кто-нибудь спекулировал политическими понятиями, разговором о правах человека, о репрессиях, о гонениях... К фальши такого рода он был беспощаден. Помнится, как за его столик однажды подсел человек, видимо, желавший выпить, но решивший сначала вызвать сочувствие к себе. Он начал было с аффектом рассказывать о своих страданиях в сталинских лагерях, но Передреев сразу же перебил его:

— А за что посадили-то? — И не дав пришельцу открыть рта, с жестокостью человека, не выносившего притворства и расчетливой фамильярности, вдруг неожиданно продолжил: — Небось украл чего-нибудь!

Потрясенный незнакомец завопил о том, что он политический, что невинно репрессирован, но Передреев не дал ему ни одного шанса:

— Политический? Ну, это еще хуже, такие, как ты, за собой десятки людей уводили... Пошли, Вадим, я за одним столом с ним сидеть даже не хочу!

Друзья, женщины, издатели — каждый по-своему в первые годы, пока Передреев был молод, обаятелен, красив, опекали его, спасали от безденежья, вызволяли из бытовых и скандальных неурядиц, подыскивали жилье, похмеляли, выручали едой и ночлегом. Он легко и естественно, с каким-то врожденным тактом мог быть в центре внимания в салоне Лили Брик и в общаге Литинститута, в квартире у Ермилова и в кабинете секретаря московского обкома Гоголева, в гостях у Бориса Слуцкого и в милицейском участке, куда мы с ним однажды попали после скандальной драки с иллюзионистом Игорем Кио и его помощником, нахамившими нам, как это показалось Передрееву, в ресторане Центрального Дома литераторов. Но порой благодаря этому стилю жизни мы попадали и в курьезные обстоятельства.

...Однажды мы вошли в коридор громадной московской

коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, заставленной тяжелой мебелью, за столом у "неумытого окна" сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать верстку с набором своих стихотворений — одно из них чрезвычайно нравилось мне:

Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан кирасир!

Когда мой друг узнал, что я еду к Ахматовой, чтобы она подписала верстку стихотворений, которые должны были появиться в журнале, где я служил, он упросил меня взять его с собой.

Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что аудиенция закончена. Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми своими пружинами, и хотел сказать "до свидания", как мой молчаливый друг, по-моему, все время дремавший в углу, вдруг, к моему ужасу, произнес с обезоруживающей непосредственностью:

— Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи читаете... Прочитайте нам что-нибудь свое любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы вглядываясь в представителя "младого и незнакомого племени", но вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку дешевого проигрывателя, поставила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загроможденной пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала медленная, торжественная речь:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: "Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда".
....
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова с молчаливым вопросом поглядела на нас, но ее молчаливое осуждение прошло мимо цели: Передреев безмятежно дремал в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и ужаса, я разбудил его ударом локтя в бок.

Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывалились в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную жизнь Садового кольца...

Я с негодованием набросился на друга:

— Ну что — получил? Послушал "что-нибудь любимое"?

Но ему все было как с гуся вода:

— Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь вспомним!

Вот и вспомнилось... Но к стихам Ахматовой, надо сказать, он относился без особого интереса. Больше любил Заболоцкого, Ходасевича, иногда цитировал Мандельштама... Любил читать вслух Твардовского — "из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишке", стихотворенье Бориса Слуцкого, посвященное памяти Михаила Кульчицкого: "писатели вышли в писатели, а ты никуда не вышел, а ты никуда не вышел, ты просто порос травою, и я, как собака, вою над бедной твоей головой".

Я сам, видя передреевскую беспечность и безалаберность, счел своим радостным долгом в то время собрать все его стихи, составить из них книгу, перепечатать и отнести ее в издательство "Советский писатель" — на другую сторону Тверского бульвара. Я вручил рукопись Егору Исаеву с просьбой издать первую книгу моего друга как можно скорее. В 1964 году (через год с небольшим!) мы уже обмывали "Судьбу" в шашлычной "Эльбрус", помнится, что вместе с нами в тот вечер был и Владимир Соколов, и Вадим Кожинов... А годом раньше в "Знамени" вышла первая в его московской жизни большая подборка стихов.

К Соколову Передреев относился в первые годы своей жизни в Москве с почтением и даже любовью. Да и было за что. Именно тогда, находясь в "нашей ауре", Соколов написал несколько лучших своих стихотворений, за которые мы тут же приняли его в пантеон русской классики.

Помню, как Передреев пришел в "Знамя" с "Литературной газетой" и с горящими от восхищения глазами прочел вслух стихи Соколова:

> Звезда полей, звезда полей над отчим домом,
> и матери моей печальная рука.

Осколок песни той вчера за тихим Доном
из чуждых уст меня настиг издалека.
....
Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна,
не плачь, что я молчу, взрастила, так прости,
нам не нужны слова, когда настолько ясно
все, что друг другу мы должны произнести.

Мы с молодой щедростью упивались свободой и душевной распахнутостью этого стихотворения, а позже много раз Передреев вспоминал и другие строки Соколова, жившие в его душе всегда:

Я все тебе отдал: и тело
и душу до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела?
Куда же ты дела меня?

На узкие листья рябины,
шумя, налетает закат,
и тучи на нас, как руины
воздушного замка, летят.

Особенно приводили его в восторг “узкие листья рябины”, “закат”, который “налетает шумя”, — и самое главное то, что мы тогда называли “лирическим жестом” — некое властное продолжение жизни в стихах, почти всегда неожиданное и потому неотразимое: “Послушай, куда же ты дела, куда же ты дела меня”...

В разгар нашей общей дружбы, на ее гребне, году в 1966—1967-м, Передреев посвятил Соколову одно из, я бы сказал, программных стихотворений:

В атмосфере знакомого круга,
Где шумят об успехе своем,
Мы случайно заметим друг друга,
Не случайно сойдемся вдвоем.

В суматохе имен и фамилий
Мы посмотрим друг другу в глаза...
Хорошо, что в сегодняшнем мире
Среднерусская есть полоса.

Хорошо, удивительно, славно,
Что тебе вспоминается тут,
Как цветут лопухи в Лихославле,
Как деревья спокойно растут.

Не напрасно мы ищем союза,
Не напрасно проходят года...

Пусть же девочка русая — муза
Не изменит тебе никогда.

Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

А Владимир Соколов, который так же, как и я, чувствовал, что Передреев нужен всем нам, посвятил ему в ответ одно из лучших своих стихотворений:

Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоем возвращенье в родительский дом.
У меня в Лихославле поют лопухи,
Там, где жил я, не зная, что будет потом.

Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоем возвращенье в родительский кров,
У меня в Лихославле цветут петухи
И вздымаются нежные очи коров.

Я вернусь, я вернусь, я подкину сенца,
Я под осень за хлеб выпью ковш до конца,
За платок до бровей, за ослепшую высь,
За твою, соловей, сумасшедшую жизнь.

И еще в память врезалась сцена, когда в нижнем буфете Дома литераторов, в полутемном углу, мы вчетвером уединились за столиком и Соколов читал нам (мне, Передрееву и Кожинову) одно из самых трагических и пророческих своих стихотворений:

Ничего от той жизни,
что бессмертной была,
не осталось в отчизне,
все сгорело дотла.

....

Все в снегу, точно в пепле,
толпы зимних пальто,
как исчезли мы в пекле,
и не видел никто.

Мы с Передреевым восхищались свободой и отвагой стихотворения, заставили Соколова прочитать его еще и еще раз, подымали тосты за его талант, но если и пьянели, то от избытка чувств и гордости за русскую поэзию.

Однако думаю, что дружба с нами Владимира Соколова была все-таки хотя и важным, но лишь эпизодом в его жизни.

Будучи старше нас на несколько лет, он молодость свою провел рядом с Евтушенко, Межировым, Ваншенкиным, и это ощущалось всегда. Но ему нравилась роль человека, которого признают "своим" оба лагеря, и иногда, пользуясь этим положением, он, как режиссер, ставил своеобразные спектакли. Однажды он пригласил на свой день рождения Передреева, меня и Кожинова и одновременно Евгения Евтушенко с его новой английской женой, дочерью, как говорили в литературных кругах, какого-то богатого английского еврея.

Быстро захмелев от шампанского, Евтушенко в застолье вспомнил о какой-то кожиновской статье и с наглой уверенностью обратился к Вадиму:

— Ты проиграл, Вадим. Ты так и не понял, что я великий русский поэт!

Кожинов вспылил:

— Да какой ты русский поэт, ты всего лишь навсего лакей мирового еврейства!

Англичанка взвизгнула от негодования:

— Но во мне есть еврейская кровь!

Но Кожинов уже закусил удила:

— Плевал я на твою еврейскую кровь!

День рождения развалился на глазах, гости один за другим покидали квартиру, а Соколов сидел с улыбкой. Спектакль, по его мнению, удался на славу.

Соколов, преподававший тогда в Литинституте, часто заходил в "Знамя", в отдел поэзии, отвести душу в остроумных разговорах, пошутить, поглядеть на всех нас своими печальными глазами. Однажды он привел с собой Юзика Алешковского, развлекаясь и паясничая, они между делом, пока я разговаривал с авторами и подымался на второй этаж к начальству, сочинили стихотворение, расписались и подарили мне на память. Поскольку авторов было двое, мне кажется, что оно нигде не публиковалось.

ПЕСНЯ

"Себя смирял, становясь
на горло собственной песне".

В. Маяковский

Жил на свете Есенин Сережа,
С горя горького горькую пил,
Но ни разу на горло Сережа
Песне собственной не наступил.

Вся Россия была на подъеме,
Нэп катился отчаянно вспять.
Где же кроме, как не в Моссельпроме
Было водку ему покупать.

А великий поэт Маяковский
В это время в Акуловке жил,
И не то чтоб "Особой" московской —
Муравьиного спирта не пил.

Он считал, что эпохе подперло,
Без него не помрет капитал.
Песня плакала — он ей на горло
То и дело ногой наступал.

Это было и грубо и зримо,
Как сработанный водопровод,
Чтоб на той на трубе на любимой
Наш Сережа висел без забот.

Ну а песня, а песня, а песня,
Овдовевшая песня жива.
И поет ее Красная Пресня
И Акуловка вся и Москва.

Знать недаром — вскочив с катафалка,
Спел Сережа, развеяв печаль:
Вот себя мне нисколько не жалко,
А Владима Владимыча жаль.

Вот себя мне нисколько не жалко,
А Владима Владимыча жаль.

Вл. Соколов и Юз Алешковский

10.11.65.

И однако, любя Соколова-поэта, умный и проницательный Передреев видел всю человеческую слабость его натуры, предчувствовал, что Соколов, прислонившийся к нам от одиночества (в то время выбросилась из окна его жена-болгарка Буба, отдалился от Соколова делающий карьеру его институтский друг Евгений Евтушенко), рано или поздно отшатнется от нас, что через несколько лет и произошло, и все чаще и чаще в разговорах о Соколове из уст Передреева хотя и снисходительно и добродушно, но звучало слово "предатель". Я убедился в правоте Передреева много позже, когда, став редактором "Нашего современника", предложил Володе печататься у нас, и в ответ услышал нечто вроде того что, "как можно у Вас печататься, рядом с экстремистами и черносотенцами".

— Это с кем же?

— С Шафаревичем, с Беловым, с Кожиновым...

Я был поражен: ну, Шафаревич и Белов ладно, но Вадим, с которым несколько лет подряд Соколов был, как говорится, "не разлей вода", гитара, голос и романсы которого были частью нашей жизни, Вадим, к кому в самые тяжелые часы Соколов звонил и "в ночь-полночь" тот приезжал к нему, спасал от одиночества, хандры и отчаяния... А как Вадим исполнял романсы на слова Соколова — "Милая, Бог с тобой", "У сигареты сиреневый пепел"... Это стихотворение было посвящено Кожинову, да и сам Вадим был героем стихотворения.

У сигареты сиреневый пепел.
С другом я пил, а как будто и не пил,
Пил я Девятого мая с Вадимом,
неосторожным и необходимым.
Дима сказал, почитай-ка мне стансы,
а я спою золотые романсы,
Ведь отстояли Россию и мы,
наши заботы и наши умы.

То, что Соколов, по словам Передреева, "предатель", подтвердилось еще раз, когда в разгаре перестройки, году в 92-м, он, выступая по телевидению, читал стихотворение "У сигареты сиреневый пепел", умолчав о том, кому посвящено стихотворение и даже выбросив из него строфу, где речь шла о "друге" и "брате" Вадиме... Более того, вместо строки "Дима сказал, почитай-ка мне стансы" — Соколов прочитал: "Кто-то сказал"... Впрочем, я не виню его. Скорее всего, жена Соколова Марианна решила, что в наступившее время выгоднее быть в "том лагере". И по-своему она была права.

Вскоре Соколов получил из рук новой власти президентскую Пушкинскую премию, но поэтическая жизнь уже была прожита и ничего значительного из-под его пера в демократическую эпоху не появилось. А ведь в наше время он был другим человеком... Как-то я увидел по телевизору сидящих рядом его и ельцинского министра культуры Сидорова. Министр говорил поэту какие-то льстивые слова, Соколов с довольной улыбкой принимал их, одобрительно поглядывая на министра. Но я вспомнил, как этот посредственный конформистский критик 60—70-х годов, от писаний которого не осталось не то чтобы строчки, но даже буквы, однажды сидел в Доме литераторов за одним столиком со мной и Соколовым. Он только что женился на дочери главного редактора "Вечерней Москвы" Семена Индурского и, породнившись с еврейскими

кругами, начинал делать карьеру. Мы разговаривали с Володей, естественно, о поэзии, а Сидоров, в паузах, время от времени вставлял то словечко, то фразу — и все как-то не к месту, тупо, невпопад... Соколову это надоело, и он с удивительным выражением лица обратился к Сидорову: "А Вы, Евгений Абрамович..." — Сидоров вежливо поправил его: "Евгений Юрьевич!" — Через минуту Володя опять повторился: "А Вы, Евгений Абрамович!.." — "Володя, я же Евгений Юрьевич!" — с обидой взвизгнул Сидоров. Но когда Соколов еще через минуту с ядовитой, только ему свойственной интонацией в третий раз ошибся и снова назвал его "Евгений Абрамович", щеки будущего министра покрылись красными пятнами и он выскочил из-за стола. А в годы перестройки Соколов, как многие, стал другим человеком.

Однако история придумывает самые прихотливые и капризные варианты возмездия за измену самому себе.

В середине 60-х годов, когда Соколов, после страшной гибели жены, остался с матерью и двумя детьми, раздавленный горем и своей вольной или невольной виной, он, я думаю, чтобы совсем не пропасть, не выпасть из жизни, не спиться окончательно, поступил на службу — секретарем так называемой секции поэтов при Московской писательской организации. А командовал им в это время Виктор Николаевич Ильин, бывший комиссар госбезопасности, отсидевший, как "человек Абакумова", несколько лет в одиночной камере, аппаратчик умный, но сталинского идеологического закала... И тогда-то закадычный друг Соколова Евтушенко, всегда способный ради красного словца не пожалеть ни мать, ни отца, заклеймил своего несчастного друга жестоким словом:

Талант на службе у невежды,
привык ты молча слушать ложь,
ты раньше подавал надежды,
теперь одежды подаешь.

Думаю, что эти строки были дополнительной солью на тогдашние душевные раны Соколова...

А когда он умер, то, естественно, главным распорядителем и душеприказчиком на похоронах был Евгений Евтушенко.

* * *

Но время движется, "молодость уходит из-под ног", обаяние изнашивается, присяга совершенству становится невыносимой, друзья устают и стареют, похмелье начинает

длиться не часами, а неделями, вдохновение приходит все реже и реже... Но все-таки приходит.

Рядом с дымной полосою
Воспаленного шоссе
Лебедь летом и весною
Проплывает, как во сне.

Приусадебная заводь,
Досок выгнивший настил...
Кто сиять сюда и плавать
Лебедь белую пустил?!

Целый день звенят колеса,
Накаляясь от езды,
Щебень сыплется с откоса,
Доставая до воды.

Ничего она не слышит,
Что-то думает свое,
Жаркий воздух чуть колышет
Отражение ее.

То ли спит она под кущей
Ослепительного сна,
То ль дорогою ревущей
Навсегда оглушена.

То ль несет в краю блаженства
Белоснежное крыло,
Во владенья совершенства
Не пуская никого.

Стихотворение “Лебедь у дороги”. Это о себе, о своей замкнутой душе, о попытке жить самодостаточной жизнью, о своем все более нарастающем одиночестве в мире, который с каждым годом становился для Передреева все более чужим и ненужным. О попытке “никого не пускать” в свои “владенья совершенства”, окруженные жарким, тяжелым воздухом жизни, проносящихся машин, ревущей дорогой... Мысль о невозможности вжиться в этот мир становится навязчивой и постоянной, перетекает из одного стихотворения в другое. Он поистине все чаще сам ощущает себя беззащитным существом, вроде “лебедя у дороги”.

В этом городе старом и новом
не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
удивить выраженьем лица.

В этом городе новом и старом,
озабоченном общей судьбой,
нелегко потеряться задаром,
нелегко оставаться собой!

И в потоке его многоликом,
в равномерном вращенье колес,
в равнодушном движенье великом
нелегко удержаться от слез...

Слезы все чаще и чаще стали появляться на его лице, все чаще и чаще, после песенного исполнения им и мной наших любимых стихов "Девушка пела в церковном хоре" и "В полдневный жар в долине Дагестана" (а пели мы их на какую-то стихийно сочиненную мелодию), он бессильно заглядывал мне в глаза, просил отчаянным голосом:

— Стась, давай напьемся!

Все чаще и чаще в его стихах появлялись строки о том, что ничего нет у него ни в будущем, ни в настоящем, а только в прошлом:

Вот она — для сердца и для взора —
  Тихая земля...
Неужели вся моя опора —
  Молодость моя.

И остается незабвенной
лишь мать печальная одна;

В какую я впутался спешку,
В какие объятья попал,
И как я, под чью-то усмешку,
Душою еще не пропал?!

Это, может быть, самые последние его строки, написанные за год с лишним до смерти.

Все чаще и чаще его застолья в кругу уже совершенно новых людей (Рубцов умер, Соколов предал, Кожинов "завязал") кончались шумно и безобразно... Оставаясь в первые час-другой прежним Передреевым, умным, обаятельным, вежливым, он, перейдя меру, становился вспыльчивым и жестоким, как бы мстя окружающим то ли за поэтическую немоту, которая одолевала его, то ли за так счастливо начавшуюся и так горестно завершающуюся судьбу... "Пошел вон!" — все чаще и чаще слышалось из-за столика, где сидел Передреев, когда он изгонял из своего окружения кого-то из недостойных, по его мнению, понимать и слушать стихи и вообще сидеть рядом с ним и дышать одним воздухом. В конце концов, как

правило, к ночи или к утру он оставался один. В такие ночи он иногда звонил мне по телефону и, тяжело дыша, горестным шепотом говорил то, что никогда не сказал бы на трезвую голову:

— Стасик! Это я, Толя. Я пропал... Ты понимаешь? Мне конец, Стасик...

Я утешал его как мог, говорил, что утро вечера мудренее, что это минутное ночное отчаяние, но в душе понимал, что он безутешен.

Мы встречались все реже и реже не потому, что я разлюбил его, а потому, что моя жизненная цель и его образ жизни никак не совмещались. Да не покажется то, что я сейчас скажу, смешным, но с конца шестидесятых годов я окончательно понял, что мое будущее — это борьба за Россию. Надо успеть понять ее, надо насытиться знанием о русской судьбе и русском человеке, надо понять себя как русского человека, надо освоить всю свою родословную, опереться в будущей борьбе, тяжесть и горечь которой я предчувствовал, на своих предков, на великих поэтов, на друзей, и старых и новых... Я начинал чувствовать себя человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь долгой жизни и тяжелой борьбы. Поэтому меня стало тяготить упоительно-сладостное, гибельное времяпровождение с пением Блока и Лермонтова, с чтением Есенина, а Передреев читал его как никто точно, бледнея оттого, что есенинская судьба в эти мгновения для него сливалась с его судьбой.

Но озлобленное сердце
Никогда не заблудится,
Эту голову
С шеи сшибить нелегко...

Он тряс своей еще тяжелой копной волос, напрягал крепкую, жилистую шею и, заканчивая монолог Хлопуши, яростно молил мир о помощи, о понимании, о друге-спасителе:

Проведите,
проведите меня к нему,
я хочу видеть этого человека.

Но мне все больше и больше становились нужны не просто друзья-поэты, а соратники по борьбе, не пропивающие ума и воли единомышленники, люди слова и долга, готовые к черной работе и к самопожертвованию. Я чувствовал приближение грозных времен, и образ жизни Передреева на их фоне был непозволительной роскошью.

Однажды я сказал ему об этом. Сказал все. О том, что он был моей главной ставкой в мире поэзии, что я жил бок о бок с ним и в известной степени растил его для дела, а не для самоуничтожения, что есть еще время опомниться и начать все сначала. Но разговор был слишком невыносимым для него и закончился какой-то нелепой дракой, разрывом на долгие месяцы, отчуждением.

Помню только, как он с бессильным упреком, подводя итог этому разговору, сказал мне: "Ну как же ты, Стасик, так мог без меня распоряжаться мною!" И в этой его горечи была своя правда, однако и моя правда была не менее значительной. Вскоре после этого я написал стихотворное прощание с ним.

Прощай, мой безнадежный друг,
нам не о чем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.

В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши,
но каждый, кто себе не враг,
скорее от тебя подальше.

Спасать тебя — предать себя,
я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья,
я уступлю тебе дорогу.

Коль ты не дорог сам себе,
так, значит, я тебе не дорог...
как желтых листьев в октябре,
шумит воспоминаний ворох,

о времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной
и ты в глухую даль глядел
и наслаждался ширью звездной.

Храним призваньем и судьбой,
в грядущий день глядел без дрожи,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.

Мой тогдашний друг Игорь Шкляревский, прочитавший эти стихи, по легкомыслию почему-то решил, что написаны они о наших с ним отношениях, и сказал об этом при встрече Передрееву. Тот внимательно прочитал стихи, опечалился и ответил Игорю:

— Дурачок, неужели ты не понял, что Стасик со мной навсегда попрощался...

Бессильные драки все чаще происходили в последние годы его жизни. Как-то раз он сидел у Кожинова, с ними был Андрей Битов, в те годы тянувшийся к нам. Естественно, выпили и, естественно, заспорили о литературе. Передреев к тому времени уже мучился от немоты, Битов это чувствовал и не преминул ужалить его в самое больное место:

— А у тебя, Передреев, — сказал он, — даже жила на шее напряглась оттого, что ты многое хочешь сказать, да не можешь.

— Дурачок ты! — отпарировал Передреев.

Он тоже знал о бессильно-ревностной жажде Битова написать что-то "классическое".

— У тебя ведь ни одной строчки, подобной ну хотя бы этой: "Я ехал на перекладных из Тифлиса" — нет!

И угадал же слабость Битова, его неспособность писать прозу простым и сильным языком!

Взбешенный Битов бросился на Передреева, пытаясь схватить его за шею. Кожинов едва-едва растащил их...

Кстати, самое время передать атмосферу в квартире нашего "генсека", как мы шутливо называли Вадима Кожинова, и привести подаренное мне в 1973 году шутливое стихотворение поэта Олега Дмитриева.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН У КОЖИНОВА

Сошлись. Всё — светочи, предтечи...
Здесь льются пламенные речи
И струи красного вина,
Здесь слышен звук высокой лиры,
Здесь низвергаются кумиры,
Здесь создаются имена.

Здесь с выражением брезгливым
Сам Кожинов дымит над пивом
И думает: "Напрасный труд..."
Но слушает благоговейно,
Как Соколов, хлебнув портвейна,
Читает свой последний труд.

На прочих, как на разгильдяев,
Взирает Станислав Куняев.
Чеканно речь его звучит —
Он говорит между глотками:
"Добро должно быть с кулаками!"
А с чем должно быть зло — молчит.

Настала пауза немая.
Но тут же, кулаки сжимая,
Встает Шкляревский Игорек.
"Ка-ак дам!" — он говорит со смехом,
Довольный собственным успехом:
Мысль гениальную изрек!

Бывает, Битов здесь бывает.
Его никто не убивает,
Но бьют, однако же, порой!
(Но, может быть, от славных бриттов
Пошла фамилья эта — Битов!)
Терпи, раз ты — такой герой!

Шугаев, эпик из Иркутска,
Не знает, где ему приткнуться —
Вконец затуркали, вконец!
И он от гнева корифея
Идет в объятия Морфея,
Пробормотав: "Спаси, Отец!"

Но тут, над разговором взреяв,
Блеснет, как сабля, Передреев,
Тотчас в руины превратив
Все то, что создал светлый гений —
От соколовских сочинений
До балашовских инвектив.

(Так поздно вспомнив Балашова —
Такого Ментора Большого,
Я промах совершил прямой.
Ну, ладно, Эдик, не ворчите,
Коль Соколова Вы учитель,
То, значит, Вы учитель мой...)

Какой восторг в глубинах взора
Горит у Самченко Егора!
(Хотя районный психиатр
В салоне выглядит, пожалуй,
Почти, как деревенский малый,
Пришедший в оперный театр.)

Над минеральною водою,
Тряся ученой бородою,
Безмолвствует Портнягин Эрнст.
Случайный баловень удачи,
Он размышляет чуть не плача:
"Сижу средь них один, как перст!"

Но, чтобы парень не сломался,
Звучит старинного романса
Очаровательный куплет,
И все уходят из салона

По лестнице — чуть-чуть наклонно —
В предчувствии Больших Побед.

И наступает перемена:
Посуду убирает Лена,
Вадим улегся на тахте...
Когда за окнами светает,
Вадим учеников считает
И горько думает:
"Не те".

Остроумное и правдивое стихотворение, весьма точно изображающее быт в "салоне Кожинова" 60-х годов, а почти все его герои — персонажи моих воспоминаний.

На что-то надо было жить, свои стихи от беспредельной тяги к совершенству рождались все реже и реже, и Передреев все глубже погружался в переводческую деятельность, стал пропадать в Баку, в Сухуми, в Грозном, где зарабатывал на жизнь для себя и семьи и где медленно спивался от мысли, что становится строчкогоном-переводчиком, хотя переводил блестяще, но разве в этом было его призвание?!

Чтобы не вспоминать об этом много, я приведу несколько отрывков из его писем ко мне. В них — есть все: и его ум, и его вкус, и его одиночество, и его печальная самоирония, и атмосфера той жизни 60-х годов.

"Милый, милый... (это реминисценция из Есенина — "милый, милый, смешной дуралей". — **Ст. К.**).

Батум прекрасен, но делать там нечего. Корабли ушли в Константинополь, а полоумный старичина давно околел. Петуха съел, по-моему, Фридон Халваши. (Опять пересказ есенинского "Батума". — **Ст. К.**). *В общем, никакого золотого руна. Упомянутый Халваши вел себя сообразно инструкции Межирова и твоей депеши, однако выражение лица у него было такое, словно он Прометей, а я орел, клюющий его печень. Пару раз я его, конечно, клюнул хорошо.*

Грузия с ее мелкопоместными душами и отвратительным самодовлеющим гостеприимством мне не пришлась. Душа моя одинока, как леший.

В Батуме встретил единственного талантливого поэта Ладо Сеидишвили, и тот "Жамэ-Жамэ и плачет по-французски". Сейчас сижу в Грозном и никуда не хочу, читаю Библию. Паниковскому скажи (так он называл одного из наших друзей. — **Ст. К.**)*, что в притчах Соломоновых сказано: "Кто затыкает ухо свое от вопля неимущего, тот и сам будет вопить — и не будет услышан".*

Тебе же советую: "Прогони кощунника, — и удалится раздор, и прекратится ссора и брань".

(Глава 22, книга притчей).

Аминь.

Напиши что-нибудь, скучаю. Обнимаю.

Толя.

5.IX.64 г."

А это письмо написано мне из общежития Литинститута во Львов, где я в то время был на воинских сборах.

"Жизнь пустынна, бездомна, бездонна... Несмотря на это, я пью сегодня Мукузани один в своем логове жутком и пишу тебе. Эта бутыль должна быть последней.

Был недавно дома в Грозном, хотел припасть к крыльцу, околице. Но все умерло. Петухи отпевают... Дробышев настиг меня там. Узнал, что я в Грозном, собрал рюкзачок, перешагнул из Грузии через Казбек и — нашел. Что-то он мне не понравился. Суетлив и все больше похож на Паниковского, который никак не может найти себе Остапа Бендера. Впрочем, может, я ошибаюсь, и все это — желчь. Расстался я с ним хорошо. Жалко разрушать последнюю иллюзию бескорыстия и дружбы.

В Грозном мы читали с ним вдвоем твои стихи и нашли, что лучшее, пожалуй: "И прежним смехом рассмеюсь". Пушкинское, Боратынское.

Завтра я иду к врачу, и от анализа мочи будет зависеть вся моя последующая биография.

Обнимаю и целую.

Толя".

(наверное, 1965 г.)

"Здравствуй, Стас!

Пишут мне, что ты костюм в Ателье
сшил себе по дорогой цене
и теперь не ходишь в ЦэДээЛе
в старомодном, ветхом шушуне!

И что вообще ты уже не Станислав Куняев вовсе, а Оскар Уайльд до заточения.

Помни, что ты мне дорог только в свитере домашней вязки. Как дела? Втолкнул меня с чемоданами в машину и успокоился? А "Солярис" читал? Пришли, подлец, Межелайтиса. Все, что у меня было, я перевел. Пришли срочно,

пока охота есть. Перевожу, как машина (как ты). Написал несколько стихов. Что делает Соколов? Венчает "розу белую с черной жабой"? Как неоклассик Шкляревский и архилирик Рубцов? Сила нечистая...

Пиши, как жив.

Толя".

Следующие письма написаны в 1966 году, когда я был составителем "Дня поэзии" и попросил Передреева прислать мне из Грозного стихи для альманаха.

"Дорогой Стасик!

Телеграмму твою получил с большим опозданием. Высылаю тебе два старых своих стихотворения. Если можешь, напечатай оба. По одному не надо. Одно я тебе предложу, когда напишу "Гренаду". Новые все черновые, и работать пока было некогда. Родилась дочка Леночка, и с этим у меня всяческие хлопоты и головокружение. Много пил и чуть не помер.

Предлагаю тебе еще двух оболтусов. Не бесталанных, как ты сам убедишься. Одного из них ты знаешь — Юра. Помнишь, у нас в гостях в Москве на дне рождения, что ли, он плясал с Шемой лезгинку. Но в стихах он сугубо русский и даже, по-моему, слишком. А в жизни он просто хороший, преданный спиртоносный мальчик.

Второй — Подунов, уникум г. Грозного. Человек, заслуживающий самого неотложного снисхождения. Они будут счастливы, а тебе, я думаю, ничего не стоит напечатать по одному-двум стихотворениям... Привет тебе от злого чечена, который "ползет на берег и точит свой кинжал".

"Стасик, дорогой!

Только что вернулся из Баку и обнаружил твои телеграмму и письмо.

Жалко, что ничего не могу послать тебе для "Дня поэзии", тем более, что это единственная богатая лавочка.

Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо твое мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал все, чтобы слово "жаль" приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.

Неужели Шкляра никогда не пойдет дальше строчки Бальмонта: "Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать"?

В Баку жил долго, переводил.

Окончательно убедился, что "Персидские мотивы" вовсе не результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели по пьянке чадру, и он написал все это под ее покровом. А в общем, "изжил себя эпистолярный жанр..."

22.4.68 г."

Последняя строчка — из моего стихотворения. Насмешка над Шкляревским объясняется тем, что я в эти годы сблизился с последним. Я чувствовал, что мы с Передреевым удаляемся друг от друга, душа тосковала, боясь одиночества, и появление Игоря, яркого, молодого дарования, к которому можно было прислониться, как к младшему брату, любуясь им, помогая ему, ободряло и поддерживало меня... Я спорил с Передреевым, которому стихи Шкляревского, несмотря на внешний блеск, казались поверхностными и фальшивыми. Он был неправ, в них было своеобразное чувство жизни и слова, ощущение сиротской судьбы в шумном мире, молодое, порой яростное жизнелюбие, которое в то время уже покидало Передреева.

Мороз! На улицах темно.
Себя почувствуешь подростком,
Ударишь в конское дерьмо —
Звенит и катится по доскам.

Передреев слушал и морщился: "И чего ты в нем нашел, он ведь — такой маленький!" — и показывал при этом большим и указательным пальцем, насколько мал Шкляревский.

Я не соглашался, но мой друг был проницательнее меня. Я это понял, когда Шкляревский через несколько лет предал меня так, как не предавал никто... Но об этом разговор отдельный.

Горько было глядеть на Передреева в такие дни, когда в окружении ничтожных, жаждавших издаться в Москве азербайджанских, туркменских или чеченских поэтов он царил за богатым столом, окруженный их подобострастными улыбками, комплиментами, услугами.

Время от времени он взрывался, бросал им в лицо какую-нибудь оскорбительную правду, а то и затевал дебош, после которого, обессиленный, наливал стакан какого-нибудь редкостного напитка, привезенного ему в дар вместе с подстрочниками, и внезапно осознавая всю унизительную двусмысленность якобы дружеской встречи, ронял лицо в ладони и надолго замолкал. В эти минуты даже монолог Хлопуши с его любимым вскриком — "эту голову с шеи сшибить нелегко" — он не хотел вспоминать...

Однако даже тогда, когда он находился не в лучшем своем состоянии, с ним считались все, кто понимал, что такое поэзия.

Михаил Луконин и я мирно беседовали за столиком в кафе Дома литераторов, когда к нам подсел Передреев.

Я представил ему Луконина.

— Луконин! Так это вы написали: "лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой"? — глаза у Анатолия нехорошо заблестели. — А что вы знаете о человеке, который пришел с пустым рукавом? У вас-то, я вижу, обе руки целые... Мой брат без обеих ног вернулся с фронта. Вы бы ему эти стихи прочитали... Интересно, что он бы сказал: лучше с пустым рукавом или не лучше?

Он уже кричал на Луконина, бешено сощурив глаза и размахивая руками.

Луконин с любопытством смотрел на него, известного своими скандалами, не возмущался, не уходил, только повторял время от времени:

— Ах, это вы Передреев? Так вот вы какой, оказывается.

Ни обиды, ни ярости, ни негодования не было в его голосе — только любопытство и горечь...

Слова поэта — суть его дела. Так что не мог Передреев судить Луконина за несоответствие слов жизни. Но почему Луконин был так спокоен, грустен, почти мягок? Почему он не оскорблялся? Может быть, он чувствовал, что в страстных обвинениях его молодого хулителя есть какая-то правда? Может быть, он в глубине души сам стыдился того, что "слова поэта — суть его дела"?

Как будто занят пустяками
Средь дел суровых и больших,
И вроде стыдно жить стихами,
И жить уже нельзя без них, —

признавался себе Смеляков, один из самых самолюбивых поэтов, каких мне приходилось знать.

Но время от времени сознание личной обреченности порождало в Передрееве удивительную нежность к жизни, скорее даже не к жизни, а к воспоминаниям о ней, о ее тепле, о ее беззащитности, о своем прощании с нею.

Наедине с печальной елью
Я наблюдал в вечерний час
За бесконечной каруселью
Созвездий, окружавших нас.
Но чем торжественней и строже
Вставало небо надо мной,

Тем беззащитней и дороже
Казался мир земли ночной,
Где ель в беспомощном величье (!)
Одна под звездами стоит,
Где царство трав и царство птичье,
К себе прислушиваясь, спит.
Где все по балкам и полянам,
И над мерцающим селом
Курится медленным туманом,
Дымится трепетным теплом...

Однако в то время душа моя уже устала от разговоров о Блоке и Есенине, от застолий, которые хорошо начинались и плохо заканчивались, все неодолимей мне хотелось поездить по всей стране, побывать на Севере и на Юге, снова погрузиться в мир природы, которым я жил и дышал в отрочестве... Передреев иронизировал над моими чувствами такого рода, литература, поэзия, книги, богема, как ни странно, для него значили куда больше, нежели вольный ветер странствий. Как-то в 1961 году я соблазнил его отправиться в байдарочный поход на Ахтубу. Рыбалка, охота, августовский зной, камыши, соленое дыхание Каспия... Мы раскинули палатки на берегу протоки возле необъятного арбузного поля. Протока изобиловала судаками, жерехом, чехонью, а синий ночной воздух — комарами и москитами.

Через три дня Передреев исчез из лагеря. Ушел и не вернулся. Каким-то образом добрался до ближайшей станции и уехал в Москву. Но впечатление от этой поездки осталось в его памяти настолько сильным, что много лет спустя он произнес знаменательную фразу: “Не люблю я эту природу... Комары... Шема...”

Свою жену-чеченку Шему он привез из Грозного, может быть, только для того, как мне кажется, чтобы его роман походил на историю любви Печорина и Белы или чтобы написать стихи о Кавказе:

Первородная природа,
Хаоса хрусталь.
Поднебесная свобода,
Ледяная даль.
Что с сияньем этим грозным
Породнило нас?
Как своим дышал я звездным
Воздухом, Кавказ!
И воды твоей напился,
Припадая — пью...
И нечаянно влюбился
В женщину твою.

И поставил все на карту
До последних дней, —
На крестовую дикарку
Из страны твоей...

Он как будто бы всю жизнь “подгонял” под поэзию, и потому во времена, когда вдохновение оставляло его, жизнь для Передреева, естественно, теряла смысл.

Шутить он умел и серьезно и грустно. Однажды в ответ на мои жалобы на усталость сел за стол и записал в мой блокнот несколько шуточных, но мастерски написанных строчек.

Ст. Куняеву

Я устал от исканий и прений,
Я устал от взысканий и премий,
Я висками устал и устами,
Я всем телом устал и местами:
Ухом, горлом и всей головой,
И системой своей половой.

В его письмах я нашел два пожелтевших листка. Вспомнил: однажды Толя ночевал у меня, я утром куда-то ушел, а вернувшись вечером, нашел на своем столе несколько экспромтов и пародию на одно мое стихотворение. Делать ему было нечего целый день.

Все, все в душе похороню,
Пойду, смиренный и печальный...
Лишь перед чаем сохраню
Восторг души первоначальный!

Не тащи меня в печать —
на устах моих печать.

Я Анатолий Передреев!
Пускай узнает это всяк...
Я должен жить среди евреев,
Чтоб умереть у них в гостях.

А пародия была написана на мое стихотворенье, которое Толе очень нравилось и он знал его наизусть:

Не то чтобы жизнь надоела,
не то чтоб устал от нее,
но жалко веселое тело,
счастливое тело свое,

которое плакало, пело,
дышало, как в поле трава,
и делало все что хотело
и не понимало слова.

Любило до стона, до всхлипа,
до тяжести в сильной руке
плескаться, как белая рыба,
в холодной сибирской реке.

Любило простор и движенье,
да что там — не вспомнишь всего,
и смех, и озноб, и лишенье —
все было во власти его.

Усталость и сладкая жажда,
и ветер, и снег, и зима,
а душу нисколько не жалко —
во всем виновата сама.

Передреев написал пародию в ерническом, барковском стиле, не пощадив ни мои стихи, ни себя, ни свою жену, красавицу чеченку Шему. Цитирую так, как написано у него — буква в букву:

Не то чтобы жизнь надоела,
И горек познания плод,
Не то чтобы жалко мне тело,
Но жалко мне крайнюю плоть.

Вставала она то и дело
На всякую Schliuchen sie Deitch
И делала все, что хотела,
И вот ей ничем не помочь.

Была она палка, как палка,
Но не понимала слова...
И Шему — нисколько не жалко,
Во всем виновата сама.

Одна из последних наших встреч была в том же пресловутом Доме литераторов. К нам подошел Олег Михайлов:

— Толя, я очень люблю твои стихи, хочешь вот сейчас десять стихотворений прочитаю на память.

Передреев сразу же протрезвел и перестал улыбаться:

— Не надо, Олег, — как бы через силу сказал он, — не надо, а то я заплачу...

В моей поэтической библиотеке сохранились всего лишь две его книжечки с дарственными надписями. На одной из них ("Равнине"), вышедшей в 1971 году, он написал:

“Стас! Не велик результат этих лет, но не весь тут “венец откровенья”.

С любовью.

Твой Толя”.

Числа нет, а поэтические строчки — из одного моего стихотворения, чуть-чуть к месту перефразированные... Портрет его в этом сборнике прекрасен: молодое лицо русского парня, немного нагловатый, но обаятельный и смелый взгляд, копна светлых волос, падающая на лоб аж до бровей.

Породистое лицо...

На второй это же лицо и те же волосы до бровей, но взгляд, полный отчаяния и боли, смотрит прямо на тебя, скулы напряжены, от крыльев носа к уголкам рта чернеют глубокие морщины; поперек страницы размашистая надпись:

“Стасик! Спасибо, что ты есть! Как поэт и как человек. С любовью. 16.III.1987 г.

А. Передреев (Толя)”.

Через восемь месяцев он умер у себя дома, на диване, с книжкой в руках, от инфаркта.

Молодость его прошла в городе Грозном, там похоронены его отец и мать. Именно там он написал в 1969 году кавказские стихи о своих земляках, чеченских поэтах:

Нас вовеки
не раздружит
никакой Коран,
не разнимет нас
обиды
позапрошлый крик —
пересохла речка битвы.
Речка Валерик...
Пересохла речка крови...

Поэт Анатолий Передреев ошибся. Свежей кровью вскипели чеченские реки, вдребезги разбит его саманный дом на окраине Грозного, могилы отца и матери, саратовских крестьян из деревни Старый Сокур, забыты и не ухожены. Некому в городе Грозном думать о старых могилах, младший брат и сестра Передреева где-то затерялись на необъятных просторах России. Остались только стихи, да и то лишь в памяти тех, кто еще помнит его.

Не помню ни счастья, ни горя,
Всю жизнь забываю свою,
У края бескрайнего моря,
Как маленький мальчик, стою.

Как маленький мальчик, на свете,
Где снова поверить легко,
Что вечности медленный ветер
Мое овевает лицо.

Что волны безбрежные смыли
И скрыли в своей глубине
Те годы, которые были
И снились которые мне.

Те годы, в которые вышел
Я с опытом собственных сил.
И все-таки, кажется, выжил,
И, кажется, все же не жил.

Не помню ни счастья, ни горя...
Простор овевает чело.
И кроме бескрайнего моря,
В душе моей нет ничего.

Он любил Есенина, Блока, Заболоцкого. Но думаю, что втайне мечтал писать стихи, полные пророческого смысла, столь же легко и вдохновенно, как писал их Михаил Лермонтов. Дерзкий и величественный замысел, в жертву которому он принес всю свою жизнь.

Черновик некролога, написанного Вадимом Кожиновым, сохранился у меня. В нем говорилось: "Поэт Анатолий Передреев не имел шумной известности. Такой известности и не могло быть, ибо стихи его всей своей сутью устремлены от сердца к сердцу, не в гулкость пространства, способного породить громкий, внятный всем отзвук.

Поэзия Анатолия Передреева не вторгается в человеческие души, а ждет, когда они сами откроют ей себя. И те, кто открыл душу стихотворениям Анатолия Передреева, знают: мы прощаемся ныне с одним из самых истинных и глубоких поэтов нашего времени..."

Некролог был подписан Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Татьяной Глушковой, Егором Исаевым, Вадимом Кожиновым, Юрием Кузнецовым, Станиславом Куняевым, Станиславом Лесневским, Валентином Распутиным, Владимиром Соколовым... После смерти Передреева многие из них разошлись друг с другом навсегда, до конца жизни... Но в то мгновенье его имя объединило всех нас. Похоронили мы его на Востряковском кладбище.

“Образ прекрасного мира”

Наше знакомство с Николаем Рубцовым. Его письма ко мне. Открытие памятника в Тотьме. Переписка с поклонницей Рубцова Нифонтовной. Драка в Доме литераторов. Рубцов прощен при помощи Слуцкого и Яшина. Слуцкий о Рубцове. Сегодняшние попытки оболгать Рубцова и его друзей. Мои письма Рубцову, найденные через 36 лет

1

...Хлопотная работа — заведовать отделом поэзии в печатном органе: больно много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей — что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадочку, любовно переплетенную, куда каллиграфическим почерком вписаны откровения души, и в пылающих глазах его явственно читаешь: “А ты сам кто такой?!”

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму, где действуют Эйнштейн и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем, — ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с

обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил груду измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, с последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то смутно становится на душе и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского “Как делать стихи”, ни на книжку Исаковского “О поэтическом мастерстве”...

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала “Знамя”.

С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносящихся к Никитским воротам машин. В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять за день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались:

— К тебе!

Кстати, если не ошибаюсь, этим же летом в редакцию зашел рыжеволосый, нервный молодой человек, отрекомендовался — “Иосиф Бродский, из Ленинграда”, пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи. Собственно говоря, это были не стихи, а длинная поэма. Мне кажется, что она называлась чуть ли не “Белые ночи”... Я при авторе прочитал ее, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов и с этой стороны у меня к нему нет никаких претензий, но поэма по интонации явно несамостоятельна — подражание “Спекторскому” Бориса Пастернака настолько очевидно, что я не советую автору никогда публиковать ее.

Бродский ушел огорченный, но тем не менее я нигде, ни в одной из его книг, изданных и при жизни и посмертно, не видел, чтобы эта юношеская поэма была опубликована...

Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба — коллективное письмо читателей, на которое по приказанию главного редактора мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком “Гимн женщине”, и вскоре в редакцию стали поступать гневные

письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

“Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере “Знамени” стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана “зеленая улица” на страницах СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?

Когда пред высокой стоишь красотой,
ощущаешь себя ничтожеством.

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?”

Я перечитывал письмо, горюя о своей судьбе, но не мог ничего “дипломатичного” придумать в ответ этим яростным читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка, неглаженые брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте! — сказал он со стеснительным достоинством. — Я стихи хочу вам показать.

“Час от часу не легче!” — подумал я.

— Садитесь. Я сейчас письмо дочитаю...

Но стон твой горячий кровинкой вина
ее обожжет! В этом главное.
Иначе не женщиной будет она.
Обожаемая. Богоравная.

И чего они прицепились к этим стихам? Ну несколько высокопарные, и только...

“Да как у Вас, Сельвинский, язык повернулся сравнить наших прекрасных трудолюбивых женщин, строящих новую жизнь, с витающим в облаках несуществующим бездельником господом богом...”

Я в изнеможении отшвырнул письмо. Лучше уж с очередным графоманом поговорю. Все-таки живое дело...

— Давайте ваши стихи!

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой

машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать.

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог.

Я сразу же забыл о Сельвинском, о письме пенсионеров, о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет: зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на полгода вперед вороха поэтических подборок.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубо́ко запавшие мохнатые глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как вас зовут?

— Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в “Знамя” заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

— Смотри-ка! А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку... Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

— Станислав — ты? Это Василий Белов. — Он с трудом выговаривал слова. — Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в “Литературку”...

* * *

“18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!” Письмо написано четким ученическим почерком. Видимо, с удовольствием и не торопясь сочинялось оно. С крестьянской обстоятельностью или с обстоятельностью человека, у которого много времени впереди — целый осенний вечер. А почерк ученический — таким я научился писать в эвакуации в деревне Пыщуг Шарьинского района, что недалеко от тотемских мест.

Да разучился уже давно, оттого что в последующей жизни пришлось слишком много написать суетного и торопливого. А Рубцов — сохранил свой школьный почерк, на котором лежит печать старательных уроков чистописания в сельской школе.

Первые же слова этого письма, некогда полученного мной назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал "Добрый день", и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски, хохотнув от неожиданной мысли, дописал "или вечер". Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогавшее ему неожиданно, по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял:

— Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!

Очень забавляло его то, что "среди упорной борьбы и труда" (сама неграмотность этой фразы — "среди труда", "среди борьбы" казалась ему почти трогательной) можно "петь и смеяться, как дети".

"18.XI.64...

Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадал целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, — в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (а что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти немыслимое дело), повторяю: мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо..."

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним — не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных с затылка на лоб, и, рванув мехи, начинал не петь, а выть, равномерно раскачиваясь:

По-о-тону-ула во мгле
Отдале-о-онная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изливалась в этом вое под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась
Темнота закоулков.
И архангельский дождик
Надо мной моросил.

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измордованное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину: душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный вой достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На болотной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение. Однако возвращаюсь к его письму.

"Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю".

Вспоминаются его стихи:

Со мною книги и гармонь
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь!

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии! Много надо испытать лишений и надсады, чтобы в подобных мелочах жизни находить истинную радость.

"Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?"

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова — он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: "Я уеду из этой деревни..."

В первоначальном варианте стихотворенье содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду...

Топот его "черного человека".

Ко времени, когда мы сблизились с ним, психика поэта (а ему еще не было и тридцати) была уже весьма изношена. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он редко выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и тщедушный Рубцов мог послать куда-нибудь подальше какого-нибудь администратора, сделавшего ему обидное замечание, за что впоследствии клял и корил самого себя.

Вот так и жил он в свой "московский период" — то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской, одиночеством и безденежьем из милого, но опостылевшего захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор "не верит слезам". Как писал в те

годы в одном из лучших своих стихотворений друг Рубцова Анатолий Передреев:

И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колес,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слез...

Однажды — о чем до сих пор вспоминают старожилы Литинститута — с лестничных площадок общежития исчезли портреты Лермонтова, Некрасова, Пушкина. Сбившийся с ног в поисках комендант общежития случайно заглянул в комнату Рубцова и ахнул: тот сидел на стуле со стаканом в руке в компании портретов, прислоненных к стене.

— Не с кем поговорить было, — оправдывался наутро Рубцов.

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смиренье, что "паче гордыни".

Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его "дачным" поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского...

Еще в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы "Националь"), я купил изящное старое издание стихотворений Тютчева в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин (как казалось тогда многим) был любимым поэтом Рубцова. Знал он его наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье "Брат, столько лет сопутствовавший мне" даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и, глядя на него, уходящего в осеннюю тьму, мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов, с его безбытностью, в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею. В январе 1996 года, когда мы праздновали открытие рубцовского музея в Николе, Виктор Коротаев торжественно вернул мне мой подарок, который я тут же передал в музей. Перед тем как окончательно расстаться с книгой, поглядел на титульную страницу, где было написано моей рукой: "Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали". Помню, как он по-детски радовался, как в ответ достал из

своего старенького чемоданчика только что вышедшую “Звезду полей” и написал на титульном листе рядом со своей фотографией, где он в берете и шарфике:

“Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память.

Н. Рубцов.

1.XII.1968 г.,
г. Москва. Теплая зимняя погода”.

* * *

Со дня нашего знакомства Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и вместо того чтобы приехать к нему, в 1964 году я написал стихи, вошедшие в книгу “Метель заходит в город”.

Если жизнь начать сначала,
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.

Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов.

Если он еще не помер,
Он меня переживет,
Если он ума не пропил —
Значит, вовсе не пропьет.

Я скажу, мол, нет покою,
Разве что с тобой одним.
Я скажу, давай с тобою
Помолчим-поговорим...

С тихим светом на лице
Он меня приветит взглядом,
Сядем рядом на крыльце,
Полюбуемся закатом.

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер — ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом.

"Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами, и вот написал на них ответ. Желаю тебе здоровья и всех радостей.

С приветом, Коля!"

Дальше шло его шутливое посланье.

ОТВЕТ КУНЯЕВУ

(некоторые соображения на тему
"если жизнь начать сначала")

Если жизнь начать сначала,
Все равно напьюсь бухой
И отправлюсь от причала
Вологодчины лихой.
Знайте наших разгильдяев!
Ваших, так сказать, коллег!
— Где, — спрошу я, — человек
По фамилии Куняев?
И тотчас ответят хором:
— Он в Москве! Туда катись! —
И внушат, пугая взором:
— Там нельзя греметь запором
И шуметь по коридорам;
Он описывает жизнь! —
И еще меня с укором
Оглядят: — Опасный вид! —
Мол, начнет греметь запором
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!..
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
— Кто тут матом не покрыт?
Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю! —
Он меня приветит взглядом,
И с вопросом на лице
В цедэловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

Я помню, как он жаловался на своих земляков-вологжан, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его... Впрочем, эту его обиду я уловил и в строках шутливого стихотворения, присланного мне в 1964 году:

Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю.

Написано в шутейном, несколько ерническом стиле, присущем "раннему" Рубцову.

"18.XI.64

Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно знать, как они там где-то поживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, — вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что, пока не знаю, я не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые, вообще, зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожинову.

До свиданья! С приветом и любовью Н. Рубцов.

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне".

2

Теплоход "Александр Клубов" шел по Сухоне. Стояли солнечные чистые дни сентября 1985 года, и крутые берега врезались в синее небо тремя разноцветными ярусами деревьев — сначала у самой воды тянулась лента желтого ивняка, чуть повыше — зеленой ольхи, а на паберега стояла белая стена берез...

Мы плыли на родину Николая Рубцова. Теплоход шел медленно, и навстречу ему так же неторопливо двигались по берегам редкие деревни, коровьи стада, копешки сена.

В Усть-Толшме мы пересели на автобус и вскоре прибыли в старинное село Никольское. Наконец-то! Через двадцать с лишним лет после нашей шутливой переписки...

Я шел по живой строящейся деревне и на каждом шагу радовался тому, что все здесь мне знакомо: куда бы я ни глянул — везде меня окружали образы и приметы рубцовского мира.

Школа моя деревянная,
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...

И хотя в деревне — слава Богу! — новая каменная школа, но "речка туманная" все та же — вон она под угором вьется в зарослях ивняка. А за нею, глазом не окинешь, до окоема — луга, пастбища, перелески, зубчатая кромка старого леса, словом, "тот же зеленый простор" — аж дух захватывает!

А вот и кладбище — кресты, ограды, венки... Видно, и Рубцов не раз глядел на него отсюда, прежде чем написать:

Село стоит на правом берегу,
А кладбище на левом берегу...

Вдоль косогора до самой Толшмы чернеют баньки, вьются узкие тропинки, тянутся изгороди, а на зеленом заливном лугу за рекой, словно бы возникшая из стихов Рубцова, пасется белая лошадь. "Лошадь белая в поле темном вскинет голову и заржет".

На краю села "купол церковной обители", который "яркой травою порос". Четыре мощные кирпичные опоры держат проломленный в центре купол, под сводами которого еще можно разглядеть фигуры евангелистов в синих хитонах. Однако с той поры, когда Рубцов писал эти строки, кое-что изменилось: уже не просто яркая трава растет на куполе, а настоящие молодые березки. К церкви пристроен придел из старого церковного кирпича, в приделе вкусно пахнет свежим хлебом, опарой, дрожжами — там пекарня. Две молодые девахи в белых фартуках и цветных косынках вытаскивают из печи одну за другой буханки горячего хлеба.

— Попробовать можно?

— Пожалуйста! — озорно блеснули белые зубы.

Я отломил от душистого хлеба румяную корочку, не торопясь разжевал ее, думая о том, что хлеб выпекается в бывшей церкви и потому сегодня при желании его можно считать поминальным...

А в Доме культуры между тем начался литературный вечер. Зал был полон народу — больше женщинами и детьми. Сердце радовалось, что детей было много, что они бойкие, розовощекие, хорошо одетые... Может быть, оклемаемся от всех эпохальных бед и разрух, подрастет подлесок, не даст пропасть народному корню на древних северных землях.

А с трибуны слышался глуховатый, взволнованный голос Василия Белова:

— В стихах Коли Рубцова много живой природы — и лес, и ветер, и болота, и поле, но чаще всего он вспоминает наши реки — Сухону, Тотьму, Двину, Толшму... Наши предки селились на реках и жизнь свою без них не мыслили. Пароход, пристань, паром, берег, река, лодка — любимые слова Николая Рубцова. "Много серой воды, много серого неба и немного пологой, родимой земли".

Но сейчас люди, равнодушные к нашей земле и нашим рекам, не знающие, как мы их любим и как без них жить не можем, разрабатывают всяческие проекты, чтобы повернуть северную светлую воду на юг. Пойменные земли заболотятся, обжитые веками берега пропадут, оставшиеся деревни исчезнут, память о прошлой жизни выветрится, и станем мы и наши дети похожими на перекати-поле... Давайте вспомним любовь Коли Рубцова к родным рекам, пусть она поможет нам в борьбе за их жизнь...

Белов говорил с народом не как пророк или проповедник, а как сельский учитель, как родной каждому сидящему в зале человек. А я вглядывался в румяные детские мордашки и думал о том, что лет через десять — пятнадцать из этих детей вырастут колхозники, агрономы, учителя, врачи, и святое дело делает Василий Белов, зароняя в детские души зерна тревоги за родную землю, семена истины и любви. Николай Рубцов делал, в сущности, то же самое, но по-своему.

Тина теперь да болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Он писал стихи "неоскорбляемой частью души". Не потому ли в его поэзии нет ничего желчного, фельетонного, правдиво-крикливого, чем так грешат многие из нас. Он исповедовал

главную истину: душа поэта на то ему и дана, чтобы высветлять и очищать жизнь, принимать на себя несовершенство мира. Не потому ли слово “душа” одно из самых любимых им слов: “душа хранит”, “душа свои не помнит годы, так по-младенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы”, “до конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста...” Мысли мои вновь были прерваны голосом Белова, который продолжал с трибуны никольского Дома культуры воспитание душ человеческих иными средствами, нежели его покойный друг.

— Коля Рубцов, как вы все знаете, вырос в детском доме. Но тогда шла война и сирот было много по понятным причинам. А сейчас почему у нас столь много детских домов? Дети при живых матерях-отцах живут сиротами. Сколько у нас лишенных родительских прав, сколько спившихся родителей, сколько детей, от которых матери уже в родильных домах отказываются. В стихах Коли Рубцова есть и горечь сиротская, и одиночество. Пусть же его поэзия помогает нам изживать искусственное сиротство, которого на Руси никогда ранее не было...

Старухи, женщины и дети, затаив дыханье, слушали каждое слово своего знаменитого земляка, а я думал о том, что поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт — не по званию, а по сути — выплачивает сыновний долг народу, как выплачивал бы его престарелым родителям, своеобразной заботой и уходом за народной душой, высветляя ее и поддерживая в трудные времена, когда она шатается, болеет, теряет опору. Тогда приходит он и говорит:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И какой-нибудь отрок вдруг содрогнется от поэтической искры этих строк и тем самым сознательно и на всю жизнь обнаружит в себе ту же “самую жгучую”, “самую смертную”, которая до последнего часа будет жизнетворческой силой в его судьбе.

Между тем на эстраде возник неожиданный спор. Кто-то из выступавших искренне стал восхищаться: каким образом местная природа, скромная и невзрачная, “серенькая”, родила такого яркого поэта...

— Это же чудо! — развел руками оратор.

Я услышал, как сидевший рядом Белов что-то буркнул в бороду, встрепенулся Анатолий Передреев и, дождавшись, когда оратор закончит свою речь, вышел к трибуне:

— Я всегда любовался вашей землей — ее долинами, реками, лесами. Почему, с чьей легкой руки ее называют "скромной", невзрачной? Наоборот, она яркая, многоцветная, ваша северная природа. Несколько раз в году она меняет свой лик и свой наряд — не то что где-нибудь на юге, где круглый год стоит цветущее однообразие...

Если бы не Рубцов, и на Вологодчине мне не пришлось бы побывать. Раззадорил он меня рассказами о Сухоне, Тотьме, Николе, и приехал я как-то в ваши края, и попал в деревню к Василию Белову. Давно это было. А стихи о той поездке я написал недавно...

Медленно отчеканивая каждое слово, Передреев начал читать:

Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня свою сберегла.

Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.

Раз может еще так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...

И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло.

И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.

Все сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне, и небо при ней!

Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!

Так думало поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес...

А все, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело.

И так оно все случилось к месту и ко времени, что, когда поэт кончил читать, и зал, и президиум долго благодарили его, не жалея ладоней...

В фойе клуба был выставлен стенд с фотографиями Рубцова, сделанный приехавшими в Николу ленинградцами. Некоторые из них я увидел впервые, стал вглядываться — и маленькая тревога запала в душу. Почему в стихотворенье, ему посвященном, я написал о "тяжелом взгляде", об "угрюмстве", о "прищуре"? Да нет же! Вот он молодой, с друзьями в матросских робах, разламывает пополам гармошку, смеется; вот сидит с маленькой дочкой — и лицо светится; вот склонил голову, усталый, но все равно улыбается, хотя и грустно. У него высокий лоб, живой доверчивый взгляд... Нет в молодом Рубцове никакого угрюмства! Конечно же, от природы он был добрым, веселым и светлым человеком, с душой, распахнутой для жизни, любви и дружбы. И как бы судьба ни выколачивала из него эти свойства, он не сдавался ей.

Я по-прежнему добрый,
неплохой человек.

Разве что в Москве взгляд его тяжелел и свет в глазах прятался куда-то в самую их глубь. Но если бы я в те времена приехал в Николу, то, конечно, запомнил бы его иным...

Уже смеркалось, когда мы выехали на автобусе обратно к теплоходу и по пути отвернули в сторону, чтобы поглядеть на старую дорогу, по которой Коля Рубцов, возвращаясь из странствий, ходил пешком от Усть-Толшмы до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, мимо заброшенных починков. Есть время подумать о многом. Сколько раз, пока дойдешь, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной опушке, то возле древнего погоста. Я представляю его себе летним днем, усталого, с чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он идет, а вокруг "зной звенит во все звонки", цветут белые ромашки, и куда ни глянь, все волнует душу — и "филин властелин", и верховые, как три богатыря, проскакавшие где-то у горизонта, и тишина... Старая дорога...

Здесь каждый славен, мертвый и живой,
и потому, в любви своей не каясь,
душа звенит, как лист, перекликаясь
со всей звенящей солнечной листвой.
Перекликаясь с теми, кто прошел,
перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел
и больше ничего не происходит!
Но этот дух пройдет через века...

Бывало, что редкий грузовик догонит студента, шофер высунется из кабины и спросит: далеко идешь?

Я шел, свои ноги калеча,
глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой!

Он садится в машину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая вглядеться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зеленому простору. А потому, не доезжая несколько километров до родного села, просит удивленного шофера притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле
сошел и пошел пешком.

Вот о чем мы разговариваем с Вадимом Кожиновым и Василием Беловым, когда стоим в сумерках на старой, уже позаросшей муравой дороге, пересыпанной строчками поэта, столько раз проходившего ее туда и обратно.

Вечером следующего дня на высоком берегу Сухоны в Тотьме открывался памятник Николаю Рубцову. Это событие как бы венчало трехдневные народные празднества в его честь. Не часто земляки балуют русских поэтов таким высоким образом. Вспомним хотя бы, что первый памятник Есенину в Рязани был воздвигнут лишь через полвека после его смерти. Как тут не поклониться вологжанам и тотьмичам!

Несмотря на дождь, людей собралось множество, и пока организаторы торжества заканчивали последние приготовления, море зонтиков, шалей, беретов сгрудилось вокруг монумента, затянутого белой простыней.

Когда настало время открытия, мы с Передреевым вышли из толпы, я потянул за шнур, покрывало медленно поползло вниз, обнажая голову и плечи уже не Коли Рубцова, а кого-то другого, отделившегося от нас и ушедшего в царство русской поэзии.... Он сидел на скамье, в пальтишке, накинутом на плечи, нога на ногу, руки со скрещенными пальцами покоились на колене...

Глубокие глазницы, высокий воротник грубого свитера, в котором часто ходил Рубцов, высокий лоб, задумчивый наклон головы — от всего образа веяло духом отрешенности от соблазнов мира сего, внутренней сосредоточенностью, чувст-

вом собственного достоинства и неуязвимости от внешних обстоятельств жизни.

В отдалении от холма, на котором стоял памятник, виднелись поставленные в свое время лихими тотемскими землепроходцами, возвращавшимися из рискованных походов, полуразрушенные церкви, как бы иллюстрируя пронзительные стихи Николая Рубцова:

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье меж этих померкших полей,
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

...В послевоенное время в моей зеленой полуразрушенной Калуге недалеко от нашего дома находилась скульптурная фабрика. Размещалась она в ограде бывшей церкви, и я по пути на реку, к золотым окским пляжам всегда останавливался возле нее. С чувством некоего таинственного приобщения к особому миру фигур, загромождавших церковный двор, я глядел на мощные торсы дискоболов, на гипсовые фигурки пионеров, на очень изящные, как мне тогда казалось, статуи женщин с веслами или с подойниками в каменных руках... Все они потом расселялись по районным центрам, вырастали в нашем Центральном парке культуры и отдыха, в маленьких городских скверах и на площадях небольшого города... Теперь я понимаю, что это, конечно же, были весьма аляповатые цементные времянки, но, даже понимая это, я хочу сказать несколько слов в их защиту. Каждому времени — свои песни, свои книги и своя скульптура. В этих убогих стандартных фигурах жила помимо халтуры и однообразия и некая глубина и правда нашего времени, осознававшего свое величие и спешившего кое-как, наспех хотя бы, это величие зафиксировать. И вот сейчас, глядя на полуразрушенные скульптуры, установленные в те годы, на потемневшие подтеки на цементе и гипсе, на куски железной арматуры, торчащие из какой-нибудь культи, я думал: все-таки от этих рудиментарных и стандартных останков массового искусства той эпохи веет еще и аскетизмом, и бедностью, и целомудренностью, и неприхотливостью, и даже мысли о каких-то общественных идеалах, искаженных и не до конца осуществленных, возникают у меня при виде этих рассыпающихся от времени статуй. Нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Я понимаю и условность и правду этого афоризма. Да, цемент разваливается. Но идеи, грубо воплощенные в нем, наверное, останутся вечными. Вот почему в начале 70-х годов я написал:

Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура!
Вот дискобол: плечо и диск,
а между ними арматура...

В те аскетические довоенные и послевоенные времена наша скульптура выражала как бы общие идеи и потому была столь однообразна. Тогда она играла либо украшательско-прикладную роль, либо монументально-идеологическую. Мы не могли позволить себе — и средств не хватало да и самосознания такого еще не было, — чтобы какой-нибудь маленький городок решился бы поставить памятник своему знатному земляку, герою, воину, поэту, то есть украсить себя ликом или фигурой, присущими только этому городку, этой малой родине знаменитого человека. Такое время наступило лишь через несколько десятилетий, и лишь поэтому стало возможным создание памятника Николаю Рубцову в маленьком северном городке Тотьма на высоком берегу реки Сухоны...

У Николая Рубцова есть два пророчества: "Я умру в крещенские морозы" и "Мне поставят памятник на селе"... Оба они оправдались.

— Больше стало на Руси еще одним святым местом! — сказал, выступая у памятника, его создатель, скульптор Вячеслав Клыков.

Это было правдой, потому что вечером, во время литературного праздника учительница Тотемской средней школы, где учился Рубцов, рассказала, что в Тотьму и Николу уже много лет люди приезжают "к Рубцову", расспрашивают земляков о нем, записывают воспоминания, оставляют их в местном музее, пишут картины, снимают любительские кинофильмы о родине поэта.

А профессор Литературного института Михаил Павлович Еремин, у которого двадцать лет назад учился Рубцов, произнес такие слова, от которых зал загудел и взорвался рукоплесканиями:

— Думая о Рубцове, глядя на его памятник, побывав в его деревне, вспоминая его стихи, я сегодня испытываю чувство, которое давно уже не приходило ко мне, я горжусь, что я русский!

Поздно вечером под проливным дождем мы возвращались к теплоходу, чтобы отправиться обратно в Вологду.

Я нес в руках целую охапку цветов, подаренных школьниками, да еще друзья прибавили свои букеты, чтобы положить их к подножию монумента, мимо которого мы проходили на пути к пристани... В дождливой тьме, то и дело оступаясь в лужи, я прошел по дорожке, усыпанной песком, к Рубцову.

Огляделся. Под обрывом призрачным сиянием светилась река, над которой угадывалось движение темных дождевых облаков. На их фоне с трех сторон, окружая памятник, чернели силуэты церквей. Вокруг не было ни души... Увязая в мокром тяжелом песке, я поднялся на земляную насыпь к скульптуре и хотел было опустить цветы к подножию — на землю, но почему-то передумал, выпрямился, вложил их в холодные бронзовые руки и, почувствовав металлический холод, поднял взгляд: на меня из глубоких глазниц смотрел не Коля Рубцов, а кто-то иной, уже легендарный, от прикосновения к которому тревога затекала в душу. "Ну ладно тебе, — одернул я себя. — Это же не Медный Всадник, не Статуя Командора — это твой друг, он сам приглашал тебя двадцать с лишним лет тому назад на свою родину, вот ты и приехал..."

— Здравствуй...

3

В конце 1971 года я получил письмо из далекого Барнаула от доселе неизвестной мне медицинской сестры Евгении Нифонтовны Кошелевой. Письмо положило начало нашей долгой переписке. Медсестра была, как я теперь понимаю, из той породы читателей, которая образовалась за два-три послевоенных десятилетия. Возникновение этой породы было чудом советской цивилизации. Размышляя о людях такого склада сегодня, я убеждаюсь, что ничего в нашей истории не прошло даром: ни культурная революция, ни коллективизация, ни строительство домн, комбинатов и городов, ни жертвы великой войны. Михаил Пришвин однажды проницательно заметил: "Наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла, как победа, когда стальной узел необходимости был развязан..." Вот и появление умного, наивного, страстного, ревнивого, живущего поэзией читателя было обусловлено тем, что после войны мы, в очередной раз перенапрягая народные силы, развязали "узел материальной необходимости". "Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат".

Из первого письма Кошелевой — "Нифонтовны", — как она позднее стала называть себя в письмах.

"Я читательница, кстати, не просто придирчивая, но свирепая даже, если в поисках истинной поэзии натыкаюсь на бесцветные стихи или нерадиво оформленную книжку".

Какое слово нашла — “свирепая”! Именно такими — ревнивыми, взыскующими истину, влюбленными в нас, поэтов, но не прощающими нам ни малейшей лжи, слабости или фальши, были наши читатели 60—80-х годов. Они читали всё, что выходило из-под пера их кумиров, вступали в споры со злыми завистливыми критиками, поносившими нас, засыпали редакции газет и журналов письмами, протестами, восторгами, искали нам единомышленников на необъятных просторах страны, воодушевлялись нашими удачами и победами, печалились и скорбели во время наших болезней и житейских невзгод. Мы были их личной жизнью, чуть ли не собственностью, но зато обязаны были соответствовать идеалу, рожденному в их душах. Их любовь не только согревала, но могла обжечь или даже испепелить дотла.

Из письма Нифонтовны:

“А вот книжечка Вл. Соколова “Снег этого года” мне так и не попалась, сколько я ее ни искала. Хирею, чахну без нее. Вы помните, как догорает свеча? Вот и я так же. Беру книжечку А. Передреева — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Беру Вашу книгу — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Утаскиваю ее к себе, уединяюсь с ней и... с тех пор тоска и тревога уже не отпускают меня. А тревога смутная, такого же свойства, что и раньше завладевала мной, как предчувствие беды для кого-нибудь из близких мне людей, даже если они были очень далеко от меня...”

Таких читателей (а их было много, с ними моя переписка длилась десятилетиями) не было в мировой истории ни в одну эпоху, ни в одной стране. Только в Советской России. Ну, подумайте: в руки Нифонтовны попадает моя книга “Ночное пространство”. Она пишет мне письмо, наполненное строфами и отрывками из моих же стихотворений, поразивших ее, признается, что очень любит ночь, звездное небо, полночную тишину, и вдруг эта медицинская сестра из далекого провинциального Барнаула с Кооперативной улицы, как само собой разумеющееся, цитирует: “И только две вещи неизменно наполняют душу изумлением: ночное небо надо мной — и нравственный закон во мне”. Иммануил Кант! А первое письмо от нее, пересланное мне из “Литературной газеты” (Нифонтовна не знала моего адреса), заканчивалось словами: “Где бы услышать старинную русскую песню, забытую накрепко: “Ты гори, гори, моя лучина, догорю с тобой и я”. Хорошо бы стих написать с такой вот интонацией, может, полегчает?”

Боже мой, как легко и свободно парила в ночном пространстве душа Нифонтовны — от великих слов Канта до

бессмертной русской песни! Какого читателя мы вырастили, какую жизнь с ним прожили и ...какого читателя мы потеряли! Мы лечили его душу, мы помогали ему жить в нашем суровом мире, а он ободрял нас, укреплял наш мятущийся дух, нашу веру в Россию, в добро, справедливость, красоту... Мы прощали ему его свирепость, его порой невыносимо требовательную любовь, его безмерную ревность, а он писал нам письма, о которых Блок говорил, что "они помогают жить"...

...Однако сейчас, разбирая в заснеженной деревне папки с читательскими письмами, я погрузился в послания Нифонтовны лишь для того, чтобы разыскать в них страницы о Николае Рубцове. Они в то время поразили меня.

Он был любимым ее поэтом, и мне она написала лишь потому, что от кого-то узнала: у Станислава Куняева есть стихотворенье, посвященное Рубцову.

Из письма от 4 июля 1972 года:

"У Вас есть один стих, посвященный Рубцову, но мне он не встречался нигде. Если бы Вы могли мне его прислать. Просьба моя кажется дерзкая, наглая, но я серьезно давно уже — таю про себя такое страстное желание... Стихи Ваши в "Литгазете" встревожили меня упоминанием о хирургии и понтапоне и ...портрет Ваш. Что-то новое, непривычное в облике. Это тревожит. "Но в наши годы плакать невозможно, и каждый раз себя превозмогая, мы говорим: всё будет хорошо", это из "Осенних этюдов" Рубцова. — Напишите мне — как он погиб".

Не помню, что я ответил ей. К сожалению, в те годы, отвечая на письма, я обычно не оставлял никаких вторых экземпляров, потому что письма, как правило, писал от руки.

Я ни разу не встречался с Нифонтовной, не знаю, как сложилась ее жизнь. Лет через пять после первого письма наша переписка прекратилась. Сейчас я думаю, что, может быть, весь душевный накал ее писем, их предельная искренность и какая-то сверхчувствительность — свойство болезненной и экзальтированной натуры? Но откуда тогда удивительная эстетическая проницательность, растворение в ткани и сущности стиха, искрящийся читательский талант, которого не хватало и не хватает многим модным критикам прошлых и нынешних времен?

Из письма Нифонтовны от 22 декабря 1973 года:

"И вдруг наткнулась на Ваше стихотворение "Памяти поэта". И с первых строк пока еще поверить не смела, что это о нем-таки, а ни о ком другом. Жар подыматься стал во мне, подкатываясь к горлу. Вообще — последнее время как-то

все горлом чувствую. Вся кровь приливает к горлу, и оно пылает огнем. Это лучший стих о Рубцове, ибо он изнутри написан. Лучший из всех ему посвященных стихов. Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57-м году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке, на закате. Я вышла из лесу, увидела его и тотчас пошла прямо на него. Как увидела — так прямо и пошла. Свернула со своей дороги. Мне было 19, ему 21. Я по замыслу природы рыжая вся как есть, а в детстве меня за это преследовали, проходу не давали, что я чувствовала себя глубоко несчастной и даже не человеком вообще. Так ведь диавол подсказал мне в тот июль в жгуче-черный цвет волосы окрасить, то есть, вернее, даже сжечь их краской — они стали жгуче-черными. Вот я выскочила из лесу на опушку и сразу увидела черную маленькую фигурку на холме. Против закатных лучей она выглядела совершенно черной. И я тотчас свернула со своей дороги и пошла прямо на него, как черная ворона, а потом он пошел за мной. "Не в сторону, а напрямик". У него и тогда уже был "тяжелый" — тяжелый взгляд. Но нет, это не то слово. Это был взгляд неотступно сверлящий, пы-та-ющий. (От слова "пытка".) Он мне показался совсем черным. Волосы черные, брови прямые, глаза карие, золотистые на свету. Мамочки мои, золотистые! Но это уже в минуту относительного покоя. Все верно у вас о нем. Именно так: в момент относительного покоя, ибо никакого покоя с ним быть не может. Он меня и после гибели не отпускает, держит словно мощным магнитом — оттуда! Под этим взглядом было в высшей степени неуютно. Может, он и стал со временем именно "тяжелый", но тогда в нем была еще страстная надежда на жизнь. Страстная! На-деж-да. На — жизнь.

Мы с ним встретились и не узнали друг друга, то есть не поняли, что нам надо непременно дружить. Не упускать друг друга из виду. Впрочем? он-то все же догадался, хотя и сказал с сомнением: "Но ты ведь не станешь со мной дружить! Я рабочий, а ты в институте учишься". "Почему это я не стану с рабочим дружить?!" — спросила я почти грозно. (Мне-то и в самом деле нужен был друг.) Но больше я его не увидела. Но я его не обманула. Я стала ему подругой уже после гибели его. И даже день его гибели чуяла на расстоянии. Я тогда жила в деревне на Псковщине... Да, я его забыла через три дня и на шестнадцать лет. И нынче все вспомнила. Меня все время тянуло на Запад. Всю жизнь. На Северо-Запад. Дело в том, что я никогда не любила детство свое и юность. Моя жизнь — только молодость и зрелые годы, и потому я активно забыла

все, что связано с Барнаулом. Только любимых учителей мединститута помнила тепло и с благодарностью. Все остальное вытеснила из своей памяти, и его заодно.

Уехала из Барнаула и десять лет скиталась на Западе Союза. И всё вокруг Вологодчины кружила, сама не отдавая в том отчета. Это земля моих дедов. Еще отец там жил в нищей деревушке глухоманной. Забыла все намертво, что связано с Барнаулом, так, что едва-едва с великим трудом его нынче вспомнила, встречу в сосновом бору на закате. Он говорил: "Я тебя пожалел, я не хотел тебя опозорить". Вот так сказал. Пожалел! "Когда заря смеркается и брезжит... мне жаль ее". Я же была черная, как ворона:

Увижу ворона
И в тот же миг
Пойду не в сторону,
А напрямик.

Возможно, возможно...

В его прищуре открывалась мне
Печаль по бесконечному раздолью.

Печаль? Эту Вашу строчку почему-то не воспринимаю. У него бунт в самой гармонии. Он шел к тихой ярости. У Лермонтова мысль в лоб высказана. У Рубцова нет мыслей "в лоб". Но бунт в самой гармонии. В звукописи.

"Крещенские морозы" его — изумительная звукопись, призванная к нагнетанию трагического.

"По безнадежно брошенной земле" — а вот это очень точно. Это я чувствую.

И не дышал его угрюмый стих
надеждою на них,
хоть самой малой.

Здесь Вы сказали очень точно! Потому-то он и стал гениальным поэтом. Ни одна женщина не окликала его для любви. Любимое слово мое "угрюмый". И звукопись в этом слове: сдвоенное "у-ю". Красно-фиолетовая нота. У-У-У!.. Ю-Ю-Ю! Любимые гласные.

Истоскую ночь глухую,
чую голос ветровой.
На беду его лихую
Кину жребий золотой!

У-У-Ю-Ю! Какая звукопись, Стасик! Какая звукопись! Это же волчье завыванье!

Размер Вашего стиха "Памяти поэта" — ведь в нем дыханье Ваше. Это размер волновой, волнами: подъем — спад. Прилив — отлив. Кстати, занимательно, что единственный стих, написанный таким размером у Вас — это посвященный Николаю Рубцову.

19 января три года со дня его гибели. Хочу письмо от Рубцова... Я слушаю гармонию сфер и пытаюсь уловить, что дух Николая Рубцова мне внушает. И потом идеи эти рубцовские внушаю современникам живущим. Это вот и значит: быть ему подругой и после гибели его".

"...Потянуло опять к "Вечной спутнице" Вашей: "Он выглядел, как захудалый сын". Как точно! Помните его такого? В "Сосен шум" его портрет... Серенький, скромненький, как мышка... робкая надежда на жизнь еще теплится в нем. А вот портрет из "Зеленых цветов" — уже ничего человеческого. Он уже миру иному принадлежит. Это, вероятно, последний его портрет? А? Чем больше в поэте человеческого, тем меньше гения. Чем больше гения, тем опасней это, тем смертельней для жалкой земной оболочки его, в которой огонь священный горит. Таковы жестокие законы искусства. Рубцов та же кукушка. Крамольная птица. Гнезда не вьет. Детей не воспитывает. Но в голосе ее — все возможности поэзии".

И еще отрывок из последнего письма, помеченного декабрем семьдесят пятого года, после которого русская вещунья, сивилла, гадалка, кукушка, пророчица, ворожея, знахарка Нифонтовна навсегда исчезла из моей жизни:

"Я, конечно, понимаю, что плевать Вам на всех русских читателей Ваших, тем более провинциальных, тем более женского рода. Все это понятно. Вот выйдет из тюрьмы Людка Дербина — я ее заставлю писать стихи гениальные-е... раз уж теперь нет Николая Рубцова. Книга Рубцова "Последний пароход" выпущена из рук вон паскудно, испохабили книгу нашего русского гения! Художественное оформление — это стилизация под народное, то есть пошлость, тираж мизерный, словно Рубцов какой-то начинающий. Нет ему жизни и после гибели. Нет ему жизни в этом еврейском литературно-коммерческом мире... Во всей России не могу найти ни одного русского поэта... Словно вымерло все вокруг. Есть советские поэты, а русских нет. Пустынь, пустынь, как в мире дописьменном. Был единственный русский поэт, и того задушили...

учтите, Стасик, следующая очередь, возможно, ваша.

От злости безмерной принялась за Вашу "Вечную спутницу" и попалась я, бедная, на крючок, как те простодушные форельки, которым Вы любили жабры вспарывать. (Садист Вы, конечно, Стасик, но это так, к слову.) Я Вас включила в генетическое ядро современной поэзии. Вы поэт русский были и есть. И я Вас живьем не выпущу с этого света.

С Новым годом.

Нифонтовна".

...Сижу перед заиндевелым окошком своей деревенской избы, подымаюсь из-за стола, иду по скрипучим, изъеденным шашелем половицам к печке, подбрасываю пару березовых полешек — береста с треском сворачивается, занимается языками пламени, невольно вспоминаю рубцовское "и друг поэзии священной — в печи березовый огонь" — возвращаюсь к столу и, словно карты в пасьянсе, снова перебираю письма... Есть ли смысл ворошить прошлое, беседовать с тенями, осмысливать опыт, может быть, совершенно ненужный завтрашнему дню? По телевизору с утра до вечера празднуют шестидесятилетие Владимира Высоцкого. А вот, кстати, один из редких, сделанных под копирку моих ответов читателю Геннадию Ивановичу из Орла. Это 1981 год. В своем письме он приравнял судьбу Высоцкого к судьбе Рубцова — мол, оба были не поняты и гонимы и властью и обществом, оба продолжали список поэтов-изгоев русской истории — Лермонтова, Есенина, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака... Перечитываю через 16 лет с лишним мой ответ ему:

"*Вы сравниваете две несравнимые судьбы. Одна — бешеная, пускай вначале полуподпольная, но потом во многом организованная слава, куча поклонников, театр, пресса, "мерседесы", сладкие, ядовитые блага массовой культуры, открытая виза, залы Франции и Америки, пляжи Таити, деньги, репортеры, поклонники, отравление даже не водкой, а наркотической славой — или просто наркотиками, толпы на Ваганьковском кладбище, эфросы, вознесенские, рязановы, любимовы, шемякины, влади — словом, весь могущественный клан людей западной ориентации, мировой антрепризы с деньгами, связями, влиянием аж до самого-самого верха...*

И другая жизнь — сиротство, детдом, одиночество, бедность, тралфлот, Кировский завод, обшарпанная гармошка, маленький круг друзей (несколько человек!), бескорыстное, подвижническое, монашеское служение поэзии

("душа хранит"), три тощеньких книжонки, изданные при жизни, бездомность, последнее письмо к секретарю обкома с просьбой, чтобы хоть комнатку какую-нибудь дали. Нет, не звали его к себе "большие люди", чтоб он им пел "охоту на волков". Но и на могилу его на новом жутком вологодском кладбище к нему приходят только те, кто чужую могилу рядом не затопчет... И на надгробье у него не рекламно-пропагандистские лозунги Вознесенского ("О златоустом блатаре рыдай, Россия!"), а свои собственные, для своей души сказанные: "Россия, Русь, храни себя, храни!" Вот и всё. Совершенно разные жизни. Общее только одно — пили и умерли молодыми. Во всем остальном — ничто не объединяет этих поэтов. На том и стою.

Ваш Ст. Куняев
6.11.81 г."

...По телевидению закончились дни Высоцкого и началась неделя Бродского. Открылась она программой "Старая квартира", которую ведет некий Гурвич, очень похожий на бывшего партийного функционера, позже посла России в Израиле Александра Бовина. И ведущий, и все собравшиеся в зале поклонники Бродского стенают и плачут о том, в каких невыносимых условиях жил прекрасный Иосиф, высланный на полтора года в одну из архангельских деревень. Да Николай Рубцов в подобной же деревне Никола полжизни прожил, свои лучшие стихи об этой жизни написал, счастливым чувствовал себя не раз под своим северным небом на "тихой родине", на высоком берегу речушки Толшмы. Был я там в последний раз в январе 1996 года, когда, как сегодня у Высоцкого, у Рубцова праздновали шестидесятилетие. Собралось человек двести жителей Николы и соседних деревень, открыли музей Рубцова в деревянной школе, выпили, повспоминали. Ни одного человека ни с одной программы Центрального телевидения не было. И у Высоцкого и у Рубцова, как всё при жизни сложилось, так продолжается и после смерти.

4

Борис Слуцкий внимательно присматривался к творчеству молодых русских поэтов начала шестидесятых годов. Анатолия Передреева он уговорил поехать на Братскую ГЭС "изучать жизнь", сам вызвался быть редактором моей первой москов-

ской книги "Звено", высоко ценил поэзию ленинградского геолога Леонида Агеева, ратовал за прием в Союз писателей Юрия Кузнецова. Недаром же мы в нашем московском кругу звали его весьма дружелюбно: "Абрамыч".

Но недавно молодой исследователь Г. Агатов обнаружил в одном из архивов (РГАЛИ) неизвестное доселе письмо Николая Рубцова к Борису Слуцкому, рецензию Слуцкого на рукопись книги Рубцова "Звезда полей" и те его стихи, присланные Слуцкому вместе с письмом, в которых есть существенные разночтения по сравнению с известными всем каноническими текстами тех же стихотворений.

На моей памяти Борис Слуцкий еще раз принял участие в судьбе Николая Рубцова. Однажды в Центральном Доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала одна окололитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок:

— А эта б...ь чего вмешивается в наш разговор! — произнес он на весь пестрый зал. Франтоватый вылощенный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой, кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самим скверным в тот вечер: не успели мы одеться и слинять, как к дверям нашего дворца подкатил "воронок"... Протокол, свидетели, короче говоря, всё, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку с вызовом в суд. Я позвонил Александру Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман. Николай Рубцов, кажется что в валенках, в замурзанной ушанке и стареньком пальто, битый час сидел в темном коридоре, пока мы вчетвером уговаривали судью простить, замять и отпустить. Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрощались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку

отметить его освобождение, поскольку вход в Центральный Дом литераторов был закрыт ему надолго.

Слуцкий не случайно взялся помочь Николаю Рубцову. В июньском номере "Нашего современника" за 1999 год опубликовано единственное письмо Николая Рубцова Борису Слуцкому. Г. Агатов сделал к публикации небольшой комментарий:

"Письмо Рубцова с пятью приложенными к нему стихотворениями хранится в РГАЛИ, в фонде Б. А. Слуцкого. Писем Рубцова сохранилось немного, со времени его смерти опубликовано около 40, в их числе нет ни одного письма Слуцкому. Об отношениях Рубцова и Слуцкого мы вообще мало что знаем. Известно, что Слуцкий хлопотал за Рубцова после скандала в ЦДЛ в декабре 1963 года, грозившего Рубцову большими неприятностями. Наталия Яшина, публикуя в "Нашем современнике" письма Рубцова к своему отцу, в связи с этим инцидентом писала: "Поэт Станислав Куняев позвонил Яшину и Слуцкому. Слуцкий лично Рубцова не знал, но слышал о нем от поэтов. Его позвали на помощь, надеясь на сильный характер и внушительно-важный вид" ("Наш современник", 1988, № 7, с. 183). Теперь выясняется, что к тому времени Слуцкий уже несколько знал Рубцова, по семинару Н. Сидоренко, быть может, ответил и на его письмо.

В фонде же Слуцкого в РГАЛИ находится и рецензия Слуцкого на сборник Рубцова "Звезда полей". Рецензия не закончена и никогда не публиковалась. Вот ее полный текст:

"Первая книга поэта*.

Это — стандартный заголовок, примелькавшийся, ничего не выражавший. Каждое из его слов надо мотивировать заново. Попробую сделать это в применении к первой книге поэта Николая Рубцова.

Первая книга часто бывает сборником юношеских упражнений, доказательством энергии автора и жалостливости редакторов.

Первая книга в подлинном смысле этих слов — обязательно пропущенная через ямбы и дольники судьба, новый человек, новая, доселе не бывшая живая душа.

Узколицый человек в берете и непонятном шарфе, глядящий на нас с приложенного к книге портрета — такую живую душу в поэзию принес.

---

* "Звезда полей" была вторым сборником Рубцова.

Вехи его недлинной биографии — детство, юность в северной деревне, матросская служба на северных же морях и реках, Москва с ее литературным институтом.

Особый строй души — элегическая грусть, сочетаемая с любовным приятием жизни. Особая манера письма, с первого взгляда связанная скорее с XIX веком нашей поэзии, чем с двадцатым, а по сути дела вполне современная, потому что и чувства и мысли нынешней периферии, глубинки, выражены Рубцовым совершенно точно.

Все это вместе и складывается в облик книги. Она называется "Звезда полей" — по одному из лучших стихотворению книги. Это название — неслучайное.

Критика сейчас хвалит почти все, и сказать о книге Рубцова, что это хорошая книга — значит ничего о ней не сказать.

Поэтому применю старинный способ сравнения: наряду с первой книгой С. Липкина, "Звезда полей" — одна из среди наиболее значительных книг последних лет" (РГАЛИ, ф. 3101, № 100, с. 57—58).

Но вот текст и самого письма:

"Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Лит. институте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.

У меня к Вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, на городского, расспрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину. На небе всё время тучи.

Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...

До свиданья, Борис Абрамович.

От души, всего Вам доброго.

Буду теперь ждать от Вас ответа.

Мои стихи пока нигде не печатают. Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях.

Мой адрес:
Вологодская область,
Тотемский район,
Никольский сельсовет,
село Никольское.

Рубцову Николаю.

Салют Вашему дому!

5/VII — 63 г."

Николай Рубцов, конечно же, не случайно написал Слуцкому письмо с просьбой о помощи.

Бывая в нашем московском кругу, он не раз, видимо, слышал от меня, от Передреева, от Кожинова, что Борис Слуцкий — безотказно и по-деловому относится и к просьбам подобного рода.

Но в этих двух документах — в рецензии и письме — меня особенно заинтересовало одно обстоятельство: как ярко и выпукло отразились в них характеры обоих людей. Четкая и одновременно достаточно глубокая и содержательная манера Слуцкого. Не случайно сопоставление книги Рубцова с книгой Липкина: Слуцкий, словно стратег, по-хозяйски, двумя-тремя фразами как бы пытается освежить картину поэзии тех лет, выдвинуть сразу два имени, казалось бы, с противоположных флангов ее... Рецензия не дописана, но я помню свой короткий разговор со Слуцким о Рубцове. Я прочитал ему стихотворение "Журавли", он задумался. И хотя стихи (было видно) произвели на него впечатление, однако форма их показалась ему, воспитанному на Маяковском, Хлебникове, раннем Заболоцком, чересчур архаичной (недаром он любил говорить, что каждый поэт должен летать на самолете собственной

конструкции), Абрамыч произнес что-то о бальмонтовщине и есенинщине, о некой формальной “несовременности” стихотворенья... так что, думаю, Рубцова до конца он понять и не мог. Но, между прочим, и русские поэты, особенно земляки Рубцова, не сразу поняли и приняли его.

Я помню, как он жаловался на них, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его.

Помню свои горячие стычки с Сергеем Поделковым, уверявшим всех, что рубцовские “Журавли” — сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: “Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...”

Помню, как непросто было нам убедить Егора Исаева, который тогда заведовал поэтической редакцией в издательстве “Советский писатель”, что книга “Звезда полей” — событие, и что издать ее нужно как можно скорее.

Но вернусь к письму Рубцова Слуцкому. В нем есть несколько наивных, лукавых и одновременно дерзких интонаций, которые всегда были свойственны Рубцову, когда он попадал в круг неизвестных людей или обращался с чем-то личным к малознакомому человеку. Ситуация щепетильная. Он просит двадцать рублей в долг у человека, который почти не знает его. В письме есть застенчивые фразы, которые он писал, как бы борясь с самим собой. “Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?” “Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях” (он, не будучи уверен, что его стихи понравятся Слуцкому, как бы обещает написать в будущем что-то более значительное). Одновременно, желая смягчить впечатление от своей “дерзкой” просьбы, он делится со Слуцким некоторыми тайными сторонами своего внутреннего душевного мира (“А какие здесь хорошие люди!” “Младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно”). Рубцов рискует, но все-таки надеется, что его поймут. А уж в конце письма он совершенно “дал петуха”, выкликнув панибратское “Салют Вашему дому!” — видимо, устал от своей же собственной застенчивости и робости.

Такие переходы в настроении от целомудренной стеснительности до внезапных приступов дерзости мы замечали за Рубцовым не раз. Однажды небольшая компания, уже порядочно разогретая, но желавшая погулять еще, по предложению Вадима Кожинова поехала к его армянским друзьям, жившим на Садовом Кольце. Вадим, чтобы заинтересовать хозяев в набеге, позвонил им и сказал, что с нами Рубцов, и что он будет петь.

Армянская семья жила по тем временам богато. Поэты вошли в просторную многокомнатную квартиру, где в гостиной на столе стояли дорогие коньяки, пол был покрыт толстым цветным ковром и в креслах сидели хозяева и гости, среди которых был какой-то немецкий ученый-филолог, жаждавший послушать песни Рубцова.

Николай, в своем заношенном костюмчике, в грязной рубашке, с обшарпанной гитарой в руках обалдел от этого великолепия и, видимо, от смущения сразу же выпил чуть ли не полный стакан коньяка, который ему поднесли тут же, с одновременной настойчивой просьбой что-либо "исполнить"... Но произошел неожиданный конфуз. Наверное, оттого, что гости уже приехали, мягко говоря, не совсем трезвыми, коньяк, судорожно проглоченный тщедушным поэтом, сразу же вырвался обратно из его чрева на роскошный, украшенный цветами восточный ковер... Все замерли в ужасе, хозяйка бросилась на кухню, вернулась с ведром и тряпкой и стала спасать ковер... Однако воспитанный немец бросился к ней, потребовал, чтобы тряпку отдали ему, и, наклонившись, стал вытирать блевотину... Был он, этот немец, неимоверно толстым, зад его, с натянутыми на ягодицах брюками, колыхался перед нетвердо стоявшим на ногах Рубцовым, который от ужаса и смущения смог исторгнуть из себя лишь одну фразу: "Еще и жопу выставил, немчура проклятая!". Все от этой неожиданной фразы захохотали, и обстановка разрядилась, как воздух после удара молнии...

А в завершение хочу сказать лишь об одном: Николай Рубцов просит двадцать рублей у Бориса Слуцкого... Как горько мне сегодня думать об этом.

А летом 1998 года я побывал на открытии памятника Рубцову уже в самой Вологде, в центре города, на берегу реки. Друзья поэта подарили мне копию неизвестного доселе письма Николая Рубцова, написанного за четыре года до смерти.

"В Вологодский обком КПСС
от члена вологодского отделения
Союза писателей РСФСР

Рубцова Н. М.

Заявление

Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в г. Вологде.

Родители мои проживали в Вологде. Я также родом здешний.

Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т. е. 1—2 месяца в год.

Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.

Я автор двух поэтических книжек (книжка "Звезда полей" вышла в Москве, в издательстве "Советский писатель", "Лирика" — в Северо-Западном книжном издательстве), а также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.

В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала бы и радовала жизнь и работа в г. Вологда.

15.VII.67 г.

Н. Рубцов".

Дали ему-таки комнатку, где он прожил последние три года жизни, а уж вечную прописку Николай Рубцов получил на вологодском кладбище, "в кругу берез любимых и печальных", где постепенно собрал вокруг себя своих друзей-земляков — Сергея Чухина, Виктора Коротаева, Владимира Ширикова...

Но почему, почему после смерти Рубцова возник и продолжает жить до сих пор настоящий русский, трепетный культ его судьбы и его поэзии? Ведь никогда не был он модным, не стремился к известности, не рвался на эстрадные подмостки — ни на отечественные, ни на международные. Нет ни одной записи, ни одного кадра Рубцова на нашем телевидении, сохранилась лишь одна короткая радиозапись голоса, и все равно его поэзия каким-то чудом — естественно, постепенно и властно, без саморекламы, прессы, скандалов, конной милиции, антрепренеров, вопреки глобальной экспансии массовой культуры — выжила, укоренилась и проводит благодатную работу по просветлению душ человеческих... Почему? Да, видимо, потому, что, как бы ни соблазнялась человеческая натура потребительством, развлекаловкой, кайфом, — все равно ее лучшая часть, пусть иногда бессознательно, но жаждет идеала, гармонии, цельности, света. А ведь именно этими жизнерождающими стихиями живет поэзия Рубцова, и в этом его редчайшее значение для нашего времени, полного "тревог

великих и разбоя". Несмотря на свою тяжелую, полную лишений жизнь, он писал неоскорбляемой частью души и думал всегда о высоком. Его муза никогда не впадала, по словам Блока, в публицистическое разгильдяйство, не соблазнялась модными темами сиюминутной фельетонности, мертво громыхающей гражданственности, картинами социального и бытового распада. Он никогда не потрафлял низменным инстинктам публики, не ласкал ее потребительские страсти. Вглядываясь в свою душу, он пытался понять душу человеческую, душу русскую, с ее извечной добротой, широтой, милосердием, и несовременное слово "душа", вобравшее в себя как бы суть рубцовской поэзии, вдруг обратила к нему сердца и взоры современников. Иногда кажется, что цель иных современных поэтов — разложить душу и в буквальном и в переносном смысле слова. Для Рубцова же душа, как бы ни давила на нее жизнь, как бы ни старалась превратить ее в "совмещенный санузел", цельна и неразложима.

Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек,
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.

Русский образ прекрасного мира, который мы создавали веками и который сегодня позволяем разрушать.

Как это перекликается с заветом Александра Блока: "Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен". Случайные черты никогда не затмевали для Рубцова красоту мира.

"Самоуважение нужно нам, а не самооплевание" — вот одна из последних записей Достоевского в дневнике. И, наверное, Николай Рубцов становится с каждым годом все дороже и нужнее нам, потому что растит в нас то самоуважение к себе, к русской земле, русской душе, русской истории, то самоуважение, без которого не может жить ни один великий народ...

Открывали мы в январе 1996 года в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школе-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что-"де, мы-то

его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!..” Своя у них правда...

P. S. Как это ни печально, но в последние несколько лет о Николае Рубцове, о его жизни и посмертной судьбе, о его друзьях и недругах написано много глупостей, продиктованных когда невежеством, а когда и прямой злобой. Профессор В. Новиков (литературовед со стажем) наконец-то через тридцать лет после смерти поэта додумался до того, что Николай Рубцов — это “Смердяков русской поэзии”.

Недавно в Санкт-Петербурге вышла антология “100 русских поэтов” (издательство “Алетейя”, 1997 г., составитель В. Ф. Марков). Профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского университета делает в антологии такое примечание к стихам Николая Рубцова: “Кумир “деревенщиков”, Рубцов умер от того, что жена прокусила ему шейную артерию...”. Просто сцена из американского фильма ужасов о вампирах.

Поэт Лев Котюков в своих мемуарах “Демоны и бесы Николая Рубцова” из кожи вон лезет, стараясь переписать прошлое. “Не надо Кожинову уверять публику, что он открыл нам поэта при жизни”. А зачем Кожинову уверять публику? Та публика, которая помнит шестидесятые годы, и без всяких уверений знает, как Вадим Валерьянович ценил Рубцова и любил его поэзию при жизни поэта. Стоит лишь вспомнить его выступления тех лет, да заглянуть в его статьи.

А вот еще один домысел Льва Котюкова. Он пишет о Передрееве, который, пожалев для Рубцова рубль взаймы, мысленно произносит: “В арбатский дом, например, к Кожиновым, дальше прихожей тебе хода нет...” Я свидетельствую, что Рубцов не раз бывал и в кожиновском и в моем доме. Более того, однажды Передреев, Кожинов и Рубцов приехали за полчаса до наступления Нового года к отцу Кожинова. Были они уже в праздничном состоянии, и более всех Рубцов. Когда же отец Вадима сказал сыну: “Ну Передреев, Бог с ним, а этот чересчур выпивший — нельзя ли без него? Кожинов поругался с отцом, хлопнул дверью, и вся компания поехала встречать Новый год в общагу.

Как снежный ком с каждым годом нарастает кампания по ревизии судьбы и жизни Рубцова. Вот и Виктор Астафьев к ней подключился и меня помянул недобрым словом в февральском номере “Нового мира” за 2000 год.

“Друзья, объявлявшиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставляющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили

быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг".

Зря Виктор Петрович разбрызгивает свою желчь. Лучше бы написал о том, как он однажды Коле Рубцову не дал переступить порог своей квартиры и, больше того, "помог" ему с лестницы спуститься. Раньше Астафьев об этом охотно и со смехом рассказывал, что многие вологодские литераторы помнят. Сейчас, держа нос по модному ветру "культа Рубцова", помалкивает. Не буду подробно вспоминать, почему я не приехал в Вологду на похороны. Известие о смерти — дело всегда тяжелое, обессиливающее, надрывное. Не надо бы Астафьеву глумиться над моими чувствами тех печальных январских дней. Откуда ему было знать, что́ я думал и как переживал нашу общую утрату. Скажу только, что не "посторонними делами занимался", а некролог по просьбе Белова в "Литературную газету" писал. Собирал подписи друзей и добивался того, чтобы в номер его поставили. А что же касается ядовитой реплики Астафьева о друзьях, "объявившихся ныне во множестве", куда он и меня зачисляет, то добавлю только следующее. Недавно я, будучи в Вологде, с радостью обнаружил в вологодском архиве мои три письма Николаю Рубцову. А я-то думал, что они пропали. Нет, сберег их Николай Михайлович, несмотря на свою безбытную жизнь. Видимо, дорожил ими. Вот они, эти письма, как свидетельство наших отношений.

"Здравствуй, дорогой Коля!

Как тебе живется в твоем прекрасном далеке? Скоро ли приедешь к нам, порадуешь нас?

Пишу тебе не только по велению души, но и по делу. Книжку твою я сдал уже давно в издательство "Молодая гвардия". Но пока ничего определенного они мне не говорят. В "Знамени" все стоит на месте. Я, видимо, заберу оттуда стихи и отнесу или в "Огонек", или в "Литературную Россию". Но я хочу, чтобы ты прислал мне еще стихов. Хотя бы из сборника "Душа хранит", чтобы у меня их было побольше.

Толя уехал в Грозный вместе с Шемой. Игорь завоевывает Москву.

Пиши. Привет тебе от Гали.

Пьем мало, ибо нет ни денег, ни настроения.

Твой Стасик".

"2 сентября 1964 г.

Здравствуй, милый Коля!

Несказанно был рад твоему письму и спешу тебе ответить. Успокойся, никаких последствий наше поведение в ЦДЛ не имело, так как оно затмилось совершенно невероятным фактом: в тот же вечер какой-то крепкоголовый поэт разбил головой писсуар в уборной Дома литераторов. Так что ты остался студентом, и Передреев так же цел. Со стихами в "Знамени" еще нет ясности. Как только она будет — я тебе напишу.*

Все мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Я даже сочинил несколько стихов. Вот один из них (далее следовал текст стихотворения "Если жизнь начать сначала". — **Ст. К.**).

Обнимаю тебя.

Станислав".

"Здравствуй, милый мой отшельник!

Поздравляю тебя с Новым годом. Рукопись на днях куда-нибудь отнесу. Она мне очень пришлась по сердцу. Дай Бог тебе в Новом году новых радостей. Поклон от Гали.

Обнимаю.

Стасик".

Все письма написаны Николаю Рубцову, еще неизвестному России поэту, в 1964 году. С Виктором Астафьевым он познакомился лишь через пять лет. Так что не следовало бы красноярскому классику язвить по поводу наших отношений. Лучше бы подумал о том, что в памяти вологжан еще живут слова Николая Рубцова о нем, об Астафьеве: "обкомовский прихвостень". Впрочем, в новомировских воспоминаниях есть немало точных и душевных размышлений о судьбе и поэзии Николая Рубцова, а также страстные монологи о Владимире Высоцком и нынешнем Останкино, под которыми я и сам готов подписаться. Но там же и столько глупостей наворочено о советской эпохе, о скульпторе Вячеславе Клыкове, который своего Сергия Радонежского "скоммуниздил у древних ваятелей", о "чудовищном государстве под звериным названием Эс Эс Эс Эр", о "нынешних коммуняках", что поневоле подумаешь: "Куда там Новодворской или Сванидзе до Виктора Петровича! Поистине "широк русский человек!".

---

* Речь шла о каком-то очередном скандале в ЦДЛ, в котором участвовали и Николай Рубцов, и я, и Анатолий Передреев.

Наш первый бунт

Русские патриоты и диссиденты. Еврейские откровения последних лет. Мои дневники семидесятых годов. Подготовка к дискуссии “Классика и мы”. Мое выступление с трибуны. Жребий брошен. Зал и ораторы. Публичные схватки на сцене. Отзывы и легенды мировой прессы и дискуссия. ЦК и КГБ в ужасе. Меня изгоняют в отпуск

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60—80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читаешь Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: “антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм”.

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о “Метрополе”, о Тарсисе, о бегстве Анатолия Кузнецова за рубеж, могу положа руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-неевреям: Виктору Некрасову, Владимиру Максимову, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в XX веке, строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на русской земле, когда рушится государство, как могли, боролись с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т. д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и евреи-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты — еврейскими националистами, радетели "советской общности людей" эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60—80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья..."

"Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, — пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. — Как ее определить — право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского..."

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрываемые от мира в те времена.

А если кто-то из нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу "взявшихся за руки", и не дай Бог открыто говорил или писал об этом, какой ор, какой возмущенный вопль

исторгался из недр еврейской компашки! Всё сразу вспоминали их адвокаты — и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов — святая святых нашего общества, и что нечего "разделять людей по национальному признаку".

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

"В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: "Почему, Лева?" Он: "Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. — **Ст. К.**) *Но как бы тебе это поточнее... Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю..."*

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Батюшкову, написанном аж в 1909 году: "Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал "извините", побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и когда его клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно объяснил: — Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим Сионом..." Вот эти слова "все равно завтра переезжаем-с" глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин — все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети пламенных революционеров, пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва

Збарского бальзамировал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстностью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окончательно породниться, потому что их "русское диссидентство" по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного "лобби" на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения. Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и наш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть нашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу, и это резко отделяло нас от "русской национальной диссидентуры".

Мы хотели, чтобы наши взгляды распространялись на родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути "подполья", по которым шли журнал "Вече" или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, "хельсинкских групп", Солженицынского фонда и т. п.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку "мирового сообщества", наглело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупоэта, полупублициста Б. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

"Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскуделые и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских".

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

"Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интеллигенции в 20—30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т. д.! — **Ст. К.**), *евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями"*.

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того, чтобы показать, как созревало мое национальное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

16.01.1971 г.

В сегодняшней "Правде" статья о Солженицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант — приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходится жить в той России, которая есть и будет, думать о ее будущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых наше могучее государство не может ни замолчать, ни посадить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать — необыкновенно интересное свидетельство нынешнего нашего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить, что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?

18.01.1974 г.

Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно просвета в его болезнях.

Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высовываться до конца дней своих?

25.01.1974 г.

То, что Блок, будучи по существу антисемитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) — не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся. Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувство — значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя забывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тщательным образом все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков — уничтожил. Но антиеврейские страницы оставил. В этом тоже есть какая-то тайна и какой-то завет.

26.01.1974 г.

Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой — от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготовленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет.

15.02.1974 г.

Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т. д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге). Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно — варягам, татарам, немцам, почему бы в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: "Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-орвало-о-сь! Что-о-о же дела-а-ть?!"

29. 02.1976 г.

Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 5 лет: "Лица человеческого жажду. Коржев приезжал — нет уже на нем лица. Надо встретиться. Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого".

...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве.

9.08.1976 г.

Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00.

— Хочу Вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: "Я падал вверх".

15 мая 1977 г.

Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда "антисемитизм Станислава" — от Достоевского или Палиевского — наивно:от русофобства 20—30 годов, от национального чувства, уязвленного массовой эмиграцией еврейства после 67 года, после арабо-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов.

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей — не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и русским государственником.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: "Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай — и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, — все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно". Потому в

конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: "Классика и мы", я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилось сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу "Воспоминания о Багрицком", в которой авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором "Слова о полку Игореве", Ильей Муромцем, называя "гением", "классиком", "великим лириком", вошедшим в историю "советской и мировой литературы". Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все "русские" журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, — меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился и рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в "Новый мир" к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда "Брестской крепости", будучи уже смертельно больным человеком, не долго думая предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался "вольным охотником", авантюристом и независимым человеком. "Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот", — подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда — русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены "задами тяжкими татар"!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-Заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри, Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов — Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков, — думал я, — можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с "национальными классиками" многих замечательных русских писателей и поэтов 50—80-х годов — Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки "в черном теле". Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей — по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать—тридцать лет литературной жизни... По 3—4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: "Да,

восстание против гипертрофированного засилья "националов" дело необходимое, но... не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-русофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками..."

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся — от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, — я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии "Классика и мы" была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, Е. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек — Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на нашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперники же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с "Метрополем", в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немыслимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы действовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: "Иду на вы!".

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи:

"**Е. Сидоров**. *А сейчас слово имеет поэт Станислав Куняев. Приготовиться Анатолию Васильевичу Эфросу.*

Ст. Куняев. *Для того, чтобы мое выступление заняло меньше времени, я его написал, и к тому же мне придется много цитировать, я просто его прочитаю.*

Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии, если бы однажды не прочитал объемистую книгу — "Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников". "Советский писатель", 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое —

спорным, многие выводы надуманными. После ее прочтения я взял однотомник поэта, чтобы сопоставить то, что пишет он сам, и то, что пишут о нем. Подвигнуло меня к этому и то, что буквально в это же время в статье, посвященной 80-летию Багрицкого, "Литературная газета" писала:

"Мы для того, чтобы утвердить высокие категории на сегодня и на года вперед, признаем классиками лишь несколько советских поэтов, открывая список именами Маяковского, Блока, Есенина. В этом живом и почетном списке — Эдуард Багрицкий".

Книга "Воспоминания о Багрицком" подчинена той же цели — доказать, что его творчество продолжает классическую традицию русской поэзии в советскую эпоху. Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого издания. Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

"По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, — Тургеневу, Фету, Бунину". "Пускай Незнакомка Багрицкого (речь идет о гимназистке из поэмы "Февраль") так же, как когда-то Незнакомка другого великого лирика (имеется в виду Блок. — **Ст. К.**), *прозаически ударилась о грубую, оскорбительную в своей низости землю" (Антокольский).*

"Я считаю, что лучшее из того, что написал Багрицкий, есть поэма "Последняя ночь". Эту гениальную поэму оставил Багрицкий как памятник своему поколению" (Юрий Олеша).

"Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор "Слова о полку Игореве" (Марк Тарловский).

"В поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво, неизменно вызывала образ Пушкина, Багрицкий преданно любил Пушкина — как подобает русскому поэту" (Лидия Гинзбург).

"Недавно я снова прочитал поэму "Человек предместья"... эта поэма, и с нею "Последняя ночь" и "Смерть пионерки", составляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, была запущена в историю советской и мировой литературы..." (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добыванию хлеба насущного, приятие относительно

устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. "Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь..." Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приезжавший в родную деревню как иностранец — в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преображался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача —
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,
Пахарю, чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

Словом, вот такой подход к этой теме — один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Вот в центре поэмы "Человек предместья", которая, по словам одного из мемуаристов, была запущена как ракета в историю советской и мировой литературы, маленький обыватель, заурядный человек, не значительнее чиновника Евгения из "Медного всадника", "станционного смотрителя" или какого-нибудь мещанина из рассказов Бунина, а то и Андрея Платонова или Ивана Африкановича из повести Белова. Но наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда что-то значительное. И в этом — одна из гуманистических традиций русской литературы. Багрицкий же, как говорится, всеми фибрами души не принимал вчерашнего крестьянина за то, что тот, ушедший от земли, служа стрелочником на железной дороге, умудряется еще по старой памяти и пчел развести, и плотничать, и сена накосить корове, и молоко продать: "Жена расставляет отряды крынок — туда в больницу, сюда — на рынок". Самые

естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто, требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения.

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человечий,
В капустную благодать борща.

В другом программном стихотворении эта ненависть вообще приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать за счет лирического героя.

Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

Мемуаристы пишут, что по чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, от автора "Слова" до Фета и Бунина. Но ведь это не совсем так. Если перейти к школьной терминологии, то каждый русский поэт всегда представлял нечто целое с природой, в которой он рос. Есенинские пейзажи Рязанщины или некрасовская Ярославщина были необходимой частью их поэтического мира. Эти пейзажи могли быть радостными или грустными, но враждебными — никогда. Багрицкому же природа, с ее деревьями, травами, зноем и дождем, в лучшем случае служила материалом для литературной ситуации, а вообще была совершенно чужда.

Вот цитирую просто подряд то, что можно, открыв книгу, выбрать: "Трава до оскомины зелена, дороги до скрежета белы", "Пыль по ноздрям — лошади ржут", "Кошкам на ужин в помойный ров заря разливает компотный сок", "Под окошком двор в колючих кошках, в мертвой траве", "Сад ерзал костями пустыми", "Над миром, надтреснутым от нагрева, ни ветра, ни голоса петухов".

У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, — астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть "все, что душу облекает в плоть". Наоборот, обостренное чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Все его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни.

Не жизни жаль с томительным дыханьем
(имеется в виду астма. — **Ст. К.**), —
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Так что не в человеческих недугах суть, когда речь идет о поэзии. Дело в ощущении мира...

Стихотворение Багрицкого "Папиросный коробок" является, вернее, кончается завещанием поэта сыну:

Прими ж завещанье. Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!..

При чем тут сосны? Да при том, что прекрасные сосны в прекрасном ночном саду в воображении поэта ассоциируются с виселицами николаевской эпохи.

Боратынский, один из самых пессимистических русских поэтов, человек эсхатологического, что ли, склада души, когда писал стихи "На посев леса", не мог себе представить, что ровно через век придет другой поэт и русским языком скажет своему сыну: "ты начисто выруби сосны в саду". Боратынский в простом земном деянии находил утешение своей измученной раздумьями душе, не ожидая привета от будущих поколений, сам посылал им привет:

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

Но вернемся к ключевой теме, с которой я начал свой разговор, — к "человеку предместья". Что же в своем горячечном бреду поэт предлагает взамен мира, который он хотел разрушить? Он созывает своих друзей, "веселых людей своих стихов".

Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.
Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь! мы пируем в твоем дому!

Так и хочется спросить — а продукты откуда? Да, наверное, оттуда же, откуда у Иосифа Когана из "Думы про

Опанаса", который ужинает в хате "житняком и медом", отобранным у мужиков, и этих же самых мужиков смущает речами:

Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?..

Кстати, какое-то почти мистическое, странное совпадение, что Зинаида Шишова в этой же книге "Багрицкий. Воспоминания современников", например, пишет: "Багрицкий пришел в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришел, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала. (Шум.) *Это было самое прекрасное сердце, какое только билось для революции".*

А поэт беседует в доме человека предместья со своими друзьями, у которых "пылью мира (но не пылью работы! — **Ст. К.**) *покрылись походные сапоги". Прямо конквистадоры какие-то!*

Вокруг них на пепелище, где когда-то жили обычные, не безгрешные люди, в поту добывающие хлеб насущный, воют романтические ветры, "в блеск половиц, в промытую содой и щелоком горницу (цитирую. — **Ст. К.**) *врывается время сутуловатое, как я, презревшее отдых и вдохновением потрясено".*

Дальше начинаются совершенно апокалипсические картины разрушения жизни: "Вперед ногами, мало-помалу, сползает на пол твоя жена!" Человек предместья, как некая нечисть под крик петуха из гоголевского "Вия", бросается в окно. Лоб его "сиянием окровавит востока студеная полоса", и он слышит, "как время славит наши солдатские голоса".

Вот что написано в одна тысяча девятьсот тридцать втором году одним из талантливых советских поэтов тех лет. Читая эти стихи сейчас, я думаю о том, как все-таки изменилась жизнь за три десятилетия или четыре. Как много надо переоценить, поставить в связь с сегодняшним днем. Поистине — большое видится на расстоянии.

Лев Славин в статье "Поэзия как страсть", говоря об атмосфере южного города, где формировался яркий талант Багрицкого, пишет следующее в той же книге "Воспоминаний": "Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые для того, чтобы понять что-нибудь, должны были "это" ощупать, взять на зуб. Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех.

В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но без его философии".

Мне не хочется доказывать разницу количественную и качественную масштабов жизнелюбия автора "Казаков" и "Хаджи-Мурата" и создателя поэмы "Февраль". Это поставило бы меня в неловкое положение. Но любопытно то, что Багрицкий, обладавший, по свидетельству современников, неисчерпаемым знанием мировой литературы, способный в любое время дня и ночи прочитать на память страницы Стивенсона, Луи Буссенара, Киплинга и так далее, не любил Толстого.

Дальше цитирую: "И когда МХАТ поставил "Воскресение" Толстого, Багрицкий возмущался. Я спросил его: "Читал ли ты этот роман?" Он ответил: "Нет! И читать не стану!" Одно это название "Воскресение" в годы юности оттолкнуло Багрицкого". (Из воспоминаний М. Колосова.)

В стихотворении "ТВЦ" есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика.

Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он (век имеется в виду. — **Ст. К.**)
скажет: "Солги", — солги.
Но если он скажет: "Убей", — убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облекает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно — поэт вроде бы почти разделяет эту радость. (Шум. Аплодисменты.) *Так бесконечно...*

Е. Сидоров. *Так, Станислав Юрьевич. Товарищи! Я не понимаю этого выступления. Мы не обсуждаем творчество*

Багрицкого. (Аплодисменты.) *И мне кажется, что Ваше выступление немножко не на тему сегодняшней дискуссии.* (Шум. Аплодисменты.)

Ст. Куняев. *Одну минуточку. Наша тема — "Классика и мы". А то, что в самом начале я говорил о понимании Багрицкого как классика, подразумевает и мое истолкование, и мое понимание этой проблемы.* (Выкрики.) *У меня осталось еще на пять минут.*

Е. Сидоров. *Пожалуйста, пожалуйста, Станислав Юрьевич! У нас дискуссия. Я тоже могу высказать свое мнение.*

Ст. Куняев. *Это все весьма далеко от пушкинского, что в "мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал". Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заболоцкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, обронияет:*

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам...

Кстати, недаром эти строки очень нравились Мандельштаму, который вообще прохладно относился к творчеству Есенина. И потому уместно вспомнить, что в ту же эпоху неоклассик, как его иногда называют, Мандельштам, отстаивая за поэзией право на гуманизм, писал:

Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первородной красе.

Поразительно, что совпадение текста у обоих поэтов почти буквальное. У Багрицкого — "век-часовой", у Мандельштама — "век-волкодав". У Багрицкого — "их нежные кости сосала грязь", у Мандельштама — "чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе". Как будто бы... (Выкрики. Аплодисменты.)

Е. Сидоров. *Товарищи! Нет-нет, нет ничего неожиданного. Пожалуйста, не надо!*

Ст. Куняев. *Будьте добры, аплодировать будете потом. Дайте мне договорить, пожалуйста!*

Е. Сидоров. *Я прошу...*

Ст. Куняев. *Как будто бы Мандельштам вслед за Есениным, спасая гуманистическую честь русской классики, сознательно полемизирует с автором поэмы "Февраль". Обратимся же (вот сейчас я сниму те возражения, которые мне сделал наш председатель) — к нашим более близким временам, обратимся к поэзии Ярослава Смелякова. Он не раз упоминал Багрицкого в числе своих учителей. Но в одной из последних книг "День России" опубликовал стихотворение "Сосед", которое написано как будто бы, как мне кажется, чтобы изложить свой взгляд на человека из предместья.*

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед...

Тридцать лет. Целая эпоха прошла между этими произведениями. За эти годы человек из предместья выжил, заставил себя уважать, что очень хорошо понял Ярослав Смеляков.

Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.

Смеляков внешне спокойно и добродушно, но с внутренней твердостью защищает этого человека. Недаром, говоря о своем соседе, он вдруг резко смешивает высокий и низкий стиль:

Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.

А поругивают его — уже не так страшно, как во времена Багрицкого. За что?

Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.

Ругают — это просто по инерции, а по существу давным-давно стало понятно, что человек из предместья — это рядовой войны и жизни, который в меру своих сил защищает, строит ее для себя, для своих детей, а значит, и для будущего. А когда остается время, то и цветы посадит, и наличники вырежет, и дом украсит.

Это все весьма умело,
не спеша, поставил ты
для житейской пользы дела
и еще — для красоты.

Была у Багрицкого еще одна причина (кроме нездоровья) ненавидеть человека из предместья. Она, так сказать, мировоззренческая. Со страшной последовательностью и пафосом он отрекался не только от быта вообще, от быта, чуждого ему, но даже и от родной ему по происхождению местечковости. Он произнес по ее адресу такие проклятья, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался.

Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец!

Мещанство? Когда говорят о мещанстве, я вспоминаю рассказ Платонова "Фро", когда дочь жалуется отцу, что вроде боится она, что ее оставит жених, потому что она считает себя мещанкой. А отец послушал-послушал ее и говорит: "Мещанкой считают тебя? Да какая ты мещанка! Вот твоя мать была мещанка, а тебе до мещанки еще расти и расти надо".

Поэт остался верен неприятию вечных форм жизни, с бесстрашием жестокости отрекаясь от своего происхождения.

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Эта совершенно физиологическая злоба по отношению к близким удручающа. Она не просто не в традиции русской классики, но и вообще литературы. Как будто не было в мире трогательных и печальных героев Шолом-Алейхема, как будто

не у кого было поучиться поэту кровной любви и духовному чувству, роднящему нас с каждым, и в первую очередь с нашими близкими.

Уж на что Есенин поездил по всему миру, всего насмотрелся, а разве можно себе представить его порывающим со своим бедным, но дорогим сердцу бытом, с убогой крестьянской избой, не всегда радостными воспоминаниями о деревне и детстве. Наверное, потому в этом авангардистском бунте Багрицкого против своего родного быта нет ничего трагического, то есть очистительного, а есть только злоба.

Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Никакой боли не испытывает герой, уходя из отчего дома, как будто не здесь зачали его, вскормили материнским молоком, как будто подменили ему человеческое сердце волчьим. И уходит он с родного порога, огрызнувшись по-волчьи. Это не юношеский максимализм. "Происхождение" написано незадолго до смерти. Такого комплекса в русской поэзии не было и быть не могло.

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме "Февраль", являющейся, так сказать, его завещанием. Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделываются эпитетами — "гениальная, эпохальная", не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. "Маленький мальчик", "ротный ловчила", на котором неуклюже сидит военная форма, которому неуютно в этом мире, который мечтает "о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин". Мир, полный романтического комфорта — вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: "кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку". Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в округе вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость цела,
Как струна, натянутая до отказа.
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере.

Е. Сидоров. *Так. Все! Пять минут...*

Ст. Куняев. *Все! Последняя страница!* (Шум.) *Вот последняя страница! И больше не будет.*

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны. Размышляя на эту тему, мне все время приходилось помнить, что нельзя путать понятия — личности поэта и лирического героя. Я думаю, что Бабель, статья которого есть в книге "Воспоминания о Багрицком", имел полное право искренне написать следующее: "По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других. Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай, будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого, из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти.

Какими легкими соседями будем тогда мы окружены, как неутомительна и плодотворна будет жизнь".

Но одно дело — оценка человека, другое — оценка творчества. Я могу понять Бабеля, но мне трудно согласиться,

допустим, с Любимовым, который пишет: “Поэзия Багрицкого отлично помнит свое родство с русской классической поэзией”. Или с Сельвинским, безапелляционно заявившим в этих воспоминаниях: “Поэт Эдуард Багрицкий. Классик”.

Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов — гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историей, природой — поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции.

Бессмысленно глядеть на его творчество через эту призму, что пытаются сделать многие наши критики, литературоведы, мемуаристы. Мало любить Пушкина, мало обладать даже таким большим талантом, какой был у Багрицкого. Традиции русской поэтической классики требуют большего. (Аплодисменты.)

Е. Сидоров. *Я прошу у зала полномочий через пятнадцать минут, в независимости от содержания выступления, стаскивать человека с трибуны.* (Шум.) *Времени у нас мало. Мы ограничены условиями природными... Вот...* (Смех.) *Слово имеет Анатолий Васильевич Эфрос.*

А. В. Эфрос. *Товарищи, я очень волнуюсь, скажу вам, потому что я очень редко бываю в этой аудитории и совсем не знаю ее состава, не представляю, как товарищи относятся к театру, к моим спектаклям. Может быть, меня настолько терпеть не могут, что меня ошикают через три минуты, я попаду в глупое положение. Я очень вас прошу терпеливо выслушать то, что я скажу, хотя скажу я, может быть, не так гладко, сумбурно.*

Хоть я пришел сюда, я стоял в списке, я подумал, что я выступать не буду, послушаю, кто что скажет. Но начиная с первого выступления меня начинает что-то трясти, и я не могу не выйти. (Аплодисменты.) *Хотя должен вам сказать, что я всегда потом думаю, что совершаю глупость.* (Смех.) *Вы понимаете, мне кажется, что второе выступление есть прямое продолжение первого выступления.* (С места: “Правильно!” Аплодисменты.) *И если эту линию немножечко не прервать, то третье будет выступление чудовищное.* (Смех. Аплодисменты.)

Вы понимаете, извините меня, пожалуйста, за неизящное выражение, но тут приводится пример с Шукшиным насчет

черта (об этом говорил Петр Палиевский. — **Ст. К.**). *Так вот, кто эти черти?* (Смех. Аплодисменты. С места: "Это вы!") *Совсем не те, на кого намекает этот товарищ.* (Аплодисменты.) *А может быть, совсем в противоположной стороне стоящие. Вы понимаете, товарищи, я что хочу сказать. Опасно, опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время, что оно перестало играть такими вещами. Не начинайте сначала!* (Аплодисменты.)

Скажите, пожалуйста, вот только один вопрос. Ну, не стану даже касаться такого вопроса — зачем вдруг сейчас с корабля современности сбрасывать Багрицкого? Или я не знаю... Я не понимаю. Ну, допустим, ладно. Скажите, пожалуйста, зачем нужно противопоставлять и стравливать давно ушедших Булгакова и Мейерхольда? (Оценка их творчества была в выступлении Палиевского. — **Ст. К.**) *Скажите, пожалуйста, разве нам всем неизвестна судьба Мейерхольда? Что он сделал для искусства, что он сделал для будущего, и чем он закончил? Разве нам неизвестна судьба Булгакова? Они равны.* (Выкрики.) *Только один — деятель театра, он сделал для искусства театрального так много, как другой сделал для литературы.* (С места: "Кто это сказал?")

Вы спрашиваете, кто это сказал? В данном случае сказал это я. Если вы со мной не согласны, это не значит, что вы правы.

Для меня, для театрального деятеля, для многих любителей искусства Мейерхольд — фигура удивительная. Зачем их стравливать?! (С места: "Их сравнивали".)

Зачем их сравнивать в том смысле, что один нуждается в одном, а другой — в другом? Ну а, допустим, Вишневский нуждался в Мейерхольде. Ну и что? А Мейерхольд нуждался в Вишневском. (Шум.) *В данном случае Булгаков был воспитанник совсем другой школы, но почему говорить, что мы сосем кого-то, а нас, допустим, никто не сосет?!* (Смех. Аплодисменты. С места: "Невкусно!")

Для вас невкусно, а для других — вкусно. Это реплика — невкусно, потому что... Грубо! (Шум.) *Грубо!*

Вы знаете, я хочу вот что сказать. Я не знаю, может быть, для вашей аудитории это вещи естественные. Не нужно враждебности! Мы, слава Богу, ее пережили! (Аплодисменты.) *Ваша воинственность на чем-то замешана не очень хорошем.* (С места: "На Багрицком", "А ваша воинственность?")

Е. Сидоров. *Товарищи!..*

А. Эфрос. *А моя на том, что я работаю, ставлю*

спектакли, но они почему-то подвергаются сомнению, говорят, что я сосу Тургенева.

Е. Сидоров. *Анатолий Васильевич!.. Разрешите мне, пожалуйста!..*

А. Эфрос. *Между тем как это совсем не так.* (Шум.)

Е. Сидоров. *Анатолий Васильевич, подождите, я поговорю с залом.*

А. Эфрос. *Товарищи, я вас предупреждал...*

Е. Сидоров. *Перестаньте, я вас прошу, кричать! Будьте толерантны, уважайте себя! Слушайте оратора! Это же стыдно кричать, вести себя как на стадионе.*

А. Эфрос. *Теперь вы знаете...*

Е. Сидоров. *Здесь не "Спартак" играет, здесь происходит совершенно другое.*

А. Эфрос. *Ничего, все нормально.*

Е. Сидоров. *Нет, я думаю, что ненормально! Дискуссия идет..."*

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кощунственных для других. Но вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновенье теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне — полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне — выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его атмосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве — толпясь в переполненном фойе — одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-

то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне записку со словами: "От русских художников за отвагу в неравном бою..." Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина "До третьих петухов" о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря — чертей. "Бей их!" — закричал вдруг один монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса. Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова — руководителя московских писателей — она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: "Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью", "почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно", "если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?"

На самом деле, хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патриотический Талейран сразу понял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался: "Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал, грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кожиновым и Палиевским копаете под меня..."

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

— Вы же поэт! Ну и пишите стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: "Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?! Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты — и Мандельштам и Багрицкий, но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого?"

Думаю, что сейчас Евтушенко многое бы отдал за то, чтобы эти его слова не сохранились в истории, а потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что "патриотизм — это последнее прибежище негодяев", ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе — человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: "Линия Маяковского не может быть совместима в русской литературе с линией Есенина", "тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование". (*Выкрики.*) "Любимова мучит комплекс демиурга — он должен создавать, творить, быть исполнителем ему не по нутру... Но если он творец-режиссер, то он обязан подчиняться! А если он просто творец — пусть пишет сам". (*Шум, аплодисменты.*)

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом. Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбило некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважали... В годы перестройки ренегатская логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь, а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: "Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: "Моя фамилия — Россия, а Евтушенко — псевдоним..." Это не просто личное невежество поэта".

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: "Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое

химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим..."

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи на трибуну вышел Вадим Кожинов и заявил, что он, "если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась".

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись, и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали: "Вадим Валерьянович! (*Шум.*) Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!" (*Выкрики, аплодисменты.*)

"**В. Кожинов:** *Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана* (шум), *написана совершенно в провокационных целях...* (Шум, аплодисменты.) *Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою, так сказать, какую-то антисемитскую позицию...*"

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

"**Ф. Кузнецов:** *Прошу...*

В. Кожинов: *Он именно хотел возбудить страсти.*

Ф. Кузнецов: *Я прошу вернуться к теме дискуссии.*

В. Кожинов: *Правильно, я о том же.*

Ф. Кузнецов. *И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей.*

В. Кожинов: *Правильно, но я...*

Ф. Кузнецов: *Слава Богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...*

В. Кожинов: *Совершенно верно, Феликс, но не я же...*

Ф. Кузнецов: *Зачем же возвращаться...*

В. Кожинов: *Не я же эти страсти возбудил...*

Ф. Кузнецов: *Что значит "не я же..."*

В. Кожинов: *Но я действительно свое...*

Ф. Кузнецов: *Я прошу перевести разговор в русло литературы.* (Шум, выкрики.)

В. Кожинов: *Все правильно, я про то и говорю.*

Ф. Кузнецов: *А ты свое...*

В. Кожинов: *А чего "свое"?* (Шум, крики.) *Ну знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...*

Ф. Кузнецов: *Вот именно...*"

Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи нервы сдали у опытнейшего аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожинов сошел с трибуны, "Пупсик" Сидоров (как мы его звали) сорвался на фальцет:

— Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти!!! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упреки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

— Но ведь Чехов тоже помер, — пошутил я, — и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им "Вишневого сада" или "Трех сестер"...

Весьма достойно выступила Инна Бенционовна Роднянская. Но после дискуссии она призналась Вадиму Кожинову, что сказала не все, что хотела поговорить о "главном кровопийце", измывавшимся над классикой в 20—30-е годы, о Сергее Эйзенштейне, но атмосфера зала настолько напугала ее, что пришлось от этой мысли отказаться.

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаясь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

— Волк! — бросилась ко мне навстречу Татьяна. — Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес: "Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем".

Мои карманы были набиты записками, которые я получил

за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух: "Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо — сильно, ярко ты выступил о Багрицком — с каждым словом твоим согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии — и классической и современной. 21—XII—77 г. Анатолий Жигулин".

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть "Черные камни", в которой оболжет своих "подельников", станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расходились с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу — о счастье! — нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы "не раскачивать лодку", запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали пространные отклики на нее.

Из белградской газеты "Политика" от 15.01.1978 года: "Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников".

"Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за "космополитизм") обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. "Вы говорите, что "Тихий Дон" — лучший роман XX века, но кто это доказал, — спросил критик".

"Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. "Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе".

"Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он "в кругу семьи" и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: "А вы что, не знаете Россию?" Смысл этой

фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным".

Парижская газета "Монд" опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием "Неосталинистское наступление в Союзе писателей".

"Собрание, организованное сторонниками "неосталинистской" фракции в Союзе писателей, прошло под знаком откровенно антисемитских выступлений и прославления "подлинно русского" искусства сталинской эпохи".

"Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили".

Израильский журнал "22" посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер. Из статьи В. Богуславского "В защиту Куняева": "Главарями Октябрьской революции были авантюристы полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и "экстерны", духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией — "солдатами революции" — стало откровенное быдло... Новый класс — это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...

Задача Куняева — отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, "заменив" вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным", "В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон — "сионистском") обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!.."

Из статьи Шимона Маркиша "Еще раз о ненависти к самому себе": его друг "хорошо знал Куняева, дружил с ним и всегда говорил о нем одно хорошее... вроде бы карьеры он не сделал, в начальники не пробился и не пролез. Значит, к его словам можно относиться серьезно. Это не лозунги, окупающиеся и оплачиваемые без промедления (как у хитрейшего ловкача Ильи Глазунова)".

"Мандельштам — это жидовский нарост на чистом теле тютчевской поэзии..." Слова приписываются Петру Палиевскому... Эта отчаянная ненависть, по-моему, менее оскорбительна для Мандельштама, чем снисходительное похлопывание по плечу, которого удостаивает его Куняев".

"Никто не убедит и не принудит меня отказаться от своей еврейской точки зрения, — пожертвовать своими, еврейскими

интересами ради универсальной идеи — будь то “пролетарский интернационализм”, “великая Россия”, “торжество христианства”, “благо всего человечества” и т. п. И если нет другого выбора, кроме как: погромщик-антикоммунист или коммунист, спасающий еврейские жизни, — я (вместе с Багрицким) выбираю второго”.

Комментарий М. Хейфица из “22” назывался так: “Эдуард Багрицкий — растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Куняева”. Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь “своих негодяев”. Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, — от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор*.

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным “радиоголосам”, появились и публикации искаженных стенограмм в “самиздатских” журналах, сопровожденные статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в “возрождении сталинизма”, в “призыве к погромам”, а других — в трусости и неумении дать достойный отпор “зарвавшимся черносотенцам” и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге “На том стою”, изданной лишь в 1991 году. “Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи — однако, как еврейка, я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди”.

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позже запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

---

* Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР РАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА имени тов. СТАЛИНА

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича — зам. председателя ОГПУ Союза ССР.

2.КОГАНА Лазаря Иосифовича — начальника Беломорстроя.

3. БЕРМАНА Матвея Давыдовича — начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

4.ФИРИНА Семена Григорьевича — начальника Беломорско-балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. ЖУКА Сергея Яковлевича — зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича — пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича — зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство

по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин, Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества? Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидит пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: "О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?"

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации — кощунственно, но Бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

"Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так:

"Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п.

А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году — и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру "инородцы".

"Куняев наиболее откровенно отбросил "литературные тонкости", которыми драпировались другие, — и в его выступлении наиболее "грубо, зримо" проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности — в противовес неосуществившемуся интернационализму 20-х годов".

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха — так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

"Но "инстанции" и "почвенники" очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, — лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души "инстанции", как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду "зрелого социализма" и "развитой советской демократии". И они по-своему правы". "Дискуссия в ЦДЛ была своего рода "разведка боем", пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии".

"Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных, способных выработать новую национальную идеологию".

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, "образованные, способные, интеллигентные" русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех "в одну ночь" взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность... Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960—1970-х годах она числила себя по отчеству "Петровной", как и Межиров, в годы

перестройки ставший “Пинхусовичем”) в газете “Русское слово” (1990 г., 17 июля) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так: “Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия “Классика и мы”... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого”.

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовный слышался даже в его смягченном пересказе.

— С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, — заявил он мне. — Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

— Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, “Пупсик” Сидоров, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, “что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко”, утверждал, что “лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий”, требовал “не забывать о классовых критериях нашей культуры” (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря — день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,
Слиняли Палиевский и Куняев.
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И "Феликс" был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим "интернационалистам" можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией "Классика и мы" сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с "победителями" не хватает "чаадаевской" прививки, "капли гамлетизма", что "победители", по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

"...Чего-чего, а "презирать своих" (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались "чаадаевщинкой", столь милой Вам, и докатились до полного самоуничижения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели — горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О "победителях". На мой взгляд, "победители" делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им — одинаково обогащало побежденных. К таким победителям я

отношусь, "как аттический солдат, в своего врага влюбленный"... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал "Скифы", а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. Победителям — страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого "победители" боятся как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмесительстве может идти речь... Все это стало достоянием гласности — не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но слава Богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет. Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю "гамлетизма" согласиться можно было бы, но беда в том, что русский человек на капле не остановится".

"Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь Иван Шевцов или другой непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели благородными, талантливыми, гонимыми, и, ей-Богу, в глубине души были благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеешься. На меня они злы, потому что я нарушил правила игры, заключавшиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по традиции обязан поддержать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал.

Их ненависть — замешана на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид, — впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию, — что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради Бога — нельзя впадать в отчаянье, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на

пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. "Нам только в битвах выпадает жребий"... Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им повод торжествовать. Всем этим "порядочным людям". И "приличным" тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: "Все приличные люди отвернутся от Вас", я ответил ему: "Дорогой А. П.* Ну, что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь". Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями.

О Господи! Вызов брошен. Мятеж** состоялся. Со славой он закончится или без славы — нам знать не дано. Но одно я знаю точно: "все миновалось, молодость прошла". На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами***, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые камфорки".

Записи из дневника после дискуссии "Классика и мы"

25 декабря 1977 г.

На экстренном и чрезвычайном секретариате после дискуссии Феликс втолковывал мне что-то о "ролевом сознании". Вадим уверяет меня, что мы победили. Евреи, сидящие в зале, по свидетельству близких мне очевидцев, говорили о погромных настроениях. Дураки. Они не понимают,

---

* А. П. Межиров.

** Речь шла о моем письме в ЦК КПСС.

*** "Еноты" и "вепсы" — шутливые наши прозвища евреев и русских.

что, выговорившись, русский человек от сознания исполненного долга успокаивается и добреет. Он воюет с идеями, а не с людьми, и воюет для понимания, а не для победы любой ценой. Победивший русский никогда не пляшет на костях побежденных, а, наоборот, начинает жалеть их.

Звонил наш куратор из "Детского мира", стал расспрашивать, как прошел секретариат по итогам дискуссии. Я начал было излагать, но потом, чтобы не запутаться, сказал: "Я лучше Вам прочитаю свою речь на секретариате. Он буркнул: "Подождите", — и на минуту в трубке воцарилось молчание. Потом он снова подошел к телефону.*

— Что, запись наладили? — спросил я.

— Да! — грустным голосом ответил он.

— Но ведь есть же стенограмма!

— Стенограмма есть, да времени нет. А мне завтра в 9.00 надо докладывать.

И я начал ему читать.

26.12.1977 г.

Пришла Мар. Ч.: "По Москве распространяются слухи, что Куняев еврей, и поскольку дело в широком смысле идет к погромам, то он заранее решил обезопасить себя".

27.12.1977 г.

С вечера взялся за Гейне и понял, что начало современных диссидентских форм жизни и сознания идет от него. Он первый, опьяненный воздухом посленаполеоновской свободы, явил миру требования сформировавшегося европейского еврейства, с его портативной родиной — "библией", как пишет он сам.

Все другие народы создавали родину мечом, плугом, трудом. Евреи — только религиозным чувством и словом. С такой "портативной родиной" можно жить где угодно. Гейне первый, кто это сформулировал и выдал миру, как откровение, подтвердив его своей судьбой. И, конечно же, правы немцы, которые, независимо от их политических убеждений, не считают Гейне немецким поэтом.

11.01.1978 г.

Написал я письмо в партком с просьбой пригласить на партком меня на Генриха Гофмана, Борщаговского и Марка

---

* Так мы называли КГБ.

Галлая, которые на всяких собраниях клевещут на меня, приписывают мне призывы к погромам и т. д.*

На другой день звонок от Феликса Кузнецова.

— Стасик! Забери письмо из парткома. Я говорил полтора часа с Марковым. Везде одно мнение — никаких разговоров на эту тему, национальный вопрос — неприкасаемый.

— Но Феликс, на меня же клевещут!

— А ты что думал?! Это — расплата. Вы позволили себе неслыханную роскошь — дискуссию такого рода. А за роскошь надо платить.

1 декабря 1980 г.

Наконец-то я свободен, и даже увенчан ореолом гонимого властью литератора.

Ездили осенью прошлого года с Феликсом на поле Куликово. В машине я сказал ему, что рабочим секретарем оставаться не хочу, чтобы не осложнять ему жизнь, но в секретариате меня следует оставить. Он пообещал. Однако, когда перед конференцией начались всякие партгруппы и кадровая возня, когда горком и ЦК стала осаждать орда функционеров (Сахнин, Галлай, Мориц, Евгений Сидоров, Елизар Мальцев) с требованием снять меня со всех постов, угрожая скандалами, то и Феликс и горкомовцы дрогнули. Заведующий отделом горкома КПСС Глинский вел партгруппу и трижды устраивал переголосование, дабы провалить предложение Михаила Алексеева о том, чтобы я остался в секретариате. После всего я подошел к Глинскому и сказал:

— Поздравляю... Партия уступила мафии...

Но когда все кончилось, мы с Галей уехали на Мезень, на Сояну, жили в избушке возле заброшенного рыбзавода, я ловил хариусов, а по вечерам на Воздвиженской неделе мы садились на лавочку под березами и слушали, как лоси, занятые гоном, фырчали в соседнем овраге и как на черной ели возле ручья ухает филин.

---

* После публикации этой главы в 4-м номере "Нашего современника" за 1999 год я получил следующее любопытное письмо:

Уважаемый господин Куняев!

С большим интересом я прочел три последних номера "Нашего современника", в частности, Вашу публикацию "Поэзия. Судьба. Россия"...

Посылаю Вам выдержки из письма моего командира, писателя, заслуженного летчика-испытателя, инструктора первых космонавтов, Героя Советского Союза, чудесного человека Марка Лазаревича Галлая (из письма 1989 г.!): "Выступал я на эту тему и в Московском горкоме партии. Результат был довольно частный: не рекомендовали (и не выбрали) в секретариат Московской писательской организации поэта Куняева, известного своими антисемитскими настроениями. Как говорится, пустячок, но приятно. Или — правильнее: приятно, но... пустячок".

А. Яковлев,
г. Херсон

"Я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса"

Первая встреча с Борисом Слуцким. Слуцкий открывает мне Москву поэтов и художников. Слуцкий — певец социализма. Раздвоенность Слуцкого. Русско-еврейский вопрос в его жизни. Банальная драма искреннего атеиста. Бессилие правового мышления. Похороны Слуцкого и моя речь над его гробом

Осенью 1959 года то ли на берегу Ангары, то ли в котловане Братской ГЭС я познакомился с молодым поэтом Анатолием Передреевым, который и рассказал мне о Борисе Абрамовиче Слуцком. Передреев, оказывается, приехал в Братск по "направлению Слуцкого" — Слуцкий послал своей комиссарской волей молодого провинциального поэта, навестившего его в Москве, на стройку коммунизма — "делать биографию", "изучать жизнь"...

Возвратившись из Сибири в Москву, я стал звонить нескольким поэтам, имена которых для меня что-то значили, — я искал поддержки на первых порах новой еще неведомой для меня литературной жизни.

Позвонил Василию Федорову: звонит, мол, молодой поэт, приехал из Сибири, хочу показать стихи...

В ответ слышу: "Простите, молодой человек, сейчас нет времени, уезжаю на родину в Марьевку, позвоните месяца через два..."

Стою у телефонной будки на улице Горького, копаюсь в записной книжке... Звоню Льву Ивановичу Ошанину...

— Да, Станислав, да, понимаю, но я через неделю уезжаю в туристическую поездку в Венгрию с женой. Давайте встретимся через месяц...

Вспоминаю о телефоне Слуцкого... "Молодой поэт? Сколько вам? Двадцать шесть? Немало. Откуда? Из Сибири? Что? От Передреева? Ну как он там? Стихи пишет? Встретиться со мной? — Хорошо! Где вы находитесь? Центральный телеграф знаете? Через час под часами на Центральном телеграфе..."

Слуцкий сразу же взял быка за рога. Тут же сводил меня в писательскую книжную лавку, где познакомил с Евгением Винокуровым, по дороге рассказав о литературной жизни в Москве, определяя, кто есть кто и кто чего стоит. Из лавки писателей мы в этот же день строевым шагом дошли до журнала "Знамя" — в проезд Станиславского, где Борис Абрамович собрал несколько сотрудников — Кожевникова, Сучкова, Скорино, и твердым голосом, не допускающим возражений, приказал мне: "Читайте стихи!"

Тут же мы договорились, что в "Знамени" в очередном номере стихи будут напечатаны, и я выходил из редакции уже не провинциальным, а московским поэтом...

Слуцкий сразу взялся за мое образование и для начала стал таскать меня по мастерским "широко известных в узких кругах" скульпторов и художников. Сначала мы навестили модную в те времена мастерскую Силиса, Сидура и Лемпорта.

Борис Абрамович, как опытный искусствовед, по-хозяйски водил меня по просторной подвальной мастерской где-то возле церкви Николы в Хамовниках, объяснял смысл скульптурного дела, поглаживал гипсовые и мраморные головы, остановился возле своей головы из серого гранита, лукаво поглядел на меня, пошевелил усами, довольный моим удивлением.

Потом мы были с ним где-то на Сретенке в мастерской еще молодого тогда Эрнста Неизвестного, заставленной до предела головами, ногами, руками, туловищами... Все это было крупным, грубым, гипертрофированным и не произвело на меня никакого художественного впечатления, но Слуцкий все равно был доволен.

— Это, Станислав, новое искусство! Ему принадлежит будущее, хотя в творчестве Неизвестного слишком много литературщины! — изрекал он.

Он вообще был в своих пристрастиях полным новатором, как любили говорить тогда, и модернистом. Все, что было связано с традицией — не интересовало его и воспринималось им, как искусство второго сорта. Высшим достижением

Николая Заболоцкого Борис Абрамович считал его первую книгу "Столбцы" и весьма холодно отзывался о классическом позднем Заболоцком. Судя по всему, ему были чужды и Ахматова и Твардовский, но зато он ценил лианозовского художника Рабина, певца барачного быта, его кумиром был Леонид Мартынов, который для Слуцкого как бы продолжал футуристическую линию нашей поэзии, а из ровесников он почти молился (чего я никак не мог понять) на Николая Глазкова за то, что последний, по убеждению Слуцкого, был прямым продолжателем Велимира Хлебникова. При упоминании имен Давида Самойлова, Наума Коржавина, Александра Межирова Борис Абрамович скептически шевелил усами: они были для него чересчур традиционны. Но когда он вспоминал Глазкова, в его голосе даже начинало звучать что-то похожее на нежность.

Запись в моем дневнике:

"Позвонил из психиатрической больницы Борис Слуцкий.

— Стасик, звоню Вам из дурдома. Правда ли, что умер Глазков? Скажите от меня на панихиде, что его считаю талантливейшим из моего поколения.

— Борис Абрамович! — желая хоть как-то успокоить его, ответил я в трубку. — Я выполню Вашу просьбу. Но хочу сказать Вам, что Вас к шестидесятилетию наградили орденом Красного Знамени. Может быть, мне приехать и вручить его Вам в больнице?

— Не надо. Я через две недели выпишусь и получу его сам.

Вечером он еще раз позвонил, справился, произнес ли я его слова на панихиде".

Но это уже был усталый, сломленный своей болезнью и смертью жены Слуцкий. А в 1959 году, во время наших первых встреч, он был еще молодым, властным, уверенным в правоте советского дела, безо всяких еврейских комплексов. Разве что художники и скульпторы, по которым он водил меня, почти все как на подбор были евреями.

В первые же месяцы моего вхождения в московскую жизнь он успел еще сводить меня в мастерскую художника Вайсберга, познакомить с Николаем Асеевым и Юрием Трифоновым, а в своей комнатушке на Юго-Западе однажды заставил меня читать мои весьма наивные и несовершенные стихи из первой книжки драматургу Александру Володину.

Сам же сидел, как "усатый нянь", самодовольно улыбаясь и гордясь своим новым воспитанником.

Позднее я понял, что Слуцкий, очень ценивший свое время,

не был просто филантропом, хотя он выручал меня, да и не только меня, деньгами, делами, советами. За все это он не грубо, но последовательно ждал послушания, групповой дисциплины, проведения в литературной жизни его линии — линии учителя. Он набирал учеников не от избытка чувств, а для дела... Противоречий и несогласий с собой не то чтобы не терпел, но не одобрял и сразу же отдалял от себя "инакомыслящих". Но что привлекало в Слуцком? Его умение четко сформулировать ответ на какую-то социально-политическую проблему. В тот временной отрезок он умел это делать быстрее и смелее других.

Позже, через несколько лет, я дорос до понимания того, что эти ответы были нередко поверхностны, односторонни, публицистичны, но когда тебе 26 лет и сразу хочется все понять, то именно такой подход к жизни наиболее привлекателен.

Подкупала простота и демократизм поэзии Слуцкого — мы ведь многое принимали на веру, на веру приняли и утверждение Эренбурга, что именно Слуцкий наследник некрасовского демократизма. Авторитеты в те времена значили много. А Эренбург был авторитетен.

Да, Слуцкий был демократичен. Он даже не пил коньяк, говоря, что народ пьет водку и поэт не должен отрываться от народа и в этом деле. Привлекала в творчестве Слуцкого насыщенность его поэзии прозой жизни. Проза жизни — ее картины, ее грубый реализм — вообще моя слабость. И соблазн освоить "эту прозу" в стихах был велик. Именно в этом ключе влияние Слуцкого на меня было самым сильным. Но потом, по-настоящему прочитав всю русскую классику, я понял, что проза в стихах не есть открытие Слуцкого — Пушкин, Некрасов, Ходасевич заложили краеугольные камни прозаической эстетики (недаром Слуцкий ценил Ходасевича и раннего Заболоцкого выше Мандельштама). Просто все дело в том, что, прежде чем по-настоящему прочитать Некрасова и Пушкина, мы сначала читали стихи Багрицкого, Светлова, Смелякова, искали кумиров и учителей среди своих современников...

А теперь несколько разрозненных мыслей, которые пришли ко мне, когда я читал последнее, может быть, самое значительное "Избранное" поэта.

* * *

Поэты умирают тогда, когда умирает их время. Помнится, как в начале 60-х годов Слуцкий написал стихи о гимне, о том, как после XX съезда партии срочно отремонтировали старый гимн Советского Союза, избавили его от сталинизмов и как

новый идеологический шаблон стал с трудом внедряться в массовое сознание "заместо гимна ложного". Слуцкий, видимо, считал нужной эту замену, но одновременно видел, что народу уже все "до феньки", и написал, собственно, об этом стихи... Но сегодняшнее время, когда пересмотрены основы не гимна Советского Союза, а постулаты партийного мирового гимна — "Интернационала", он бы не перенес.

Сколько раз он цитировал в своих стихах: "это есть наш последний и решительный бой!" А если бы он дожил до горбачевщины, когда глава коммунистической партии утром говорил о строительстве общеевропейского дома, а вечером на закрытии XXVIII съезда пел вместе со всем залом "весь мир насилья мы разрушим"... — Нет! Борис Абрамович не вынес бы такого лицемерия, такого раскола в своей душе.

Гимну Советского Союза он отдал лишь половину души. И после "косметического ремонта" текста все-таки выдержал удар судьбы. "Интернационалу" же, как и мировой революции, была отдана его душа целиком. Он умер вовремя.

* * *

Любить поэзию Слуцкого меня научил не кто-нибудь, а именно Анатолий Передреев.

В 1960—1961 годах я часто слышал, как он, пытаясь себе что-то объяснить, читает вслух и повторяет многие строчки Слуцкого, открывая в них для себя какую-то скрытую, внешне простую и даже угловатую красоту.

Я не жалею, что его убили,
жалею, что его убили рано,
не в третьей мировой, а во второй,
рожденный пасть на скалы океана,
он занесен континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.

Из стихотворения "Памяти Кульчицкого". Особенно ему нравились некоторые эстетические находки Слуцкого — его повторы, его прозаизмы, его бедные рифмы. Помню, как много раз он с каким-то упоением повторял строки: "С ним рядом офицеры шли, шагали", или:

Так вот она середина
жизни, возраст успеха,
а мне наплевать, все едино,
а мне наплевать, не к спеху.
А мне ордена давали,
а мне приказы давали.

Когда я писал статью о поэтах-ифлийцах, я, конечно же, не раз вспоминал моего друга, который вслух читает стихи Слуцкого, вслушивается в них, но я понимал так же, что у Передреева в его годы была своя поэтическая причина любить эти стихи, а у меня своя историческая, подвигавшая меня относиться к ифлийцам, как к потомкам и продолжателям дела "комиссаров в пыльных шлемах", ломавших Россию через колено.

* * *

Евтушенко в предисловии к книге Слуцкого пишет: "Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени..."

Я любил и до сих пор люблю многие стихи Слуцкого. Всегда уважал его прямоту, верность слову, долгу, присяге. Но никогда не считал его великим поэтом, ибо великий поэт всегда выше, глубже, значительнее своего времени. А Слуцкий был во времени весь со всем своим честным догматизмом, ленинизмом, максимализмом, комиссарством и даже своеобразным сталинизмом. "Великий поэт — это воплощение своей эпохи", — пишет Евтушенко. А разве Багрицкий (кстати, один из любимых поэтов Слуцкого) не выразил как никто кровожадную идеологию классовой борьбы этой эпохи? Разве его формулы "Но если век скажет: "Солги!" — солги! Но если век скажет: "Убей!" — убей!" не были написаны на знаменах времени? Но можно ли такого поэта, абсолютно соответствующего главному пафосу времени, назвать великим?

Да, Слуцкий действительно был поэтом своей эпохи. Он и книги свои, как бы подчеркивая временность их существованья, называл демонстративно: "Время", "Сегодня и вчера", "Современные истории", "Продленный полдень", "Годовая стрелка", "Сроки"...

Слуцкий мужественно и самонадеянно принимал на себя, как гражданин и честный винтик эпохи, ответственность за все ее деяния даже в такой мере, в какой поэт не имеет права взваливать ее на свои плечи.

Государство должно государить,
Государство должно есть и пить,
и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положенье,
и хотя я трижды не прав,
но как личное пораженье
принимаю списки расправ.

По нынешним временам это хороший ответ и сыновьям административно-бюрократической системы, и их противникам из леворадикальной колонны, когда ни те, ни другие не принимают ответственности ни за деяния своих идеологических отцов, ни за свои собственные, прилаживая демократические маски на лица, чтобы не отвечать ни за что, ежели в будущем что-то получится не так. Слуцкий был убежден, что, несмотря ни на что,

кашу верно заварили.
А ежели она крута,
что ж! Мы в свои садились сани,
билеты покупали сами
и сами выбрали места.

Читая это, я горько усмехаюсь: наши леволиберальные поэты сейчас проклинают тоталитаризм. А ведь у каждого из них был мощный идеологический фундамент — поэма о Ленине. У Евтушенко "Казанский университет", у Вознесенского "Лонжюмо", у Рождественского "Двести десять шагов", у Сулейменова "Апрель", у Коротича "Ленин. Том 54"... Разве они не знали о ленинском тоталитаризме? Так что заваренную верно "кашу" они небезуспешно и небескорыстно доваривали еще в 60—70-е годы.

* * *

Раздвоенность мировоззрения Слуцкого была абсолютно тупиковой и безвыходной. С одной стороны, типичный ифлиец, фанатик мировой революции, верный солдат и политрук марксистско-ленинской тоталитарной системы, для которого высший гуманизм и высшая справедливость заключалась в словах и музыке "Интернационала" — "Привокзальный Ленин мне снится" (даже не сам Ленин, а его гипсовая халтурная ширпотребовская статуя), "Я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса", "приучился я к терпкому вкусу правды, вычитанной из газет", "себя считал коммунистом и буду считать", "как правильно глаголем Маркс и я"...

А с другой — трогательные, человечные, полные сдержанной аскетической любви к маленькому человеку стихи, столь любимые мною, — "Старухи без стариков", "Расстреливали Ваньку взводного", "Сын негодяя", "Последнею усталостью устав", стихи о пленном немце, которого расстреливают перед тем как отступить — "мне всех не жалко — одного лишь жалко, который на гармошке вальс

крутил...". Все-таки он был истинный поэт и от соблазна человечности, от сочувствия человеку-винтику жесткой эпохи уйти не мог, и этот ручеек человечности у Слуцкого упрямо пробивается из-под железобетонных блоков его коммунистическо-интернациональных убеждений... Но и эта человечность Слуцкого ущербна. Она связана с его органическим пороком — абсолютным атеизмом, о чем чуть ниже...

* * *

Евтушенко чересчур упрощает Слуцкого, считая его последовательным антисталинистом. Да, с годами он все дальше уходил от преклонения перед Сталиным, но отход был мучительным. Никогда Слуцкий не позволял себе фельетонности, кощунства, мелкотравчатости, прикасаясь к этой трагедии. "Гигант и герой", "Как будем жить без Сталина", "Бог ехал в пяти машинах", "Он глянул жестоко-мудро своим всевидящим оком, всепроникающим взглядом", "А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, поднимался рано. Любил его..."

Сталин не любил таких "сомневающихся фанатиков", как Слуцкий. Но такие, как Слуцкий, любили Сталина. В их атеистической душе он занимал место Бога, так как свято место пусто не бывает. У Слуцкого, как у поэта, был именно не политический, не государственный, а поистине религиозный культ этой земной фигуры. Даже через много лет после 1956 года в стихах о Зое Космодемьянской, умершей с именем Сталина на виселице (стихи не включены Евгением Евтушенко в сборник!), Слуцкий писал:

О Сталине я думал всяко разное,
е щ е н е с к о р о п о д о б ь ю и т о г
(разрядка моя. — **Ст. К.**).
Но это слово, от страданья красное
за ним, я утаить его не мог.

И офицер, ныне осмеянный журналом "Огонек", в стихах Слуцкого не отказывается от Сталина, который был его "благом, славой, честью, гербом и флагом" — "и за это, — заключает поэт, — ему воздам".

Конечно, Слуцкий понимал правовую бесчеловечность сталинского социализма, но понимал его не как анекдот, а как историю дегуманизированной необходимости.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —

все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

"Он был мне маяком и пристанью. И все. И больше ничего". Он верил в то, что в мире, выстроенном Сталиным, можно поселить людей. И все это несмотря на знание стихов Мандельштама о Сталине, на горечь от кампании против космополитов и врачей, от уничтожения Антифашистского комитета... Почему? Да потому, что Слуцкий был человеком присяги. Партийно-идеологической присяги социализму. И как бы он ни мучился от ее догм, как поэт он нес ее до тех пор, пока его от нее не освободило само время.

* * *

"Всем лозунгам я верил до конца"... Конечно же, Слуцкий был последовательным сыном своей эпохи. Вот как он описывает утверждение социализма в странах Восточной Европы.

Я помню осень на Балканах,
когда рассерженный народ
валил в канавы, словно пьяных,
весь мраморно-гранитный сброд,
своих фельдмаршалов надменных,
своих бездарных королей,
жестоких и высокомерных
хотел он свергнуть поскорей...

Не знаю, не знаю... Я бывал в этих странах и видел, как стоят там в неприкосновенности памятники польским королям и Пилсудскому, генералу Скобелеву и всем династиям венгерских королей и полководцев, чешским монархам и деятелям католической церкви в той же Речи Посполитой... А о Югославии — с ее патриотизмом — и говорить нечего. Видимо, поэту очень хотелось, чтобы революции в славянских странах проходили по той же схеме, что и в России... "До основанья..." Эта трактовка и эта мечта вступает в полное противоречие с нынешним пониманием того, как и по чьей воле насаждался интернациональный социализм в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Так что здесь правы или Слуцкий со Сталиным, или кардинал Мидсенти с Лехом Валенсой. Одно из двух. Однако таких стихотворений, не просто об освобождении от фашизма, а одновременно с этим

о социалистических общенародных революциях в Восточной Европе конца войны, у Слуцкого очень много.

Евтушенко включил в "Избранное" лишь одно, понимая чутьем политика их неуместность сегодня. Но из песни слова не выкинешь.

Я тоже во многом сын этой же эпохи, но моя жизнь не целиком принадлежит ей, и у моего поколения есть шанс понять свободу несколько шире, нежели только как "осознанную необходимость". У поколения же Слуцкого таких шансов почти не было. Потому-то многие стихи, которые тридцать лет назад восхищали меня, сейчас я не могу читать без глубокого удручения.

Давайте денег бедным,
несите хлеб несытым,
а дружбу и любезность
куда-нибудь несите,
где весело и сытно,
где трижды в день еда,
несите Ваши чувства
куда-нибудь туда.
....
Брезентовые туфли
стесняют шаг искусства,
на коммунальной кухне
не расцветают чувства.

Видимо, действительно многое изменилось в людском сознании со времен Самсона Вырина и Макара Девушкина, если поэт, назубок вроде бы знающий Пушкина и Достоевского, утверждает: "на коммунальной кухне не расцветают чувства". Какое материалистическое заблуждение, забывающее о том, что "Троицу" Рублев написал в эпоху разорения Руси! А если вспомнить Аввакума, нищего бездомного Есенина, обездоленную в 30-е годы Ахматову, изгоев Клюева и Мандельштама! Всю свою историю русская литература только и занималась тем, чтобы выяснить, почему и как расцветают чувства вроде бы в совершенно неподходящих условиях — в меблирашках и в душных департаментах Петербурга, в острогах Сибири, в крепостных деревнях, в замоскворецких ночлежках. И даже в бараках ГУЛАГа. А тут всего-то-навсего — коммунальная кухня, не так уж и страшно. И все равно "не расцветают чувства"!

* * *

Да, он любил людей, но не христианской, а прагматической любовью строителя, который заботился о согражданах, нужных для осуществления общего дела, любовью архитектора,

проектирующего “котлован”. А о других — выломившихся из жизни — писал с каким-то отстраненным сочувствием, как будто провожая их из жизни, как бы понимая, что они — отработанный шлак и сор, и — все равно им не поможешь, и не лучше ли оставить энергию сердца для единомышленников, для фронтовых друзей, для рядовых измученных строителей социализма. Он как бы, говоря о неудачниках истории — немецких пленных, белых офицерах, цесаревиче Алексее, по его собственным словам, “экономил жалость” — “мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть, я экономил жалость”...

На такие размышления меня натолкнуло стихотворение о судьбе обреченных белых офицеров в 30-е годы, которое заканчивалось в такой моральной тональности: “с обязательной тенью гибели на лице, с постоянной памятью о скороспелом конце...” “старые офицеры старые сапоги осторожно донашивали, но доносить не успели, слушали ночами, как приближались шаги, и зубами скрипели, и терпели, терпели”.

* * *

Русско-еврейский вопрос, в первую половину жизни и творчества Слуцкого для него не существовавший, с годами начал мучить поэта все больше и больше. Все чаще его денационализированный интернационализм ощущал свою непрочность перед натиском возрождавшегося в обществе национального еврейского чувства. Появляются стихи “А нам, евреям, повезло”, “Отечество и отчество”, “Про евреев”, “Романы из школьной программы”...

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Почти русофильские стихи, но с одной очень существенной оговоркой, о которую всегда цеплялось мое чувство при чтении этого стихотворенья, написанного резко, без полутонов, с внезапным для поэта пониманием неожиданно возникшей двусмысленности своего положения. “Не курский, не псковский, не тульский” — поэт еще не решается сказать “не

русский", потому что последняя линия обороны — язык, культура, поэзия — это за ним. Не в происхождении, которое он игнорирует, а в любви к русской литературе он видит свою "русскость". Так-то оно так. Но кроме русской литературы есть еще русская история, и сегодняшний пересмотр ее самого страшного периода — 20—30-х годов, когда произошел геноцид русского народа, — делает весьма уязвимой жесткую формулу Слуцкого: "Я все лагеря и погромы за эти романы прощу". Поскольку мы сейчас знаем, кто строил лагеря и кто руководил ими, знаем фамилии верховных теоретиков и практиков ГУЛАГа, основателей системы ОГПУ — НКВД, — Троцкого, Ягоду, Паукера, Френкеля, Бермана, Раппопорта, Агранова, Когана, Петерса, Заковского, Трилиссера, Фирина, Фриновского и т. д. — имя им легион, так что еще вопрос, кто кому должен "прощать лагеря".

Предвижу возражение: "Ну, опять началось перечисление фамилий, когда это кончится, опять евреи виноваты!" А почему бы не перечислить? Вот только что по телевизору Александр Галич с мстительной страстью спел: "Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку" — это о голосовании, когда исключали Пастернака из Союза писателей. Но сотни тысяч уничтоженных в лагерях — преступление посерьезнее, нежели исключение Пастернака. Так почему бы не "вспомнить поименно" фамилии владык ГУЛАГа?

Вспоминать — так уж всё.

И еще один комментарий. За величие и гуманизм русской литературы Слуцкий прощает ей не только лагеря, но и погромы. Поэт, видимо, от недостатка информации в те времена не знал, что главные погромы в Российской империи происходили где угодно (в польском Белостоке, в молдавском Кишиневе, в интернационально-греческой Одессе, на Украине), но только не на коренных русских землях "псковских, курских, тульских". Так что не надо нас прощать, говоря о всемирно известных погромах. Не за что.

Но это одна из редких исторических ошибок Слуцкого. Обычно он всегда был точен, поскольку был и образован, и начитан.

Но то, что ленинская идея ассимиляции еврейства, его окончательного "обрусения" не реализовались в СССР к середине XX века, нанесло ему тяжелейшую мировоззренческую травму.

А потому я уверен, что, время от времени ощущая в себе импульсы пробуждающегося еврейского самосознания, Слуцкий в конечном счете, как ни страдал от раздвоенности,

никогда не пожертвовал бы ради национальной ментальности своим интернационально-советским мироощущением. Хотя эта раздвоенность в эпоху "оттепели" вызывала недоумение у людей — читателей самой разной ориентации. Вспоминается злая, но точная эпиграмма не какого-нибудь "русофила", а поэта-авангардиста Всеволода Некрасова: "Ты еврейский или русский? — Я еврейский русский. — Ты советский или Слуцкий? — Я советский Слуцкий..." Начало 60-х годов.

Мужественный пессимизм, прямота и бесстрашие были одними из главных черт натуры Слуцкого.

Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи раньше лысеют,
евреи больше воруют...

Я помню, как в начале шестидесятых годов в одном из провинциальных городков в доме, где собралась еврейская либеральная интеллигенция, меня, приехавшего из столицы, попросили прочитать что-нибудь столичное, запрещенное, сенсационное. Я прочитал это стихотворенье Слуцкого. Помню, как слушатели втянули головы в плечи, как наступила в комнате недоуменная тишина, словно бы я, прочитав стихи о евреях, совершил какой-то неприличный поступок.

Не торговавший ни разу,
не воровавший ни разу,
ношу в себе, словно заразу,
эту особую расу.

— Это же Слуцкий! — недоумевая и озираясь вокруг, сказал я. Ответом было молчанье. Такой Слуцкий, нарушивший в то время своей уже не комиссарской, а пророческой ветхозаветной смелостью (было в нем нечто от ассимилированного древнего пророка и богоборца одновременно) табу и запреты на рискованную тему, был этой местечково-советской интеллигенции неприятен, даже опасен.

Возможно, что душевный кризис, поразивший Слуцкого, имел еще одну причину. Он, свято уверовавший в интернационал людей, в идеалистическую и совершенно утопическую теорию слияния всех племен в одно человечество, а потому поверивший и в ассимиляцию российского еврейства, вдруг однажды понял, что это все — химера, разваливающаяся, как карточный домик, перед напором реальной жизни.

* * *

В давние времена, даже тогда, когда Слуцкий, прочитав рукопись первой моей книги, предложил себя в редакторы (кроме моей книги "Звено", он был редактором еще одной книги молодого поэта — ленинградца Леонида Агеева), словом, в дни самых лучших наших отношений, со многими его идеями и оценками я не был согласен, о чем говорил ему открыто в глаза. Помню его утверждение о том, что "одни великие поэты (по мысли Энгельса!) выражают "разум нации", а другие — ее "предрассудки". Далее он продолжал, что Сергей Есенин, согласно этой марксистской точке зрения, выражал именно "предрассудки русской нации". Я смеялся и прямо говорил ему: "Борис Абрамович, да Вы Есенина просто не понимаете!" Слуцкий топорщил усы, фыркал, ворчал. Помню, как на мой вопрос, читал ли он замечательных русских философов Константина Леонтьева и Василия Розанова, Слуцкий отрезал: "Я русских фашистов не читаю и Вам не советую".

Именно такие и некоторые другие максимы Слуцкого с течением времени все больше и больше отдаляли нас друг от друга.

* * *

Много было написано в нашей критике о демократизме Слуцкого. Эренбург сравнивал его демократизм с некрасовской народностью. Евтушенко не соглашается с Эренбургом. Он считает, что в поэзии Слуцкого нет ничего крестьянского (и это правда), и говорит о "фронтовом демократизме". Но я думаю, что демократизм Слуцкого времен войны — это все-таки особая демократичность политрука, комиссара, руководителя, уверенного в том, что все, что делается им, идет на благо народа, не всегда понимающего, в чем его собственное благо.

"Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой", "Я был политработником", "И я напоминаю им про родину", "И тогда политрук, впрочем, что же я вам говорю, стих — хватает наган, бьет слова рукояткой по головам, сапогами бьет по ногам..." (поднимая в атаку)... Если это демократизм — то особый, юридический, идеологически-приказной, который просуществовал семьдесят лет и сегодня умирает на наших глазах... Слуцкий застал начало его смерти, понял, что процесс необратим, и тогда в его поздних стихах одновременно с

простыми человеческими, почти сентиментальными прорывами появился глубокий скепсис человека, потерявшего идеологическую и мировоззренческую опору своей жизни. Да и вообще "демократизм" и "народность" — понятия весьма далекие друг от друга. Народность неотделима от национального мироощущения, а демократизм — это всего лишь признак "антикастового" понимания политической жизни.

* * *

Драма Слуцкого в том, что его человечность была безбожной или даже атеистичной, гуманизм — политизированным. Ему достаточно было того, что называется "правами человека", гарантиями политических свобод и экономического уравнительного достатка. Есть у него стихи о свободе совести, о том, что два тысячелетия христианства не сумели обеспечить ее, а потому надо начинать заново, но уже не с "совести", а со "свободы". Но ведь это уже было в дохристианское время:

Маловато я думал о боге,
видно, так и разминемся с ним.

От безверия неизбежен путь в понятный по-человечески, но безвыходный скептицизм, столь гибельный для людей несгибаемой породы, к которой принадлежал Слуцкий.

"Кончилось твое кино, песенка отпета. Абсолютно все равно, как опишут это", "Зарасти, как тропа, затеряться в толпе — вот и все, что советовать можно тебе", "Мировое труляля торжествует над всемирной бездной".

В предчувствии крушения идеи социалистического интернационализма (о мировой революции чего уж говорить!) для Слуцкого История становится бессмысленной и теряет, прекращает разумное "течение свое": "Горлопанили горлопаны, голосили свои лозунга — а потом куда-то пропали, словно их замела пурга" — и сменили их "горлопаны новейшей эры". Исторические деяния в итоге "сактированы и сожжены дотла"; "Размол кладбища"; "Смывка кинопленки"; "Селедочка в Лету давно уплыла". В море атеистического пессимизма тонет муза Бориса Слуцкого последних лет его жизни. А поскольку для него и вскрытие святых мощей было вскрытием "нуля", как то доказывал главный палач православия Емельян Ярославский, то атеистический пафос жизнестроительства Слуцкого, когда иссякла сила, влился в море беспросветного

скепсиса, где на берегу моря, как пародия на вечность, как бы стоит пресловутая банька с пауками из воспаленных снов циника Свидригайлова. И мысли о будущем человечества стали пошлыми и неутешительными:

Наедятся от пуза, завалятся спать на столетье,
на два века, на тысячелетье.
Общим храпом закончится то лихолетье,
что доныне историей принято звать.

То ли это сказано о советском обывателе, то ли о стандартном человеке общества потребления. Как все это не похоже на молодое предвоенное кипенье, на "это есть наш последний"!.. К атеистическому скепсису сделан громадный шаг, а к Новому завету, к Вере, к Христианству ни на волосок не сдвинулась душа Слуцкого в отличие от души Пастернака, Заболоцкого или Ахматовой. Даже умирающий Пушкин у него живет в углу, где ни одной иконы — "лишь один Аполлон" (вспомним, что Александр Блок перед смертью разбил вдребезги кочергою бюст Аполлона). А потому и приходит расплата внутреннего опустошения:

Нету надежд внутри жизни, внутри
века, внутри настоящего времени.
Сможешь — засни, заморозься, замри
способом зернышка, малого семени.

Быстрое осознание того, что вся жизнь положена на алтарь безнадежного дела, все чаще и чаще навещало его, разъедая оболочку убеждений, казалось бы, скроенных из нержавейки. Нержавейка (как на скульптуре Мухиной) расползалась, и из трещин ее время от времени слышались глухие признания: "Я строю на песке", "Сегодня я ничему не верю", "Но верен я строительной программе"... Самое страшное заключалось в том, что драма была не духовной, а идеологической. Конструкции его внутреннего мира, скроенные из атеистического материализма, настолько окостенели, что никакие сомнения, разъедавшие внешнюю оболочку, не могли их нарушить. Внутренний мир его был как бы "слажен из одного куска", и когда поэт понял, что идея социальной справедливости неосуществима, то у него, в сущности, остались только два пути для исхода: смерть или помутнение рассудка... Судьба для начала предназначила ему второе...

А что касается его пессимизма последних лет, то о такого рода мировоззрении очень точно в свое время сказал русский философ Николай Бердяев, хотя он говорил не о еврейском, а

о немецком менталитете: “Германец менее всего способен к покаянию. Он может быть добродетельным, нравственным, совершенным, честным, но почти не может быть святым. Покаяние подменяется пессимизмом”. Любопытно еще одно: скепсис Слуцкого очень родствен скепсису Иосифа Бродского, что говорит о глубинном родстве их менталитета.

* * *

Слуцкий был в своем мировоззрении последовательным прагматиком, уверенным в том, что важна лишь история, творящаяся сегодня, при его жизни, что все, что было и быльем поросло — уже не влияет на сегодняшнюю “злобу или доброту дня”.

Бериевская амнистия — да, это живое время, 1956 год — то же, послевоенное перенапряжение сил — его эпоха, четыре года войны — главное в жизни, а все остальное уже как бы на том берегу Леты, уже отрезано навсегда, уже не будет ни сил, ни желания ворошить и пересматривать эти геологические пласты.

> А все довоенное является ныне
> доисторическим,
> плюсквамперфектным, забытым и,
> словно Филонов в Русском
> музее, забитым в какие-то ящики...

Стихи, полные усталости и исторического пессимизма, в который переродился пафос социалистического строительства. Сегодня же вся история зашевелилась, словно бы спрыснутая живой водой. Ожило время с красным и белым террором и геноцидом казачества, с расстрелом царской семьи и Соловками, с Беломорканалом, со съездами партии, с мемуарами изгнанников первой русской эмиграции. История кричит, митингует, жестикулирует, плещет в душе сегодняшнего человека, размывая все дамбы исторического материализма. Слуцкий не смог бы этого вынести.

* * *

У Слуцкого был дар исторического предвиденья. Два десятка лет тому назад он написал стихи о переименованиях городов, улиц, поселков в эпоху тридцатых годов.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он.

Сейчас уже совершенно ясно, что этот спор не кончен. Но мне трудно сказать, радовался бы Слуцкий нынешним обратным переименованиям Куйбышева в Самару, Калинина в Тверь, Горького в Нижний Новгород, Свердловска в Екатеринбург? А процесс уничтожения во всех городах вывесок с именами Урицкого, Володарского, Дзержинского и возвращения улицам имен Богоявленской, Покровской, Никольской (по названиям церквей)? Мне кажется, что Слуцкий предвидел и приветствовал лишь десталинизацию идеологии. Что же касается реставрации имен и названий начала социалистической эпохи... Нет! Это было бы для него невыносимо.

По словам Евтушенко, Борис Слуцкий, человек этически безупречный, допустил в жизни "одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его": он осудил Пастернака за публикацию на Западе романа "Доктор Живаго". Думаю, что Евтушенко здесь недооценивает цельности и твердости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы еще в конце пятидесятых годов. С их высоты он мог осудить не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, некий моральный ущерб социалистическому отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре. О, ирония истории — которая заставила лично добрейшего человека порой надевать на себя чуть ли не мундир смершевца! Но он как поэт был настолько честен, что и не скрывал этого, и в его сталинистском подсознании на иррациональном уровне шла мучительная борьба, обессиливающая поэта.

"Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно", "В тылу стучал машинкой трибунал", "Кто я — дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу

его ходить по свету я? Или переправлю под прицел", "За три факта, за три анекдота вынут пулеметчика из дота, вытащат, рассудят и засудят..." Глухо, сквозь зубы, но с откровенной мужественной горечью.

Думаю, что воспоминания об этом периоде жизни мучили Слуцкого куда сильнее, нежели пропагандистская история с Пастернаком, в конечном счете лишь пролившая воду на мельницу мировой славы поэта.

* * *

Творчество и судьба Слуцкого — это драматическая попытка соединения несоединяющихся пластов мировоззрения. Всю жизнь он пытался, словно стекло с железом, "сварить" идеологию марксизма-ленинизма с человечностью, голый исторический материализм с мировой культурой, идеологию и практику "комиссарства" с гуманизмом, национальную культуру с осколками, остающимися после коммунистического "штурма небес", атеизм с милосердием и состраданием к простому человеку толпы. Поистине такое раздвоение было для него невыносимым до известных пределов. Но убеждение, с которым он шел по тупиковому пути, было искренним, последовательным, бескомпромиссным и высвечивало крупный характер, незаурядную натуру, вызывающую уважение и друзей и врагов.

Потому-то, когда пришел час прощаться с ним, к гробу пришли люди противоположных, можно сказать, враждующих позиций и мировоззрений: Вадим Кожинов и Владимир Огнев, Анатолий Передреев и Давид Самойлов, Александр Межиров и Станислав Куняев.

Потому-то над его гробом, навсегда прощаясь с ним, я сказал приблизительно следующее:

"Чем был дорог нам Борис Абрамович Слуцкий? Тем, что он был крупным талантом в нашей поэзии, тем, что он был человеком чести и слова, дорог своей прямотой и своей заботливостью о тех, кто был рядом с ним, своим аскетизмом и, что, может быть, нужнее всего сегодня для каждого из нас, — своим бесстрашием перед жизнью и ее роковыми вопросами. С бесстрашием сильной натуры и истинного поэта он ставил перед собой неразрешимые задачи — социальные, государственные, культурные, национальные. А для разрешения их у него был лишь один нежнейший инструмент — слово человеческое... И сколько в результате этой драматической

борьбы, происходившей в его душе, он оставил нам замечательных стихотворений!

Старух было много, стариков было мало,
то, что гнуло старух, — стариков ломало,
старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм — дорогой, суконный,
покупали гроб — дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой...

Какая тяжелая музыка (вот он, настоящий металлический рок, тяжелый металл!) звучит в этом музыкальном ритме, казалось бы, самого немузыкального поэта своего поколения Бориса Слуцкого!

Уходит, вернее уже ушла эпоха, певцом, мучеником, подвижником и демиургом которой он был. Попрощаемся с этой эпохой. Попрощаемся со Слуцким".

И все, что я сегодня пишу о нем, — это и есть прощанье с ним. И разрыв, и благодарность, и признанье, и забвенье. Все одновременно. Одна только забота — лишь бы проститься по-христиански. А напоследок — опять же слово ему.

А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с ней сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие мела.

И жалко, и закономерно, что он не смог своими словами повторить знаменитое: "Нет, весь я не умру..." или хотя бы нечто похожее на есенинское: "Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам". Под натиском мировых сил, сломавших "октябрь и май", хрустнула и его тяжелая лира.

1991 г.

Русский человек Степан Фарков

Вячеслав Шугаев и Александр Вампилов. Письма Шугаева ко мне. Жизнь в зимовье на Нижней Тунгуске. Ночные беседы со Степаном Романычем. “Репрессия потом пошла”. С ружьем и собаками по тайге. Степан Фарков узник Маутхаузена. Добываю первого соболя. Ербогачёнские судьбы. Любовные страсти таежного села. Письма Степана Романыча. Смерть ястреба-тетеревятника

* * *

В первый раз на берега Нижней Тунгуски я попал благодаря моему сибирскому другу Вячеславу Шугаеву.

В 1965 году Шугаев и Вампилов приехали в Москву из Иркутска, чтобы завоевать столицу. Вампилов искал любви и понимания в театральных кругах, а Шугаев как-то сразу попал в “салон Вадима Кожинова”, потом стал наезжать в гости ко мне и однажды попросил меня прочитать его повесть “Бегу и возвращаюсь”. Повесть чрезвычайно пришлась мне по душе молодой волей к жизни, искренностью, талантливостью речи. К тому же она была о Сибири, откуда я недавно уехал...

Надо было помочь Шугаеву напечатать повесть в Москве, и я пошел к Василию Аксенову, любимцу главного редактора журнала “Юность”, — и попросил прочитать повесть. У нас с Аксеновым тогда были вполне товарищеские отношения. Аксенову повесть понравилась, он ее отнес в “Юность”, и через несколько месяцев счастливый Шугаев уже держал в руках заветный журнал. С этого и началась наша дружба, закреплен-

ная его приглашением съездить поохотиться на далекий Север Иркутской области в село Ербогачён, что мы вскоре и осуществили.

Много раз я приезжал к нему в его деревенский дом в деревне Добролет, неподалеку от Иркутска, вместе с ним и писателями-иркутянами мы открывали памятник на могиле Александра Вампилова, а уж сколько дней бок о бок прожили на берегах черных ербогачёнских рек, на таежных калтусах и в осенних, алых черемуховых наволоках — и не сосчитать... Именно ему, безвременно умершему в 1995 году, я посвятил одно из самых любимых своих стихотворений.

Ты заметил — сменились ветра,
первым холодом издали тянет,
и моя золотая пора
со дня на день серебряной станет.
Дунет ветер,
взметнется листва,
с нежным шелестом дрогнет рябина,
и сверкнет над хребтом синева —
даже глазу глядеть нестерпимо.
Милый мой,
попрощаемся что ль,
и, предчувствуя скорую вьюгу,
сдержим в сердце взаимную боль,
пожелаем удачи друг другу...
Даже рябчик
и тот, ошалев
от простора, что ветер очистил,
ослепленный, летит меж дерев
и, конечно же, прямо на выстрел...

Из писем Вячеслава Шугаева

“14.2.75

Стас, милый мой, не грусти. Впрочем, грусти, но больше всего об уходящей золотой поре, о затерявшихся в дали рассветах. А какие были рассветы! Тесно, жарко, счастливо, в полотняных занавесках бьется ранняя пчела, бесстыдно прекрасный запах молодого пота, первых, воистину сладких грехов. Воспоминания об этом, уверяю тебя, очень скрашивают неизбежное грядущее одиночество. Но, милый, сам сказал о душе: “во всем виновата сама”, потому все же не печалься особенно. Представь, что будут еще утиные перелеты, лиственничная хвоя будет осыпаться в лывы, и Добролет еще стоит. Мир не так уж плох, как нам бы хотелось.

Собираюсь на день оленевода в Ербогачен, в конце марта. Может быть, вырвешься? Какая-то неделя. Столько их уходит просто так — в дым, в чад, в смрад. Конечно, и в Ербогачене все просто так и все-таки все по другому.

Олени, солнце, белейший снег, тихие белые излучины, строганина среди хороших и естественных людей. А? По-моему, просто необходимо это сделать.

Обнимаю и жду. В. Шугаев".

Наезжая в Москву, он жил у одного своего приятеля на Николиной горе, часто встречался там с Твардовским...

"27 сентября 1975 года

Здравствуй, дорогой мой!

Над хребтом синева. Жаль, что ты нынче не приехал. Дни золотые, рябчиков тьма. Почти весь сентябрь просидел здесь. Выезжал только провести книжную лавку по телевидению. Знакомил публику с твоей книгой. Читал "А Курбский, а Герцен?"

Говорил, что пространство у тебя философская категория, что книга исполнена серьезного и смелого патриотизма. Книга, милый, замечательна, безоглядная, кровоточащая. Я ее тут каждый день листаю. Ты уже достиг той степени матерости, что можешь бить с плеча. Разбираться уже нечего. Все ясно.

Собираюсь в Ербогачен. Ухвачу до снега деньков пять и ладно. Хочу с собаками сходить на глухаря.

Пишу сейчас о Твардовском. Пишется медленно — собственная молодость, оказывается, нелегкий хлеб для воспоминаний. Перечитываю, разумеется, Твардовского — большие заблуждения испытывал наш национальный поэт.

Все время апеллировал ко времени, т. е. к свидетелю, а не к судье. Знал, что свидетель — существо безвольное и податлцвое, какие хочешь показания даст. И Родина в его стихах зачастую выглядит лучезарно-безлично. Но точила его боль, ох, как точила. Ладно, всего не напишешь.

Обнимаю. В. Шугаев".

"Стас, дорогой, спасибо за книгу. Люблю уже ее внимательнейшим образом. Книга — слава Богу. А от "мои золотые холмы" я очень и очень расчувствовался.

Жуть какая с Рубцовым-то, а? Поминали тут и пили не

приведи Бог. Я твои стихи все перечитывал "по фамилии Рубцов". Что делается, что делается! Вот и уходим понемногу.

Целую тебя. В. Шугаев".

Последние годы его жизни в Москве были печальны и поучительны. Он вел популярную телевизионную программу, которая съедала его душу и его жизнь. Ничего не писал и, видимо, страдал оттого, что пережил надолго свою молодую писательскую судьбу. Умер как-то незаметно, как умирают люди в наше время. Как будто куда-то уехал и никому ничего не сказал. Даже о его смерти мы узнали лишь через несколько дней после кремации.

Но в моей памяти он навсегда останется таким, каким я его помню возле костра на берегу Нижней Тунгуски, молодым смуглолицым, с татарским разрезом глаз, с сигаретой во рту и двустволкой, облегающей его ладную фигуру в телогрейке, то и дело смеющимся от неизбывной жажды жизни. Благодаря ему я прожил несколько охотничьих сезонов на Угрюм-реке и написал записки о русском бытии и о русских людях на таких широтах и в таких условиях, где по представлениям цивилизованных европейцев и американцев жизнь невозможна.

Дед Степан недавно помер, после всей нелегкой жизни, войны, плена, раковой болезни в возрасте 89 лет, и похоронен на кладбище Ербогачена, старого таежного села, в судьбе которого, как в капле воды, отразилась судьба России в двадцатом веке.

1

Часа в три ночи я проснулся от жажды, босыми ногами нащупал под нарами кеды, набросил на плечи меховую куртку, распахнул дверь зимовья и вышел на морозный воздух.

На востоке над заледеневшим озером, словно вырезанные из черной бумаги и наклеенные на небо, торчали вершины сосен. Полная луна в мерцающем кольце не то сиреневого, не то дымчатого облака заливала холодным светом округу.

Над западным берегом Тунгуски сверкал Марс. Карун — или услышав мои шаги, или что-то ему приснилось — жалобно повизгивал в конуре. От лабаза тянуло вонью, особенно различимой в морозном воздухе, — старик квасит мелко нарубленные тушки ондатры: приманку для соболя.

Я взял с лабаза железный ковш, разбил в ведре ледяную

корку, зачерпнул воды с мелкими льдинками и не торопясь, маленькими глотками, с наслажденьем напился.

Возвращаться сразу же в душное зимовье не хотелось, и по тропинке, проложенной сквозь заросли заиндевевшего кустарника, я подошел к речному обрыву.

От глубокого русла, наполненного тьмой и влажным дыханьем реки, исходило какое-то шуршанье, медленные хрусты, неясное шевеленье живой и тяжелой силы.

“Шуга образуется”, догадался я, представив себе, как там, внизу, во тьме кромешной, соприкасаясь с ледяным воздухом, медленно сгущается черная тунгусская вода, превращаясь в иголочки, кристаллы, блестки, как к ее сгустившимся, но еще не затвердевшим частицам прилипают снежинки и вся эта масса уже начинает издавать хлюпающие звуки, говорящие о том, что река вот-вот станет.

Я постоял несколько минут на берегу, пока ноги в резиновых кедах не закоченели, вернулся к зимовью, отворил дверь и, устраиваясь на нарах, громыхнул в темноте железным чайником.

— Славка! Чего бродишь — не спишь? Небось без шапки, гляди ознобишь голову...

Дед пошарил рукой по столу, нащупал спички, запалил керосиновую лампу.

— Да попить вышел.

— А мне тоже чтой-то не спится... Сны снятся всё про старое время. Как в Игарку плоты сплавляли. Ох, голова человеческая! Хитро устроена. Помнит всё! Людей вспомнил — давно уж покойники...

Степан Романыч свесил с нар ноги в армейских кальсонах, охая, подошел к железной печке, нащепал охотничьим ножом сухой лучины, разжег ее, сверху натолкал лиственничных полешек, и через несколько минут зимовье наполнилось ровным шумом огня. Тепло волной поползло от печи. Я расправил на нарах шерстистую собачью парку и поудобнее улегся, чтобы послушать, как мой старик сплавлял плоты от своей маленькой деревушки Непы по Тунгуске и дальше по многоводному Енисею — аж до самого Ледовитого океана.

— Ну вот, Слава, как пришла на нашу деревню в тридцать первом году разверстка, так и стали мы валить лес по реке. Зимой валили... Какие бензопилы! Все руками — пила да топор... А как река вскрылась — плоты пошли вязать еловыми висами. А висы, Слава, так делали. Молодые елки нарубишь, на костре разогреешь — они и мягчеют... Тогда их вокруг дерева и закручивай. Обруч получается — им баланы и увязываешь, а

потом кольями затянешь... А не то — разнесет в щепки! Тунгуска, потом Енисей — вода гремучая! Потом две тыщи километров плыть-то надо было! Сдавали плоты в Туруханске, а потом гнали их в Игарку на пароходы. Как щас помню— "Ян Рудзутак" пароход и "Косиор"... Были вожди такие... Потом слышал я, что кончили их...

Трещат смолистые поленья в печке, колышется язычок пламени в керосиновой лампе, глаза Романыча, оживленные воспоминаниями молодости, сверкают в глубоких глазницах выдубленного жизнью, скуластого лица...

— Ну а обратный путь у нас до Красноярска был веселый! В Минусинске— расчет. Я в первый год получил триста восемьдесят рублей! Много или мало, спрашиваешь? Бутылка пшеничной стоила двадцать копеек, вот и считай! Калач — три копейки, такой, хоть надевай на голову! С Красноярска на Иркутск, оттуда до Усть-Кута на лошадях, с Усть-Кута по Лене до Киренска на шитиках, с Киренска до Чечуйска на лодке, а напоследок тридцать верст опять лошадьми на свою Угрюм-реку...

В зимовье уже настоящая баня, я почти не слышу, что говорит мой старик, глаза сами собой закрываются, и я бормочу:

— Поспим, что ли, еще, Степан Романыч...

— А время-то сколько, Слава? — Старик снимает часы с гвоздика. — Четыре... Рано мы с тобой раскуковались. Давай ишшо отдохнем.

Дед набрасывает в печку пару поленьев, зевает, охает, с шумом задувает лампу.

* * *

На рассвете мы разогрели вчерашнюю уху, напились крепкого чаю и каждый пошел в свою сторону — старик сел в шитик и поплыл трясти сети, а я забросил ружьишко за спину и побежал по заиндевевшей хрустящей тропе на хребет за рябчиками.

Нет, наверное, более счастливых минут в жизни, чем те, в которые, осторожно разводя руками черные лапы елей и красные ветви черемухи, ты крадешься по запорошенной снегом траве к заветному можжевеловому кусту, куда только что со сладостным для сердца трепетом крыльев, сбивая снег с рябиновых веток, сел вырвавшийся у тебя из-под ног рябчик. Шаг... Еще шаг... Теперь надо замереть: он совсем рядом — то ли в тени этой елки, то ли в корнях лиственницы, недавно

рухнувшей и взметнувшей к небу гигантское корневище, облепленное белым ягелем и рыжей глиной. Ну конечно, человек терпеливее птицы. Она — любопытнее: не выдержала и дернула головой, обозначив себя. Ружье плавно взлетело к плечу — и сотня дробин с грохотом вылетела из вороненого ствола...

Ну, теперь спешить некуда. Можно закурить, глядя, как краснобровый красавец лежит на желтой лиственничной хвое, вмерзшей в льдистую корку ручья. В воздухе еще кружатся несколько серых пушинок, и ноздри щекочет крепкий запах порохового дыма. Редкие снежинки падают с неба на красные листья черемухи, на прихваченные морозом горьковатые гроздья рябины, на безлистые кусты шиповника, усыпанные мясистыми переспелыми ягодами, с прохладной сладостью тающими во рту. Кормовитое, как его называет Романыч, озеро, где он добывает капканами ондатру, уже замерзло. Утренний ветерок сдул с него снежную крупку, и оно, окаймленное по берегам острыми, вмерзшими в лед стеблями осоки, тускло светится, как потемневшее от времени зеркало.

Я засунул еще теплого рябчика за отворот куртки и побрел через густой чапыжник по ручью к старой мельнице, возле которой было мое привычное кострище, припорошенное снегом. На мельницу эту я набрел еще в прошлом году. Она уже покосилась, нижние венцы от времени сгнили, однако когда я пробрался через узкий лаз внутрь, то увидел там и хорошо сохранившийся желоб, и мотовило, и два отсыревших ларя, от которых, казалось, до сих пор пахнет затхлой мукой, молотой здесь в последний раз, наверное, лет сорок тому назад.

Я наломал сушняка, разжег костерок, вытащил из сумки закопченную консервную банку, набил ее свежим снегом и подвесил на проволоке над огнем.

Молоденькая темно-бурая белка зацокала над головой — я оглянулся. Она взлетела с земли на сосенку и, подрагивая от любопытства, уселась в развилке, крутя мордочкой и цокая язычком: что это, мол, за существо и чего ему надо в моих владениях! Шерстка ее уже потемнела, из "горявки" белка превратилась в "подполь", так что, подумал я, быть скоро твоей шкурке на международном ленинградском аукционе или на шапке у иркутского вертолетчика.

С краю зеркального озера на колу, вмерзшем в лед, сидела громадная круглоголовая полярная сова и, вращая глазами, удивленно глядела на меня. Потом мощно и бесшумно взмахнула метровыми в размахе крылами и понеслась надо льдом к дальнему берегу, откуда вдруг послышался жалобный

собачий лай. Непохоже, чтобы белку или соболя облаивал... Я шел прямо через озеро по льду, по мягкому тонкослойному снегу, вышел к зарослям в наволок и вдруг увидел незнакомую собаку — молодого кобеля, попавшего передней лапой в соболиный капкан. Я разжал пружину, и кобель, жалобно скуля, стал тереться о мои ноги, крутиться вокруг, благодарить... А день солнечный! Снег блестит, Тунгуска лежит перед глазами— слепящая, с черными лоскутами промоин. Мышь-землеройка копошится, роется в снегу возле зимовья. Я ее трогаю пальцем, а она настолько занята добыванием пищи, что не обращает на меня внимания. Пробежала мимо чужого, только что освобожденного из капкана кобеля, тот клацнул зубами, но, к счастью для землеройки, промахнулся, а та, ничего не слыша, копошится, топчется розовыми мохнатыми лапками по снегу.

* * *

Вечером, когда я вернулся с тремя рябчиками к зимовью, дед уже хлопотал у костра. На рожнах над угольями торчали запеченные хариусы и сижки, а чуть сбоку в котелке остывала утиная похлебка.

— Садись, Слава, поедим. Человека питание держит.

Я знаю, почему Романыч любит поговорить о питании. Два с лишним года судьба мотала его по немецким лагерям, и он хорошо знает горькую цену куску хлеба.

— Хуже всего, паря, голод, — рассуждал он как-то в один из долгих осенних вечеров. — В лагере, то ли "пятнадцать А", то ли "пятнадцать "Б", лежишь, бывало, на нарах — и не шевелишься. Шинельку расстелешь — одну под себя, вдвоем лежим, чтобы теплее было, другой укроемся — и ждем, когда птюха покажется на горизонте. Птюха — это по-лагерному хлеб. А ежели какой вредный немец дежурит — придет, глянет, где параша, — не дай бог, кто обмочил вокруг: "Никс дисциплин! Никс брот!.." Значит, нет порядка — не будет хлеба.

Адреса где-то у меня до сей поры сохранились. Николая Иванова да Константина Бугрова. Москвичи обое были. Бугров тот хотел у немца ножичком сумку с хлебом срезать. Голоду совсем не мог терпеть. Так его отвели за барак и — тюк! — Романыч показал пальцем на висок. — Вот мне от него память! — Дед засучивает рукав. На запястье три наколки: "С. Р. Ф." — Степан Романыч Фарков — когда в "Бэ-семнадцатом" сидели, Костя мне наколол...

Да ить и в лагере по-всякому жили. Помню, рядом с нами

французский барак стоял, — они на простынях спали! Им Красный Крест помогал... В этот самый... — Дед замахал руками над головой. "В волейбол", — подсказал я. — Ну да, в волейбол играли... А мы в Красный Крест не входили...

После хариусов и сигов мы перешли к чаю. Каждый наломался за день, поту много вышло. Выпили по одной кружке, налили по второй. Старик разговорился про свою лагерную жизнь, от которой у него, видно, навсегда остались осунувшиеся щеки, впалые глаза и половина зубов во рту.

— Как-то приходит хороший австриец в барак, пальцем манит. Пошли потихоньку на поле, принесли два мешка. Ох, потом и прятали мы эту картошку! Найдут, докопаются, кто дал, и его же, австрийца, к стенке! Они, австрийцы, много душевней немцев. На заводе мы с имя вместе работали. Так глядишь, то хлебца кусочек тебе сует, то картошечку, то смальцем поделится. А сами на пайке жили. Когда война кончалась, австрийцы нам стали толковать: "Гитлер капут. Русс — лауфен", — мол, бежать надо, а то немцы порешат... так не оставят. Собралось нас девять человек. Мирошниченко Николай, моряк, все пел "Моя седая мать", Голованов — подполковник, Никишин — старшина, он еще в первую мировую в этом же бараке сидел... Надо было кому-то остаться и на работу не ходить — проволоку подрезать. Утром нас выстраивают на работу, а я говорю: "Кранке хабен", — мол, больной у нас есть. Мирошниченко больным сделался, а я, фельдшер, "арц" по-ихнему, с ним остался. Наших увели. Мы с Мирошниченко проволоку быстро надкусили, чтобы ночью снять сразу... Ночью ушли, сбили колодки, цепи сняли, километра два отошли — слышим стрельбу: видно, за нами кто-то полез, да неудачно. Ну мы — кто в тапочках, кто в тряпках, лишь бы уйти подальше в горы. Первую ночь в лесу заночевали. Тепло! Апрель месяц... След табаком посыпали — специально табак собирали. А вторую ночь — усталые — в сарай забились, утром слышим: у ворот собаки дышат... Построили нас в лагере. Переводчик вышел, приговор объявляет. У меня окурок. Закурил. Стою вторым. А Мирошниченко говорит: "Тридцать", — значит, дай курнуть, и ко мне становится так, что я с краю уже третий... Выходит гестаповец с черепом на фуражке, и переводчик переводит: каждого второго расстрелять — "шиссен!", и вместо меня — "ейнцвай!" — выводит Мирошниченко и еще трех. Тут же командует: "Лиген!" — ложись, значит, и из карабина в затылок...

Голос у деда прервался, он закрыл лицо, заскрипел зубами...

— Ох... Славка! Сколько раз друг другу говорили, кто

живым останется, остальных не забывай!.. А потом еще офицер прошел и каждому в висок из пистолета... — Дед смахивает слезу, тянет руку к бутылке, разливает спирт по железным кружкам, бормочет скороговоркой: — Ну, давай, Славк, до конца... Токо не оставляй...

Несколько минут мы сидим каждый в своей задумчивости.

— Американцы нас освободили. Накормили, обмундировали, подлечили кого надо, и вместе с имя мы на австрийские города пошли: на Сантенбах и Сенмартин. Они русских вперед пускали: мы, говорят, знаем — вам мстить надо! А когда наши пришли, союзники нас им передали... Капитан Дьяконов выстроил всех — и скомандовал: "Форму союзных армий снять!.." Сняли. Разделись. Аккуратно к ногам сложили. Стоим. — В голосе деда появляется воодушевление: — "Форму Советской Армии надеть!" Свое надели — друг друга не узнаем! Американцы на память каждому по ящичку дали — там курево, выпивка, одеколон. А когда демобилизовали, Мищенко, старшина, румынского коньяку принес, он ничего не стоил... Шесть звездочек! Там ему каждый год по звезде прибавляют!.. Перед демобилизацией последние дни-то спокою не было. Ну, думаю, приеду — и бельчить в тайгу сразу, рябчика поджарю... Медсестра со мной ехала до Москвы в одном вагоне. Чистая женщина, красивая... Москвичка. Прямо сказать — сватала меня. Оставайся, мол... А я говорю: отца-мать повидать надо, лишь бы отбояриться... Хорошо у нас, Славк! Весной на калтусе уток сядешь караулить — ветерок с хребта подует, такой аромат — не надышишься. Пчелы гудят, птицы поют... Мужики моторы выключат и плывут с песнями, выпившие... А раньше-то на берестянках ходили по шестьдесят да по семьдесят верст на веслах да на шестах, так пить-то некогда было!.. В лодке лягу, ветерок набежит, цветами пахнет... Ондатр на лодку залезет... Утки кричат... Дух идет такой, — дед делает рукой волнообразные движения, — тайга цветет, не надышишься! Сетку поставишь — карасей натрясешь — жирные, потрошистые!

* * *

Деда мобилизовали третьего июля.

— Прибежал Федька с почты: "Немцы напали!" На другой день посыльный всех обошел — в сельсовет явиться. Там сидит военный, вот как ты. "Степан Рома-ныч, будьте наготове: две смены белья, ложка, кружка..." Сначала шли на лошадях верхами до Чечуйска, потом на лодках от Чечуйска до Киренска, потом на пароходе до Иркутска, потом эшелоном

до Мальты. В Мальте обучали нас... Ох, питание плохое было — чечевицу черную ели... Потом в эшелон — и на запад! В Красноярске стояли трое суток. Помню, парень один — сам из Красноярска — плакал: “Командир, пусти с матерью проститься!” — Дед поджимает губы — ему нравится, что он свидетель и участник великого дела, когда долг был превыше человеческих просьб, — поджимает губы, делает начальственное лицо и показывает жестом, как командир отказывает новобранцу — нельзя! Дед и солдату сочувствует, и командиром восхищается, что тот чувствам волю не дал!

— А дезертиры-то с ваших деревень были? — перебиваю я.

— Один был. Я его семью знаю. Он такой же, как отец, пройдоха, такой же ростом... — Дед пренебрежительно машет рукой. — Под Рязанью в лагере нам приказ, в лыжный отвлекающий батальон. Пошли к Москве. Стоим в лесу. Чуем — земля трясется. Политрук говорит: слышите — Москва сражается! Вошли в населенный пункт — трупы мерзлые лежат, лошади, машины разбитые, а мы голодные — кухни с нами нет. НЗ — кусок хлеба и половину горбуши соленой — съели... Вошли в избу — женщина с ребенком, котелок картошки на загнетке. Я говорю, дай нам поесть! Она: “Поешьте, токо не всю...” Как очистил я штук пять картох, да с солью!

А ночью поползли к оврагу — лыжи сбросили, немцы на той стороне. Со мной земляк рядом — из Бура — ну, на фронте, считай, как брат родной — с одного района. Я у их до войны борова вылаживал. Лежим в снегу, просит: “Роман, дай хлеба!” Я говорю: “Лежи, не подымай голову, убьют!” Отломил, протянул ему, слышу — ест. Потом спичек попросил. Прикуривать стал — и носом в снег, — дед сверху вниз машет рукой, — готов! Медальон я с него снял...

Потом на Калугу нас бросили — там бои были же-сто-окие! Двое суток за вокзал воевали. Взяли в плен двести пятьдесят эсэсовцев. Тут же на путях и порешили. Некогда с имя было возиться... В Калуге, я помню, сказал ребятам: давайте обстрогаем доску да напишем, когда и кто за этот вокзал погиб, а кто жив остался, карандашом или финкой вырежем... Да, говорят, чего писать-то, сегодня жив, завтра нет...

Вспомнив про калужский вокзал, дед оживился:

— Прошлой зимой меня в Непу послали — остатки сымать — сено там разворовали. Ну, снял я, акт составил, в бригаде выступил... Ночевать где-то надо. Повели к леснику — новый, говорят, у нас лесник оформился, фронтовик, с Запада приехал. Ну, бутылку взяли, пришли. Сели за стол, разговорились... “Где воевал?” — “На Центральном фронте”. — “А ты?” — “И я на

Центральном...” — “Какая армия?” — “Тридцать восьмая”. — “Калугу брал?” — “Брал”. — “А вокзал помнишь?” — “Ну как же, я чай там варил на вокзале!” — “А не ты ли у нас котелок с кипятком опрокинул?” — “Я”. — “Фарков?” — “Фарков!” Тут Остапенко обымает меня, целует и — по полной кружке за победу!

А когда полк держал оборону под Севастополем, то крымские татары только по известным им горным тропам вывели в тыл наш немецких егерей и после рукопашной схватки в окопах контуженый рядовой Степан Романыч Фарков очутился в плену.

— Что, Слава, о лагерях вспоминать. Всего я нагляделся. Видел, как люди хуже зверей становятся. Зверь хоть только с голоду на человека пойдет. А человек... — Романыч махнул рукой. — Горя видел много. В госпитале после ранения санитаром работал, выхожу раз в коридор — стонет раненый. Смотрю, у него нет одной руки до локтя, другой до кисти и ног нету выше колена. Просит что-то, губами тянет. Я понял: покурить... Дал ему затянуться. Сделал он две затяжки — смотрю, слеза по щеке покатилась. Таких “самоварами” звали. Вроде был приказ Сталина усыплять их: да потом, говорят, отменили... Ну а немцев тоже скоко мог положил. Глаза-то хорошие были. Сейчас еще метров на пятьдесят по белке из малопульки не промахнусь. Помню, под Москвой немецкий пулеметчик нам пройти не давал. Приказ получили — ликвидировать без шума. Ну, скрадывать — дело привычное, охотничье. Поползли. Метров на десять подпустил сзади — не слышал. Бросился я к нему — он оглянулся, как закричит — и голову в плечи. Я его в шею охотничьим ножом... Смотрю — он в ботинках и соломенные валенки на ботинках. Они же в Москву хотели до холодов пройтить. А мы под Москвой добро одевались: валенки, теплое белье, полушубки, шапки-ушанки, маскхалаты...

Тьма медленно сгущается, наплывает из елового наволока на берег, лесная тьма постепенно смешивается с речной. Птичьи голоса замолкают, лишь изредка еще свистнет в урёме какой-нибудь беспокойный рябчик да Карун вдруг с лаем бросится в кусты, почуяв мышь или бурундука.

* * *

— А что за мельница стоит у ручья в распадке, Степан Романыч? — спросил я у старика, чтобы отвлечь его от невеселых лагерных воспоминаний.

— А ты, Слава, в прошлый раз, когда за глухарем бегал, видал поляну? Хлеб там раньше сеяли. Три избы стояло. Это сейчас бросили хлеб сеять по Тунгуске — все нам возят, и муку, и консервы, и масло. А раньше-то все свое было. Взять нашу семью — девять душ, семеро детей, а взрослых мужиков — двое: отец да брат старшой. Прокормить всех надо. Четыре коровы имели, четыре лошади, окромя жеребят. Пятнадцать овечек. Пахали сохой. Плугом-то начали в двадцать шестом или седьмом году. Хлеб, масло, шерсть — все было свое. Бабы пряли, вязали носки да чулки шерстяные, лечились не порошками да таблетками, а только травами. Помню, Иннокентий Ильич ревматизмом заболел. С пятнадцати лет пахал, и ноги стали к двадцати годам отыматься. Так чем его старуха Игнатова подняла? Велела березовых почек, когда они молодые, липкие, набрать мешок. Баб у него в избе было много — пятеро сестер. Набрали этих почек два мешка, русскую печь затопят, мешок на ночь на печь, и ноги в нем держи, сколько терпеть можно. Так и ожили ноги-то у него через месяц. До сих пор — а уже ему семьдесят лет — рыбачит.

Я тоже с тринадцати лет за соху встал. Ну и хлеб у нас был зато пшеничный! А бывало, бабы анису наберут, намелют и в муку добавят... Ох и хлеб! В тайгу возьмешь с собой два ярушника, ломоть от такой отпластаешь, домашнего масла с палец намажешь, чаю сваришь — и бегай за соболями хоть до самой ночи!

...Над черным хребтом уже засверкало созвездие Большой Медведицы, белая луна выкатилась на верхушки елей в морозном сиреневом облаке, и мир осветился зыбким сиянием, которое вдруг отделило травы и деревья от их теней, и наступила такая тишина, которую я давным-давно уже не слышал. Однако дед не дает мне впасть в сонливое созерцание.

— Да, репрессия потом пошла... Гавриила Ильича взяли, — дед загибает пальцы, — Иннокентия Ильича и Глеба Ильича... Три брата их было. Семья — двадцать пять человек. Сбруя вся блестела! Батраков не держали... Сами краси-и-вые, труженики были! Свою стенгазету имели! Я у их две вёсны навоз возил... Вдруг заслышали — коллективизация. Сразу они разделились — мужики всё умные! Потом окулачивание пошло. А у Иннокентия — золото было, ён торговал помаленьку. Не показал поперво он про золото. А потом его в район в нэкэвэдэ повезли, там покарали, он приехал и золото показал... А брат его — Гаврила — заплакал: “От кого ты таил золото, брат!” Потом их окулачили, потом простили, в колхоз приняли... Сыновья у их в Братске живут...

— А кто раскулачивал-то?

— Да кто — и полномочные приезжали, и свои... Ты Алешку Огонька видел — так вот он колхозы строил... Гулять любил, гармонист был знатный! Бывало, напьется, идет по деревне с гармошкой — и кричит: “Дайте волю Алешке Огоньку!”

...Алешку Огонька мы встретили несколько дней тому назад возле его зимовья. Подслеповатый старик, заросший седой щетиной, в замызганных ватных брюках, с трудом признал деда.

— Ты, что ли, Степа?

— Я, Алеша... что, не признал?

— Глаза слабые, видеть я стал плохо.

— Бражку пить надо для зренья, ты бражкой-то нас угостишь?

— Вчера всю выпили, а новую только утром затерли.

— Ну, расскажи москвичу, как колхозы строил.

— А кто москвич-то?

— Да он поэт.

— Поёт — ну это хорошо, коль поёт, я тоже петь любил, когда колхозы строил. А теперь ни голоса, ни волоса. Был Огонек, а стал пепелок...

Мы не зашли к нему в зимовье: грязно у него больно, сказал дед, и Алешка Огонек, сощурив больные глаза, долго провожал нас взглядом со своего угора. Старый, маленький, пьяноватый, заросший седой щетиной...

— Сын у него ушел в зимовье как-то и застрелился из мелкашки. Семь раз в себя выстрелил, — с ужасом и восхищением говорит дед. — Какую волю надо иметь! Себя мучил...

— А почему?

— Да жена у него была пьяница...

Возле зимовья тени. Полосы лунного света. Ночная синь. В паутине березовых ветвей мерцают крупные звезды. Ниже — стена черного леса. Еще ниже — белая долина Тунгуски. Снег. Сиянье.

Дед лежит на нарах, бормочет, закинув руки за голову:

— Наши милиционеры свои мужики-то, звери! Приказ придет: “Гражданин — вы арестованы! В дом не входить!” Жена плачет... Поись в дорогу чего собрать хочет, — “не сметь, передачи запрещены!”.

В голове у меня мелькает мысль: власть над людьми для таких простых людей все равно что водка для ранее не пивших народов.

— Все говорят: Сталин, Сталин! Да к ему Берия вошел в доверие. При Сталине порядка много больше было! Мы до чего дожили — кур завели, а чем кормить? Из Чечуйска два куля зерна Марусин брат прислал. Мы, старики, торговую базу сторожим — товару там скоко! — на молодых надёжи нету — разворуют. Молодых взяли сторожей — так они пьют в сторожке, а склады-то центральные! Сигнализацию проводят... Две собаки у нас... Старики помрут — кто стеречь будет? Народ разбаловался. У Михаила в зимовье на той неделе хлеб, сахар да масло утащили... Раньше эвенк приходил неграмотный — ну, поест, лишнего ничего не тронет... А энти хлеб-то у Мишки взяли, поели и объедки на пол побросали! Белый хлеб — помню, на фронте разделишь по кусочку — он как мед в глотку катится, а теперича у меня его собаки не едят. Советская власть не то что людей — собак избаловала... Однако спать пора, Слава. Набегался ты с непривычки за целый день. Я уже и рыбу из сетей вытряс, распотрошил, засолил. Заплот починил, бересты с того берега привез — река станет, чулманы начну мастерить, — а тебя все нету... Ну, думаю, надо хлёбово варить — утку ощипал... Тут и Карун залаял. Идет мой москвич...

* * *

Утром, когда я открыл глаза, старика уже не было. Боясь, что вот-вот пойдет шуга, он поплыл на своем утлом шитике снимать сети.

Я вышел из зимовья, плеснул в лицо пригоршню ледяной воды, утерся.

День занимался хмурый. Тяжелые тучи, наполненные снегом, тянулись с северо-запада, едва не задевая за хребты. Знобящий холодок струился вдоль русла реки. От воды подымался пар. У того берега под кустами я увидел шитик. Старик снимал сети. Я представлял, каково ему сейчас распутывать их, выкорчевывать из ячей хариусов да щук. От ледяной воды деревенеют руки, а сетей целых пять. Старик знает, что надо торопиться: ночью, похоже, пойдет шуга. Ну, рыбы, слава богу, хватит и себе со старухой, и сыну. А у сына трое детей. Сын пьяница — сам себе добыть ничего не может. Да в Усолье брату надо на праздники рыбки послать, да сестре в Иркутск на именины. Да племяннице на свадьбу... Нахлебался мой старик в жизни всего — и лагерной баланды, и унижений, и смерть его к земле не раз пригибала, а душу живую не растерял, людей не разлюбил и мир не проклял. Верит в свои руки, в крестьянскую и охотничью хватку, сам себя кормит да

еще и другим помогает. Да и от мира не отгородился. Газет ему, правда, читать некогда, но чуть выпадет свободная минута, сядет рыбу чистить или “морды” латать, тут же транзистор с ним рядом. Дед с интересом слушает, что творится на беспокойной земле, и тут же, сверкая молодыми глазами, комментирует события:

— Никсона сняли... Вот империалисты!

Транзистор сообщает о том, что Луис Корвалан еще в тюрьме. Романыч сочувствует ему, словно соседу по нарам:

— Бедный! Что там от него осталось!

Посол чей-то приехал в Москву, и в его честь дается обед.

— Ой-ёй! Сколько в Москву народу приезжает! И все ись хотят! Всех накормить надо!

С той поры, как в сорок пятом году старик вернулся на свою Угрюм-реку, он только однажды съездил к брату в Усолье, а вернувшись, долго негодовал.

— Как вечер — садятся, ноги в тапочки домашние, и что делать? — телевизор смотреть. Целый вечер сидят. Да как же это можно высидеть? Погостил я три дня и говорю: прощайте!

Я рассказываю ему, что творится в Москве во время футбольных матчей.

— О господи, да я бы пешком убег!

Насмотрелся дед за годы войны и плена городов — от Иркутска до Вены и решил для себя, что жизнь эта ему не интересна. Не любит и не понимает он никакой праздности, безделья и развлечений.

— В Иркутске, когда на операцию ездил, я намучился. В трамвае висят на ремнях, качаются... Одни сходют, другие входят, друг на друга лезут, и бегут всё, и бегут! А куды бечь-то? Идет одна старая, вся накрашенная. Старик-то у ей есть? Куда он смотрит? У нас в поселке тоже краситься стали. Так ведь Ербогачён не город, мы и так знаем, какая ты есть.

Я рассказываю ему о матери, которая, когда гостит у меня в Москве, не может спать от уличного шума ночных машин. Дед принимает ее страданья близко к сердцу.

— Бедная! Да ты ее отправь к нам, хоть тут отоспится...

Тут действительно можно отоспаться под шум лиственниц, под шуршанье дождя, под тяжелое шевеленье тунгусской воды.

Я налаживаю удочку. Дед с любопытством ощупывает ее — из чего сделана.

Из стеклопластика, западногерманская... Романыч проверяет удилище на гибкость, на прочность. Оно нравится ему.

— Головастые мужики! Да все равно мы их побили.

2

Поеживаясь от знойного хиуса, я оглядываю зимовье. Все в нем и внутри и снаружи сработано для ума и для дела. Сложено оно из сосновых бревен, обшито досками. Под потолком над каждой нарой — полка для патронов, фонарика, стреляных гильз, ножниц, лечебных снадобий. На столе керосиновая лампа, сахар, соль, чай, хлеб в целлофане. Главный хлеб — несколько буханок — висит в рюкзаке на воздухе под навесом, чтобы не плесневеть и не сохнуть. На дощатом полу чурбан, чтобы, сидя на нарах, ставить на него натруженные за день ноги. Под нарами сухие наколотые дрова — сразу встать морозной ночью и подтопить печку. Там же сапоги, опорки, маленькая скамеечка — старик ставит ее на нары, когда чинит сети, — так светлее и удобнее. На стенах изнутри несколько любопытных надписей о том, что случилось примечательного с зимовьем и с ним за последние годы.

"Зимовьё рубили 22.8.1966. Фарков С. Р., Юрьев В. П."

"4.09.73. Был град".

"1974, 22 авг. 3 часа дня. Была гроза. Угадала в ель сухую расщепила бросила между зимовьем и лабазом. А меня волной к двери прижало. Вот так".

Записей немного, потому что и писать-то особенно негде: всего несколько светлых досок. Поэтому записи короткие, как на стенах лагерного барака.

"1974 г. 15 января. Температура была 10 градусов".

"16 января 1974 года 58 градусов". Видимо, такое резкое похолодание поразило старика, и он счел нужным запомнить его.

"13.1.73 г. было очень тепло". Вырезано ножом. Грамота у Романыча небольшая — кончил он всего два класса, и отец взял его из школы со словами: "Работать надо. Я неграмотный всю жизнь прожил".

"1 января 1972 г. температура была ночью 23 градуса, днем 13 градусов". Думаю, что Романыч сделал эту запись, чтобы подчеркнуть, что, пока в поселке родные да знакомые пьянствуют да похмеляются по случаю Нового года, он делом занят — ловушки на соболя ставит, приваду меняет и не травит себя водкой, а дышит сухим и морозным воздухом.

— Я, Слава, праздников не люблю. Как можно день, другой, а то и третий без труда жить? Ну, приедешь, в баню сходишь, вечером выпьешь со старухой, а утром в лодку да к зимовью! Вот в ноябре мне шестьдесят пять стукнет — так я в зимовье буду. Пускай они там за мое здоровье выпивают. А мне зимние сети трясти надо — самый налим пойдет...

“18 сентября 1973 года. Была гроза”.

Думаю, что была не просто гроза, а буря, стихия, ежели старик счел нужным упомянуть о ней...

Над железной печкой висят две палки на веревках — сушить портянки, носки, рубахи. Под печкой пол земляной, чтобы не загорелся. На гвозде, вбитом в стену у изголовья, висят большие карманные часы. Изнутри дверь обита старым одеялом, под которым уложен слой сухой травы.

Снаружи зимовье невзрачное — есть на этих берегах и получше. Но все сделано прочно и удобно. На двери надпись — углем: “Приходили к тебе два охотника. Не застали. Пинигин”. Над дверью маленькое надкрылье — ружье, патронташ да куртку какую повесить от дождя. Дверь смотрит на восток. С северной стороны под самой стеной вырыта траншея. В ней стоят бочки с рыбой, укрытые клеенкой. Крыша с этой стороны удлинена, чтобы дождевая вода с досок не скатывалась в бочки. Пять бочек, и все уже полные. Под крышей на уровне груди длинная доска на проволочных петлях. На ней берестяной чулман с солью. В зимовье только одно окошко — на Тунгуску. Люди, если подойдут, только с этой стороны — от воды. На одной из бочек надпись: “Фосфат. Не допускается хранение в одном помещении с пищевыми продуктами. Осторожно — яд!” А бочка ладная, с металлической окантовкой. Чего добру пропадать. К зимовью с южной стороны прилепились собачьи будки. В одной живет Музгар — могучий белогрудый кобель. В другой — Карун — помоложе, рыжий, выхолощенный. Потому и далеко от зимовья не уходит. А Музгар нет-нет да и сбегает за сорок километров в поселок. Когда он возвращается — истасканный, с боевыми ранами на морде, дед ворчит и грозится, что наточит нож и на него. Перед дверью — лабаз: настил на четырех комлях, покрытый одеревеневшим, жестким, как кровельное железо, еловым корьем. На лабазе в ведре киснет селитра, лежат рябчики в пере; желтоватые тушки лесных мышей с шелковистыми рыжими спинками, седыми брюшками и розовыми лапками — привада для соболя, для горностая.

Здесь же кастрюли, сковородки, капканы на ондатру и соболя. Ближе к кострищу еще один небольшой навес. Под ним всякая справа для разделки рыбы: низкий столик, скамейка с ведром, лоток с солью, сухая береста для растопки. Под крышей на сучках и гвоздиках кастрюльки, банки, бечевки, куски проволоки, — словом, все, что когда-нибудь да обязательно сгодится в хозяйстве Романыча. Под навесом, надежно схороненные от дождя, лежат напильник, молоток и

гвозди. Вдоль тропинки, ведущей к берегу, торчат несколько березовых шестов — сушить сети.

...Из-под обрыва показался мой старик с ведром, полным мелкой рыбы.

— Слава! Давай чай пить. Я сегодня поране встал, что-то захолодало: ну, думаю, снег пойдет, дай поскорее сети вытрясу да сниму. А ведь пойдет... Моторку слышал? Зять Александра Степаныча надумал сохатить. За двести верст, говорит, пойду. "Мороз хватит, — я ему говорю, — шуга тронется, что с мотором станет?" Семейный, а дурак. С утра выпивши. Народ какой-то шебутной пошел, Слава. Помню, сколько черемухи по берегам было! Муку из ягод мололи, пироги пекли. Чтобы кто срубил черемуху — старики проходу не дадут. Крючья делали — накинут на верхушку, согнут и обирают. А теперь поедет какой-нибудь пьяница, топором ахнет под корень, оберет ягоду, и всё тут. Живут одним часом!

* * *

Солнце. Синее небо. Снег слепит глаза. Неделя, как река стала. Вся в торосах. Лицо горит от плывущего навстречу потока остуженного воздуха. Черные хребты, исполинские лиственницы по берегам с корнями, торчащими из обрывов. Гроздья мороженой красной смородины. Алые восковые ягоды шиповника. Хрустящая на зубах голубика— сочная, привядшая, сладковатая, любимый корм тетеревов, рябчика, глухаря, соболя... Ощущение чистого, ничем не окисленного счастья.

Мы идем по заснеженному аргишу проверить капканы. На нас брюки из шинельного сукна, телогрейки; дед в ичигах, я в анчурах из лосиного камуса — обувь легкая, теплая, удобная. Капканы у деда на земле под навесиками, чтобы снег не заваливал, привязаны к толстым палкам. К дереву привязывать нельзя: соболь, пытаясь освободиться, "изобьет" шкуру. Он должен таскать палку с капканом, пока не измается... Собаки наши недовольно фырчат: соболь путает след, пересекает аргиш то вверх, то вниз, да и след ночной, не свежий. Музгар бежит свободно, а Каруна дед ведет на веревочке, его отпустят лишь тогда, когда выйдем на свежий следок, а то будет кружить, облаивать белку, птицу, сбивать с толку.

За спиной у деда поняга — дощечка с сыромятными ремешками, своеобразный эвенкийский рюкзак. Кобели волнуются, повизгивают, крутят мордами. Музгар натаскан, в

основном, на соболя, белку лает неохотно, не “вязко”, на птицу тоже не отвлекается, и дед сразу спускает его с поводка: “Всем ты хорош, токо ноги слабые, нежен больно...” Действительно, лодыжки у Музгара ободраны до сухожилий, время от времени он ложится на снег, зализывает ошметки кожи, обгрызает кровавые сосульки, торчащие между пальцев. Музгара дед снисходительно гладит по голове: “Остарел кобелишко... Ну ишшо год-два побегает...”

Недавно мы лечили его. На собачьей свадьбе в поселке конкуренты разорвали кобелю щеку. Рана загноилась. Развели марганцовку, позвали из соседнего зимовья Михаила Сафьянникова — двоим не управиться, — повалили Музгара на снег. Кобель стал молча вырываться.

— Да ты, Степан Романыч, силу ему покажи, навались, морду веревкой замотай, да не жалей! Животному — хоть лошадь возьми — силу показать надо, тогда слушать будет!

Сухонький дед едва-едва удерживал кобеля, навалившись на него всем телом, пока я высвечивал рану фонариком, а Михаил из спринцовки тугой струей промывал разорванную в клочья щеку... Кобель сначала подергался, потом затих и даже вытянул шею, чтобы нам было удобнее работать. Свежий снег под его мордой подтаял от собачьего тепла, крови и марганцовки.

...Собаки хватают ноздрями воздух и уходят от нас по аргишу. Мы бредем вслед за ними, не торопясь, с перекурами и разговорами о превратностях охотничьей судьбы.

— Белки в гойнах спят парочками, — рассуждает дед. — Увидишь гойно, стукнешь палкой — не вылезет, не-е-ет! Потихоньку поскресть надоть по дереву— она подумат: хищник какой или птица, колонок аль соболь, — выскочат обе и смотрят: в наволоке они гойна любют делать... Тут их и бьешь. Белка разная бывает. Губница, которая грибы сушит. Чует, что шишка не родится. Поест — три-четыре дня из гойна не выходит. А когда шишка родится — то белка лузжбит ее кажный день, такая белка для охотника лучше. Да молодежь пьет сейчас помногу. А чего не охотиться? Как мы охотились! Какие охотники были — Михаил Алексеевич, Илья Степанович! По пятьсот белок добывали за зиму. Ондатров, соболишек сдавали...

Дед насторожился, замер, снял солдатскую ушанку, покрутил головой: “Однако кого-то лают...”

Я прислушался — ничего, кроме шуршащей морозной тишины. Открыл рот, напряг уши. Откуда-то издалека уловил текучий, сливающийся в одно целое звон.

— На гряде лают! — оживился дед. Мы повернули лыжи и стали подниматься по мелколесью на гряду. Дед прибавил шагу, ему под семьдесят, а я едва поспеваю за ним. По пути он разглядывает цепочки соболиных следов, быстро отличая свежий следок от вчерашнего. Собачий лай все явственней, уже различаешь голоса: грубая редкая лайка— матерый Музгар, высокая, звонкая, с подвываньем — молодой горячий Карун... Я уже взмок, а лай все ближе, дед почти бежит бегом, я стараюсь не отставать, выкатываемся к собакам в распадок — они беснуются под желтой лиственницей, на вершине которой застыл коричневый комочек — соболь! Увидев нас, собаки перешли на сплошной визг, ощетинив холки, бросились к дереву, уперлись в него передними лапами, а Карун, как мне показалось, чуть ли не сделал попытку влезть по чешуйчатому стволу.

— На, стреляй ты, Славка. — Дед, отдышавшись, снял с плеча мелкашку. — А я собак придержу, а то шкуру попортят!

Зверек распластался на ветке, наблюдая за нашими движениями. Я, привалившись плечом к березе, становлюсь поустойчивее, унимаю дрожь в теле, идущую от сердцебиения, ловлю на мушку круглую ушастую голову, но пуля обламывает ветку — и соболь, словно кошка, растопырив лапы и хвост, летит на снег. Собаки бросаются к нему, он, однако, успевает подскочить к дереву и снова взлетает на вершину. Я стреляю, но чувствую, как от волнения и усталости дрожат ноги. Дрожь передается через руку стволу, мажу, стреляю снова, соболь опять рушится вниз, пытаясь уцепиться за ветки. Карун сбивает с ног деда, рвется к зверьку. Соболь, у которого отбита нижняя челюсть, завинчивается в снег, но дед с внезапной прытью опережает собаку, наваливается на соболя телом, ловит его руками. Соболь впивается предсмертной судорогой в суконную рукавицу, но челюсть у него разбита, зубы раскрошены пулей, глаза светятся зеленоватым, медленно тускнеющим светом...

Дед подымается и за яростную верную службу дает кобелям лизнуть окровавленную соболью морду. Собаки по очереди подходят, обнюхивают поверженного врага, лижут кровь, свирепо ворчат и, удовлетворенные, калачиком сворачиваются на снегу...

Конечно, соболь самый совершенный хищник животного царства. Куница и глухарь, заяц и хорь, белка и горностай, и даже мелкая косуля, — все трепещут его. Если бы наш соболь смог вырасти до размера льва и они бы встретились, я уверен, что от царя зверей и хвоста бы не осталось...

На обратном пути мы сворачиваем на реку проверить вентеря, дробим в квадратной проруби прозрачную ледовую корку, сплавляем крошево по течению под толстый лед,

вытаскиваем "морду", вытряхиваем из нее мелкоглазых черных налимов, синеватых хариусов, крупных брусчатых пескарей... Ерши сразу растопыриваются всеми колючками, замерзая на льду. Последними окоченевают живучие налимы. Дед веткой глушит их по головам, "чтобы макса не "выбыгала", — оказывается, налим, если его не оглушить, на воздухе как-то продлевает свою жизнь за счет печени, и она уменьшается — "выбыгает" в размерах... Налимы молотят черными хвостами по льду, раздувают жабры, затихают...

Вечером дед в зимовье обдирал соболя. Драгоценный мех сползал с красного мускулистого тела, оплетенного сухожилиями, уснащенного белыми изогнутыми клыками и короткими лапами с веером стальных коготков. Облик хищной смерти, особенно когда тушка лежит на лабазе замороженная, оскаленная, с остекленевшими глазами и когтистыми лапами... Дед натянул шкурку на пяло, ссадил, прибил мелкими гвоздочками и любовно погладил блестящий ворс задубевшей ладонью:

— Тайга-матушка ишшо кормит...

* * *

Ночь. Звезды. Тишина. Тени на снегу. Синева. Призрачный густой свет. Трещат деревья. Вспыхивают метеориты. Сверкающая мгла плывет в русле Тунгуски. В такие ночи зайцы носятся по своим вытоптанным тропам, обезумев от лунного сияния. Вот тогда-то они и попадают в проволочные петли, где задыхаются, по-детски крича. А коварный соболь в светлые ночи обходит ловушки. Надо ждать, когда месяц пойдет на ущерб. Торосы, наледи, наст — все искрится. Засветло я не успел выйти к зимовью, а сейчас не пойму, где сворачивать на тропу, чтобы не пробежать две березы на высоком берегу, за которыми стоит дедовская избушка. Ночное пространство заполнено светящимся туманом, обволакивающим предметы. Впереди по левому берегу замерцала какая-то искра. Напрягаю глаза — пропадает. Расслабляю — вроде бы видно снова. Чудится — нет ли? Иду минуту, другую. Искра становится устойчивее. Конечно, это соседнее зимовье наискосок от дедовского! Скоро пора на заберег, искать тропу... Я замедлил шаг, неуверенно повернул направо и почувствовал под ногами твердый, утоптанный снег. Может быть, это зимовье какого-то приезжего татарина? Кто он, откуда — никто не знает. Приехал, поселился в брошенной, старой избушке, не охотится, только рыбу ловит. Стою, всматриваюсь в тьму, смешанную с мороз-

ным туманом, — деревья, берег, угоры — всё слилось в сплошное марево. И вдруг откуда-то сверху — рычанье собаки и человеческий голос: “Кто тут блукает? Ты, что ли, москвич? Заходи, почаёвничаем!”

Слава богу, это наш сосед Володя Юрьев! Сидим в его просторном зимовье, пьем чай, разговариваем. Все о том же: сколько кому пришлось пережить на своем веку.

Володя мой ровесник. Вырос без отца, которого вместе с соседом по Ербогачёну посадили в тридцать седьмом за намеренье взорвать мост через Тунгуску. Когда Володя вырос, то узнал, что моста такого и в помине не было, а был донос. Сосед Иван Михайлович выжил, вернулся и рассказывал Володе, как в иркутской тюрьме Володин отец после трех допросов шепнул Ивану Михайловичу: “Четвертого допроса я не выдержу... Надо, Иван, сознаваться, а то живым не оставят...” “Сознались”. Отправили их сначала в Ванино, а потом в Магадан.

— Письмо мы получили, и так вышло, что начальником ихнего лагеря был наш общий сродственник. Ну, родные собрались да написали сродственнику, мол, дядя твой у тебя в лагере, разыщи да помоги. А тот как помог — скорее отделаться чтобы, отправил моего отца в другой лагерь. Отец там оголодал, дизентерией заболел, на работу перестал выходить, а пайку давали только тому, кто норму выполнял. Отощал совсем и говорит: “Я тут на нарах помру. Лучше на работу выйду”. Вышел в котлован на земляные работы. Там, сказывают, и упал.

3

Утром мы с дедом идем ставить “пасти” на зайцев. По натоптанной тропе медленно уходим в тайгу, заснеженную и такую беззвучную, что даже слышно, как ворон, летящий высоко над вековыми лиственницами, машет крыльями — ф-р-р! ф-р-р-р!

По дороге продолжаем нашу извечную тему: какая жизнь была лучше — та, что раньше, или та, что сейчас.

— Что говорить, Славк! Сахар ели только по праздникам! А работали с темна до темна. Взять коноплю одну. Посей ее, собери — руками рвали! — обмолоти, потом осотью в вязки увяжи, потом мочи ее три недели, потом у прясла поставишь — чтоб до марта выбыгала, потом на мялке мнешь, чешешь. Потом бабы с лучиной красна ткут, веревки вьют, нитку на сети прядут, сети вяжут... А на рубахи да на портки холст — все из конопли ткали! Купить-то негде было да и не на что! Чирки простые

сшить из сохатины аль из коровьей кожи — простое дело вроде, а ить пока эту кожу выдубишь, в мялке изомнешь — ох! — руки отвалятся! Но зато и чирки были! Легкие, прочные. А бабам покрасивше делали — чернили пылью из-под точила...

Собаки наши заволновались — дед, прикрикнув на них, прибавил шагу:

— От он, красавец. Цыц, Музгар!

Мы разом остановились, с восторгом поглядывая друг на друга. Под сосной, свернувшись в окаменевший клубок, лежал черный соболь с капканом на передней лапе. Видно, долго метался, бедолага: мерзлая земля у корней дерева была вырыта его стальными коготками аж на полметра, но проволочная сталь, что удерживала капкан, оказалась прочнее когтей и зубов. Дед разомкнул пружину, вытащил зверька, поглядел на его оскаленную мордочку, дунул на ворс, бросил добычу в мешок.

Вечером в натопленном зимовье за распаренным чаем мы подробно продолжаем разговор о прошлой жизни.

— Я два класса кончил, чагой на бересте писал. Писать выучился — отец сказал: "Хватит" — и послал меня белочить. А сейчас: учись — не хочу! Я в интернате завхозом работал — так они там кашу рисовую не едят, конфеты шоколадные кидают. Три раза их в день кормят, да еще полдень какой-то дают... Ох, Славка, портится народ от хорошей жизни! Я ероплан-то в первый раз в тридцать шестом году увидел. Вышли мы на угор — дед Петрован, Николай Евлампич и я. Летит! Дед Петрован стал бородой в небо, перекрестился и сказал: "Ну, слава Богу, Еруслана сподобило увидеть..."

Конечно, лодочные моторы, сапоги резиновые теперь есть, зато пьяниц и бездельников стало больше, зато ружья стали хужей — помню, были гековские... А капканы нынешние... Двадцать штук новых ондатровых поставил — утром гляжу, на шести пружины полетели. Ну, правду сказать — все есть у нас: и хлеб, и мука, и сахар, и мануфактура, и забота есть о нас, фронтовиках. Тридцать лет Победы как душевно справили! По кисету кажному из ветеранов пионеры сшили, перед райкомом вроде бы кухню полевую сделали — ох и смех! — кажному из нас по миске каши дали, как на фронте. Да по сто грамм, а где сто, там и двести! — Дед смущенно заулыбался, замахал рукой, объятый сладостными воспоминаниями. Он вообще любит с людьми потереться, пошутить, потолковать где бы ни было — в клубе, в бане, в магазине. Намолчится в своем зимовье, и тянет его к разговору, к теплу. К товариществу, истоки которого то ли в мирской крестьянской жизни, то ли во фронтовом братстве.

— Телевизоры к нам привезли. Так Маруся не слезает — давай купим! А на что он мне? Включишь — да и смотри один, как филин. Я лучше в клуб схожу, в кино, там хоть народ рядом...

— Ну а народ-то стал лучше или хуже? — все вытягиваю я из деда какой-то исчерпывающий ответ, хотя сам прекрасно знаю, что такого быть не может. Но дед не теряется:

— Жизнь стала лучше, а народ хуже...

— А как же так быть может?

— А так и может! Жизнь-то совсем другая стала! Вот смекай сам: укрупнила колхозы, скоко деревень пропало — пальцев не хватит загибать. — Дед яростно загибает пальцы: — Потемино нету! Лужков нету! Гаженки нету! Логашино нету! Данилова нету! А ведь по сто коров дойного скота было в кажной! Хлеб сеяли; мясо-молоко сдавали, да и самим оставалось... Это я тебе токо по Тунгуске насчитал. А по Непе? Аяна — нету! Вольпана — нету! Далькана — нету! Все разъехались... Разве нынешнюю жись со вчерашней можно равнять? В деревне не дружно жить нельзя было. Там не то что в нашем поселке — всем известно, кто хороший человек, кто плохой. Хотя, конечно, и выпивали, но дружнее жили, дружнее! Конечно, дурость-то в народе всегда есть. Вон Егор Кладовиков молодой был, влюбился в соседскую девку Матрену — да родители не сговорились. За другого ее выдали. Через сорок лет, после войны уже, узнал, что она овдовела, бросил семью, сел в лодку-берестянку, поплыл за пятьсот километров. Стал жить с нею. А она, видно, уже разбаловалась. Весной на Троице в лесу он ее с мужиком и приметил. Вернулась она домой, картошку стала чистить, а он ружье в горнице зарядил, подошел к ей, навел ружье и говорит: “Прощайся с жизнью!” — При этих словах глаза у деда засверкали — он показывает, как Егор наводит ружье, переживает, выставляет ногу вперед, воображаемое ружье прижато к плечу, дышит часто. — Матрена за ствол хвать, а он курок и спустил, пуля ногу ей пробила да о подоконник — и рикошетом в окно на ту сторону реки, где пахали на лошади, — в дугу ударила... Тогда она, видно, за печку бросилась да вокруг печки хотела обежать да в дверь, а ён с другой стороны ее встрел, она упала — ён ей под затылок второй жакан — скрозь позвоночник прошел и в кофточке белой запутался. Когда ее подымали — глядят, что-то из кофточки упало, покатилось — жакан... Я слышу выстрелы — побежал к ихней калитке, отчаянный был, — соседи кричат: “Егор Трофимыч тетю Мотю убивает!” Я калитку рванул — гляжу, Егор навстречу мне

выходит из избы, шатается, увидел меня, ружье на себя наставил — и... — Дед махнул рукой, зажмурился и отвернулся. — А тут и брат Матренин прибежал, кричит: “Я его на куски разрублю”. А я, — дед принимает официально строгий вид, как служитель закона, — ему говорю: “Трупа не трогать! Токо милиция труп имеет право трогать!” Подошли мы к Егору, а он руками вот так... — дед протянул перед собой ладони, стал то растопыривать, то сжимать пальцы.

А рядом с имя совсем другие люди жили: Агафья Ивановна да Иван Тихоныч. Двенадцать детей ростили — одиннадцать сыновей да одну дочь. Дня им не хватало — по ночам, бывало, сидит Агафья, ичиги чинит, лопатину шьет... Нажарят рыбы семейную сковороду — детей накормят, что останется — сами поедят. Когда умерла она в пятьдесят третьем году — одиннадцать сынов и дочь у гроба стояли. Сестра моя стала имя готовить, да шить, да обхаживать — колхоз ей полный трудодень платил...

Слушаю — ужасаюсь и радуюсь. Но ведь не может пройти даром, исчезнуть, следа в памяти двенадцати детей не оставить то, что сестра Степана Романыча не за трудодень, конечно, — какой там “полный трудодень” был в пятьдесят третьем году! — а по совести крестьянской и человеческой пошла в дом, где остался вдовец с двенадцатью детьми, и, хошь не хошь, стала им вместо матери? Не может быть, чтобы не помнили эти сейчас уже взрослые люди добро, чтобы не проросло оно в их душах, а если проросло — то не удержишь его в душе — в мир выпускать его надо... А коли так, то не должны быть сегодняшние люди хуже вчерашних...

— Однако заговорились мы с тобой. Славка! Завтра нам опять ловушки глядеть, сети сымать пора — кабы не примерзли. Да и в Ербогачён собираться будем, баня нас заждалася!

Дед шумно задувает лампу и бормоча погружается в сон, оставляя меня наедине с ярко-синей от мороза звездой, струящей свет в маленькое окошко зимовья, и неразрешимым раздумьем о том, какой же стала жизнь наша: хуже или лучше, лучше или хуже?..

Из писем Степана Романыча разных лет.

“Я Вас поджидал к открытию охоты, но не дождался. Пришлось прослушать по радио Ваши стихи о нашей встрече. После этих стихов все заходят — “Слышали, Степан Романыч, про Вас пропели стихи с Москвы”. Очень, конечно,

благодарны и очень всем присутствующим пондравилось. А поэтому, просим вас посетить наш район. Стретим, как брата".

"Наша жизнь идет помаленьку. Со мной случилось 22 мая, как раз пошла Угрюм-река. Ну, думаю через сутки лед пройдет и поеду в зимовье уток стрелять. И вдруг кольнуло в правый пах и я чуть сознание не потерял. Меня в больницу и в Иркутск. Спасибо был московский профессор и 27 мая я лег уже на стол. Ну думаю конец. Больше мне не жить. Но перенес. Операция тяжкая, Слава. В 1941 г. под Москвой меня ранило. Осколочное ранение. Большие осколки выпали, а два очень маленькие, их затянуло, и просидели глубоко 39 лет. Изнутри пошла злокачественная опухоль и вот, дай Бог этому врачу, сделал операцию и я пролежал в Иркутске два с половиной месяца, проходил облучение и вернулся домой... План пушнины в этом году, наверно, провалим: осень очень плохая была, дожди, а потом заморозило, собаки ноги ободрали. Вот так. Ну, дорогой, приезжай на день оленевода..."

"Жду тебя на свой юбилей — 70 лет, 14 октября. Ну пока. Еду к зимовью. Дома не могу жить. Тянет матушка-тайга".

"Наша жизнь идет по-старому. Стоят морозы с Нового года 52—62, дневные 45. Тяжело, но привыкли. Хожу по лоушкам, но за капкан иматся равносильно как за раскаленное железо. Новостей больших нет. Но наше поколение отмирает. Уже в январе в моих годах и постарше скончались трое. У Ивана Кладовикова скоропостижно скончался отец Митрофан Иванович. Приехал с охоты 5 января, зашел в дом, а старуха говорит, ой, что так долго, скучно стало, все передумала. А он отвечает: ничего, старуха, все хорошо. Там на нарте лежит два куля с рыбой, иди закинь. А она ему отвечает: У меня все нажарено, вчера тебе на встречу купила бутылку спирту. И сама вышла в огород. Ну она всего провела 3—4 минуты, вернулась, дверь открыта, а он лежит у дверей, где переобувался. Она схватила, закричала, народ прибежал, а он уже мертвый лежит. Хоронить приехали 5 сыновей и четыре дочери. Скончался семидесяти шести годов..."

"Жизнь идет потихоньку. Опять летал в Иркутск на проверку, сдавал анализы, врачи сказали, что пока анализы в хорошую сторону. В июле опять велят приехать. Что делать, придется ехать, жить охота, рыбачить, охотиться, и еще охота тебя увидеть и за стречу выпить хорошо..."

После бани, краснолицые и благостные, мы сели к столу. Дед в майке, на предплечье у него наколота синей тушью грудастая женщина и под ней надпись: “Шура”. Он перехватывает мой взгляд:

— Это первая жена. Сирота. В детдоме росла... Семь лет с нею жил. Она хотя и эвенка, так-то ее не забракуешь... Ушел на войну, пропал без вести, повестку она получила... Вернулся — живет с председателем. Уходи, говорю. Она: “Прости, Степа, война, все бывает...” — “Нет, уходи!” — Дед поджимает губы, и я вижу, что он может быть очень своенравным, — делает решительно взмах рукой по направлению дверей: — “Уходи!” Уехала... Бабы собрались, сестры, и говорят: “Рома, женись на Дусе из пекарни, женщина чистая, работящая. С дитем она — ну с кем не бывает? Обманули ее...”

Дуся гремит возле печки кастрюлями, разливает по мискам похлебку, но жадно слушает каждое наше слово и тут же вступает в разговор:

— Я могла трех человек переплясать. А петь любила! Всякую песню как услышу — тут же повторю. Тата, когда помирал, просил: “Дуня, ты помнишь песни, которые я играл? Спой, говорит мне, напоследок...” А ить меня чуть не увез в двадцатом году Иннокентий Кузаков — офицер! Ехал в Гаженку на лошади в мундире с погонами... Проезжал наш хутор, увидел меня и говорит отцу: “Павел Иваныч, а Павел Иваныч! Отдай мне девчонку, я ее с собой возьму... Я ее выучу...” А вить он в Китай ушел... — Голос Дуси звенит от восторга при воспоминании о том, какова могла быть ее жизнь. — Как сейчас помню: четверо их едут на конях! В погонах. Все вооруженные... Я красивая была, бойкая, из меня артистка могла выйти!

Дед, который слышал эту историю много и уже давно ненавидит своего вечно счастливого соперника, офицера Иннокентия Кузакова, хмурится и перебивает старуху:

— Сука, родине изменил!

Но Дуся, увлеченная несбывшейся сказкой, уже и не слышит его:

— Кузаков говорит отцу: “Павел Иннокентьевич, отдай дочку-то, я ее выучу”, — а тата ему отвечает: “Авдотью я свою никому не отдам!” — Дуся делает яростные глаза, свирепо выпячивает челюсть, изображая отца, который не уступил дочку колчаковскому офицеру Иннокентию... Неожиданно на хмельных покрасневших глазках Евдокии появляются слезы: —

А я бы выучилась! Я такая была плясунья, такая певунья! Мне учиться хотелось! Богатые-то своих детей учили. А я подушку слезами оммочила! Я бы артисткой стала! А голосище какой был. Степа, я ведь при тебе пела! Степа, дай спою. — Дуся затягивает хриплым старушечьим голоском:

Ох, бедна, бедна девица
На свет я рождена...

Дед, облокотившись на стол, снисходительно слушает Евдокию, которая старательно выговаривает каждое слово песни, строит неведомо кому глазки, улыбается беззубым ртом, худенькая, красноносая, обутая в громадные валенки, из которых торчат ее тонкие ножки, обтянутые зелеными рейтузами.

Не ветер занавесточкой
Тихонько шевелит,
Мой милый под окошечком
Секретно говорит.

Она покачивает плечиками и рассказывает песню так, как будто все, о чем говорится в песне, происходило или даже вот сейчас происходит не с кем-то, а с ней, с Евдокией.

Не плачь, не плачь, красавица,
Не лей горючих слез,
Наплачешься в неволюшке,
Тогда будешь моя.

Дуся поет с ошибками, как запомнила когда-то полсотни с лишним лет тому назад. Печка в доме прогорела, от двери тянет холодом, на дверном косяке сверкает иней. Усталый дед отвалился на никелированную кровать. Внезапно гаснет электричество, и слабым источником света становится синий прямоугольник окна, но Дуся не обращает внимания на тьму, начинает маршировать:

Раз! Два!
Чище ровняйсь!
Грудью подайсь!
Только не вешать голов!

На Тунгуске дымятся полыньи, дед уже похрапывает, я зажигаю керосиновую лампу, а Евдокия марширует, сбивая громадными валенками домотканые половики.

Он выкован железной кузницей,
Он сын свободного труда,
Глаза у его орлино-серые,
А сердце пламенно, как шлак.
Его заветы — это зна-а-мя!
Весь мир в Коммуну превратим!

— Дуся, да посиди, отдохни! Расскажи лучше, откуда ты эту песню знаешь. У вас ведь от деревни до деревни по триста верст!

— Ох я и петь люблю, Слава, вот слушаю телевизор и подпеваю. Ну, конечно, они слова исказиют! А ишшо мы про Ильича пели! — Дуся становится по стойке "смирно", выбрасывает руку в пионерском салюте ко лбу и опять вскидывает вверх тощие ножки в валенках:

Ты умир сигодня на славном посту,
Видя на борьбу миллио-о-ны-ы!
Ты умир, Ильич, над могилой твоей
Склоняем мы наши знамё-о-ны-ы!

Громадная тень от маленькой старушки мечется по стене, а Дуся хрипит, не уставая:

Ты долго, Ильич, пролетарской звездой
Горел пролетарской России!

Тяжело дыша, она опускается на табуретку:

— Четырнадцать лет мне было... В Гаженке по праздникам пели...

Я выхожу во двор. Ледяные звезды от холода чуть слышно потрескивают в небе. В курятнике ворочаются сонные куры. Струйка дыма тянется из трубы, никуда не отклоняясь, словно застыв на воздухе; из-за неплотно прикрытой двери долетают слова:

Он выкован
В железной кузнице.

Дед оторвал голову от подушки — видно, решил, что хватит, надо бы и свое спеть:

— Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина!

— Да заткнись ты, только и знаешь "За Сталина!"

— Ты, ты Сталина не тронь, к нему Берия вошел в доверие. А меня не перебивай, меня люди уважают! На той неделе в столовой свадьба, — дед уже обращается ко мне, — дочь среднего брата замуж выходит, машину прислали, просют,

Иван Романыч, поехали. А я говорю — на что я вам, старый? Рюмку-другую выпью — и пьяный! На торжественное заседание в клуб приглашали — не пошел! Со старухой бутылку раздавили, телевизор включили и целый вечер просидели вдвоем, как молодые.

Дуся, видя внимание деда, начинает кокетничать, опять выходит, покачивая плечами, на середину комнаты:

Мине милый изменяет,
Я ему наоборот,
Меня новый провожает
Каждый вечер у ворот.

Дед машет рукой, бессильно хохочет, жмурится, а Евдокия входит в раж:

Сыпала, посыпала
Погодка сыроватая,
Сама девчонка ничего,
Любила треповатого.

Деду все это не по душе — молодое, легкомысленное, забытое. Он пытается перехватить инициативу, затягивает, напрягая тощую морщинистую шею:

Ой да ты, Сибирь, Сибирь моя родная...

Но с бабкой уже нет сладу:

Как же Степу не любить,
Степа чисто ходит,
У Степы чубчик на боку,
Дусю с ума сводит.

Видно, эти самые частушки она пела Степану Романычу сорок лет назад. Но дед не сдается, хватает Евдокию за фартук и тянет свое, старуха кричит на него: “Ты петь не умеешь! Всегда песню разбавляешь!” Но дед не слушает Евдокию и выводит протяжное, бесконечное:

— Пришла весна, я встретился с тобою...

— Степа, замолчи! Ты и так всю жизнь говоришь! Дай мне! У меня коса, сына, такая была — я садилась на нее. Как пойду — за мной табун всегда. А как плясала да пела! Конечно, мой талант пропал. Зачем за Степу пошла? — ни спеть, ни сплясать не давал. Здешние бабы спрашивают: где петь научилась — со Степой? А я им отвечаю: с этим иродом не спляшешь, а научилась с Ильей, от которого у меня Колька... Кадриль

играли. Как приду на вечерку, — все меня приглашают... Ты меня всю погубил, Степа! По голове пинал, а сам бегал, кобель, по девкам да по бабам. А нынче сама убилась. Пошла к печке — как меня леший бросит головой об угол... А за что бил? Я ему родить не могла, надорвалась, кули с мукой в пекарне таскала, гузёнка стала выпадать. Мать мне судьбу-то отдала. Ее отец тоже бил. Все петлю себе готовила, да я от нее ни на шаг. Бывало, веревку возьмет, а я тут как тут. "Ой, Дуска, — бывало, скажет, — ты мне спокою не даешь". А в последний раз она меня омманула, говорит: "Доча, коровушка телится, сходи, погляди в стайку... Я сходила, вертаюсь, слышу, ногами колотит. Как закричала: "Тата! С мамой неладно!"

— А, твою мать, опять представляется! — едва успел вставить в сплошной поток Дусиных слов дед, но Дуся уже никого не слышит:

— Отравилась! Мы ей зубы разжать не могли, а Кеша маленький подползает и титьку сосет! — Последние слова Дуся договаривает сквозь слезы. — Потом его на фронте убили! — Она с плача переходит на крик и внезапно, утерев глаза, снова переключается на деда: — Ну знала я, что ён к Анне Павловне — сестре моей — ходит. Ну зачем меня-то бить? Пришла из больницы, постель стелю, смотрю: трусы-то Нюркины. Я говорю мачехе: "Трусы-то Нюркины!" А мачеха мне: "Молчи. Я их выстираю да носить буду..." Во какая мачеха у меня была... Что пережито — конем не объехать.

Ой, впереди веду-у-т мата-а-ню,
Сзади выблядка-а несу-у-т.

Но дед не слушает ее излияний и тянет с кровати свое:

Прошла весна, краса моя увяла,
Ты разлюбил и сделался чужой...

Дуся потихоньку начинает вторить ему, потом с упреком глядит на деда: мол, разлюбил и сделался чужой — "ить про тебя это, ирод"...

Дед, понимая, что нужно совершить какое-то дело, чтобы избежать упреков в разбитой жизни, спускает ноги в кальсонах на пол и властно приказывает:

— Тащи бутылку!

Евдокия лезет в гардероб, достает заветную бутылку "Агдама" и, отмякнув после стопки, снова начинает вспоминать детство и девичество, уже не придираясь к деду:

— А тата петь любил "Ухаря купца": "Пей, пропивай, ишшо

наживем...” Тата по-хохляцки пел, по-русски говорил плохо. Бабушка деду дядю Лександра и дядю Сергея привела. У нее они нажитые были. Сергея в армии убили. Потом другой Сергей родился. Ты не спорь! Я лучше знаю! Это другой Сергей! Как он на тальянке песни играл!

Молчанье... Только слышно, как на Тунгуске, ухая, опускается лед.

После усталого затишья разговор начинается снова — и все о том же:

— Кольку-то я нажила, а больше родить не могла. В пекарне работала, мешки таскала... Степа меня и взял с ребенком... А что?! У других по два, по три набеганы, и то замуж выходят! В Непе я жила одна. Руки отнялись в пекарне. Врач Петухова уколы делала. Хорошая женщина была, потом пить стала, с партии ее исключили. Я говорю: “Везите меня в Гаженку к родным. Руки, ноги не владеют, а мне пекарню принимать надо”. — Дед чего-то поправляет Евдокию. Она кричит на него: — Не ври! Не мешайся, Рома! Я в сорок шестом туда приехала; булочки тебе стряпала! Руки, ноги отнялись. На холоде работала. Дорошенко меня на ручках носил, с ложечки кормил... Рассолу бочку навели и в бочку меня сажали, восемь ванн сделала...

— А сын-то его?

— Нет, от другого... Я за Степу вышла, а Дорошенко пишет и пишет родным: если, мол, Дуся не вышла замуж, сообщите, я приеду, — победоносно взглядывает на деда, как будто мифический Дорошенко, если она захочет, хоть завтра сможет приехать... — Ох, какой хорошей был мужчина, уважительный. Он меня на ручках носил. Не то что ты! — Глаза у Евдокии сверкнули, седые космы вылезли из-под платка, сухонькая ручонка взлетела к дедовскому подбородку. — Он мне не писал, родным писал, раз пришла к сестре — смотрю, письмо на лампе лежит...

Дед очнулся, поднял голову:

— Хватит тебе... Ты у меня как Польша!

Дуся аж взвизгнула:

— У меня никого не было! Я одного нажила! А люди по два, по три наживают! И отец мой не поляк, а самый настоящий хохол! Тата за всех меня любил! — Евдокия начинает подвывать, вытирая слезы концами кашемирового платка.

Я, чтобы отвлечь ее от печальных воспоминаний, опять перевожу разговор на песню:

— Дуся, давай мою любимую. — Стараюсь выводить красиво и правильно: “Позарастали стежки-дорожки...” Ну

конечно же, сейчас она вспомнит, подхватит, обмякнет голосом и сердцем, ведь пели же они эту вечную песню, сейчас вторить начнет; нет, слов не помнит! Дед в кальсонах, приподнявшись на кровати, из последних сил командует своей старухой:

— Да погоди ты, балаболка! Спой старинную песню, онкульскую, которую Лазарь Михайлович любил.

Евдокия не помнит онкульской песни, дед сбил ее с настроя и перехватил вожжи разговора на какое-то время в свои руки.

— Лазарь Михайлович, годок мой, утонул. Выпимши сел в лодку да по большой воде по верховке поплыл на тот берег — там у его на озерах сети. На берегу еще постоял и запел старинную онкульскую песню, — все ты забыла, старая, сел в лодку да и ушел за поворот... И с концами. Видать, лодка перевернулась, там кряжи, а вода — бешеная, верховая, на них и нанесло. Искали целую неделю, водолазов вызывали из Иркутска, а я сразу сказал — вода спадет, у Курьи искать надо. Так и вышло. Федька-моторист — месяц уже прошел — шпарит на моторе, глядь, у Курьи утопленник. Он и есть, Лазарь Михайлович, царство ему небесное, славный был мужик, фронтовик, но выпивать любил — ой любил! Всю Европу прошел, Чехословакию вызволял, Венгрию. Два ордена Славы! К третьему был представлен. Да по ранению в госпитале не нашли... Утоп... — Дед машет рукой, мол, жизнь — жистянка, поджимает губы. — Старинную онкульскую песню запел перед смертью, как в лодку сесть. Плохо дочери отца держали. Штаны оденет, грязи пулей не пробьешь. Не было ему никакого присмотру...

Дуся, чувствуя себя виноватой, что ничего не помнит — ни онкульской песни, ни “Стежки-дорожки”, в конце концов заявляет нам, что одну старинную она знает. Опять выходит на середину избы, поправляет платок, вытягивает руки по швам.

Командир герой, герой отря-а-да-а,
Сам он ехал впереди-и!
Он командовал своим отрядом,
Веселил своих ребя-а-т!

Поет Дуся, закрыв глаза, а перед глазами, на пляшущей с ноги на ногу рыжей лошади то ли колчаковский офицер Иннокентий Кузаков с золотыми погонами, в ладном приталенном мундире, то ли — глаза слезами застит, не разберешь — безымянный красный командир в шапке-богатырке, в длинной шинели, — словом, кто бы он ни был — он тот, кто увезет ее куда-то далеко-далеко от угрюмого отца, копошащихся на печке братьев и сестер, от востроглазой мачехи...

Все ребята едут, веселятся,
Все спешат скорей домо-ой,
Но один боец был невеселым,
Был он круглым сирото-о-й!

...увезет далеко-далеко, где она плясунья, песельница из глухой сибирской заимки станет актрисой! Хватит ей подушку мочить слезами, хватит своим сиротством захлебываться. А он, тот, кто, то ли в офицерской фуражке, то ли в шлеме со звездой — тоже ведь сирота, как и она, словно брат ейный!

Знал бы я, да не-е поехал
Я на родину свою.
Лучше б, лучше б я сражался
В чистом поле со враго-о-м!

— Сиротой он был, чего ему на родине делать, — печально комментирует Евдокия. А потом она опять в который раз заводит свою любимую: “Не сплю, лежу, все думаю, как милого забыть” — тут и офицер в мундире с погонами, который чуть не увез Дусю в Китай, и Зарукин, который “омманул”, и Дорошенко, что на ручках носил и с ложечки кормил, и Степка, который бил “и стулом и поленом”, но все равно Дуся ждала его на берегу, по целым ночам выстаивала. Так ей хочется приключения, интриги, бегства с милым, что, может быть, и не зря порой дед поколачивал плясунью и певунью.

— Да, сколько раз на меня с ружьем наскакивал. Я бы тоже бегать могла, я по ночам работала, как квашонка подойдет — в пекарню ночью итти надоть, а Степка ревнует... Я вот ночью лежу дак и пою про себя, и сказываю. Осталась неграмотная, вышла за такого гада — не спой, не спляши. Прошлый год приехал с больницы, месяц тихий был, потом опять наскакивает, я, мол, тут без него с армяном бегала и со строителем. — Дуся снова, как будто продолжая речь, переходит с разговора на песню:

Куда девался тот цветочек,
Котор долину украшал?
Куда девался тот дружочек,
Котор словами улещал.

Тяжелый храп прерывает ее — дед завалился на подушки, худая рука свисает с кровати, рот у деда открылся, и в нем тускло светятся стальные зубы, ко лбу приклеились остатки когда-то густого чубчика... Евдокия с нежностью глядит на старика. “Он хоть и бегал от меня, хоть и бил, а изменять не изменял. Так вот мы с им и живем, со Степой-то”.

Я, засыпая, слышу, как она поправляет ему подушки, укрывает одеялом, ворочается, устраиваясь рядом с ним на металлической кровати с панцирной сеткой и никелированными шарами...

* * *

На другую осень болотистой прибрежной тропой я добрался до соседнего зимовья, срубленного на Кучёме. Кучёму можно было перейти вброд. Но я знал, какая она бывает весной. Когда мужики после половодья приехали в зимовье, то увидели, что оно, крепко сбитое осенью из листвяков, все перекосилось, потому что мутная полая вода, вышедшая из берегов, приподняла зимовье, словно спичечный коробок, и, уходя обратно в русло, оставила их избушку совсем не там, где они рубили ее, а на другом конце поляны.

Услышав с реки звук мотора, я вышел по тропинке, протоптанной сквозь кусты жимолости и черемухи. Эвенкийское низкое небо нависало над берегом. Железная лодка, подняв коричневую волну, заскрежетала по гальке и аж на полкорпуса вылетела на глинистый берег.

Миша Сафьянников, темнолицый мужик, с разрезом глаз, выдававшим примесь эвенкийской крови, перескочил через борт. Волна накренила лодку, и я увидел с высокого берега, что она забита черно-белыми свиязями, длинноклювыми чирками, сверкающими селезнями.

— Штук двадцать, наверно!

Я с завистью поглядел на разноцветную, пушистую, окровавленную груду крыльев, голов и хвостов.

— Давно надо было мне на дальние калтуса заглянуть! — Миша Сафьянников наклонился над лодкой и осторожно приподнял за концы крыльев крупную пестро-рыжую птицу. — Тетеревятник! Влет сшиб, когда к реке вышли!

Ястреб ворочал по сторонам головой, судорожно сучил лапами, но сделать ничего не мог, потому что Михаил держал его за оба крыла, заломленные кверху.

— Смотрю, с листвяка поднялся и пошел вдоль реки, ну я его влет и ударил.

Он бросил птицу в траву. Тетеревятник, царапая землю когтями, хотел было рвануться в сторону от людей, но, видно, его раны были тяжелы и движение не приносило ему пользы. Ястреб замер, с холодной ненавистью в круглых желтых глазах глядя на страшных существ, обступивших его.

— Зачем он тебе нужен был? — Я постарался, чтобы вопрос прозвучал равнодушно.

— Да ведь тетерок дерет, рябчиков... Ишь ты! — Михаил замахнулся на ощерившуюся птицу. — Из лодки все хотел выскочить, сапог когтями ободрал... Пришлось палкой приглушить...

Из зимовья вышли трое подростков — сын Михаила, Володька, с двумя товарищами. Они уже втянулись в охотничье дело и кое-что понимали в нем. Вчера, засыпая на полатях, застланных жаркой медвежьей шкурой, я слышал, как ребята делились впечатлениями от вечерней зорьки. То ли под их разговор, то ли от выпитой водки, утиного супа и ровного жара, исходящего от смолистых стен зимовья, но спалось, может быть, самым крепким сном в жизни.

— Пап! А что с ним делать? — спросил Михаила сын и осторожно шевельнул забывшуюся птицу палкой. Тетеревятник вздрогнул, белесая пленка сползла с его глаз, он вцепился обеими лапами в сосновый сук, растопырил пестрые крылья и ощерил клюв, показав окровавленный острый язык.

— Все равно подохнет! Давай поглядим, кто из вас первый стрелок. Ну-ка, отнеси его на пень!

Мальчик поднял сук с ястребом, висевшим вниз головой, и пошел к замшелому еловому пню. Тетеревятник волочился по траве и зорко следил за каждым движением своего врага, словно бы выжидая, когда можно будет рвануть его лапой или ударить железным клювом. Но когда Володька поднес его к пню — он сделал короткое движение крыльями, вспрыгнул на пень, опустил перебитое крыло к земле, тряхнул взлохмаченной головой и неподвижно уставился желтыми зрачками на людей, стоявших метрах в двадцати от него.

— Принеси мелкашку! — сказал Михаил сыну. — Стрелять будете только в голову.

От реки с полными ведрами поднялась жена Михаила, Ольга Ивановна, с краснощекой дочкой лет шести.

— Мам! Смотри, Вовка ястреба стреляет! — с восторгом и страхом закричала девочка.

— Пошли, доченька! Пошли! Нам картошку надо чистить, уху варить.

Ольга Ивановна взяла девочку за руку, и по лицу ее видно было, что не хочется ей смотрегь, как ее сын будет сейчас стрелять в птицу, застывшую на пне, словно египетское изваяние. Ольга Ивановна была не из местных. Лет пятнадцать тому назад занесла ее судьба, молоденькую учительницу из Ленинграда, в таежное село, где в первую же весну закрутил

ей голову смуглолицый красавец, жестковолосый метис Михаил Сафьянников...

Мальчик поднял ружье. Долго выцеливался — не хотелось ему, видно, ударить лицом в грязь перед Михаилом. Мы напряженно и молча ждали выстрела. Выстрел грянул. Но пуля, должно быть, едва скользнула на волосок от головы тетеревятника — он дернул головой, обожженной горячим воздухом, переступил с ноги на ногу и опять застыл, глядя на нас неподвижным желтым взором.

— Эх ты! — сказал Михаил. — Ну-ка отдай мелкашку Игорю.

Игорь тоже выцеливался долго, но выстрелил еще хуже, и ястреб ни единым движением не ответил на выстрел.

Третьим винтовку взял паренек в очках. Он был несколько косоглазым, потому и носил какие-то специальные очки. Но я знал, что именно этот хилый светловолосый подросток вчера вечером принес уток больше, чем его товарищи.

"Все равно ястреб подохнет!" — вспомнились слова Михаила, и я закурил сигарету, зная, что птицу сейчас убьют и что сделать что-либо уже невозможно и невозможно уйти, не досмотрев до конца, как это все произойдет.

"Ну зачем он поворачивает голову? Ведь так же в него попасть легче!"

В эту секунду щелкнул выстрел. Хищник слетел с пня, ребята наперегонки бросились к нему, и косоглазый мальчик с молчаливой гордостью приволок птицу к ногам Михаила. Пуля, потому что ястреб повернулся в профиль, прошила оба глаза, и птичья голова была раздроблена вдребезги...

На закате солнца, похлебав ухи из карасей, все уезжали в райцентр. А мне захотелось еще денек-другой побродить с ружьишком по тайге, поглядеть на чахлые эвенкийские сосны, на темную воду Кучемы, поесть с кустов синие матовые ягоды горьковатой жимолости. В глубине души жила надежда нарваться на краснобрового глухаря, но я старался об этом не думать, чтобы не дразнить охотничье счастье.

Моторку, груженную дичью, скарбом и людьми, Михаил с трудом столкнул с берега и, чуть не набрав воды в высокие охотничьи сапоги, перевалился в лодку, рванул стартер и, махнув на прощанье рукой, дал газу...

Я постоял на берегу, докурил сигарету, потом раздвинул руками густую траву и поглядел на ястреба. Его раздробленную с засохшей кровью голову уже густо облепили зеленые мухи.

Я взял птицу за жесткое крыло, подошел к обрыву, размахнулся и бросил ястреба в черную воду. Плавное течение

сначала медленно развернуло распластанное на воде рыжее птичье тело, потом птицу понесло все быстрее и быстрее по коричневой струе в окружении желтой пены, потом она, делая круги, доплыла до поворота, чуть было задержавшись на перекате, вышла на стрежень и, следуя за поворотом реки, пропала из виду.

* * *

Утром за мной должна была прийти моторка. Я встал пораньше — пробежался по ельничку: глядишь, и повезет напоследок. Подходя к мельнице, подумал: надо потише. У ручья должен сидеть! И тут же, стряхнув с куста облачко снега, от ручья взлетел рябчик и как мишень сел на край замшелой мельничной крыши... Когда рыжий Карун, отставший от меня, подбежал к птице, обнюхал ее и поднял голову, я прочитал в его глазах одобрение за удачный выстрел, полез в сумку, достал ломоть хлеба и кусок сахару. Хлеб Карун проглотил, от сахара гордо отказался, подбежал к ручью, пробил лапой тонкий лед и, часто работая розовым языком, напился.

А снег, редкий и медленный, все сыплет, связывая небо с землей, укрывая мои следы, медленно перекрашивая черные ели, и золотистые от лиственничной хвои муравейники, и зеленые заросли медвежьей ягоды косицы, и алые лохмотья черемухи в белый цвет, еще непривычный для глаз. Потому-то они так щурятся во время снегопада, хотя вроде и солнца не видать, и мягкий белый сумрак разостлался по всему наволоку.

Пожевать напоследок хрустящей подмороженной рябины, сорвать с куста алую ягоду шиповника, чтобы во рту надолго остался вкус горечи и сладости...

1978—1998 гг.

Русско-еврейское Бородино

Провокация "Метрополя" и мое письмо в ЦК КПСС. Русский и еврейский фланг в советской культуре. Наши кровные шабесгои. На ковре у Альберта Беляева. Чаковский воспитывает меня. Мифы о государственном антисемитизме. Моя "эмиграция". Простодушный народ и коварная элита. Мой "биологический"патриотизм. Судьба Мишани

Для тех, кто забыл, что такое "Метрополь", напомню, что это был альманах двадцати трех московских писателей, изданный ими за границей в 1979 году.

Организатором и вдохновителем альманаха стал В. Аксенов, сжигавший корабли и готовивший свой отъезд на Запад. Акция была продуманная и очень эффектная. Издание уже составленного альманаха его создатели подзадержали, чтобы не помешать получить Вознесенскому осенью 1978 года Государственную премию. Когда дело с премией прошло благополучно — козырная карта "Метрополя" была брошена на стол. События развивались прямо-таки по детективному сюжету: по Москве объявлялись слухи о пресс-конференциях редколлегии альманаха, места конференции переносились то на переделкинские дачи, то, в целях широкопропагандистских, в различные городские кафе, власти сбились с ног, не успевая закрывать намеченные для подобных акций кафе на срочные "ремонты". Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, с поразительной осведомленностью толпой появлялись у закрытых дверей "Лиры" или "Аэлиты" с табличкой

“Санитарный день” и тут же отстукивали в свои газеты информацию о гонениях на метропольцев. Отдел культуры ЦК и руководство Союза писателей сбились с ног, не зная, что делать: уговаривали, грозили, сулили дополнительные блага — хватались то за кнут, то за пряник... А слухи, разговоры, репортажи в мировой прессе нарастали, как снежный ком, создавая невиданный ореол гонимому В. Аксенову, уже принявшему окончательное решение...

Листаю газеты тех жарких лет, дискуссии и стенограммы обсуждений и не вижу там в числе гонителей “Метрополя” никаких одиозных фамилий, “певцов застоя”, “реакционеров”, редакторов “антиперестроечных” журналов... Ни С. Викулов, ни М. Алексеев, ни В. Белов, ни В. Астафьев, ни П. Проскурин, ни Н. Грибачев, ни В. Кожинов, ни Ю. Бондарев, ни М. Лобанов, ни Ан. Иванов, ни В. Чивилихин, ни Ю. Селезнев, ни В. Распутин ни слова не сказали в печати о “Метрополе”... В печати. В частных разговорах, да, помню, говорили приблизительно следующее, сходясь на одной мысли: этих метропольцев чиновники из ЦК КПСС и из руководства Союза опекали весьма усердно, многие из них из “загранки” не вылезали, никаких отказов им не было. Америка? — Америка! Япония? — Япония! Зал в Лужниках? — Получите! Телевидение? — Ради бога! “Избранное”? — Пожалуйста! Ну и пусть сами наши идеологи, создавшие такую элиту, несут ответственность за неприятности, которые причинила им элита со своим “Метрополем”. А мы за это не отвечаем и просто брезгуем заниматься грязным делом...

Так говорили писатели между собой и так игнорировали призывы чиновников из ЦК КПСС — Зимянина, Шауро, Беляева, Долгова и других — “пожурить” избалованных литературных инфантов... Дело все-таки было серьезным. И чтобы его “закрыть”, надо было провести хоть какое-то формальное осуждение, хотя бы для спасения чести идеологии, ее брежневско-сусловского застойного лица, вдруг исказившегося от пчелиного укола метропольского жала... Как ни крутились, а обсуждение альманаха пришлось устроить. Поговорили, видимо, с другими людьми, чего-то пообещали им, организовали ораторов. Кто же стали этими ораторами? Только не удивляйся, дорогой читатель: метропольцев, то есть будущих “прорабов перестройки”, осудили другие будущие прорабы той же перестройки. И те и другие сейчас стоят в одном ряду и, забыв старые разногласия, печатаются в одних органах, нахваливают друг друга, и фотографии их в обнимку часто украшают страницы наших популярных изданий.

Но в 1979 году нынешние друзья “Метрополя” отзывались об альманахе так, как должно отзываться людям, живущим по принципу “чего изволите?”. Я не сужу их: они такими родились — сегодня обслуживают одну идеологическую ситуацию, завтра — другую, послезавтра обслужат третью. Но назовем фамилии “гонителей и преследователей”. Что говорил о “диссидентах” десять лет тому назад будущий главный редактор журнала “Знамя” и распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов?

“Не могу себе представить американского читателя, который бы по доброй воле прочел весь этот альманах. Я этого сделать не смог, так как художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уж не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе”.

А вот отзыв будущей перестройщицы Р. Казаковой:

“Налицо невероятная безнравственность поведения. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Здесь сексопатология. Это литература частного лавочника. Этого мы не должны допустить. Для этого надо ехать в Америку”.

А вот что писал пропагандист творчества А. Вознесенского, Ф. Искандера, А. Битова, Б. Ахмадулиной и других метропольцев будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров:

“Он (“Метрополь”. — **Ст. К.**) заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не по джентльменским правилам”.

Автор книг и статей о Н. И. Бухарине, о Н. И. Вавилове, известный прозаик перестроечной волны, ныне покойный и забытый В. Амлинский:

“Мутное щегольство словами” есть в этом альманахе, который в целом ряде сочинений составляет впечатление тягостное”.

Член-корреспондент АН СССР П. Николаев, тот, который в своих литературоведческих интервью последнего десятилетия защищал любую свободу творчества и клял эпоху застоя с ее давлением на художников слова:

“Авторы сборника сделали нечто такое, что является задворками западноевропейской культуры... Конкретное содержание и форма материала сборника — вне вековых традиций нашей культуры и, по существу, враждебны ей... За серьезных, вернее, одаренных писателей, принявших участие в этом сборнике, стыдно. Сама же идея подобного издания не

может не быть нравственно и профессионально осуждена".

Один из самых боевых и прогрессивных критиков и ораторов последнего двадцатипятилетия, пострадавший во время гонений на "космополитов" А. Борщаговский:

"У нашей литературы всегда был нравственный порог, которого достигала жизнь и за нею литература, нравственный порог, о котором забывать нельзя, ибо, если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех "Метрополя" — в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой".

Популярный детский писатель, громко ратовавший против всякого рода остатков сталинизма и диктата над волей писателя, ныне живущий в Израиле А. Алексин:

"Дело с альманахом достойно презрения, потому что замешено на лжи и подлежит всеобщему осуждению..."

Были в числе судей "Метрополя" и Б. Полевой, и С. Залыгин, и В. Карпов. Руководил кампанией первый секретарь Московской писательской организации Ф. Кузнецов. По должности и по приказу свыше, так сказать. Остальные "гонители" были "вольнонаемные". Все они страстно, убежденно, со знанием дела — что самое пикантное, на мой взгляд! — по существу справедливо критиковали альманах. Одного только не рассчитали, что изменится время, "Метрополь" снова будет "прославлен" на гребне перестройки, а они, находящиеся на том же гребне, будут вынуждены сделать вид, что не имеют никакого отношения к судьбе альманаха, или, подмигнув метропольцам, должны будут намекнуть: "Оцените, какую неблагодарную, черную, но нужную работу мы сделали тогда, прорабатывая вас, мы фактически спасли вас от оргвыводов идеологии, сыграли роль громоотводов. А эти гордецы-консерваторы — всякие Алексеевы, Ивановы, Викуловы, Кожиновы, Беловы, Чивилихины, — истинные-то ваши враги, не помогли вам в трудную минуту, не спустили щекотливое дело на тормозах, не вняли просьбам Большой Идеологии, в позу встали, консервативно-патриотическую, и до сих пор стоят в ней, за что и осуждала и осуждает их Большая Идеология и в метропольские времена, и в наши тоже... Ишь, чистенькими быть захотели в грязное время! Уже тогда они показали свою негибкость, свою якобы принципиальность, словом, свою неспособность к перестройке... А мы-то хоть и клевали вас, да все равно, как родных, любя клевали! Так что не обижайтесь! Кто старое вспомянет..."

Аз же, грешный, в те годы, видя растерянность наших

чиновников, вынужденных одной рукой наказывать метропольцев, а другой спасать их, решил воспользоваться ситуацией и написал свое размышление о "Метрополе", о сочинениях, помещенных в нем, о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха, о двуличии и двоедушии цековских чиновников — и пустил свое сочинение по белому свету.

Мысль моя в то время работала так: "Пользуясь или слабостью власти, или тайной ее благосклонностью, эти ребята крупно подставились. Еврейское лобби в ЦК растеряно, нельзя давать ему передышки. Надо или надолго лишить его инициативы, или..." О другом "или" думать не хотелось. Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги.

После выступления в конце 1977 года на дискуссии "Классика и мы", когда меня все-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой.

Я сел за стол, вооружился своими давними рабочими заготовками и за один день написал 12 страниц, которые озаглавил очень просто: "Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха "Метрополь".

Я процитирую несколько основных положений письма, но скажу предварительно лишь о том, что, сочиняя его, я не мог обойтись без некоторых штампов и разрешенных идеологией той эпохи формулировок. Слишком велик был риск: ведь если бы меня за это письмо тогда смяла партийная машина, я не смог бы в отличие от, допустим, Аксенова, Войновича, Гладилина уйти из-под ее давления на Запад, хотя бы потому, что бросал в письме вызов антирусской прозападной части партийной верхушки. На Западе мне житья не было бы.

Выступая против еврейского засилия в культуре и идеологии, я не мог говорить прямо: "еврейская воля к власти", "еврейское засилье", "агенты влияния", а потому мне приходилось использовать обкатанные штампы, в которых основным термином было слово "сионизм". Но умные люди, конечно же, понимали, что смысл моего письма гораздо глубже и гораздо опаснее, нежели заключавшийся в этом к тому времени уже истрепанном клише. И к тому же, дабы партийные церберы (а я знал, что попаду на проработки к ним) меня не сожрали, я не мог не упомянуть в письме знаковое имя "Ленин". "Пусть видит око, да зуб неймет" — так приблизительно думал я, сочиняя письмо. Кстати, всем нам, русским государственникам, за годы перестройки за наши действия и слова 60—80-х годов все косточки перемыли. А моего письма всерьез

никто не коснулся. Лишь Аксенов один глухо, сквозь зубы упомянул о нем в "Огоньке" конца восьмидесятых, как о "политическом доносе", и молчок. Хотя борьба со мной, как с главным редактором "Нашего современника", велась на полное уничтожение. Ничем не брезговали. Подробно клеветали в прессе и по телевизору, что я чемоданы барахла из Америки привез, что был пойман рыбнадзором за "ловлю семги сетями на северной реке", что на какой-то тусовке хватал за груди Галину Волчек, что по происхождению я "татарский еврей" и т. д. Словом, все было мобилизовано. А о письме в ЦК, казалось бы, о главной улике — молчок. Значит, понимали, что этого касаться им невыгодно.

Конечно же (к чему лукавить!), мне не было дела до того, что́ печатают в "Метрополе" Белла Ахмадулина или Инна Лисянская, Арканов или Розовский, а тем более Попов с Ерофеевым. Но я решил, воспользовавшись их авантюрным ходом, нарушившим правила игры и, возможно, задуманным ими как реванш за дискуссию "Классика и мы", ударить по высшим идеологическим чиновникам ЦК, которых вольно или невольно подставили их любимчики. Я рисковал, но надеялся: а вдруг мне на этот раз все-таки удастся раздвинуть границы нашей "культурной резервации", жизнью которой руководили Зимянин и Шауро, Беляев и Севрук, во имя наших русских национальных интересов? Конечно же, мое письмо было крупным актом борьбы за позиции в русско-еврейской борьбе. Сделав хотя бы часть этой борьбы гласной, я рассчитывал ошеломить недосягаемых чиновников из ЦК, помочь нашему общему русскому делу в борьбе за влияние на их мозги, на их решения, на их политику. Я прекрасно сознавал, что в моем письме наряду с неопровержимыми фактами и исторической правдой были элементы рискованной политической игры, но я знал, с кем имею дело, и знал, что разговор именно на этом языке для людей такого рода, как Михаил Зимянин или Альберт Беляев, будет понятнее, чем на любом другом. Я хотел развить некоторый успех, которого год тому назад мы достигли на дискуссии "Классика и мы". А главное, я решил воспользоваться приемом наших врагов: сделать это письмо достоянием Самиздата, пустить его по рукам. А иначе они бы объявили его "доносом", "кагэбэшной акцией" и т. д. Никаких забот о личной карьере в голове у меня не было. Зачем она мне? Я любил свободу и жизнь поэта и вольного художника.

Вот несколько основных положений этого письма.

"В альманахе "Метрополь", кроме открытых антисоветчиков, диссидентов и полудиссидентов, выступили

весьма известные советские писатели — Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лисянская, Арканов, Розовский... Зададимся вопросом: а чем же вызвано их участие в альманахе, их, чьи книги издаются и переиздаются, чьи имена не обделены вниманием критики, кому предоставляются для выступлений самые громадные залы. Кто чаще других говорит, якобы от имени советской литературы, в зарубежных аудиториях".

"Семен Липкин опубликовал в "Метрополе" стихотворение "В пустыне", об очередном еврейском исходе.

Идем туда, где мы когда-то были,
чтоб наши праотеческие были
преображали правнуки в мечты.
Нам кажется, что мы на месте бродим,
однако земли новые находим,
не думая достичь меты.

Не думаю, чтобы удел "исхода" и смены родины соответствовал сущности советского патриотизма. Однако удивляться нечему, все логично, потому что Липкин еще десять лет назад опубликовал в советской прессе стихотворение "Союз И". Я хорошо помню его главный рефрен: "Человечество быть не сумеет без народа по имени "и"... Приведу выдержку из инструкции Министерства просвещения Израиля: "Педагогический секретариат. Отдел основного общественного воспитания: "Евреи в Советском Союзе и мы" (материал для общественного часа).

Вопрос: Что олицетворяет чувство принадлежности к еврейству? Ответ: Сборы у синагог... слушание передач "Голос Сиона" в диаспоре. Призыв к протестам, письмам... Урок заканчивается декламацией "Союза И" С. Липкина на иврите..."

Когда в конце прошлого года я выступал на вечере поэзии в Государственном музее Маяковского, мне пришло в форме записок от учителей средних школ несколько вопросов, среди них были и такие: "В свою прошлую поездку по Соединенным Штатам поэт А. Вознесенский с успехом выступал в организациях американской сионистской молодежи, за что даже получил звание почетного гражданина Лос-Анжелеса. Считаете ли вы этически возможным для советского поэта выступления в подобных аудиториях". Андрей Вознесенский не раз декларировал суть искусства, независимую от отечества. В стихотворении "Васильки Шагала" он прямо пишет: "Родины разны, но небо едино. Небом единым жив

человек". В этом же стихотворении, обращаясь к Шагалу, Вознесенский, весьма двусмысленно играя словами, призывает художника: "Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет..." И словно бы услышав этот призыв, Шагал нарисовал "непобедимо синий завет" — расписал кнессет — парламент в Тель-Авиве.

Одним из авторов альманаха "Метрополь" является стихотворец Генрих Сапгир. Стихи его в начале шестидесятых годов широко были представлены в разного рода диссидентских "синтаксисах", потом — и до сих пор — он регулярно печатался и печатается на Западе в откровенно антисоветских изданиях. А у нас этот литератор благополучно издает книги для детей в издательстве "Детская литература" и является одним из составителей "Букваря", изданного миллионными тиражами, "Букваря", уникального в том смысле, что в нем есть немало стихов Сапгира и впервые в истории нашего школьного дела нет стихов Александра Пушкина. А ведь до войны были! Как же можно такому человеку доверять дело, с которого начинается познание родины и родной русской литературы!

Надо сказать, что за последнее время вообще немало исторических, литературоведческих и филологических изысканий выходит в свет с идеями, родными и близкими сионизму в самом широком смысле слова. Печально известны в этом смысле исторические "исследования" поэта Олжаса Сулейменова, с его постоянным определением еврейского народа, как "главного народа"... Это ли не льет воду на мельницу тех, кто говорит о мессианской роли Израиля в судьбах человечества! Надо сказать, что Сулейменов последователен в пропаганде аналогичных взглядов. В одной книге его стихотворений есть поэма "От января до апреля", вроде бы о Ленине, хотя большая часть ее посвящена страданиям еврейского народа, несмотря на то, что в последние десятилетия после того, как сионизм показал свои зубы, разговор об этих страданиях становится бестактным по отношению к народу Палестины. Повествование ведется Сулеймено́вым на таком примитивном "литературно-историческом" уровне:

Евреи злые, евреи знали,
что не евреи Христа распяли!
Скрывали хитрые, всё принимали,
всё понимая, миру давали
взамен Христа других богов,
а им за тех богов — Голгофу!

Не буду говорить об этой поэме подробно — в ней много политически наивного и поэтически беспомощного, процитирую только отрывок, в котором речь идет о Ленине. Вот каким изображает Ленина Сулейменов:

Его таким нарисовал Андреев —
его один бы бог не сотворил.
Арийцы принимали за еврея
его, когда с трибуны говорил.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит и смуглеет(?)

*(Это что — мир становится семитским, что ли? — **Ст. К.**)*

Мир был совсем иным в последний час,
в последний час
короткой жизни Ленина.
Приходится порой простые мысли
доказывать всерьез, как теоремы.
Он, гладкое поглаживая темя,
смеется хитро, щуря глаз калмыцкий.
Разрез косой ему прибавил зренья,
он видел человечество евреев...

Изобразить Ленина в образе вождя, поддерживающего сионистские идеи о "человечестве евреев" — это уж слишком! Нет, не таков был он, страстный борец против Бунда и всякого национализма, в том числе и еврейского, сторонник естественной исторической ассимиляции евреев в тех народах, где они живут.

В 1977 году в большой серии "Библиотеки поэта" — популярном издании вышла книга стихотворений Эренбурга. Эренбург — поэт сложный. Много раз менявший свои убеждения и написавший за свою долгую жизнь много всего разного. Не всё из того, что он написал, конечно, заслуживает переиздания. Особенно стихи, продиктованные поэту его сионистскими иллюзиями и убеждениями. Так зачем же в таком случае составителю Б. Сарнову надо было включать в книгу, а издательству издавать следующее стихотворенье Эренбурга, написанное в 1922 г.?

Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.
Запомни только, сын Давидов,
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.

Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука...

Стихи, полные сионистской фразеологии, сознания избранничества, гордыни и религиозного национализма, настолько близкого шовинизму, что их вполне можно, допустим, рекомендовать для чтенья в частях нынешней израильской армии, "сыновей Давида", которые "учатся неистовству"!

А давайте заглянем в сборник "Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников", изданный "Советским писателем" в 1973 г. и щедро нафаршированный всякого рода размышлениями об "избранничестве". "Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, "интеллектуальное пиршество" фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали "управителями", "победителями", владетелями шестой части земли... Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей" (А. Адалис). Странно, что классом победителей здесь названы не рабочие и крестьяне — а фармацевты и маклеры!

В этой же книге есть воспоминания Бабеля, в которых говорится следующее:

"Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого. Из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти. Какими легкими соседями будем мы тогда окружены, как неутомительна и плодотворна будет жизнь".

Неважно, что все эти весьма тенденциозные рассуждения написаны в тридцатые годы, — важно, что они переизданы в семидесятые, что это кому-то было нужно — рассуждения о "коммунистическом рае из одесситов" и о победе на шестой части земли "маклеров и фармацевтов". Нельзя в наше время в новых исторических условиях вытаскивать на свет эти уже обветшавшие идеи, так же, пожалуй, как нецелесообразно уже автоматически перепечатывать кое-что в книгах самого Багрицкого, отдавшего при всей своей революционности и таланте щедрую дань сионистским заблуждениям. Разве можно сейчас читать без недоумения следующие, допустим, строфы из поэмы "Февраль"?

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...

Я много бы дал, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной,
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками.

Не бескорыстной интернациональной радостью — за первые демократические победы революции, а хмельной националистической гордыней обуреваем герой этой поэмы, проповедующей насилие и буржуазный истерический анархизм.

Поэму Багрицкого напечатали за полвека миллионными тиражами! Так же как и его стихи, оправдывающие любой террор и в корне противоречащие гуманистической традиции русской классики: "Оглянешься — а кругом враги, руку протянешь — и нет друзей, но если век скажет: солги! — солги. Но если век скажет: убей! — убей".

Кстати, я написал статью об идейной борьбе в поэзии двадцатых годов, где поднимаю все вышеизложенные проблемы, — и вот уже несколько лет не могу ее опубликовать, так же как не могу опубликовать антисионистские стихи, написанные после поездок на съезд писателей Палестины, в Ирак и в Египет".

"Да что говорить о нашей прессе, о наших издательствах, о наших статьях и стихах! Достоевского полного собрания сочинений издать не можем — дошли до семнадцатого тома несколько лет тому назад и остановились в недоумении перед "Дневником писателя", в котором гениальный Достоевский уже фактически сто лет тому назад разглядел цели и суть тогда еще нарождающегося сионизма и писал, глубоко проникая в тайну его могущества: "А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, всё это было и прежде и всегда, но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, не даром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами, не даром же они властители кредита и не даром, повторю это, они же и властители всей международной политики"...

"Издание собрания сочинений задержано, и нет особенной надежды, что возобновится, если принимать в расчет нашу уступчивость по отношению к сионизму в области литературы. А о собрании сочинений Блока — я уж и не

говорю. Все предыдущие собрания выходили с купюрами, там где Блок касался проблем еврейства и русофобства — купюр этих около полусотни. Совершенно уверен в том, что собрание сочинений, готовящееся к столетнему юбилею Блока, появится в том же обрезанном виде. А что же появляется у нас в необрезанном виде? Размышления Гейне, работающие на идею мессианства, на прославление "избранного" народа, на националистическое высокомерие. Вот несколько мыслей из Собрания сочинений (М., 1959 г.).

"Еврейство — Аристократия, единый бог сотворил мир и правит им, все люди — его дети, но евреи — его любимцы и их страна — его избранный удел. Он монарх, евреи его дворянство и Палестина экзархат божий".

Или: "Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку...". Или: "...В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием"... Что это такое — как не националистически религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне — крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков — тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а проницательные размышления Достоевского по этому поводу (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые работали бы в борьбе с сионизмом на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?

О многом еще можно было бы написать: о русофобстве, как о форме сионизма — примеров более чем достаточно, о том, что в самые сложные и трудные, казалось бы, капиталистические страны чаще всего наш Союз писателей посылает людей, кокетничающих с диссидентством, что и подтвердилось фактом появления "Метрополя", о том, что эти люди заботятся не столько о пропаганде советской литературы — сколько о собственной рекламе, о собственных изданиях, о собственной популярности, а за всё это приходится платить уступками в самом главном — в сознании своего патриотического долга перед родиной.

Ст. Куняев,
февраль 1979 г."

Надо сказать (о чем никто не знает), что это было уже второе мое письмо. Первое, более краткое и более мягкое, я сначала послал на имя Суслова. Но, прождав месяца два ответа и ничего не дождавшись, понял: цековские лицемеры ничего не ответят мне, сделают вид, что ничего не получали, подумают, что я сдался и больше не буду "подымать волну"... Ах, так?! Нет, не на того напали! И я написал второй, окончательный, расширенный вариант и продумал, как сделать, чтобы письмо не кануло в небытие в глухих цековских архивах. Сусловское ведомство не хочет отвечать мне — напишу на конверте просто "в ЦК КПСС", а что делать дальше — придумаю...

...Как сейчас помню: подъехал я к экспедиции ЦК КПСС в переулок возле Старой площади, постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приемном окошке возьмет у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнется неведомая жизнь с неведомыми последствиями... Но вспомнил еще раз погибшего недавно моего друга Эрнста Портнягина, еще раз подумал: "а вдруг и со мной какой-нибудь несчастный случай!" — и... протянул письмо в окошко.

В этот же день мы вместе с Вячеславом Шугаевым уехали на электричке в Загорск, чтобы поискать в окрестных деревнях крестьянские дома, которые мы хотели каким-нибудь образом купить, чтобы жить рядом и обладать хоть какой-то долей независимости от опостылевшей нам обоим московской жизни. По дороге я читал ему второй экземпляр письма, мы выходили в заиндевевший тамбур, курили, мечтали, спорили, думали о последствиях моего шага, который он одобрял, но боялся, как бы со мной не расправились по-настоящему (Шугаев обмолвился, кстати, что он тоже пишет размышления на те же темы и называться они будут "Глазами гоя"). Впрочем, за несколько дней до окончательного своего решения я уже предпринял кое-какие меры безопасности. Во-первых, я посетил нескольких директоров издательств, на книги которых ссылался в письме. Каждому из них я вручил по экземпляру письма. "Пусть знают — все буду делать гласно и открыто, это единственный путь, чтобы не попасть на Лубянку", — так думал я.

Помню весьма любопытное посещение председателя Российского Комитета по делам издательств Николая Васильевича Свиридова. Просидев битый час в его приемной, я все-таки дождался приема и, когда секретарша сказала мне: "Николай Васильевич ждет вас", вошел в кабинет и вместо того, чтобы попросить министра о включении в планы какой-

нибудь своей книги (что делали 99 из 100 посещавших его писателей), протянул ему письмо на 12 страницах и попросил прочитать при мне.

Надо было видеть испуг и смятение этого хорошего русского человека, прошедшего войну, награжденного орденами, участника Парада Победы. Когда он, прочитав письмо, после минуты молчания поднял глаза, в них была сплошная мука. Взгляд его говорил: "Ну зачем мне это знать! Зачем ты ко мне пришел! Я же тебя совсем не знаю. А вдруг ты — провокатор!" После долгого, становившегося просто неприличным, молчания министр выдавил из себя только одну фразу: "Да, с сионизмом надо бороться..." Я поблагодарил его, вышел из кабинета, убедившись, что у людей этого уровня поддержки не найти, что они боятся, а от страха смогут и осудить и предать... И лишь после этой мысли я понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все выглядит как моя забота о судьбе культуры, идеологии и государства, чтобы не "сгореть дотла", пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня проработают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают — пусть письмо расходится по руслам и ручейкам патриотического Самиздата. Я уже знал, что в отличие от диссидентско-западного существовал и Самиздат такого рода.

В эти дни вдруг ко мне, секретарю московской писательской организации, зашел наш куратор из Комитета госбезопасности, он и раньше заглядывал в организацию, чаще к первому ее секретарю Феликсу Кузнецову или к Юрию Верченко, иногда заходил и к нам, рабочим секретарям, для того, чтобы выяснить настроения, узнать, кто что натворил, кто собирается уезжать. По многим признакам можно было понять, что это человек русский, государственник, не чуждый патриотических мыслей и чувств. Я, в частности, вспоминаю, как за год-полтора до моего письма, когда гроза нависла над Сергеем Семановым, тогда главным редактором журнала "Человек и закон", за хранение в служебных столах какой-то патриотической эмигрантской литературы, этот сотрудник как бы случайно на ходу встретился со мной и попросил передать Семанову, чтобы тот предпринял все возможные меры для своей защиты.

А в эту нашу встречу перед своим окончательным решением о передаче письма в ЦК я прямо спросил его — правильно ли я поступаю.

— Сколько экземпляров Вы уже раздали? — спросил он.

— Пять, — ответил я.

— Запомните: нельзя, чтобы было больше восьми. Это как бы для служебного пользования. А если копий будет больше восьми, то по нашим инструкциям Вы будете обвинены в распространении... Это уже другая статья, куда более опасная.

Я спросил его:

— Где будут со мной разговаривать после того, как письмо будет отправлено — в ЦК или КГБ?

— Видимо, в ЦК. Но если Вас будут вызывать на Лубянку, я постараюсь, чтобы Вы попали в русские, а не еврейские руки. (В октябре 1993 года я встретил этого человека в окруженном омоновцами Верховном Совете. Он был одним из организаторов обороны.)

Мой начальник Феликс Кузнецов ничего не знал о моих коварных планах. Во-первых, поскольку я ему ничего не сказал, чтобы не подставлять его. А во-вторых, я понимал: покажу — он сделает все, чтобы я не отсылал письма, запретит. Срочно ушлет за границу. Что-нибудь пообещает, в чем я нуждаюсь. Соблазнит... В-третьих, все время, пока я работал с ним, меня точила мысль о том, что несколько абзацев из его статьи "Советская литература и духовные ценности", опубликованной в ноябрьском номере журнала "Нации и религии" за 1972 год, чуть ли не буквально были повторены в знаменитом русофобском сочинении А. Н. Яковлева "Против антиисторизма", появившемся в свет буквально в те же самые дни. Не хотелось думать, что Феликс участвовал в создании яковлевского документа, но "все же, все же, все же..." Нет, всю ответственность я должен взять на себя одного. Одному — легче...

Официальный гром грянуть не замедлил: такое неожиданное толкование и такое несанкционированное обсуждение "Метрополя" крайне раздражило чиновников из ЦК. К тому же вслед за моим письмом в русском Самиздате стало гулять по рукам письмо некоего Василия Рязанова (конечно, это был псевдоним), в котором автор пошел много дальше меня: *"Это происходит потому, — писал Рязанов, — что в аппарате ЦК КПСС существует могущественное сионистское лобби, покрывающее неблаговидную деятельность антисоветской агентуры и не позволяющее ее пресекать под тем благовидным предлогом, что это, дескать, вызовет обвинение в антисемитизме, отрицательную реакцию "мирового общественного мнения" и нанесет ущерб разрядке... Можно назвать и конкретных лиц в аппарате ЦК, прикрывающих деятельность сионистско-диссидентских групп, это прежде всего Севрук Владимир Николаевич, зам. зав. отделом*

пропаганды ЦК, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры... Чехословацкие события не должны повториться в нашей стране".

Письмо Рязанова пошло по рукам, стало широко известным, и этой "нелегальщины" наши цековские покровители вынести не смогли. Но они сделали паузу в два месяца, ожидая, видимо, откликнутся ли на мое письмо крупнейшие литературные вожди так называемой "русской партии" — Леонид Леонов, Анатолий Софронов, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Чивилихин, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Егор Исаев... Но из них не откликнулся никто.

Прочное литературное и общественное положение, менталитет патриотических генералов от литературы, сознание своего влияния и благополучия, опасение потерять немалые материальные возможности, просто житейская и человеческая осторожность, видимо, не позволили им открыто поддержать меня. Думаю, что когда во время перестройки их творчество, их имена, их репутации были безжалостно осмеяны и оболганы, многие из них пожалели о том, что в свое время не помогли мне. Как и мой прямой начальник Феликс Кузнецов, который сказал мне в те дни историческую, врезавшуюся в мою память фразу: "Ты, Стасик, нарушил законы ролевого поведения, и за это придется заплатить". "Ролевого" — от слова "роль". Но я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена.

* * *

В литературно-идеологической жизни 60—70-х годов для характеристики скрытного русско-еврейского противостояния бытовал термин "групповщина". Так сложилось, что с одной стороны ее возглавляли "официально правые", с другой — "официально левые". Официально правыми считались, к примеру, Александр Прокофьев, Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев. Лагерь официально левых возглавляли Константин Симонов, Даниил Гранин, Александр Чаковский, Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев...

Попасть в обойму "официальных" было почетно и денежно — гарантированные издания, премии, загранкомандировки, квартиры. Их не клевала, за редчайшими исключениями, критика, они были неприкасаемыми авторитетами, давшими

обязательство за все эти блага обеспечивать идеологическое равновесие в литературе. С годами к лагерю официально правых потянулись Владимир Фирсов, Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин, а официально левые укрепили свои ряды именами Евтушенко, Вознесенского, Коротича.

Мы ясно ощущали и понимали такое положение дел, демонстративно сторонились официально левых, брезговали ими и не раз публично высказывали свое отношение к ним.

Официально правые были нам ближе — все-таки свои, русские! Но сближаться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок, подчиниться своеобразной групповой дисциплине, и мы не желали этого.

Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Ланщиков, Михаил Лобанов... Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным, с Юрием Кузнецовым.

Верхушку официально правых не случайно совершенно не тронула скандальная статья А. Яковлева "Против антиисторизма". Она была скорее направлена против "второго эшелона" русских писателей, то есть против нас. Грозным предупреждением для правых стали дела "русских националистов" Бородина — Огурцова и Осипова. Этими делами власть как бы поставила предел нам: эту границу переходить нельзя! Левым же граница их идеологических поисков была поставлена высылкой за границу Иосифа Бродского и процессом Даниэля и Синявского...

Помню, как по окончании одного из писательских съездов, во время банкета заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро — худой, высокий, седоволосый старик, демонстрируя "единство партии и народа", пошел вдоль ряда столов, уставленных водкой и закусками. Писатели отмечали в Кремлевском Дворце окончание съезда. Он шел молча с бокалом в руках, кивками головы поздравлял писателей с успешным окончанием работы, прихлебывал время от времени из бокала за их здоровье, но не говоря никому ни слова, словно бы оправдывая прозвище, которое укрепилось за ним: "великий немой". И вдруг ни с того ни с сего остановился возле меня и Бориса Романова. Мы встали, чтобы чокнуться, и "великой немой" вдруг заговорил, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышали все остальные:

— Политика партии в том, чтобы в разумных пределах поддерживать все группировки писателей. Мы не можем выделять особо ни одну из них. Качели не могут качаться в

одну сторону. Выдержать равновесие — вот наша задача с вами. За это и выпьем...

Мы выпили, и он пошел дальше, продолжая молчаливый обход писательских рядов.

Впрочем, интересы еврейского лобби в 60—80-е годы, к сожалению, обслуживала и целая прослойка функционеров-литераторов русского происхождения: Анатолий Ананьев, Вадим Кожевников, Сергей Наровчатов, Сергей Баруздин, Михаил Колосов, Савва Дангулов — главные редакторы крупнейших литературных изданий, видные чиновники. Скорее всего потому, что благодаря поддержке или в лучшем случае лояльности еврейских кругов можно было рассчитывать на то, что ЦК утвердит тебя на каком-либо значительном посту. А сколько было именитых литераторов, посвятивших свои перья обслуге этой касты! На сем славном поприще рьяно подвизались и нынешний академик-литературовед Петр Николаев, с лекций которого в МГУ мы сбегали по причине их непроходимой бездарности и скуки, и другой академик Дмитрий Лихачев, и членкор Вас. Вас. Новиков, и редактор сегодняшнего "Знамени" Сергей Чупринин, да и цэкушник Альберт Беляев тоже ведь был писателем. Что говорить, если это "русское крыло" возглавлялось Георгием Марковым и Сергеем Михалковым, вскормившим целое войско "классиков детской литературы" — и ее критиков и никому не нужных исследователей. Но ничто не проходит бесследно. Как правило, русские люди, пошедшие в услугу к еврейскому лобби, были или совершенно бесталанными литераторами, или очень быстро (Наровчатов, Михалков, Дудин, Луконин), истратив все свои способности в молодые годы, во вторую половину жизни становились всего лишь навсего высокопоставленными представителями обслуживающего персонала, которых в душе презирали и настоящие русские и умные евреи.

Да, эти шабесгои были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:

"С евреями ведя дела, чувствуешь, что все "идет по маслу", все стало "на масло", и идет "ходко" и "легко", в высшей степени "приятно". (...) Едва вы начали "тереться" около него, и он "маслится" около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все "по маслу" течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться "в себе" и "один", остаться "без масла", — вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все

унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с "маслом" и евреем, — и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас — пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде — в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой — он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности — б е з ъ я и ч - н ы й, он присасывается "пустым мешком себя" к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен "удивительными сокровищами в вас", которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому "имитировать", всему этому "подражать" — все искажает "пустым мешком в себе", своею космогоническою б е з ъ я и ч- н о с т ь ю и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию — поддельною поэзиею, вашу философию — философической риторикой и пошлостью (...)

И так — везде.

И так — навечно".

(В. Розанов. "Опавшие листья". III короб. 21.11.1914.)

Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь — не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в "высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо"... А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Как это ни грустно признать, но не раз в нашей русской среде я сталкивался (даже в минуты роковых обстоятельств!) с равнодушием, апатией, трусливой осторожностью. Словом, "моя хата с краю". Помню, как в начале 80-х годов, когда андроповское КГБ начало охоту на русских националистов, внезапно был снят с должности главного редактора журнала "Человек и закон" мой товарищ Сергей Семанов. Его кабинет подвергся обыску, во время которого были найдены запрещенные книги и журналы...

Семанов остался без работы, без средств к существованию, без возможности каких-либо публикаций. Я знал, что в таких случаях делает еврейская общественность. Как она тайно и явно начинает защищать своих гонимых, составляет коллективные письма, собирает деньги на поддержку семьи и т. д. Я предложил друзьям Семанова воспользоваться тем же опытом. Первым, с кем я поделился своими соображениями, был старинный друг Семанова, один из патриархов русского сопротивления Виктор Чалмаев. Но что вышло в итоге из моего плана, видно по письму, которое вскоре я был вынужден написать Виктору Чалмаеву.

"Виктор!

Ты мог спокойно отказаться от моего предложения помочь деньгами нашему другу — и я бы понял тебя: мало ли какие соображения — нет денег, не любишь ты его и т. д.

Ты мог бы сказать мне: Стасик, не стоит затевать это дружеское дело — вдруг узнают недоброжелатели, как бы нам не повредить тому, кому мы хотим помочь... И я бы тебя понял тоже.

Но ты поступил совершенно непонятным образом. Согласившись участвовать в общем деле, стал на всех перекрестках разносить весть: что это задумал Куняев — собирать деньги по подписному листу, да ведь он окончательно погубит несчастного!

Несколько человек, повстречав меня, передали мне все это с ссылкой на тебя и отговаривая от всяческих действий.

В результате я понял, что вместо благородного дружеского дела получается сплошной позор и, конечно, от всего отказался. Но твои действия я понять не могу — как можно было, ответив согласием на мое предложение, вроде бы искренне заботясь о друге, тем не менее раззвонить обо всем на весь белый свет? Поставить меня в совершенно дурацкое положение? Ну да будет эта история мне наукой... Даже подписной лист ты выдумал — стыдись...

Станислав Куняев".

Вот почему мы проиграли нашу борьбу. Вернее, и поэтому тоже.

Правда, Василий Белов, которому я послал два своих "политических документа" — статью о Багрицком с просьбой помочь опубликовать в журнале "Север" и письмо в ЦК о "Метрополе", ответил мне умным и заботливым письмом:

"Дорогой Станислав!

Твоя статья превосходна, хотя, как я думаю, и не стоило на Багрицкого тратиться (у меня теория: мы сами воздаем честь и приподымаем всякую мразь, когда вступаем с нею в теоретический спор). Думаю, что Гусаров не опубликует эту статью — у него жена, по слухам, не русская.

Надо бы нажать на С. В. Викулова, пускай бы он собрал все свое небогатое мужество и напечатал. Это единственный шанс. Или напиши еще две таких по объему, чтобы получилась книжка. Теперь книжку легче пробить, чем журнальную публикацию.

Есть ли ответ на письмо? Не вздумай теперь горячиться или (упаси Боже) тянуть горькую. Я согласен с тобой во всем. Теперь, наверное, всем нам надо разделиться, чтобы объединиться. Надо сделать что-то такое, что сразу бы всех поставило на свои места и сразу бы стало ясно, кто есть кто. У нас вот приняли в СП графомана Хачатряна благодаря странной заинтересованности В. Астафьева.

Береги себя. Обнимаю. В. Белов. 12.10.79".

Вместе с письмом Василий Иванович прислал мне свою замечательную книгу "Лад". На титульном листе книги четким и стремительным беловским почерком было написано короткое стихотворение, которое чудесным образом выражало все мои чувства, тревоги и надежды тех дней:

О, Родина, душа моя болит!
Она скорбит по вырубленным сечам,
По выкачанным недрам, по названиям
Засохших рек и выморочных сел.
Болит душа... Как странен отголосок
Душевной боли — мой веселый смех
Среди друзей, среди живых и павших,
Сплоченных снова вражеским кольцом.

Тимониха.

В сущности из русских писателей ободрил меня в те дни лишь Василий Белов! На Анатолия Передреева, Вадима Кожинова, Юрия Селезнева, Вячеслава Шугаева я и не рассчитывал: они были просто моими друзьями, с которыми власть могла совершенно не считаться. Я ходил в те дни на работу и чувствовал на себе настороженные взгляды людей, всегда радушно относившихся ко мне.

Осмысливая первые впечатления такого рода, я написал в те дни стихотворение и впоследствии посвятил его памяти

Юрия Селезнева, который, как Сергей Семанов или как я, был вскоре оставлен и даже предан в тяжелые для него минуты жизни многими друзьями:

Вызываю огонь на себя,
Потому что, уверен, друзья
Через час подойдут на подмогу,
Потому что, сбираясь в дорогу,
Я об этом друзей попросил:
С адским пламенем трудно сражаться.
Вызываю друзей... Продержаться
До победы хватило бы сил.
Где друзья? Почему не спешат?
Неужели с похмелья лежат?
Сроки вышли, должны подойти...
Неужель заблудились в пути?
Плюнул. Выстоял. Дух закалил.
Затоптал адский пламень ногами...
Ну, маленько лицо опалил,
Словом, вышло "добро с кулаками".
Я иду, победитель огня,
Предвкушаю: дружина моя
От восторга и радости ахнет...
Но шарахнулась вдруг от меня,
Адским пламенем, шепчутся, пахнет!

Через два месяца после передачи письма я был приглашен "на ковер" в апартаменты ЦК КПСС.

За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

— Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С Вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли Вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? — Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...

...В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух- или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно — именно он будет исключать меня из партии.

Беляев сразу начал проработку.

— Письмо Ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с Вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как Вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это — нарушение партийной дисциплины!

Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного Комитета России по печати.

Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:

— На основе Вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!

— Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, — отпарировал я.

— Но как Вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! — сорвался на фальцет Беляев. — Мы издали антисионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова... В заграничных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов...

В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, "добрый следователь" — Владимир Севрук:

— Стихотворение о народе по имени "И" Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира — это безобразие, но вот мы издали новый букварь, — Севрук показал его мне, — где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне — то я против подобных его рассуждений...

Да, Вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской...

Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях, и это позволило мне еще раз перебить его:

— "Литературная газета" Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клевещет на Шолохова: "Один роман украл — не смог украсть другой". А его "непобедимо синий завет" — что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги — разве это нормально?..

Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:

— Да, практика поездок по вызову порочна, но Вам лишь кажется, что Вы боретесь с сионизмом, на самом деле Вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.

В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:

— Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь... Он положил трубку: — Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать Вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение.

В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:

— Собрание сочинений Гейне, как Вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена... Тогда же издали 9-й антисоветский том Бунина с его "Алешкой третьим" и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слащова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине — лютом антисоветчике — монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!

...Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала... Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмоционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.

— Вот Вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.

Я быстро нашелся:

— Да, Вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!

— Багрицкий революционный поэт! — сорвался на крик Беляев.

— Да, но поэма "Февраль" и революционная и сионистская одновременно.

— Опять двадцать пять! — уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.

Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе, за которую его приняли в Союз писателей... А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.

Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.

— Альберт Андреевич! Можно Вас на минуту?

Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:

— У меня нет времени!

— Да я по поводу своей статьи в "Литературной газете"...

Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:

— Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! — И столько было в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел...

А в конце 80-х, когда ему, учившему меня бороться с сионизмом на благо советской власти, за заслуги в деле ее разрушения дали пост главного редактора газеты "Советская культура", он, всю жизнь учивший нас партийности и социализму, сразу сделал газету и антисоветской, и антикоммунистической, и еврейской, и бульварной.

Забавное продолжение истории с моим письмом в ЦК последовало через несколько месяцев, когда летом я уехал на Рижское взморье поработать в писательском Доме творчества. Рядом со мной на этаже жил главный редактор "Литературной газеты" Александр Чаковский. Он курил сигары, и вонючий запах, выползавший из-под двери его номера, означал, что в эти часы Чаковский трудится над очередным томом очередной эпопеи.

Однажды мы с ним встретились в коридоре, и он неожиданно предложил мне:

— Станислав Юрьевич, зайдемте ко мне, надо поговорить.

Оказывается, Чаковский, занимавший в идеологической иерархии при Брежневе приблизительно то же место, что Эренбург при Сталине, захотел объясниться со мною по поводу моего письма. Расспросив меня о моем национальном и социальном происхождении, он задумался, раскурил свою сигару и, усевшись в кресло, начал свой монолог.

— Я по натуре своей чекист. Хорошо, что мы с Вами беседуем вот в такой мирной обстановке. А то ведь могло бы случиться, что разговор у нас с Вами сложился бы приблизительно так: вы, гражданин Куняев, наслушались западного

радио о близкой смерти Брежнева, решили спровоцировать, когда это произойдет, еврейские погромы, чтобы на этой волне сделать себе карьеру. Уведите арестованного! Вот Вы пишете в письме, что боретесь с сионизмом. А на самом деле настоящий борец с сионизмом — это я. Я уже в 16—17 лет ездил организовывать в Поволжье колхозы и сражался в Саратове с сионистами. Они тогда уже начали уезжать в землю обетованную, пока Сталин гайки не закрутил. Но я был против их отъезда, я хотел, чтобы евреи строили свою социалистическую родину... Станислав, Вы не отдаете себе отчета, сколько пришлось пережить и перестрадать евреям.

Дальше я цитирую наш разговор по записи из моего дневника от 23.8.1979 г.

"Чаковский: Когда началась война, Сталин увидел, что все интернациональные идеи, все разговоры о солидарности с германским рабочим классом и международным пролетариатом — фикция. Он решил сделать ставку на единственно реальную карту — на национальное чувство русского народа. Постепенно из армии убрали всех евреев — политруков, пропаганда наша всячески стала использовать имена русских полководцев, верхи стали заигрывать с церковью, а после победы Сталин произнес знаменитый тост за русский народ. Но расплатиться с русским народом за его жертвы было нечем, оставалось лишь одно — объявить его самым великим, самым талантливым. И в угоду этому началась кампания против космополитов, дело врачей, разгон еврейского комитета. Что было! Люди бежали из больниц, натягивали на себя одеяла, когда к ним подходили врачи-евреи. А когда наступил 56-й год и пошли всяческие реабилитации, то среди этих реабилитаций не были реабилитированы евреи, пострадавшие в антисемитских кампаниях. А теперь объясните какому-нибудь рядовому Хаиму, почему этого не произошло. Он живет с обидой в душе и на эту обиду очень легко ложится всяческая сионистская пропаганда, и Хаим подает заявление на выезд в Израиль...

— Александр Борисович! — возразил я ему. — Если говорить о всякого рода реабилитациях, давайте отвлечемся от узко еврейской точки зрения. Что такое "дело врачей" или борьба с космополитизмом по сравнению с трагедией раскулачивания? Пустяк, ерунда сущая, не имеющая значения для жизни народа.

Раскулачивание, Соловки, Нарым, Волго-Балт, лесоповалы — вот что потрясло Россию до основания, подточило ее здоровье и устойчивую хозяйственную мощь.

А кто руководил этими процессами?

Вы же сами сказали мне, что в шестнадцать с половиной лет Вы, сын богатого еврейского нэпмана, в своей самарской губернии создавали колхозы. Что Вы могли в этом возрасте знать о жизни, которая здесь складывалась столетиями и которую Вы нещадно ломали?

Почему Вы не говорите о том, что нужно было бы реабилитировать несправедливо сосланных на Севера, закопанных на Волго-Балте, сгнивших на Соловках?

Почему в том же 1956 году им, кто остался в живых, или их потомкам не объявить, что они были сосланы или уничтожены несправедливо, чтобы не было пятна осуждения на этих людях или их потомках. Я отвечу почему.

Во-первых, потому, что их судьбы Вас не интересуют, Вас тревожит лишь обида Хаима, сын которого не смог поступить в Институт международных отношений, а поступил всего лишь навсего в пушно-меховой или мясомолочный.

А во-вторых, потому что надо было обнародовать имена всех ответственных за эти деяния руководителей ГУЛАГов больших и малых, что, действительно, могло бы привести к погромам.

Чаковский переменился в лице: — Ах вот как Вы ставите вопрос!..

Но во гневе сдержался, решив не продолжать разговор на эту тему, перешел на литературу.

— Станислав! Будьте центристом! Я ничего не понимаю в поэзии, я политик. В политике мало быть правым, надо убедить всех в своей правоте. Мне нравится Ваш "Карл Двенадцатый", острая мысль о парадоксе власти. Но все эти ручейки, травки, березовые рощи — на этом имени не сделаете.

Вот Вы пишете о Бунине — "тяжко без родины жить, а без души тяжелее". Сказано афористично, но нельзя забывать о том, что Бунин был большой сволочью. А что Вы пишете о каких-то "евреях в Пентагоне"? Их там нет, они есть в Конгрессе. Не возражайте мне, что это, мол, условно, символически, обобщенно, такие политические формулировки должны быть точными.

Спорили мы с ним целый вечер, и ушел я от него, сопровождаемый заверениями, что он-то и есть настоящий борец с сионизмом".

Вечером на прогулке ко мне подошел прозаик Елизар Мальцев, известный шабесгой из русских. Он, видимо, уже узнал о моем разговоре с Чаковским.

— Мне Вас жалко, Станислав, Вас больше никуда не

выберут! И вообще я натерпелся от русских куда больше, чем от евреев. Евреи мне всегда помогали, а сам я из раскольников, из семейских, сейчас пишу историю своего рода.

Но все же при советском еврее-государственнике Александре Чаковском невозможно было представить себе потоки зловонной русофобии, в которой стала просто купаться "послечаковская" "Литературная газета", на чьих страницах русская история стала изображаться так:

"облачившись в державный зипун и затолкав под лавку прокисшие портянки, объявить русский дух самым духовитым во всей вселенной", "дыша перегаром, державник начинает неторопливо разматывать портянки, сладострастно ожидая моменты, когда можно будет закричать: "Наших бьют!", "Казенного патриотизма, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества, Россия нахлебалась вдоволь", "И петровские, и сталинские методы индустриализации России оказались на поверку бамбуковыми суррогатами" и т. д. и т. п... (Л.Г., № 28, 1995 г.) Это — журналист Б. Туманов, всю жизнь проработавший за границей и всю жизнь, видимо, "сладострастно" лелеявший в своей душонке ненависть к России. А я-то по наивности 20 лет тому назад думал, что худшего русофоба, нежели А. Чаковский, у нас найти невозможно. Однако в скором времени после разговора с ним мне попала в руки западная газета, в которой бывший сотрудник "Литературки", уехавший в Америку, писал о своем главном редакторе и нравах "Литгазеты":

"В "Литгазете" еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значил этот загадочный филосемитизм?

...то, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все".

(В. Перельман. "...И снова иллюзии". "Русская мысль", 14 ноября 1974 г.)

Вот вам и государственный антисемитизм 70-х годов... Да что говорить о семидесятых!

"Государственный антисемитизм в СССР, — пишет, к примеру, историк Борис Фрезинский в "Русской мысли" от

2 апреля 1997 года — как раз в пору 1948—1953 годов достиг накала, чреватого "окончательным решением еврейского вопроса".

В 1952 году я поступил на филологический факультет Московского университета.

Последний год царствования Иосифа Сталина. Но что бы ни говорили об этой эпохе нынешние продажные борзописцы — свидетельствую: наше школьное образование было таким, что мы — дети врачей, учителей, итээровцев, послевоенных вдов и матерей-одиночек, и даже крестьян-колхозников из провинциальных областных и районных городков и сел России, приехав в Москву, "замахнувшись" на лучшие вузы страны, без всякого блата, без мохнатых рук, без взяток на равных выдерживали состязание за право учиться на Моховой, в МВТУ, в МАИ, в Энергетическом и Медицинском с сыновьями партийных работников, дипломатов, генералов, словом, с любыми отпрысками столичной элиты. Вот какие знания получали мы в любых, самых отдаленных от Москвы уголках, вот какую универсальную и справедливую мощь таила в себе поистине народная, демократическая школьная система советской эпохи. Но воспоминания мои — о другом. Я смотрю на громадное казенное фото нашего выпускного курса 1957 года, где каждый из нас в овальной рамочке, над нами несколько фотопортретов наших лучших преподавателей, в центре ректор МГУ Петровский, — смотрю, читаю фамилии, вглядываюсь в молодые студенческие лица и понимаю, что не менее сорока студентов из двухсот двадцати, поступивших на первый курс филфака, были нашими советскими евреями. И это — в период между 1949-м и 1953 годами, между кампанией против космополитов и "делом врачей"!

Судя по сегодняшним стенаниям борщаговских и рыбаковых, в те годы государственный антисемитизм якобы достиг такого накала, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, нежели бедному еврейскому отпрыску войти под своды главного храма науки... А тут почти двадцать процентов — еврейские юноши и девушки! Эх вы, летописцы, мемуаристы, лжесвидетели...

А если вспомнить о сталинских тридцатых годах, то не обойтись без объективного свидетельства Эммы Герштейн (не самой большой русофилки), которая несколько лет тому назад писала в "Новом мире":

"Моя мать, совершенно неприспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма..."

А где же, по наблюдениям Эммы Герштейн, в те годы гнездился антисемитизм? Оказывается, в буржуазной "цивилизованной" Латвии!

"Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного. С собой он привел писателя, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии... рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи — для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах".

Да, далеко было нашему советскому "государственному антисемитизму" до антисемитизма западного, гуманного, культурного!

Беда патриотов — идеологов русской партии, да и моя беда, заключалась в том, что мы в борьбе с агрессивным внутрисоветским еврейством взяли на вооружение официальный термин "сионизм" и ничтоже сумняшеся употребляли его часто не к месту, искажая и запутывая смысл происходящих процессов. А надо было говорить просто о засилье еврейства, о еврейской воле к власти, о мощном групповом инстинкте этой касты, о ее влиянии на партийную верхушку. Мы же, опасаясь прямых репрессий, прикрывали свои взгляды формулировкой из официального идеологического арсенала и попадали в ложное положение, а партийные чиновники типа Беляева и Севрука ловко пользовались нашей непоследовательностью. Но и они тоже были обескуражены.

Сионизм считался официальным врагом советской системы, с ним надо было бороться. Я — тоже поставил их в ложное положение. Им очень не нравилось содержание моего письма, но это раздражение приходилось изливать по поводу форм его обнародования.

— Надо быть умнее сионистов, — поучал меня Беляев, — и не давать им поводов для провокаций. Вы же действуете точно так, как Солженицын: пишете письмо якобы в ЦК, а на самом деле пускаете его по рукам!

Опытные партийные функционеры сразу же разгадали наивный план моих действий, но тем не менее ничего серьезного сделать со мной не могли. Я защищался достаточно умело, да и в письме было много неоспоримых фактов, с которыми соглашался Севрук:

— Да, поэма Сулейменова о Ленине — плохая поэма.

— Говенная! — добавил Беляев.

— И стихи Вознесенского — тоже плохие стихи, — продолжал Севрук, — слабые...

— Говенные! — в сердцах повторил Беляев.

Несмотря на драматичность сцены, я не мог удержаться от смеха, а Севрук, видимо, обязанный "отмазать" свой отдел пропаганды и доказать, как он борется с антисоветчиками, — неодобрительно глянув на меня, высыпал целую груду фактов, свидетельствующих о его бдительности:

— Журнал "Аврора" опубликовал монархические стихи, — мы редактора журнала сняли, редакцию укрепили, мы сняли главного редактора журнала "Простор" в Казахстане за политически сомнительный детектив. Мы убрали с должности нескольких цензоров.

Он перечислял свои заслуги с такой интонацией, как будто перед ним сидел не я, а Суслов или Зимянин, из чего я заключил, что разговор со мной — своеобразная репетиция для разговора с высшим начальством о принятых мерах. Прорабатывая меня, они оба как бы искали материалы и формулировки для своего спасения и для своей защиты. Им было за что меня ненавидеть. Я понял это и даже пожалел их, сказав на прощанье примирительным тоном:

— Я не шовинист, Альберт Андреевич, я перевел несколько книг лучших наших поэтов из республик. Может быть, в моем письме и во всем, что получилось вокруг него, есть какие-то неточности и сомнительные моменты, но я ведь вижу, что по существу вы согласны со мной!

Беляев открыл рот, пораженный моей наглостью, но сообразив, видимо, что дискуссия затянулась и что начинать все сначала смешно, просверлил меня своими ледяными глазами, и мы распрощались...

Когда на другой день я встретился с Феликсом Кузнецовым, он, уже знавший о разговоре, коротко сказал мне:

— Ну, получил ответ на свое письмо?

— Получил.

— А теперь уходи, Стасик, в отпуск.

— А можно месяца на два?

— Ты шутишь? Уходи на полгода...

Я с облегчением вздохнул и поехал рыбачить на Север, к берегам холодного Белого моря. Эмигрировал — в Россию.

Перед отъездом меня по какому-то пустяковому поводу пригласил к себе опытнейший чиновник, руководитель всего нашего Союза писателей Георгий Мокеевич Марков и в конце разговора, как бы случайно вспомнив нечто из своей жизни, сказал:

— Меня, Станислав, в свое время пригласили работать в Союз писателей секретарем парткома. Я был молодой, горячий, ну, как ты. Приехал в Москву, познакомился с писательской жизнью и стал подымать в разговорах те же проблемы, что и ты сегодня. Тогда Федин меня вызвал и говорит: "Ты, Гоша, землю копать умеешь?" — "Умею". — "Так вот, возьми лопату, выкопай яму поглубже, свали в нее все свои еврейские вопросы и землей засыпь. И сверху камень привали, чтобы не вылезали". Вы поняли, Станислав, что я Вам хочу сказать?..

А чего еще тут было понимать? Все и так яснее ясного...

А с режиссером всей этой проработки, секретарем ЦК Михаилом Васильевичем Зимяниным лицом к лицу я столкнулся через несколько лет на очередном съезде российских писателей.

По окончании съезда в необъятном банкетном зале Кремля происходил традиционный прием. За моим столом сидел Юван Шесталов, мансийский поэт. Рангом поменьше Гамзатова и Кугультинова, но все же "живой классик". Человек, любящий выпить. Но то ли водки было мало, то ли братья-писатели пили энергично, но напиток за нашим столом быстро кончился... Шесталов вознегодовал: "Пойдем к столу почетного президиума (он стоял на некотором возвышении), у них водки навалом!" Удержать его не было возможности, и мы оба рванулись к столу, во главе которого сидел Зимянин. Очутившись прямо напротив него, Шесталов, поддерживаемый мной, в отчаянье закричал, простирая пустой фужер к Зимянину:

— Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазками, устало сказал:

— А — это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

— Я только этим и занимаюсь в последние годы, — печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский — вечный партийный функционер еврейского лобби — на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК:

"Мы ведь люди с исторической памятью (мы тоже. — **Ст. К.**). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав

Куняев не откажется публично от грязного, печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационализму позиции, которую он, к слову сказать, подтвердил в публичной дискуссии "Классика и мы", нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа социализма, человек, который не затрудняясь вытрет ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза..." (9.04.1986 г. Цитирую по стенограмме).

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и "дал петуха", ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет "сольет" столь дорогой для его сердца "дух социализма" в книге "Обвиняется кровь".

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию — Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку — два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман. Гофману, который только о том и думал, как бы ему выпить и закусить, кто-то подсунул мою книжечку "Свиток", где было такое стихотворение:

Любовь и дружба... Вечная вражда
двух равных сил терзает наши души.
Настал октябрь. Холодная звезда
взошла из мглы и отразилась в луже.

Обоим чувствам отдавая дань,
я жил и не просил у них пощады,
но обе силы преступали грань
так, что сжималось сердце от надсады.

Настал октябрь. Черемуховый куст
ронял листву, а память вспоминала,
как из соцветья самых светлых чувств
так много темных дел произрастало.

Сбрендивший Гофман забегал по чиновничьим кабинетам, по цедэловским столикам, доказывал всем встречным-поперечным, что это стихи против Октябрьской революции ("Настал октябрь", "Звезда... отразилась в луже", "Темные

дела”). Пришлось мне поговорить с его неглупым сыном Витей, чтобы он успокоил своего невежественного отца, невесть как ставшего членом Союза писателей.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холеному лицу надменное выражение и отчеканил:

— Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! — и победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ — Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

— Баба с возу — кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках... Словом, и смех и слезы... А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовских пособий.

...Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК — вспомнить прошлое, выпить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев... Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

— Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом...

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными

участниками которой мы с ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

"Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы втроем — Жигулин, Куняев и я — вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. "А тебе, наверно, не надо подавать руки?" — "Я ее и не пожму", — ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал "доносительством" и "карьеризмом", Станислав говорил о его "продажности" и "делячестве". Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: — Ну, а ты что скажешь? — то последовал ответ: — А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили. Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании", и дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

"Сломленный человек, — сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции. Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК — эксперимент на себе: уволят или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма — слишком много безнадежных настроений".

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей особенно старшего поколения с 20-х — 30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандрёнков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота — его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!) Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял

их всех. Я уже был известным поэтом и Кандрёнков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет случайных прохожих, Кандрёнков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

— Ну, как там евреи в Москве? Лютуют? — и такой страх прозвучал в этом вопросе бывшего крестьянина, ставшего одним из крупнейших партийных чиновников страны.

* * *

В брежневские годы, когда ради общественного государственного спокойствия шла нешуточная борьба с живой "раскачивающей лодку" мыслью, под негласным, но крепким гнетом цензуры, партийно-государственных правил и инструкций, творческие натуры, не выносящие этого давления, эмигрировали, но в разные стороны: кто за границу, кто в самого себя, кто в пьянство, кто в иронию... Но были и такие, кто "эмигрировал" в свою страну, в ее глубины, в ее почву, куда не доходило обжигающее жизнь дыхание власти. Впрочем, в истории России такое было не раз — Гоголь "эмигрировал в Россию", проездился по ней, записывая на листочках "Выбранные места из переписки с друзьями"; Достоевский в Оптину пустынь, в стихию "Братьев Карамазовых"; Андрей Платонов — в фантасмагорический мир "Котлована" и "Чевенгура".

Разные есть пути эмиграции для русского интеллигента, и определяются они запасом патриотизма в его душе.

Итак, в застойные времена я время от времени "эмигрировал", но не куда-нибудь, а в свою страну. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил в работе на Тянь-Шанских горах и в долинах Гиссара, среди вечных льдов, альпийских лугов, громокипящих голубых рек, среди поднебесных, сверкающих голубыми молниями гроз, рычащих бурых селевых потоков, среди бедных, но гордых и трогательных в своем нищем гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков и пастбищ, среди орущей, мускулистой, загорелой, не жалеющей себя ни в гульбе, ни в работе геологической, студенческой, шоферской вольницы... Либо месяцами я пропадал в эвенкийской тайге, добираясь туда через маленькие дощатые сибирские аэропорты на "аннушках", на вертолетах,

разглядывая сверху дикие просторы — сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, черные реки, медленными змеями впадающие в Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло зимовье рядом с двумя березами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед — Роман Иванович, два кобеля, Рыжий и Музгар, мы обнимались — от деда терпко пахло ондатровыми шкурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовье, где на столе уже дымилась уха, поблескивали мороженые сижки и хариусы да еще что-то тускло светилось в зеленоватой бутылке, и начинались разговоры о соседях, о внуках, о тайге, о звере... Каждый день с утра мы бороздили тайгу по путикам и аргишам, задыхаясь от азарта, мчались на лыжах к далеким лиственницам, куда наши собаки загоняли соболя или белку. А в иные дни красными, словно вареные раки, руками проверяли сети, вытряхивали на лед золотистых карасей и снова опускали снасти в лунки, наполненные темной озерной водой... А вечерами — долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской жизни в 20-е годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, словом, обо всем мы толковали в нашем жарко натопленном зимовье с раскаленной печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов — от пятидесятиградусного мороза лопались у нашего зимовья березы...

А в другие времена я уезжал на черную ледниковую реку Мегру, шумно впадающую в Белое море, подымался с жителями бывшей старообрядческой деревни — Викторов Кулаковым либо Леонидом Хардаминовым — на карбасе к истокам реки, к необъятным Мегорским озерам ловить запрещенную семгу, неделями жить в палатках и зимовьях либо под громадными шатровыми непромокающими елями и опять же слушать бесконечные разговоры о том, как их предки добирались сюда по хребтам и рекам, как ставили в устьях поморские деревушки, рубили из листвяка церкви, как старухи уходили на шестах в глубь тайги, возводили там свои монастырские кельи, как в 30-е годы уполномоченные НКВД раскатывали и жгли их лиственничные церкви — ссылать отсюда, с края света, было некуда, — как добирались огепеушники и до старушечьих келий, а там, как на грех, незнакомые мужики, беглые, которыми наводнены были в те времена архангельские пристани, — ждали переправы на Соловки, а кто смел да удал — уходил из-под вохровских взглядов, бежал навстречу восходящему солнцу на восток, добредал

до деревень и до Мегры, где мужики советовали скитальцу: иди по реке в старушечьи скиты, там надежнее... Но и там их находили... А скиты рушили огнем, как во времена Аввакума.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... Гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина Носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озерами, а самих птиц не видно, пока их извилистый клин не попадет в струю дрожащего зеленовато-лилового сполоха — северного сияния... Темные трехметровые обетные кресты, поставленные на берегу обрыва, под которым шумит вода, — словно врезаны в тусклое вечернее северное небо...

— Рыбу нам имать не дают, — жалуется Виктор Кулаков, двухметровый потомственный помор, поигрывая на коленях кулаками, каждый из которых величиной со средний арбуз. — Деды и прадеды наши на этой рыбе выросли... А нам — запрет. Перегородят реку к июню, пригонят вертолет с цинковыми ящиками — да и давай семгу отбирать, что в ловушки зашла, какая покрупнее — начальству... Нас же и заставляют укладывать, солью пересыпать да грузить... Улетели, а с нами рыбнадзор остался. За каждую рыбину пойманную — штраф. Зато магазин у нас в Мегре полон ящиками с водкой да с бормотухой. А ишшо что? Килька в томате да баба в халате... Школу — закрыли, медпункт закрыли, строиться не дают. Всех нас, вольных поморов, хотят в райцентр согнать, чтобы мы там бетон месили да бормотуху жрали... Кто послабее — тот уехал. А мы — лучше тут помрем...

А Мегра все шумит и шумит, а гуси все кричат и кричат в темном небе, то заходя в светлую полосу северного сияния, то исчезая из нее...

Да, как время обмануло нас! Жизнь, которая описана у меня строчкой выше, это жизнь семидесятых годов, мы были недовольны ею: фрондировали, осуждали, возмущались, не понимая того, что в наших условиях, на наших северных широтах, в стране, прижатой к Ледовитому океану, на земле, где снег сковывает поля и леса на семь месяцев в году, где на каждый килограмм взращенного зерна или мяса нужно потратить втрое больше сил, нежели во Франции или Германии, человек, чтобы выжить, должен за короткое лето запасти на зиму дрова и сено, восстановить разорванные морозом за зиму дороги, постоянно расчищая их от метелей и снегопадов — руками, лопатами, грейдерами, тракторами, тратя на эту работу чуть ли не половину горючего, выкачанного из вечной мерзлоты Уренгоя и Нижневартовска. Мы, обживая нашу суровую землю, данную нам Богом, захотели жить так, как

живет теплая и уютная, омытая незамерзающими морями Мирового океана Европа или Америка... Мы бросились разрушать нашу аскетическую русскую жизнь, чтобы создать на ее руинах жизнь европейскую, и чем завершился этот утопический порыв на моем Беломорском Севере, я увидел в 1995 году, когда снова приехал, после нескольких лет отлучки, на берега Мегры... Но об этом чуть позже.

Да не было у нас никакой зависти к диссидентам и никакой особой ненависти лично к Аксенову или Гладилину, к Алешковскому или Синявскому. И “еврейство” или “нееврейство” здесь ни при чем. Дело в некоторых свойствах моей натуры.

Во мне всегда было некое объединительное, дружелюбное, спокойно-доброжелательное свойство, которое не отпугивало ни смуглых, ни узкоглазых, ни курчавых людей. Они как бы чувствовали, что я никогда не поставлю отношения между нами в прямую зависимость от того, сколько примеси и какой крови у кого в жилах; что для меня главное — ощущает ли себя носитель той или иной крови русским человеком или, в крайнем случае, лояльно ли относится к русской натуре и русской истории.

С университетских времен я помнил замечательные слова “полукровки” Александра Герцена о русских людях: “Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения”.

Наличию татарских, грузинских, армянских “примесей” в русских людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным мыслителям из самой еврейской среды:

“Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть космополитами... они нигде и всюду дома. Они очень любят быть радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень любят быть нигилистами, обесценивателями и разрушителями... Они часто мутят источники чужой культуры, опошляя ее, хотя кажется, что они проникают все глубже... Поэтому — святая обязанность народов стоять на страже границ своей

национальной индивидуальности. Они вредны и тому народу, в который они хотят войти для властвования над ним" (из книги Якова Клацкина "Проблемы современного еврейства", изданной в 1930 году в догитлеровской Германии).

"Для властвования над ним"... стоит задуматься над этими словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо правильно понимать цели и суть этой распри. Самое главное: ни в коем случае ее нельзя обсуждать в обычном плане так называемых "межнациональных отношений", "межнациональной розни", "разжигания межнациональных страстей". Президенты Шаймиев и Аушев, а также искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова, вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это — тупиковый для понимания сути дела путь, на котором вольно или невольно затушевывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос борьбы за гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике или Казахстане (все евреи в России имеют равные права с русскими);

русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос суверенитета, чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни разграничение полномочий и т. д.);

русско-еврейский вопрос — это тем более не вопрос каких-либо территориальных претензий, принадлежности нефтяных районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами, чеченцами и русскими Ставрополья (евреям не нужна в России ни своя территория, если только не считать за таковую Еврейскую АО, ни тем более отдельная государственность);

русско-еврейский вопрос лежит вне споров о защите культуры, о количестве национальных школ, о культурной автономии или ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за сохранение родного языка и т. д. (евреи в России обладают полной свободой — на каком языке говорить, в каких школах учиться, в какого Бога верить и т. д.).

Так в чем же суть ярости, предельного накала борьбы, готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало еврейское лобби вкупе с подчиненными ему электронными СМИ во время психической атаки на Макашова, на компартию, на общественное мнение?

Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в которых барахтаются другие национальности — русские, чеченцы, латыши, грузины или чукчи. Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам властвовать в России — государствообразующему русскому народу или небольшой, но крепко организованной, политически и экономически мощной еврейской прослойке? Вопрос "о квотах" и "национальных представительствах" во власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит от понимания главного — между русскими и евреями идет борьба за власть в России.

Я уважал Бориса Абрамовича Слуцкого за многое, но и не в последнюю очередь за то, что он в отличие от многих своих соплеменников хорошо понимал изъяны еврейской натуры:

> Стало быть, получается вот как:
> слишком часто мелькаете в сводках
> новостей,
> слишком долгих рыданий
> алчут перечни ваших страданий.
> Надоели эмоции нации
> вашей,
> как и ее махинации.
> Средствам массовой информации —
> надоели им ваши сенсации.

Я до последних дней жизни Слуцкого дружил с ним. После всех моих писем в ЦК и речей о Багрицком и Мандельштаме, уже ослабевший и больной, он часто звонил мне, спрашивал, как дела, молчал в трубку, вздыхал, я как мог утешал его, одинокого и несчастного, навещал в психиатрической больнице...

Однажды, как мне помнится, мы приехали к нему с Игорем Шкляревским, вывели его из палаты на улицу, посидели с ним на лавочке, постарались развлечь всяческими пустяковыми разговорами. Когда прощались, он неожиданно сказал мне, что я один из самых умных людей моего поколения, которые встречались ему. Я удивился, но был, естественно, польщен и растроган. Позже понял: он сказал это, потому что я остался самим собой, несмотря на тотальный террор среды.

До последнего времени мы радушно встречались с Давидом

Самойловым, читали друг другу стихи, писали письма. Вот одно из его писем, полученных мною из Пярну, где он жил в последние годы.

"Дорогой Стасик!

Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдет. Просто по российской привычке все путать мы путаем мировоззрение и нравственность. Может быть нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не мировоззренческого. А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много ее пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий. Кровь ничего не искупает. Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства.

Твой Д. Самойлов"

Чтобы подробно не спорить с мыслями этого письма, скажу только то, что Христос своей кровью искупил все грехи человечества.

Добрую рецензию на мою книгу "Метель заходит в город" написал Михаил Светлов, искренние письма об этой же книге, да и о других я получал от Владимира Лифшица и Григория Левина. Да что говорить! В молодости моими приятелями были Михаил Демин и Дмитрий Стариков, а одним из лучших друзей по жизни поэт Эрнст Портнягин. Все они были полукровками, но, видимо, чувствовали, что для меня это не имеет никакого значения. Уже обозначив все свои общественные позиции, я получал радушные письма от Юрия Трифонова, Сергея Иоффе, Яна Вассермана и многих других писателей и читателей — евреев или полукровок по рождению. Но... (Увы, без этого разделительного союза мне не обойтись.) Но мы инстинктом русских людей, чьи предки целое тысячелетие строили государство, понимали, что оно — результат тысячелетнего строительства — есть высшая ценность, фундамент нашей жизни и цивилизации, что без него не будет ни хлеба, ни песни, ни библиотеки в дальнем селе, ни газа в московской квартире... А потому мы не могли закрывать глаза на то, что у всех поэтов еврейского происхождения, даже тех, кого не без основания можно считать русскими поэтами, явственна любовь к русской

культуре и к русской природе, и даже к православию, но одновременно неизбывно неприятие русской государственности, вне которой не могли в полной мере жить и развиваться ни культура, ни религия. У Давида Самойлова есть замечательные стихи о Пушкине и Державине, но одновременно он пишет уничижительные стихотворные инвективы в адрес Ивана Грозного. Наум Коржавин преклоняется перед церковью Покрова на Нерли, но Иван Калита для него коварный и жестокий властитель. Даже Мандельштам, написавший пленительные стихи о Батюшкове и кремлевских соборах, в страхе опускал очи перед "миром державным" и "на гвардейцев глядел исподлобья", как бы втайне сопротивляясь Пушкину, который любил "пехотных ратей и коней однообразную красивость".

Так что, может быть, вопрос о государственности нашей и есть самый главный водораздел, определяющий степень "русскости" того или иного поэта. Ярчайший пример такого рода из новейшего времени — поэзия Иосифа Бродского с фрейдистской ненавистью к Риму, к маршалу Жукову, к имперским штандартам.

Но это я говорю о серьезных поэтах. К прямым же и откровенным диссидентам мы всегда относились настороженно, если не враждебно. Мы, которым в отличие от них некуда и незачем было уезжать, иначе и не могли относиться ко всем их деяниям, от которых исходил дух разрушения: история с Даниэлем и Синявским, провокация "Метрополя", правозащитная шумиха, эффектные отъезды на Запад Галича, Коржавина, Владимова, бегство балерунов, балерин и дирижеров, пена вокруг Таганки. Все это было — не наше, все это было нам чуждо, противно, враждебно. "Бог терпел и нам велел". Мы лучше их знали, что такое наш народ и что такое русский человек. Но мы и сами виноваты тоже. Порой и мы, как попугаи, повторяли вслед за профессиональными провокаторами "тоталитаризм!", "тоталитаризм!", не понимая того, что загоняем сами себя в ловушку.

Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли — народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничения права во имя долга. Вообще вся русская жизнь — это не жизнь права, а жизнь долга.

Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как "пламя в

снегах", и его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный "тоталитаризм" есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без "тоталитарной прививки" к нашему историческому древу мы не могли бы существовать. Отсюда и плановое хозяйство, и административная система, и власть центра со всеми их достоинствами и недостатками.

Но, как говорится, по одежке протягивай ножки, не жили богато — нечего начинать, помирать собрался, а рожь сей... Забыли мы эти народные истины. Забыли в жажде перемен, что Советская власть — это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане... Это еще и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов пользуемые не элитой, а всем народом простые, но необходимые для него блага, — без которых невозможно скромное и надежное благополучие народа и его воспроизводство: бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступный каждому самому небогатому человеку поезд и самолет... А о бесплатных медицине, образовании, спорте, детсадах и яслях и говорить нечего... А бесплатное жилье, бесплатные шесть соток земли, почти дармовые книги, почти бесплатный хлеб.

— Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? — как говорил один из героев фильма "Белое солнце пустыни".

Да разве можно было алчной части нашей и мировой элиты мириться с тем, что все эти богатства принадлежат не им?

Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в домах творчества — в Дубултах, в Малеевке, в Ялте... Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтеры, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей...

Никогда ни один народ в истории не владел и уже никогда не будет владеть этими простейшими и необходимейшими благами цивилизации в той степени, в какой ими владел советский народ, работавший на себя и плохо понимавший, какими богатствами он располагает.

"Вот чего вы добились, вот чему мы не смогли помешать", —

подумал я через несколько лет разрушительной перестройки на своих уже ставших мне родными берегах русского Севера...

Широкий плес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусникой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров окаймлен желтыми кувшинками — яркой золотой лентой. Его огибают две шумящих струи, сливаются и в едином потоке текут дальше на север. Там — море. Высоко над нами кружит коршун — он, конечно же, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем — розовым, колеблющимся, видимо, от потоков воздуха, что исходит от морского лона. Мы с внуком сидим на обрыве, не в силах сдвинуться с места... Запах травы, набирающей зеленую сочную плоть, мелкого березового листа, исторгнувшего из себя капельки горьковатого клея, иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и гарях... Кукует кукушка.

Три недели тому назад сюда, в глубь беломорской тайги мы залетели попутным вертолетом из архангельского аэропорта Васьково. Аэропорт, откуда в прежние времена то и дело взмывали в бледное северное небо "аннушки", "Яки", "восьмерки", "четверки" то в Мезень, то в Долгощелье, то в Сояну, был выморочен и безмолвен. А какая жизнь кипела здесь всего-то семь-восемь лет тому назад! Яблоку негде было упасть. Рыбаки в заскорузлых робах, геологи в штормовках, бородатые бичи с лицами кирпичного цвета, поморские женки с белобрысыми детенышами, старухи в бархатных довоенных кацавейках! Кто на лавках, кто на полу, кто в буфете. Ящики, груженные тушенкой и сгущенкой, картонные коробки с яйцами, охотничьи лайки, привязанные к вылинявшим рюкзакам, оцинкованные ведра, груды резиновых сапог — все это богатство двигалось, шуршало, звенело, грузилось, чтобы долететь до морских деревень, до рыбкооповских магазинов, до буровых точек с их вековечными деревянными бытовками и армейскими палатками. В воздухе непрерывно стоял рев моторов, от которого позвякивали и вздрагивали стекла.

А теперь тишина. Пустота. Чистый кафель. Буфет закрыт. Никаких очередей. Только в кассе зачем-то сидит, скучая, красавица, да охранники, покуривая, устроились на стульях возле сооружения, которое обнаруживает металлические предметы при выходе на летное поле. Но никто не выходит. Ни одного пассажира. Ни одного рейса. На табло горит саркастическая надпись: "Васьково—Нью-Йорк". У северян нет денег на дорогу. Дай Бог, если набирается пассажиров на один-два рейса в месяц! Как в допетровские времена, при-

брежные деревни отрезаны от России и снова учатся выживать по законам никоновской эпохи. В предвыборные дни 1996 года президент побывал в Архангельске и произнес, как пишут досужие местные журналисты, роковые слова: "Север легче вывезти, нежели прокормить". Да и вообще контрольный пакет акций Североалмаза — бывшего хозяина здешних мест — уже принадлежит мировой компании "Де Бирс", которая решила, что разработка архангельских алмазов будет ей выгодна лишь лет через десять. Вот почему разрушаются и обезлюживаются некогда могучие поселки Амдерма, Варандей, Светлое, отвоеванные за десятилетия геологами и нефтяниками у тайги и тундры. Вот и по Мегре, куда я приезжал чуть ли не ежегодно в последние двадцать лет, за две недели, пока мы живем с внуком на берегу в палатке, не прошло ни одной моторки. У мужиков из деревни, что стоит в устье Мегры, нет денег ни на бензин, ни на запчасти к моторам. А ведь, бывало, за день две, три моторки обязательно промчатся вверх к озерам за щукой, за сигом, и обязательно то Витька Кулаков, то Ленька Хардаминов подымутся к нашему костру чайком побаловаться, водочкой согреться перед дальней дорогой по холодной реке...

Сидим с внуком, ждем лодку с друзьями-геологами — она должна придти за нами с озер. Все сроки прошли. У нас и хлеб кончился, и сахар. Одна рыба осталась, от которой внук Алешка уже воротит нос.

— Дед, погляди, что это там? — из-за поворота на Большом пороге показалась лодка, которую за бечеву тащил между камнями какой-то человек. Издалека не разглядишь кто. Он осторожно выбирал путь между округлых валунов, но, зайдя в протоку, остановился, не в силах протащить тяжелую лодку против сильного течения.

— Пойдем поможем!

Минут через десять мы подошли к нему, подняли бродни, влезли в воду.

— Здорово! Как звать?

— Игорь!

Поднавалились втроем, сдвинули лодку с камней, вывели в чистую воду. Впрыгнули. Игорь рванул стартер, и через минуту-другую лодка ткнулась носом в подножье нашего горелого холма.

Сидим, как в прежние времена, у костра, пьем чай, Игорь вытащил из рюкзака хлеб, заварку, пироги с рыбой.

— До озер иду. Щуку надо запасти на зиму. А иначе помрем... — В его карбасе несколько бочек для рыбы, груда сеток, канистры с горючим (всю зиму на него деньги копил!). Сам он жилистый, скуластый, загорелый, в мокрой робе, в

заплатанных рыбацких штанах, поворачивается к огню то одним, то другим боком, сушится. До озер ему идти еще километров сто двадцать.

— Как деревня живет, Игорь?

— Какая жизнь! Я вот лесник, зарплата 200 тысяч, и ту не получал с октября прошлого года. Колхоз развалился, рыбкооп развалился. Вся торговля в руках трех-четырех местных прохиндеев. Дерут с нас три шкуры. Буханка хлеба — шесть тысяч. Кило сахара — восемь, а то и десять. Бутылка водки, самой плохой, — двадцать... (цены лета 1997 г.)

А ведь еще 10 — 12 лет тому назад по всем зимовьюшкам вдоль Мегры на столах лежали пачки сахара, тюбики чая, мешочки с солью, на стенах висели кульки с крупами и вермишелью, сухарями. Заходи, живи... Игорь махнул рукой:

— Забудь о тех временах! Ну, мне пора. Вот банку сахара вам оставляю, хлеба две буханки, а то еще когда лодка за вами придет!

У Игоря двое малых детей. Хорошо еще, что жена поваром в интернате работает...

Мой тринадцатилетний внук с восхищением смотрит на Игоря. Впервые в жизни он видит человека, который делится с чужими, только что встретившимися ему людьми последним. Да и человек-то почти нищий. Сам этот сахар и этот хлеб в долг выпрашивает у местных "новых русских".

В молчанье сидим, прислушиваемся к шорохам жизни.

Глухари и тетерева токуют. Всю ночь за болотом, там, где горит полоса тусклого сияния, несется к небу улюлюкающий стон тетеревиного токовища; длинноклювый бекас, хоркая, тянет вдоль бора; лебединые стаи белыми клиньями режут ослепительную синь — их путь на Канин Нос; все — и вода, и земля — прогревается солнцем, отходит от стужи, шуршит, дышит, скрипит, постанывает, переливаясь друг в друга. "Шлеп, шлеп, шлеп", — слышится где-то: оживают лягушки... Длинноклювые самцы-турухтаны, кто в белом, кто в темно-синем, кто в глянцевито-черном, кто в коричневом воротничке, слетаются на сухие травянистые угоры и начинают поединки в честь невзрачных серых самочек, равнодушно взирающих на то, как их будущие повелители, раздувая перышки и перебирая тонкими лапками, наскакивают друг на друга. Ветер несет вдоль русла горьковатый дух черемухи. Она уже отцветает — и особенно сильные порывы ветра осыпают повянувший белый цвет на черную речную гладь.

— Ну, мне пора!

Игорь встал, оправил штормовку, погрел напоследок руки

над огнем. Пока он завязывал рюкзачок, я сбегал в палатку.

— Игорь! Не обижайся, возьми денег, вернешься в деревню — они тебе пригодятся.

Игорь деликатно отклонил мою руку.

— В тайге да на реке не пропаду, а денег не надо. Авось еще встретимся.

Он с шумом зашел в воду, оттолкнул лодку, перевалился через борт на мешки с сетями, внезапно обронил в воду шапку-ушанку, но ловко успел выхватить ее из воды и нахлобучить на жесткие черные волосы. По его лицу потекли струйки воды. Я сорвал с головы свою:

— Возьми сухую! А то на ходу в мокрой замерзнешь!

Но Игорь помотал головой:

— На ветру быстрее просохнет!

...Лодка сначала медленно, потом все быстрее и быстрее пошла по черной промоине вдоль берега, вырвалась на плес, где Игорь прибавил газу и вскоре скрылся за мглистым поворотом.

Алешка с открытым ртом глядел ему вслед:

— Вот это настоящий супермен! Не какой-нибудь Шварценеггер или Сталлоне. Я думаю, дед, они здесь, на Мегре, как мухи бы околели. Какой человек! У самого ничего нет, а он нам половину еды отдал и денег не взял!

С того дня прошло два года, но внук, растерянное дитя "страшных лет России", время от времени до сих пор вспоминает:

— Какой человек! Последнее отдал...

* * *

Будучи недавно в Китае на днях русской культуры, я встретился с главным редактором журнала "Знамя", моим давнишним знакомым по 60—80-м годам, Сергеем Чуприниным.

Когда-то он писал предисловие к однотомнику моих стихов (1979 г.), вполне патриотичное и эмоциональное, потом постепенно перешел в лагерь будущих прорабов перестройки, возглавил журнал, где несколько лет подряд журналисты, писатели, политики разрушали наш Союз и наш образ жизни, и вдруг в Китае мрачно пожаловался мне, что все, мол, получилось не так, как предполагалось ему. Что журнал "Знамя" дышит на ладан, культура гибнет, писатели-демократы в отчаянье.

— На что жаловаться, Сережа, — ответил я ему. — Ваше положение хуже нашего. Мы честно боролись, но у нас не

хватило сил в борьбе за Россию. Мы — побежденные, а вы — обманутые. Вам тяжелее, вас просто кинули. Как и положено на воровском рынке. Использовали и кинули...

А ведь целое десятилетие журнал "Знамя" героизировал и прославлял имена диссидентов 70—80-х годов — Галича и Аксенова, Ростроповича и Эрнста Неизвестного, Любимова и Бродского, Войновича и Алешковского. Помнится, как Майя Плисецкая, выступая по телевидению, в то время сказала о деятелях культуры третьей эмиграции:

— Они уехали потому, что им было плохо. Если бы им было хорошо, они бы не уехали.

А Рубцову хорошо было жить в нищете, сидеть свои последние дни в комнатке вологодской коммуналки, петь, склонясь над гармошкой: "Я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ!"

А Шукшину легко было пробиваться со своими кровоточащими рассказами и фильмами сквозь строй чиновничьего равнодушия?

А Варламу Шаламову, отсидевшему в лагерном аду двадцать с лишним лет, легко было вспоминать Колыму и в своем убогом доме престарелых наносить на бумагу события и судьбы, от одного описания которых кровь застывает в жилах?

А покойному Владимиру Чивилихину, чью книгу "Земля в беде" рассыпала цензура — легко ли было?

А Михаилу Алексееву легко ли и хорошо ли было вспоминать, писать и печатать и проволакивать сквозь цензуру первую в нашей истории книгу о голоде 30-х годов, который пережил он, крестьянский мальчик, чтобы рассказать, как обезлюдело от геноцида русское Поволжье?

Барышникову, Макаровой, Нуриеву, Крамарову, Ал. Глезеру, Корчному было плохо... Почему? Их не учили танцевать? Или плохо выучили играть роли? Или не давали зарабатывать на жизнь бездарными переводами?

А зачем оставались на Западе наши дирижеры, фигуристы, виолончелисты, певицы, политики, дипломаты, летчики? Что, им тут, на родине, Бетховена играть не давали? Выступать в чемпионатах страны запрещали? Танцевать в Большом театре или в Мариинке отказывали? Петь арию Розины не дозволяли? Нет, все гораздо проще и сложнее. Проще, потому что — будем глядеть правде в глаза — эти профессионалы высокого класса ценили себя гораздо дороже, нежели общество могло им платить. Так что причины для "плохо", будем откровенны, были. Они, много поездив по миру, поглядев на образ жизни

себе подобных, на машины, виллы, особняки великих артистов мира, справедливо сочтя себя не менее талантливыми и не менее заслуживающими не меньших благ, пришли к естественному выводу. Неопределенное понятие "им было плохо" отлилось в точную формулу: "Нам мало платят. Не по нашему таланту. Живя на Западе, мы можем в этом отношении стоять вровень с ними". И те, кто уехал, по-своему были справедливы в своих претензиях. Мы платили им мало. Что делать! Опять начнем скучные подсчеты: пять миллионов жертв в гражданской войне, два всенародных голода, репрессии Красного террора, геноцид, расказачивание, индустриализация, колхозы, Великая Отечественная, разруха, и снова в который раз возрождение жизни. Когда умерла моя мать — хирург высокой квалификации, всю жизнь работавшая на нескольких работах, на сберкнижке у нее были деньги лишь на похороны, (правда, была уже хорошая квартира и нормальная пенсия). Как мог советский зритель, вынырнувший из этого гигантского котла, перекипевший в нем всю войну, все послевоенное лихо, живший в растяжку жил человеческих, как мог этот средний советский человек, едва-едва обросший кожей с середины 60-х годов, платить за билет в какой-нибудь Большой или Мариинский театр, или в цирк, или Консерваторию, сумму, эквивалентную сотням долларов, а именно такова стоимость билетов на концерты актеров подобного уровня на Западе, стоимость, лежащая в основе их банковских счетов, вилл, яхт, путешествий, стоимость, говорящая о том, что они едут туда обслуживать западную элиту.

Да, мы были бедны, чтобы оплачивать все амбиции и запросы талантов нашего времени. Мало они получали от бедного народа. И ясно видели, что больше в ближайшее время не получат. Оттого-то, по их словам, "им было плохо". Ибо они не могли взять больше, чем мы могли им дать. А мелкие подачки государства — компенсации в виде Государственных премий, орденов, званий — уже всерьез никого к концу 60-х годов не интересовали...

Значит, надо жить там, где хорошо. Но те современные русские писатели, которым было "плохо" здесь, но кому и в голову не приходила мысль, чтобы из-за этого куда-то эмигрировать, понимали и понимают призвание писателя — гражданское, по-пушкински, а не по-диссидентски ("но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество").

Кто-то уехал потому, что не мог в наших условиях удовлетворить жажду политической деятельности, и это

понятно. Кто-то, чтобы остаток жизни попить пиво в парижских бистро и всласть потрепаться с друзьями, наезжающими из Союза. Ей-богу, не могу осуждать за подобную слабость! Кто-то мир посмотреть, пошляться по городам. Кто-то вволю порусофобствовать... Но больше всего мне были смешны наши чиновники, ахавшие при этом: "Ну такому-то имярек чего надо было? И лауреат, и народный, и дача есть, и ордена, и почет! Чего же еще надо? Все у него было!" И не понимали своими мозгами наши администраторы, что это "все у него было" — лишь по нашим очень скромным масштабам. А там масштабы и счета другие. Вот он, идеал, тот самый, о котором как о коммунистическом будущем мечтал Евтушенко в романе "Ягодные места", когда изображал диалог сибирского лесоруба со своей женой:

— А что, Маш, не махнуть ли нам в отпуск на Гаваи? В Швейцарии мы в прошлом году были, надоела Европа, давай на Гаваи!

Вот такими картинами словоблуд со станции Зима соблазнял в те времена ныне забытых Богом и людьми сибирских лесорубов.

А что касается людей вроде Василия Белова, Валентина Распутина, Юрия Кузнецова, Дмитрия Балашова, то их несчастье (или счастье?) заключалось в том, что они были людьми такой породы, что и протоиерей отец Сергий Булгаков, который в автобиографических заметках писал:

"Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землею и со всем Божиим творением... Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все мое оттуда..."

Вот где собака зарыта. Все очень просто. Там деньги и свобода. Здесь вера и любовь.

Ибо ни Бродский, ни кто-либо другой из третьей эмиграции ничего похожего тому, что сказал о себе С. Булгаков, сказать не мог. В его словах воплотилась глубинная суть русского патриотизма, запрещенного официальной идеологией уже в начале 20-х годов. Так чувствовали Бунин и Зайцев, Соколов-Микитов и Шмелев, Шаляпин и Цветаева. Такой же связью

родины и души жили Николай Рубцов, Владимир Солоухин, Анатолий Передреев, ею жили и живут многие сегодняшние русские писатели — Лихоносов, Личутин, Лобанов, Крупин... У их антиподов чувства иные. Погибла Россия или не погибла, пропадает или возрождается — это их мало интересует. Их не отягощают такие "предрассудки" сегодняшнего мироощущения, как патриотизм, ностальгия, лоно матери. Именно такой вывод можно сделать, читая книги этих писателей, изданные на Западе после "выезда".

Бунин, Куприн, Цветаева, Шаляпин, Шульгин, Рахманинов покинули Россию потому, что, по их убеждению, в те времена их Россия — погибала и погибла. Они не примерялись заранее к такой судьбе, не налаживали во время "творческих командировок" связей, не подстилали соломки, не заключали предусмотрительно ради аванса (хоть что-нибудь урвать!) договоров в советских издательствах, не давали предварительных интервью всяческого рода западным корреспондентам, не надеялись на счета в швейцарском или иных банках, заранее открытые. Наши диссиденты долго торговались с идеологическим аппаратом — уезжать или не уезжать. И на каких условиях. Их уговаривали, удерживали, покупали... Но дать всего, что они просили, даже всесильные чиновники того времени не могли.

* * *

Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным человеком Сергеем Наровчатовым, я спросил его: "Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры "западной ориентации", снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, — почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?" (Как раз в то время громился роман Пикуля "У последней черты", партийная и литературная пресса разносила статьи и книги В. Крупина, В. Кожинова, М. Лобанова, Ю. Лощица, "Коммунист" пером комсомольско-партийного карьериста Юрия Афанасьева осуждал издание беловского "Лада" и т. д.) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: "К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению власть относится, словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку

подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется... Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь — так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!”

Но бывали в те времена и эмигрантские судьбы с неожиданными поворотами.

Я вернулся в Москву из Тайшета в 1960 году и начал работать в журнале “Смена”. Там и познакомился с Мишей Деминым, Мишаней, — сутуловатым, рано полысевшим человеком, с замашками профессионального блатного, у которого за пазухой был целый ворох смешных, скабрезных и печальных историй, связанных с воровской жизнью, с пересыльными пунктами Сибири и Востока, с Норильском и Тайшетлагом. Еще работая в Тайшете, я знал, что где-то в Абакане, на другом конце строящейся магистрали Тайшет — Абакан, живет поэт с загадочной и романтической судьбой: мы тогда уже начинали печататься в сибирской прессе, слыхали друг о друге еще до встречи в Москве и встретились как старые знакомые в коридорах столичного журнала, куда устроился работать и Мишаня... Был он человеком открытым, контактным и бесцеремонным.

— Старичок, привет! Слыхал я о тебе в Абакане, ну, пошли куда-нибудь, за родную Сибирь-матушку примем по сто пятьдесят!

Мишаня приходился двоюродным братом известному писателю Юрию Трифонову — отцы их, донские казаки, были родными братьями, и оба, как весьма заметные военачальники времен гражданской войны, занимали высокие посты в сталинское время, оба женились на еврейках... В 1937 году одного расстреляли, другой умер от инфаркта.

Целеустремленный Юрий Трифонов в послевоенное время выбился в писатели, стал одним из самых молодых лауреатов Сталинской премии за роман “Студенты” — сын “врага народа”! — а бродяга и авантюрист Мишаня пошел по “блатной линии”, но пристрастился в лагерях к стихотворчеству, и потому мы встретились в “Смене”. Несколько лет подряд мы жили обычной жизнью провинциальных поэтов в Москве, самоутверждались, бражничали, дружили, словом, жили как люди... Но вдруг обнаружилось, что у Мишани то ли по казачьей, то ли по материнской линии кузина в Париже.

С помощью Юрия Трифонова, поручившегося за него, Мишаня съездил во Францию. Вернулся каким-то другим: обалдевшим, молчаливым, замкнутым. Через год-два поехал к кузине во второй раз... и не вернулся! Это, пожалуй, был первый "невозвращенец" из писательского клана. Его невозвращенство совпало с победоносной войной Израиля против арабов и с первой неожиданной для всех советских народов волной еврейской эмиграции. Я переживал утрату Мишани, как личную драму, и помню, что осенью 1968 года, возвращаясь из Иркутска в Москву, остановился на несколько дней в Тайшете, где под грузом нахлынувших воспоминаний написал первое стихотворение на тему, впоследствии надолго въевшуюся в меня.

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, память отринуть,
все забыть — и любовь и войну.

Нет, не то чтобы я образцовый
гражданин, коммунист, патриот,
просто призрачный сад на Садовой,
темный берег, да сумрак лиловый,
да какой-нибудь шрам пустяковый —
это все лишь со мною уйдет.

Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму:
кто-то скажет — а Курбский? а Герцен?
Вам понятно, а я не пойму.

Я люблю эту странную участь,
от которой сжимается грудь:
даже здесь бессловесностью мучусь,
а не то чтобы там, где-нибудь.

Синий холод осеннего неба
столько раз растворялся в крови —
не оставил в ней места для гнева —
лишь для горечи и для любви.

Это стихотворение я писал со странным чувством, никого не осуждая, разбираясь в своей собственной душе, отвечая самому себе на вопрос: почему для меня такой исход невозможен?

"Кто-то скажет: а Курбский? а Герцен?" — это было внутренней полемикой со стихотворением Олега Чухонцева о Курбском, напечатанным в те времена и вызвавшим на голову автора немало невзгод (Чухонцев оправдывал шаг Курбского, изображал его как Федора Раскольникова своей эпохи). Я ценил

поэзию Олега Чухонцева — но восхищаться ни Курбским, ни Раскольниковым не мог. Я любил прозу Герцена, но его эмигрантство всегда было занозой в моей душе. Много лет спустя жжение от этой занозы затихло, когда я прочитал у Достоевского, что "Герцен вовсе не стал эмигрантом, он просто им родился"...

"Вам понятно, а я не пойму" — вот главное, что я хотел сказать предавшему мои чувства Мишане. Не пойму — и все. Сердце у меня, что ли, другое? Ну как я без моей Оки, от которой поднимается тяжелый осенний пар перед заморозками, без древнего бора, где мне родная каждая тропка и каждая мочажина, без моих калужских таинственных переулков, в которых свистят февральские вьюги, а летом кружится тополиный пух? Без моего дальнего зимовья на черной ледниковой реке, возле которого я сижу два раза в году, слушаю шум прибывающей воды или ропот сосен, или пронзающий грудь нежный клекот гусиной стаи, идущей в сером небе от Канина Носа на юг? Или без могилы матери, где я стою неподвижно, что-то шепчу виноватое, а потом открываю ограду, сгребаю жухлые листья и опавшие ветки, зажигаю на дорожке маленький костерок и вдыхаю сладкий дым забвения, тлена и вечной памяти и оглядываюсь на соседние надгробья: бабушка Дарья Захарьевна, тетя Поля, тетя Дуся — все тут, все рядом... Может быть, и мне посчастливится когда-нибудь лечь рядом с ними. Старомодно? Сентиментально? Ну, что делать — иначе не могу. Те, кто могут, — они из какого-то другого, неведомого мне материала сделаны. Многое они могут, но вот только такую книгу, как "Последний поклон" или "Прощание с Матёрой", им написать не удастся. А я на том стою и стоять буду. На чувствах, подтверждение которым, когда я оскорблен и унижен системой, чиновниками, идеологией, всегда нахожу в письме Пушкина Чаадаеву: "Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора — меня раздражает, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал".

Сентиментальный Александр Сергеевич! Как вы старомодны!

А "сатирики" — не сентиментальны. Осмеять, вывернуть наизнанку, унизить — это у них получается само собой. Оно, конечно, легче, нежели мучиться, любить, страдать. Тут другой дар нужен. Да какой там дар — просто другое сердце и другая душа: русская... Диссиденты любили козырять именем Ахматовой, как козырной картой. А эта мужественная женщина

ведь даже на Бунина или Шаляпина как свысока посмотрела, вырезав словно алмазом но стеклу:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной!
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

(1922)

Многих эмигрантов-писателей той эпохи уязвила она своей сверхчеловеческой гордыней — ничего не получив взамен от общества и системы за свой монолитный патриотизм, который в раздражении Роман Гуль даже назвал "надменным" ("но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас"). Ни строчки, начиная с двадцать третьего по 1940 год, не напечатала Анна Ахматова — черпая силу и веру в чувстве Отчизны, которое было настолько цельным, что тревожило совесть великой первой эмиграции:

В кругу кровавом день и ночь —
Долит жестокая истома.
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома.

За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду...

А уж как выглядели рядом с этим несокрушимым чувством литературно-бизнесменские импульсы последней волны диссидентства — говорить не приходится... Ошиблась Ахматова: хлеб Ростроповича и Аксенова пахнул не полынью, а пресс-конференциями, шампанским, черной икрой...

Но я отвлекся от первоначального сюжета.

В 1980 году, через тринадцать лет после расставания с Мишаней, я приехал туристом в Париж... Как-то получилось, что вся вторая половина дня была у нас свободной. Я вышел в холл гостиницы, не зная, чем заняться, и на глаза мне попалась толстенная телефонная книга... "А нет ли в ней Миши Демина?!" — внезапно мелькнуло в моей голове. Я начал листать гроссбух и — о чудо! — смотрю, фамилия моего Мишани латинскими буквами напечатана. И телефон! Оглянувшись по сторонам, я набрал прямо из вестибюля номер. "Алло!" — раздался хрипловатый, прокуренный, знакомый голос с вальяжной приблатненной интонацией.

— Мишаня! Ты, что ли!

— Ну я, а кому это я нужен?

Через полчаса, взяв такси, я уже ехал по адресу, а Мишаня вместе со своей женой-француженкой накрывал на стол...

Несколько часов за "Смирновской" и всяческой пикантной закуской ("Старичок, отведай — это печень кабана, а это паштет из оленины") мы просидели в маленькой однокомнатной квартирке Демина с уголком для спанья, отгороженным ширмой, предаваясь воспоминаниям. Его жена — милая женщина, заведующая маленьким машинописным бюро, старательно обслуживала нас, почти ничего не понимая по-русски, разве что кроме крепких общенародных и одновременно лагерных словосочетаний, которыми Миша по привычке расцвечивал свою речь.

Но перед тем как выпить последнюю рюмку, он попросил меня внимательно выслушать его:

— Старик! Ты же знаешь меня — никакой я не антисоветчик! На радиостанциях я не блядовал, приехал к кузине — ну, влюбился в бабу, промотал ее "бистро", выгнала она меня, ну, нахлебался я говна из параши! Я ведь не политик, а уголовник. И в привокзальных гостиницах мыкался, и блефовал, ну, в конце концов накропал два романа (представляю, как это нелегко было Мишане с его патологической ленью!), "Блатной" и "Перекрестки судеб" в двух частях, — Мишаня осклабился во всю блестящую стальную гармошку зубов на смуглом лице, — одна часть "Тайна сибирских алмазов" и другая "Пять бутылок водки" — ты представляешь, как я об этом могу написать! Ну, давай за встречу! — Он опрокинул рюмку, закусил "мануфактурой" и продолжал: — Словом, из нужды я выбился без помощи всяких этих аксеновых, гладилиных, "континентов", сам себе издателей нашел, сам на ноги встал... Но не в этом дело. Слушай сюда. Антисоветчиком

я никогда не был, и ваше КГБ знает это лучше нас с тобой. Просто мне захотелось по белу свету перед смертью пошляться! Ну, ты же меня понимаешь?! По бардакам походить, хорошей водочки попить, закусить тем, чего душа желает... Но родина! — Мишаня выпятил вперед и без того громоздкую челюсть и помотал головой. — Я вреда ей никакого не принес. Майку, жену мою московскую, обидел? Да! Кузину разорил? Да! Но родине жизнь моя убытка не принесла... А потому — ты же начальник, я слышал, — поговори сам знаешь с кем: вдруг разрешат Мишане вернуться на родину... Жизнь дожить и помереть там хочу, а не здесь...

Железный, закаленный на сибирских ветрах, Мишаня внезапно для нас обоих прослезился, мазнул ладонью по лицу и налил по "самой последней".

— Поговори, прошу тебя, с кем надо...

Вернувшись в Москву — а был это восьмидесятый год, — я выяснил, с кем надо поговорить, встретился с каким-то средним чином. Чин все выслушал, что-то записал и сказал мне, что они будут думать. Не знаю уж, что они там надумали, но года через три я встретил на улице Герцена прежнюю московскую жену Мишани Майку, перед которой он "был виноват", и она рассказала мне, что несколько дней тому назад раздался телефонный звонок из Парижа и какая-то женщина на смеси французского и русского языка сообщила, что Мишаня вчера сел на табуреточку, стал зашнуровывать ботинок, но вдруг ткнулся головой вперед, в пол, и не поднялся... Француженка просила Майю срочно приехать на похороны, не понимая, что простому человеку в три дня из нашего государства невозможно выехать ни под каким предлогом.

Помер Мишаня. И похоронен не там, где хотел бы лежать, и на могилку придти некому. Но если бы он не помер, у него хватило бы совести и своеобразного профессионального достоинства "вора в законе", вернувшись на родину (если бы он вернулся), не кричать о тяжести режима, выпихнувшего его во времена застоя за кордон, и не претендовать на роль разведчика перестройки, ее предтечи, вышедшего на борьбу слишком рано и оттого пострадавшего сверх меры. Он — бывший честный уголовник, я уверен, вел бы себя достойно. Зашел бы в Центральный Дом литераторов, заказал бы у стойки свои сто пятьдесят — чтобы забрало сразу... Увидев меня, подмигнул бы: "Ну что? За встречу!" А я бы, наверное, сказал ему: "Здравствуй, Мишаня!" И мы, ей-богу, искренне обнялись бы с ним...

1978—1998 гг.

"А каждый читатель, как тайна..."

Предчувствие катастрофы. Раскол в читательском мире. Мои бескорыстные читатели, фанатики Владимира Высоцкого. Моя полемика с Яном Вассерманом. Валентин Катаев двуликий Янус — юдофил и черносотенец. Осуждение повести Катаева еврейской средой. Наша встреча с Михаилом Горбачевым. Мое выступление. Девятый вал русско-еврейской полемики. Клевета и ложь о якобы готовящихся погромах. Властолюбцы идут ва-банк. Развязка 1991 года. Поиски русской идеи

После 1982 года мною все чаще и чаще овладевали предчувствия какой-то грядущей катастрофы, должной случиться со страной и со всеми нами. ...Я с ужасом чувствовал, что устои нашего советского государства шатаются, слышал подземные толчки, глухой пока еще скрежет несущих конструкций и мучительно соображал, что делать, как и чем воспрепятствовать разрушению жизни. Скорее всего наше государство, наша идеология, — думал я, — возникли на двух опорах, покоятся на двух полюсах — на еврейской, мощно организованной воле к власти и на русском тяготении к всемирной справедливости. В самом начале обе силы делали одно дело — разрушали старую тысячелетнюю Россию, но со временем их векторы расходились все дальше и дальше друг от друга... Обе силы присутствуют в глубине жизни и сегодня. Но противоречия между ними нарастают, напряжения накапливаются, и землетрясения нам не миновать.

Когда я начал смутно понимать подобное положение вещей, то все события, которым раньше не было объяснения, как шахматные фигурки на доске, находили свое место: появление статьи партийного идеолога А. Н. Яковлева, странная игра в кошки-мышки с диссидентами, пена вокруг "Метрополя", реакция власти на дискуссию "Классика и мы"...

Догадки мои в те годы приблизительно строились так. Значит, раскол нашей жизни, крушение партийной идеологии и развод с еврейством неизбежны. Мы, русские, своей коммунистической партии, видимо, создать не успеем. История не даст нам для этого времени. Идея социализма на ближайшее время, по крайней мере, скомпрометирована антисоветской частью самой партийной верхушки. Инициативу можно перехватить, лишь опираясь на то, что условно называется "национальным самосознанием". Путь опасный, ибо он тоже на первом этапе разрушителен для многонационального государства. Однако другого пути нет: партийная верхушка сама разрушит партию, сама угробит социализм, сама предаст многомиллионную партийную массу — а пока есть время для организации сопротивления. И если уж идти в контратаку, то все силы надо направить на дискредитацию "детей XX съезда", ратующих за "ленинские нормы жизни", тайных наследников Троцкого и Бухарина, Каменева и Зиновьева. Надо убедить общественное мнение, что нынешние функционеры — яковлевы, арбатовы, бовины, фалины, бурлацкие, лацисы опасны, что диссиденты типа Литвинова, Якира, Копелева, Агурского и близкие к ним Окуджава, Аксенов, Шатров, Боннер — фанатичные потомки своих отцов, жаждущие исторического реванша. Подготовить для грядущего отступления окопы и траншеи национальной обороны, объяснить замороченным людям, что сталинская солдатско-принудительная система была исторически неизбежна для спасения страны, успеть доказать, что Россия в той степени, в какой это было ей нужно, сумела переварить социализм, приспособить его к народным нуждам и что лишь поэтому он, социализм, получил смертный приговор, "вышку" от трибунала "мирового сообщества" и его агентов влияния, находящихся на вершинах власти в Кремле и на Старой площади...

А если уж у нас не хватит сил и времени русифицировать партию и сохранить советскую государственность, а может и не хватить! — наши враги проницательнее и организованнее нас, — то единственный наш реванш, единственный плацдарм для будущей борьбы (может быть, уже не для нас, а для русских людей другого поколения) — это написать правду обо всем...

О вождях революции, о расказачивании, о русофобии двадцатых годов, о судьбах Есенина и Клюева... Надо издать антологию крестьянских поэтов, написать книгу в ЖЗЛ о Есенине, вырвать из исторического небытия имена Алексея Ганина, Пимена Карпова, Ивана Приблудного...

Осмыслив все это, я бросился в историю и публицистику. Сколько статей было написано за десятилетие с 1982-го по 1992 год, сколько копий сломано, сколько книг издано, сколько нервов потрачено, сколько читательских писем получено, сколько восторгов, похвал, оскорблений, наветов пришлось перенести — не счесть.

1982 год — "От великого до смешного" — статья о классике и о Высоцком, грандиозная дискуссия после нее... 1984 год — "Что тебе поют" — статья о массовой культуре, сотни полученных читательских откликов; 1986 год — "Пища? Лекарство? Отрава?" — яростная полемика с читателями, "pro — contra", открытый бой за русскую культуру с привлечением читателей-союзников; 1986 год — "Избранное" Николая Клюева в Архангельском издательстве (в Москве трудно было издать такую книгу); 1987 год — публикация в "Новом мире" великой клюевской "Погорельщины", издание антологии крестьянских поэтов "О Русь, взмахни крылами" с биографическими справками, в которых наше русское издательство "Современник", возглавляемое умеренным патриотом Леонидом Фроловым, запретило обнародовать, как и где большинство из них нашли свою смерть... А публикации целого цикла статей в "Молодой гвардии" и "Нашем современнике" — "Все начиналось с ярлыков", "Поэзия пророков и солдат", "Клевета все потрясает", "Палка о двух концах"... И, в конце концов, издание в Вологде однотомника Алексея Ганина, сестер которого я разыскал в Архангельске...

Боже мой, сейчас сам себе поверить не могу, как у меня на все хватало сил: писать, пробивать в издательствах книги, печатать, выдерживать яростную хулу со страниц "Огонька", "Литературки", "Московских новостей", "Знамени"... В 1990 году уже невозможно было все эти огнедышащие публикации издать под одной обложкой в Москве. Родные мне издательства были разорены и обнищали, в "демократические", неизвестно откуда получавшие средства, соваться было бесполезно, и я отослал рукопись в далекий Саратов, моему хорошему знакомому из саратовского издательства — Геннадию Сидоровнину. Она и вышла в 1990-м году книгой под названием "Не сотвори себе кумира".

Однако эта глава не о "себе любимом", а о нашем великом

читателе, которого мы потеряли вместе со страной. Я хочу как можно больше внимания уделить ему не потому, что лестно сердцу литератора перечитывать похвалы по поводу стихов и статей (проклинающих меня и негодующих писем я тоже получал немало и также буду щедро цитировать их), а потому, что такого феномена, как вымирающий ныне на наших глазах читатель, второй раз в мировой истории уже не появится. Его исчезновение можно сравнить разве что с крушением цивилизации древних египтян или ацтеков, с погружением в воды Мирового океана Атлантиды, с вырождением античного человека Древней Греции или сурового католического европейца времен раннего средневековья. Читатель этот представлял собой, как правило, тип русского человека советской эпохи, с его откровенностью и доверчивостью, требовательностью и верой во всесилие слова, с нестяжательством и "вселенской отзывчивостью", с его славянской чувствительностью и русской истовой тягой к духовности.

Когда начались у русской литературы такие бескорыстные, почти родственные отношения с читателем? Когда читательская воля стала существенным и естественным продолжением писательских судеб? Ни при Пушкине, ни при Лермонтове, ни при Некрасове подобной связи еще не было. В их полных собраниях сочинений есть переписка с писателями, просто с друзьями, с людьми власти, с цензорами, с родными и близкими, но переписки с неведомыми читателями, в сущности, нету. Первый, кто понял всю серьезность этих отношений, кто стал ссылаться на читательские письма, спорить с ними, опираться на них, пользоваться ими как своеобразными результатами социологических опросов, включать их в свой "Дневник писателя", был Федор Михайлович Достоевский. Но он был скорее исключением, нежели правилом. Переписка с читателями Блока и Чехова — весьма скудна. Маяковский и Есенин также не придавали ей серьезного значения. К тому же в годы гражданской войны и разрухи обычным людям не до чтения было, не до писем. Да и книги выходили мизерными тиражами. Впрочем, не до личных библиотек было нам и в годы напряженного строительства, сверхчеловеческих усилий по созданию новой цивилизации, и в годы Отечественной войны, и не меньшего, нежели в тридцатые годы, напряжения всех народных сил послевоенных лет.

Не было в ту эпоху личного разнообразия и богатства жизни. Потому-то большой переписки с читателями не было ни у Ахматовой, ни у Твардовского, ни у Заболоцкого, ни у Смелякова. Однако эти поэты глубоко чувствовали и понимали

естественные отношения человека творящего и человека, питающегося творчеством. Вспомним полные уважения к читателю и сознания своего долга перед ним — при неизменном сохранении своего суверенитета — стихи Анны Ахматовой:

А каждый читатель, как тайна,
Как в землю закопанный клад.
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

В этой таинственной, бессловесной, но всегда ощущаемой стихии главная надежда нашего бессмертия:

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят...

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Там исповедь льется немая,
Беседы блаженнейшей зной.

Золотые времена, одно воспоминание о которых вызывает столько чувств — и гордости, и горечи, и разочарования, и надежды... И все же нельзя терять веру в бессмертие живой читательской души, как бы она ни была сегодня затуркана житейскими тяготами и оголтелым господством циничной и бездуховной культуры. Такое безверие — гибель для творца. Ахматова в самые тяжелые времена не теряла веры:

Наш век на земле быстротечен,
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Не терял этой веры и Александр Твардовский, хотя знал цену читателю-современнику, — вспомним хотя бы суровые строки о том, что читатель бывает

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.

Но тот же Твардовский, думая о читательской любви к поэту, являющейся неким черновиком любви народной (хотя этот черновик не всегда переписывается временем набело), в итоге все-таки пишет с исповедальной страстью:

И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И нощно —
Душу сжечь готов.

Свою, конечно же. Не читательскую.

Все эти строки написаны в суровые времена, когда если не молчали музы, то читатели уж точно молчали, потому что все еще не научились писать письма своим поэтам или потому, что у них еще не было сил и времени для размышлений и писем.

Отзывчивый и разговорчивый читательский пласт окончательно сложился в нашей стране лишь в первое десятилетие спокойной, уверенной, в основном материально обеспеченной жизни — где-то с 1955-го по 1965 год. Именно тогда люди стали собирать библиотеки, покупать хорошие и недорогие книги, выписывать множество журналов и газет, у них появилось время и силы для чтения, размышления и для разговора с Валентином Распутиным, с Василием Беловым, с Федором Абрамовым, с Юрием Бондаревым. Но буду справедливым — и с Евтушенко, Вознесенским, Окуджавой, Слуцким, Юрием Трифоновым. Читателей хватало на всех.

Иногда в те годы мне становилось даже страшно за то, что мои читатели так доверяют мне, просят советов, как жить и что делать. Ну разве это наше дело слушать исповеди, отпускать грехи, отвечать на мировые вопросы, становиться, не желая того, в позу учителей жизни? Но тем не менее я всегда чувствовал, что читатели хотят видеть меня в обличии то ли священника, то ли учителя, то ли борца за права человека, что мне они доверяют больше, нежели самим себе.

Помню, однажды, вернувшись из северного иркутского села Ербогачён, где был на охоте, я написал стихи, а потом и очерки о жизни таежных людей, об их нравах и судьбах, и вдруг получил письмо от Наташи Л. — инженера-программиста из Иркутска. Она просила у меня разрешения и помощи для того, чтобы проехаться по “моим местам”, встретиться с героями моих стихотворений, словом, как бы пожить частью моей поэтической жизни. Я, конечно, не дал благословения на этот сумасбродный шаг. Но у нас началась интереснейшая переписка, которая стала нужнее мне, нежели ей, потому что у Наташи обнаружился удивительный поэтический вкус — ну, как у обычных людей, не занимающихся музыкой, бывает абсолютный музыкальный слух, более совершенный, нежели у иных композиторов. Размышляя о моих стихах, она открывала в них достоинства, о которых я не подозревал, и недостатки,

которых я не видел. Иные второстепенные для меня самого стихи после ее писем вдруг обретали иное значение, иную глубину. Ее суждения были столь же тактичны, сколь справедливы, и не раз я прислушивался к ним, поправлял и улучшал строки и строфы, казавшиеся мне ранее совершенными.

Из писем Наташи Л. 22.11.81 г.

"Первое стихотворение, которое привлекло мое внимание в Вашей новой книге, было:

Одиночество — экое благо!
Никого, только ты и судьба.
Только темная ночь да бумага,
да фонарь на вершине столба.
Только тени, любимые тени —
словно ими наполнена мгла...
Я спешу на свидание с теми,
кто, закончив земные дела,
обживает летейские рощи (какая строка!), —
где снежинки бесшумно парят
и откуда их светлые очи
в мою душу бесстрастно глядят.

Оно как-то очень точно описывает мое состояние.

Вы знаете, в ту ночь, как я улетела в командировку, я пыталась переделать стихотворенье так, как мне нужно было. Куда там! Слова вывертываются, и выскальзывают, и не хотят ложиться в это воистину прокрустово ложе (уж это-то Вам известно, наверное, гораздо лучше, чем мне)..."

"Ваши стихи постоянно окружают меня (если можно так сказать), одни приближаются, другие отдаляются — словно водят хоровод. Вот в Минусинске меня сопровождало одно Ваше стихотворение. В нем каждое слово и каждая строка удивительны.

Дай руку, дай милую руку,
Пойми, что нельзя одному
Кружиться по вечному кругу,
Впадая из света во тьму.

Я руку твою поцелую,
Забуду в ладонях твоих,
Что мчимся мы напропалую
В кольце катастроф мировых.

Нет, вы представляете — "забуду в ладонях твоих!" — я слов не нахожу! Если бы не слово "напропалую", которое

огрубляет это очень нежное стихотворение, я могла бы считать его одним из лучших".

"Пока я была в командировке, у меня как-то болела душа за Вас. Особенно во вторник и среду... У Вас там ничего не случилось?"

"10.03.83 г. Многие Ваши стихи помогают мне жить. (А я отвечал ей, что мне помогают жить ее письма. — **Ст. К.**) *И чего я совершенно не выношу, так это пародий на Вас. Я даже как-то хотела написать А. Иванову, да и некогда, и стоит ли? С него ведь как с гуся вода!"*

Александр Иванов, подписавший в октябре 93-го письмо с требованием репрессий против русских писателей-патриотов, недавно помер. Его начинают забывать, а может быть, и забыли уже навсегда. Его пародии, бывшие примитивным и грубым орудием телевизионной политической борьбы в годы перестройки, канули в небытие, как будто их и не было, как и популярной среди обывательской демократуры передачи "Вокруг смеха"...

В моей же памяти осталась лишь одна эпиграмма Анатолия Передреева на Александра Иванова, может быть, самая кратчайшая в мире: "Глист — пародист"... В нее как бы "вмонтировано" слово "паразит" (глисты ведь паразиты), вскрывающее всю несамостоятельную паразитическую сущность пародистов всех времен и народов...

Из письма Наташи Л. 20.07.86 г.

"Прочла грязную статью в "Юности" № 3 и сразу подумала о Вас. Мне хочется как-то утешить Вас и защитить. Я написала в "Юность" письмо, в котором удивлялась, как писания А. Мальгина увидели свет, т. к. там все неправда — передергивания, фальшь и хамство".

Этим письмом Наташа помогла мне в очень трудную минуту: спор между мной и "Юностью" разгорелся после того, как я опубликовал в "Нашем современнике" статью "Что тебе поют", где убедительно доказал, что фанатичные поклонники Высоцкого, устраивая сборища возле его могилы, затоптали находившуюся рядом могилу майора Петрова. У меня были фотографии затоптанной могилы и во время ее существования, и фотография этого места после ее исчезновения. Тем не менее "Юность" обвинила меня в клевете, в зависти к Высоцкому и даже в том, что чуть ли не я сам устроил инсценировку с могилой майора Петрова.

История эта имела весьма драматическое продолжение. Мой сокурсник по филфаку и соперник по литературной жизни

критик Станислав Рассадин глумливо повторил в той же "Юности", что я выдумал могилу майора Петрова. Шел 1992 год, когда мы, патриоты, уже были отрезаны от самых многотиражных газет, от телевидения и надо было искать эффективные и необычные формы сопротивления. Я написал в газету "Московский литератор" письмо, в котором потребовал от Рассадина извинений, в противном случае пообещал смыть оскорбление пощечиной. Он не извинился...

Через полгода я встретил клеветника у писательской поликлиники. Он шел мне навстречу. С упавшим сердцем я понял, что нужно исполнять обещанное, что другого случая не представится, и, когда мы поравнялись, моя ладонь звучно легла на его ланиту. Он отпрыгнул, как толстый кот, заверещал, зашипел на всю улицу нечто нечленораздельное, но было уже поздно. Возмездие совершилось. Я, чтобы поделиться опытом, как надо наказывать клеветников (а в то время оскорбления сыпались на нас с разных сторон), опубликовал информацию о приговоре, приведенном в исполнение, в газете "День" и вскоре получил из Ясной Поляны от читателя Сергея Романова письмо: "Я не поклонник Вашего поэтического таланта, но я в восторге от Вашей гусарской пощечины. Желаю Вам здоровья и мужества".

Так и Наташа Л. утешала меня, как могла:

"Не принимайте этого близко к сердцу, мало ли что где-то и кто-то о нас наговорит? Так ведь сплошное вранье... Собака лает — ветер носит. Да! Как-то видела Вас по телевиденью на вечере, посвященном Н. Рубцову, слушала Ваше выступление и радовалась, когда Вам преподнесли цветы — единственному, между прочим".

Из письма от 25.04.87 г.

"...достала пластинку, чтобы услышать Ваш голос и Ваши стихи:

Родина встречает гололедом,
Нежной стужей, золотым народом...

("Золотым"? Вы уверены? М-да!)

Грубая правда и нежные сны —
Лишь бы в пристрастные руки.

И вновь подумала о том, как страшно выпускать книгу в мир и стоять распятому перед толпой".

Как раз в это время я напечатал статью “Пища? Лекарство? Отрава?” — о массовой культуре, о ее грязном тоталитарном шествии по миру и по России. Словом, вызвал огонь на себя, поскольку речь в статье шла о кумирах — о Высоцком, об Окуджаве, о Евтушенко, о Пугачевой. Натиск собратьев по перу, обслуживавших этот клан, и поток читательских писем, яростно защищавших своих кумиров, был таков, что поначалу я растерялся. Меня не могло утешить то, что значительная часть читателей встала на мою сторону. Я видел, что если общество так глубоко расколото, то ничего хорошего этот раскол не сулит ни писателям, ни государству, ни народу. Это был грозный и зловещий симптом.

— Да бросьте упрекать меня в невежестве, в зависти к Высоцкому, в тщеславии, — хотелось мне прокричать в лицо многоликой, вернее, безликой силе, ополчившейся на меня. — Я сам увлекался блатными песнями этого талантливого юноши, я сам вырос в послевоенное время на волнующих русское сердце словах и сценах из нашего вечно бессмертного шлягера “Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая”, я сам аж до тридцати с лишним лет не раз утешал душу блатными песнями знаменитого барда: “Их было восемь”, “Только не порвите серебряные струны”, “Протопи ты мне баньку по-белому”... Но нельзя же быть вечным недорослем, но ведь нельзя же так легкомысленно кощунствовать, как это делали в прессе тех лет апологеты Высоцкого:

“Диапазон его голоса, который кое-кто считает ограниченным, превышает две с половиной октавы — больше, чем у Шаляпина. Это немыслимо большой диапазон и при этом какая ровность и органичность звучания” (композитор В. Дашкевич, “Советская культура”, 28.02.1987 г.).

“Высоцкий создавал такую магнитофонную культуру, структуру которой можно лишь сравнить со структурами, создаваемыми в свое время Пушкиным и Ломоносовым” (поэт А. Еременко, “Юность”, № 4, 1987 г.).

“Мы отмечаем юбилей двух великих бунтарей человечества: Высоцкого 50-летие и Байрона 250-летие” (“Московский комсомолец”, 20.01.1987 г.)

К этому можно лишь добавить афоризм Станислава Говорухина, опубликованный в те же дни: “Кто не понимает и не любит его — либо дебил, либо черносотенец”.

Ну не будем смешными, надо и честь знать... Должна же быть хоть какая-то иерархия ценностей!

Вот в чем был смысл моего бунта, столь возмутившего всяческого рода карякиных, рассадиных, мальгиных и прочих

кукловодов и дрессировщиков наивной и доверчивой русской публики. Впрочем, в те времена я не знал всего о Высоцком, что узнал много позже. Я всем своим жизненным и эстетическим опытом понимал, что эмоциональное воздействие его песен на нормальных среднестатистических слушателей неестественно по своей силе, что в это исполнение введена некая неведомая потребителю компонента, действующая на подкорку. Лишь позднее я узнал, из воспоминаний врача Леонида Сульповара, лечившего Высоцкого, о сути этой таинственной компоненты. Если говорить открыто, то суть ее — наркотическое состояние творца, его психики, его нервной системы и во время творчества, и особенно во время исполнения.

"От меня Володя долго это скрывал, — вспоминает Леонид Сульповар. — Я только в 1979 году догадался, сам понял, что дело тут не в алкоголе, а совсем в другом... И для меня это было очень грустным открытием — с наркотиками бороться куда трудней".

С Владимиром Высоцким я встретился лишь однажды в необычных обстоятельствах. Хоронили Твардовского. Гроб с телом поэта стоял на сцене Большого зала Центрального Дома литераторов.

Помню, как к гробу подошел Солженицын, цепко вгляделся в лицо покойника, перекрестил его, склонился, поцеловал... К гробу выстроилась медленная очередь желающих попрощаться с поэтом. Стоял в этой очереди и я... Вдруг что-то заставило меня оглянуться. Оглянулся и встретился взглядом — глаза в глаза — с молодым человеком, стоявшим за мной. Он был невысокого роста, с плотной скобкой волос, с острым внимательным взглядом, в желтой кожаной куртке. Секунду-другую мы почему-то внимательно глядели друг на друга. Позже я понял, что это был Владимир Высоцкий.

Лет через десять после его смерти я прочитал размышления Галины Вишневской о Высоцком и его поклонниках. Пусть их прочитают те люди, которых в свое время возмущали мои суждения о Высоцком, может быть, мнение знаменитой диссидентки будет для них более весомо, нежели мое...

"Естественным оказалось появление в 60-х годах Владимира Высоцкого с его песнями и блатным истерическим надрывом. Талантливый человек, сам алкоголик, он сразу стал идолом народа, потонувшего в дремучем пьянстве, одичавшего в бездуховности. И теперь, когда собирается компания друзей, будь то молодежь или убеленные сединами интеллигенты, они... потомки Пушкина, Достоевского, Толстого, не спорят о смысле жизни, а, выставив на стол бутылки водки, включают магнитофон с песнями Высоцкого:

И, проливая пьяные слезы, они воют вместе с ним".

Ей-богу, я, при всей своей жесткости, относился к творчеству Высоцкого и к его поклонникам куда более душевнее и человечней.

Но мне и этого не прощали. Однажды во время какого-то публичного выступления получил такую записку: "Андрей Мальгин в своей статье в "Юности" утверждает, что ко времени Вашей второй публикации о могиле Высоцкого Вы знали о том, что все написанное там — клевета. Если это так, то Ваше место на скамье подсудимых".

Андрея Мальгина перед тем, как он появился в Москве, исключили из Варшавского университета, как говорили в литературной среде, за гомосексуализм и фарцовку. Но откуда было наивному автору записки знать, что он верит на слово мелкому и грязному дельцу, выдававшему себя за критика и напялившему на себя маску борца за демократию?

...Письма, осуждающие меня, были разными. Одни читатели были уверены, что партия одернет зарвавшегося литератора. Такие письма писались под копирку в ЦК КПСС, в "Правду", в "Литгазету", в Союз писателей:

"В статьях Куняева допущена целая цепочка ошибок, которые из литературно-полемических и морально-этических перерастают в политические".

"Служит ли это выполнению решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС?"

"Автор забыл или не знает, что метод "приклеивания ярлыков" давно осужден нашей партией, нашим народом".

"У нас в стране с такой высокой культурой и общественно-политической сознательностью масс С. Куняев обнаружил массовый культ и фанатизм".

"Активность масс — это великое завоевание Октября, социализма, марксистско-ленинской политики нашей партии и принижать, а тем более называть фанатизмом и невежеством нельзя позволять никому. Убедительно прошу рассмотреть мое письмо и принять соответственные меры по поставленным вопросам.

Логвинов Валентин Иванович, 56 лет,
начальник лаборатории НИИ,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
мастер спорта по альпинизму,
пропагандист".

Я не знаю, жив ли сейчас мой ровесник, сделал ли он карьеру при новой власти, расстался ли со своими марксистско-ленинскими убеждениями, но думаю, что он был одним из того племени кандидатов и завлабов, которое породило Шахрая, Гайдара, Бурбулиса, Старовойтову, ставших вершителями судеб великой страны и великого народа после августовского фарса. Таким людям я даже не отвечал. Отвечал наивным юношам и девушкам, невольным "хунвейбинам" приближающейся перестройки.

Из письма Володе Н. 1986 г.

"Уважаемый Володя! В своей статье "Что тебе поют" я писал не только о Высоцком. Ему (вернее, его почитателям) посвящены лишь две страницы из пятнадцати. Но остальное Вас и Ваших единомышленников не интересует. Вот это и есть слепота фанатичной любви. Ради Бога, отдайте своему кумиру всю душу, но смотрите, как бы это плохо не кончилось для Вас. Вспоминайте почаще библейскую истину: не сотвори себе кумира!

Вы с одобрением и восхищением пишете о том, что люди кончали с собой у могилы Есенина. Я люблю Есенина. Он великий поэт. Но культ, доводящий до самоубийства, отвратителен и безбожен. Насколько надо не ценить себя, вернее, не ценить в себе "образ Божий", чтобы в порыве фанатизма расстаться с жизнью, как с окурком сигареты.

Упрекая меня в том, что я не сохранил могилы майора Петрова, Вы сваливаете все с больной головы на здоровую. С одичавшим стадом поклонников бороться невозможно. Они затоптали могилу — пусть они и восстанавливают. Теперь о резкости моей статьи. Я имею право на резкость, поскольку пишу о делах литературных, а литературе я отдал 30 лет жизни. Вы же права на резкость еще не заработали, так что зря написали мне письмо в таком тоне..."

Вот одна из типичных моих встреч с молодыми людьми тех лет.

Настойчивый телефонный звонок. Это Альбина Максимова. Та, что из Алдана прислала мне письмо, где писала, что "кроме Высоцкого, ни одному поэту не верит". Оказывается, она уже переехала в Москву, работает телефонисткой и предлагает мне встретиться с ней и с ее друзьями. Поспорить. Потому что переписка по почте и телефонные разговоры — это "не то".

— Я и мои друзья хотим с вами встретиться лично. Мы надеемся, что докажем вам свою правоту, переубедим вас, убьем, так сказать, интеллектом!..

Ну, когда девушка вызывает мужчину на дуэль — отказываться неловко. Через несколько дней мы встретились. Я с любопытством вглядывался в лица "младого", но немного знакомого племени. Десятиклассник, студент, телефонистка, рабочий, военнослужащий. Простые русские лица. Одни молчат. Другие бросаются в спор со мной, с художником Алексеем Артемьевым, прозаиком Юрием Доброскокиным, поэтом Олегом Кочетковым.

— Ну, хорошо, вы не согласны со мной, вам не нравится то, что я написал о вашем кумире. Но откуда такая ярость? Всего лишь одно мнение прозвучало за последние годы вразрез общему хору похвал: вы сами мне говорите — Высоцкого до небес возносят статьи Крымовой, Карякина, Лавлинского, стихи Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы. Неужто вам этого недостаточно? Да что там говорить! Мне один любитель прислал на семи страницах список рецензий, работ, интервью всяческих газет и журналов — центральных, областных, комсомольских о Высоцком, — так читайте их и радуйтесь. Одних этих материалов сто семьдесят пять! Вот поглядите, библиография со мной!

Деловой серьезный десятиклассник взял сколотый скрепкой список и небрежно пролистал его:

— Ну, в этой статье всего лишь несколько слов, в этой говорится о нем только как об актере, в этой о гастролях Театра на Таганке... Мы все это знаем, читали...

— Альбина, вот вы написали мне, что, кроме как Высоцкому, ни одному другому поэту не верите. Неужели и Николаю Рубцову не верите — это один из самых искреннейших современных русских поэтов?

Молчание. Недоуменные выражения лиц. Мои собеседники переглядываются, как бы спрашивая друг друга — а кто такой этот Николай Рубцов?

— Неужели никто из вас не слыхал о Рубцове?

Нет, оказывается, никто из них не слыхал о нем.

— Ну, хорошо, а кто из вас читал Василия Белова?

Переглянулись. Пожали плечами. С досадой посмотрели на меня. Но ни один из них не вспомнил ни одной книги Василия Белова.

— А что написал Виктор Астафьев? — я начинал уже задавать вопросы с плохо скрываемым раздражением. — Виктор Астафьев, крупнейший писатель военного поколения,

лауреат Государственной премии, чьи книги переведены на десятки языков мира!

Нет. Они ничего не слыхали об Астафьеве.

— А Валентина Распутина знаете?

Молчание.

— Юрия Кузнецова?

Молчание.

— Федора Абрамова?

Молчание.

— Владимира Соколова?

На этот раз молчание было нарушено самым темпераментным из спорщиков, рабочим парнем:

— Это тот самый Соколов, что стихи памяти Высоцкого написал?

Пришла пора недоумевать мне. Споря и перебивая друг друга, мы с трудом выяснили, что мой оппонент имел в виду не Владимира Соколова, а Владимира Солоухина, у которого вроде бы действительно есть стихи памяти Высоцкого.

— Ну а того же Солоухина — "Владимирские проселки", "Капля росы", "Черные доски", "Письма из Русского музея" — кто-нибудь читал?

Молчание...

— Почему же вы ничего не читаете?

— А нам не надо. Нам Высоцкий сказал все — всю правду, обо всех и для всех! — заявил один из них — десятиклассник, неулыбающийся юноша с холодным взглядом, с полным убеждением своей правоты, и в глазах остальных я читал полное согласие с его словами: да, сказал все, обо всех и для всех, и потому любое сомнение в этой истине — святотатство, кощунство, подлежащее осуждению...

После статьи "Что тебе поют" мне вдруг позвонили из отдела культуры ЦК КПСС.

— Заведующий отделом Василий Филимонович Шауро прочитал Вашу статью и просит Вас придти к нему на беседу.

В громадном кабинете Шауро, куда редко когда попадали писатели (да еще по такому мелкому поводу, как публикация какой-то статьи!), я пил чай с конфетами и сушками и целый час выслушивал осторожные советы и поучения могущественного чиновника. Кстати, он был даже симпатичен в своих намеках на то, что он сам тоже недолюбливает эту массовую культуру, что ему куда больше по душе народная музыка.

— Я ведь, Станислав Юрьевич, когда баллотируюсь в Верховный Совет от Белоруссии, всегда еду на встречу со

своими земляками и всегда в сельских клубах слушаю ансамбли народных инструментов и знакомлюсь с самодеятельностью... А наши столичные звезды — народ сложный. Вот недавно встречался с певцом Львом Лещенко. Неприятности у него были. Из-за границы возвращался — на таможне задержали, что-то незаконное хотел провезти. Ну, словом, запутали парня. Пришлось спасать...

Больше всего меня уязвляли письма, в которых разгневанные, но искренние молодые люди подозревали меня в том, что, затеяв эту свару, я рассчитываю сделать свое имя более известным, популярным, что мной движут зависть и ревность к более удачливым или более талантливым поэтам и бардам. Но мной двигало нечто другое. А что именно, наверное, будет понятно из моего письма Юрию Бондареву, написанному мной в отчаянье после публикации моей первой статьи в "Литературке", в которой я позволил себе не согласиться с общественным мнением.

"Дорогой Юрий Васильевич!

Я слышал, что Вы заинтересовались дискуссией в "ЛГ" и вроде бы собираетесь сказать свое слово. Было бы замечательно! Судя по Вашим выступлениям на съезде писателей, в "Комсомолке" и т. д., мне кажется, что Вы в какой-то степени поймете мой пафос и мою боль. Но моего имени не хватает, чтобы убедить людей.

С Вашим же авторитетом (нужно властное слово Шолохова, Леонова, Ваше), я думаю, можно хоть как-то отрезвить души, пораженные массовым психозом, что явствует из читательской почты (только на одну мою статью пришло около тысячи откликов). Я думал, что борюсь с дурным вкусом, а вышло, что замахнулся почти на религиозное чувство. Далеко мы зашли...

Впрочем, в почте есть и толковые, умные, трезвые письма. Посылаю Вам на всякий случай копии нескольких. Может быть, они натолкнут Вас на какую-нибудь мысль первоначальную и рука потянется к перу...

Юрий Васильевич! Леса и воды защищаем, а умы человеческие оставляем на произвол судьбы! И всяк, кому не лень, "соблазняет малых сих".

Впрочем, леса и воды тоже спасти не можем. Читал я решение о продовольственной программе, дошел до строчки о повороте северных рек, вспомнил Вашу речь на съезде, покойного негодяя академика Федорова и закручинился.

Повернем реки и поставим золотую статую, хорошо, если

Высоцкого, — а то Аллы Пугачевой, — вот все, что останется от эпохи зрелого социализма.

А разговор загорелся, трибуна есть, грешно упускать время — садитесь к столу письменному, Юрий Васильевич!

Ваш Ст. Куняев

25.7.1981"

Бондарев на мое донкихотское письмо не ответил и, может быть, по-своему был прав. Олимпийское спокойствие дороже. Помню, что в те дни я отозвался на его молчание таким стихотворением:

"Олимпиец, воспрянь ото сна!
Неужели не слышишь — война!
Неужели не видишь — враги!.."
Олимпиец вздохнул: "Дураки!
Враждовать у подножья Олимпа?!
До меня не достанут враги,
моего не дотронутся нимба!
Всем известно, что я олимпиец,
всех времен и народов любимец!
Здесь цветет сладкодышащий лавр...
Чистый воздух... Хорошая пища...
Ну а кто из вас прав, кто не прав —
не хочу разбирать — скукотища!"
...Он заснул и дышал до утра
сверхъестественной горней прохладой.
Разбудил его стук топора.
Глянул — дом за колючей оградой.
Резервация...
Впрочем, его
так же вкусно до смерти кормили,
ну а если когда торжество,
то экскурсию к клетке водили,
где написано было, что здесь
доживает свой век олимпиец,
всех времен и народов любимец,
тот, которому слава и честь.

Что было делать? Разве что утешаться весточками от Наташи Л. из Иркутска:

"Получив множество агрессивных писем — я уверена! — Вы не впадаете ни в какие крайности, не заигрываете с читателем и не встаете этаким обиженным, непонятым пророком над толпой, а проходите по самому лезвию... Где-то в начале этого года я перечитала "Мастера и Маргариту" и в отличие от юношеского прочтения была просто потрясена

этой вещью — и вдруг почти сразу же случайно попала на фильм "Фуэте", где на Гафте с ужасом узрела белый плащ с кровавым подбоем Понтия Пилата, и все это действо показалось мне настолько чудовищным и отвратительным, что я даже заболела".

Но в ее письмах проскальзывала порой и жесткая ирония:

"А что же Вы ничего не написали о Вашей любви к читательским письмам? Помните? (Цитирую!) "Я люблю получать читательские письма. Держишь в руках конверт и гадаешь — что там?" Те благие времена, я думаю, для Вас уже давно канули в Лету, и, может быть, именно потому, что на отсутствие читательского внимания сейчас жаловаться не приходится.

И держите письма, и гадаете, и, наверное, думаете: а не выбросить ли к чертовой матери, не вскрывая? Каждое письмо, как затаившаяся бомба, которая может в клочки разнести с таким трудом обретаемое душевное спокойствие и равновесие".

В одной из своих статей я вспомнил стихи Бориса Пастернака, сцену его встречи с кумиром юности композитором Скрябиным, и вдруг получил от Наташи гораздо более точное и глубокое толкование этой сцены:

"Строки Б. Пастернака "О, куда мне бежать от шагов моего божества!" давно уже сопровождают меня, но я трактую их не так прямолинейно, как Вы: "Поэт бежит не к нему, а от него". Я не вижу убегающего поэта, а, скорее всего, застывшего человека, не верящего самому себе, что он слышит, наконец, шаги того, о ком все его помыслы. И мечутся, бегут, обгоняют и убегают — мысли, которые в эти моменты противоречивы и мучительны: боязнь того, что божеству не до тебя (а этого вынести невозможно — нельзя оставаться, но и уйти нет сил!), и того, что ты не сможешь, как надо, ответить, если к тебе обратятся (и опять не спать всю ночь, стыдиться и казниться из-за своего убожества), и беспокойство за обожаемого человека: как он? что он? и еще, и еще, и еще..." Вот блестящий анализ кусочка литературной и душевной жизни, сделавший бы честь любому литературному критику. Вот с какими читателями душа в душу мы прожили нашу жизнь.

Из писем Наташи Л.:

"Я думаю о том, что в сущности таким, как Вы, совершенно ни к чему читательский лепет одобрения или порицания.

В наших с Вами отношениях я иногда сама себе напоминаю того мужика (помните, о нем писал А. Твардовский), который сидит рядом с другим, колющим дрова. Этот колет, а тот сидит рядом и хекает в такт. И тоже вроде бы приобщается к Делу. А вся работа достается колющему.

И я думаю — что Вам мои "хекающие" письма... У меня вдруг разом кончились все слова. А уже утро. Солнце и небо синее, какое бывает только весною.

Как бы мне этой синью зашить
Износившейся жизни прорехи.

Помогай Вам Бог".

Нет, она была неправа. Ее письма помогали мне и выживать и жить. Мы не супермены и не святые. За пределами всего, что написано нами, выйдя из волшебного гоголевского мелового круга, мы становимся такими же ранимыми и беззащитными, как и наши читатели...

И такая переписка, длившаяся годами (не переписка, а целые эпистолярные романы!), как с Наташей Лебедь, была у меня с Маргаритой Жаворонковой — библиотекарем из Рязанской области, с медицинской сестрой Евгенией Кошелевой из Алтайского края, с учителем из Брянской области Дмитрием Гавриленко, с лаборантом Виктором Тимченко из Томска и со многими, многими другими. Я не знаю, живы ли они сейчас, но если кто-то из них прочитает эти строки, то пусть знает, что я был счастлив, получая их письма, что они были моими верными друзьями минувших лет, что я всегда буду помнить о них, как о людях ума, совести, доброты, природного вкуса и скромного русского величия. Придирчивый критик может заподозрить, что эти читатели были моими идейными единомышленниками. Да, были и такие, но большинство просто любили поэзию.

Ну а где еще, в какой стране, в какой литературе поэт может получить от читателя такое письмо?

"Спасибо за душевные стихи, помещенные в "ЛГ". Из всей рубрики от 11 июня только Ваши и вырезал. Мне 66 лет. Всю жизнь собираю стихи, но те, какие мне нравятся, я вклеиваю

в спецтетрадочку. Внучка говорит: "Дедушка, ты умрешь — я возьму твою тетрадочку?" Стихи, как цветы, только они никогда не вянут и всегда они милы и дороги, но только такие... Ну, вроде тех, что писали Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Я парализован недавно, но немножечко хожу, не теряя интереса к жизни. Пришлите мне что-нибудь свое — другу-читателю...

Борис Королев,
бывший историк, ветеран войны.
Тульская обл., Первомайский район,
деревня Телятинка.
12.06.75 г."

На адресной стороне открытки надпись: "Москва, Цветной бульвар, 30. Передайте поэту Станиславу Куняеву. Очень прошу об этом. Печатаю левой рукой, оттого и ошибки..."

Из редакции "Литературной газеты" письмо мне переслали, тогда, при советской власти, этот порядок соблюдался неукоснительно.

Из письма геолога
Степаниды Сергеевны Медовичевой.
16.01.86 г.

"К сожалению для себя, я открыла поэта Николая Рубцова всего лишь несколько лет назад, в основном, после телевизионного фильма о нем. После фильма я прочла, наверное, все, что было издано. Его стихи буквально пронзили мою душу и стали как бы частью моего существования..."

Вот она, суть наших читателей: то, что мы писали, становилось как бы частью их существования. Как естественно и точно Степанида Сергеевна сказала именно те слова, которые я так и не смог найти, раздумывая о читательских душах:

"...Свое первое письмо я написала Вам, как отклик на Вашу статью "Что тебе поют", — писала долго и обстоятельно, пока не вышел 12-й номер "Нашего современника" с читательскими письмами — другие сказали многое из того, что хотела сказать я.

На многое Вы мне открыли глаза, а о чем-то я бы сказала даже резче... Писала я и о Высоцком.

После Вашей статьи я впервые из любопытства съездила

на Ваганьковское кладбище, так как к Высоцкому-барду (не актеру) я отношусь не просто равнодушно, а он меня раздражает своим криком-хрипом-пеньем.

Бравада какая-то для "узкого круга", который потом распространяет ее, как смелую критику наших недостатков.

Но пишу я Вам для того, чтобы по-христиански помянуть добрым словом Николая Михайловича Рубцова и сказать Вам спасибо за Ваши теплые воспоминания о нем..."

Ну, разве вот такое письмо из ныне другой страны, из Белоруссии, из села Новая Жизнь, от читателя Александра Аксенова не наполнило в те времена (начало 80-х годов, во время газетной травли) мою душу радостью и верой в правоту пути, который я выбрал?

"Зашел я однажды в один провинциальный крохотный книжный магазинчик и среди множества книг, наваленных в беспорядке на полках и под ними, отыскал Вашу — "В сентябре и в апреле". Открыл наугад — и:

Облака плывут в Афганистан,
Туполанг течет к Афганистану...
Я еще от жизни не устал
и до самой смерти не устану...

Кажется, простые слова, но очень душевно сказано. Купил я Ваш сборничек и выучил наизусть. До этого я любил стихи только Сергея Есенина, вторым моим любимым поэтом стали Вы".

Где сейчас этот неведомый мне Аксенов? Молод ли он, стар? Жив ли? Если жив — низкий поклон ему за сердечное слово, поддержавшее меня много лет тому назад.

А вот еще глоток живой воды — письмо четвертьвековой давности, полученное от неизвестного мне москвича Алексея Дубинина.

"Не верьте никаким критикам с волчьими зубами. Когда Вам будет трудно или случится беда какая, вспомните, пожалуйста, обо мне, о том, что я Вам преданный читатель и люблю ту жизнь, которую Вы вдохнули в свои стихотворения.

Гуляет ветер в камыше,
пылит разбитая дорога,
шумит река, и на душе
так хорошо и одиноко.

Кто это сказал, Вы или я, потому что сказанное Вами сливается с моим личным? Я благодарю судьбу, что она свела меня с Вами. Если Вы писали, что я некоторым образом поддерживаю Вас, понимая Ваши стихи, то они еще большая поддержка для меня. Я тоже, стало быть, имею право смотреть на мир "сквозь слезы на глазах и сквозь туман души" (строчка из моего стихотворения. — **Ст. К.**), *и Ваша поэзия оправдание для меня того, что и у меня, как у Вас, есть "мой невеликий мир, моя сентиментальность".*

Иные письма-отклики на мои стихи были настолько исповедально-драматичны, что читать их и отвечать на них было по-настоящему тяжело.

"Многое запомнилось наизусть. Но особо: "Привыкай к одиночеству, друг". Я уже много лет живу в горьком одиночестве и рыдала над Вашим стихотворением.

Вы как бы предупреждаете: каждый может оказаться в положении таком, когда придется ему слушать только бессвязное бормотание дождей и ветров. А вместе с тем, кто твердо и уверенно держится на ногах, тот вечно торопится, вечно куда-то бежит, вечно ему, по его словам, "некогда". "Некогда" — уже подменяет теперь постепенно все человеческие чувства.

Мария Романова,
Москва".

А время катилось все быстрее, письма становились все отчаяннее, люди все растеряннее и беспомощнее, судьбы разламывались на глазах, а вместе с ними хрустели в жерновах эпохи надежды и читателей и поэтов, шторм времени разносил нас в разные стороны, и мы с отчаяньем глядели вслед друг другу, понимая, что расстаемся навсегда. Но прежде чем расстаться с читателем, я бы хотел вспомнить еще один "эпистолярный роман", выпавший на мою долю.

* * *

В 1981 году я получил письмо из далекого Владивостока от поэта Яна Вассермана. Несмотря на громадные просторы страны, наша жизнь в советские времена была такова, что все мы, писатели, плохо или хорошо, но знали друг друга лично или понаслышке. Где-то встречались, либо читали стихи друг друга в наших тогда общих журналах, либо имели общих

друзей-товарищей, либо знакомились на обычных для тех времен совещаниях молодых, на всяческих семинарах и юбилеях. Да я сам, как помнится, раза два или три всю страну проехал с литературными выступлениями, организованными Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы и за его счет, и деньги кое-какие на семейную жизнь заработал.

Поэтому все мы знали, где кто живет, кто как пишет, а также и то, кто из нас русский, кто бурят, а кто еврей. Поэтому, получив письмо от Вассермана, я, ни разу не встречавшийся с ним, вспомнил, что где-то на восточной окраине государства живет такой еврей сибирской породы, лихой парень, человек такого склада, которых Борис Слуцкий с уважительной иронией называл "иерусалимскими казаками". Я также знал, что в Иркутске всегда найду приют и понимание не только у Шугаева и Распутина, но и у Марка Сергеева или Сергея Иоффе, а в Красноярске у Зория Яхнина, бесталанного, но отчаянного любителя выпить и поговорить о поэзии, во Львове у Гриши Глазова, в Сталинграде у Изи Окунева. Да практически в каждом городе России, и не только России, я знал хоть одного веселого и общительного писателя-еврея. И вдруг вот такое письмо...

Впрочем, не вдруг... А после того, как я опубликовал в 1980 году стихотворение "Родная земля" — мои размышления о еврейской эмиграции.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно —
своею.

Анна Ахматова

Когда-то племя бросило отчизну,
ее пустыни, реки и холмы,
чтобы о ней веками править тризну,
о ней глядеть несбыточные сны.

Но что же делать, если не хватило
у предков силы родину спасти
иль мужества со славой лечь в могилы,
иную жизнь в легендах обрести?

Кто виноват, что не ушли в подполье
в печальном приснопамятном году,
что, зубы стиснув, не перемололи,
как наша Русь, железную орду?

Кто виноват, что в грустных униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?

И нас без вас, и вас без нас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет,
вам есть где жить, а нам — где умирать...

Оно было написано в начале 70-х годов в поезде “Иркутск—Москва”, когда я возвращался с охоты из иркутских северов, из милого Ербогачёна, но впервые напечатано в книге “Солнечные ночи” в 1980 году.

...По возвращении из Сибири я вскоре попал на день рождения поэта Вадима Кузнецова, где познакомился с тогдашним редактором “Комсомольской правды” Валерием Ганичевым. Под ним тогда земля горела, его убирали из “Комсомолки”, по слухам, якобы за то, что где-то в бане во время застолья друзья подняли за него тост как за будущего генсека, а он благосклонно выслушал эти пожелания. Услышав во время нашей встречи несколько моих стихотворений, Ганичев срочно предложил мне напечатать их в “Комсомолке”, что я и сделал. Подборка, что и говорить, по тем временам получилась оглушительная, тем более что в ней тоже было стихотворение, нарушающее табу на русско-еврейский вопрос.

Для тебя территория, а для меня
это родина, сукин ты сын,
да исторгнет тебя,
как с похмелья, земля
с тяжким стоном берез и осин...

Я с тобою делил и надежду, и хлеб,
и плохую и добрую весть,
но последние главы из Книги Судеб
ты не дал мне до срока прочесть.

Что ж, я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови.
В языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.

Впрочем, волк — это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою.
Все давно мне понятно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.

Гнев за гнев, коль не можешь любовь за любовь.
Так скитайся, как вечная тень,

ненадолго насытивший ветхую кровь
исчезающий оборотень.

Стихотворение "Разговор с покинувшим Родину" вызвало обильную почту, среди которой попадались весьма интересные письма от весьма проницательных читателей, умевших разглядывать и читать сквозь лупу не то что каждую строчку, но каждое слово, выходившее из-под моего пера.

"Уважаемые товарищи!

В рубрике "Поэтические встречи" в номере от 12 октября с. г. "Комсомольская правда" опубликовала подборку стихов Станислава Куняева. Меня крайне удивило (и огорчило) стихотворение "Разговор с покинувшим Родину".

Стихотворение на такую острую и сложную тему опубликовано в молодежной газете (сама я, увы, уже комсомолка 40-х годов, но газету читает молодежь в нашей семье, а я люблю стихи), а начинается оно площадной руганью и весьма непоэтическими сравнениями. Ведь если автор делил с адресатом стихотворения "и надежду, и хлеб, и плохую и добрую весть", то, вероятно, знал и мать своего бывшего друга. Зачем же оскорблять женщину, называя ее сукой? Стыдно! Ведь С. Куняев претендует на звание поэта. Впрочем, это становится сомнительным после чтения строк "Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля с тяжким стоном берез и осин". Хотел С. Куняев уязвить своего бывшего друга, но оскорбил этими строками и землю, которую тот покинул, сравнив ее с пьяницей, страдающим от похмелья. Оскорбил и не заметил. Может быть, для автора это привычный образ?

А дальше еще хуже — автор пишет: "В языке и в народе известно, что волк смотрит в лес, как его ни корми". Что же "волчьего" было в бывшем друге С. Куняева? Его национальность? Это имел в виду автор, говоря "так скитайся, как вечная тень"? Ведь "в языке и в народе известно", что скитался "вечный жид" — Агасфер. Это, что ли, имел в виду взбешенный автор? Понимает ли С. Куняев, что он оскорбил сравнением всех советских людей еврейской национальности и вооружил всех антисемитов? Ежели же этого не понял С. Куняев, то кажется странным, что ему не объяснил этого редактор, сдавший материал в набор.

Я написала письмо под свежим впечатлением, около месяца тому назад, не послала его сразу и раздумала было его посылать. Но вчера произошел такой эпизод. Возле дома, где живу, я, возвращаясь с работы, услышала отборный мат

пьяного гражданина, прогуливавшего свою овчарку. Направлен мат был по адресу рабочих аварийной машины. Невдалеке гуляли старушки-пенсионерки. Когда я попросила его прекратить ругань, он обозвал меня, в полном соответствии с "поэзией" С. Куняева, "старой сукой" и посоветовал "ехать в свой Израиль".

Я решила после этого все-таки послать это письмо и спросить у С. Куняева, хорошо ли он подумал, прежде чем разрешил печатать свой "Разговор".

Если я не получу ответа на свое письмо, то буду считать это молчание знаком согласия со всем, что написала.

С уважением

Авербух Бася Израилевна —
ветеран Великой Отечественной войны,
москвичка со дня рождения
и, надеюсь, до самой смерти,
экономист, старший научный сотрудник".

Русско-еврейская тема с каждым годом все глубже, все сильнее, как клин, раздваивала общественное сознание, и все чаще и чаще я стал получать письма от читателей, негодующих на то, что поэт нарушает негласное табу и прикасается к взрывоопасному вопросу.

Многие из писем такого рода были неумными, хотя и искренними, не то что серьезное письмо (наконец-то я дошел до него!), полученное мной в 1981 году из Владивостока от Вассермана.

"Станислав Юрьевич!

Третий день сижу над Вашими "Солнечными ночами", книгой очень талантливой, лучшей из всего, что Вы написали. Впрочем, после первых же Ваших стихов я понял, что Вы настоящий поэт. Но разговор сейчас не только об этом. Я третий день перечитываю одно Ваше стихотворение, как будто растравляю рану. Причем, хочу предупредить, я не знаю, кто из нас прав. У меня есть, наверно, все, написанное Вами. Есть и "Свободная стихия". Поэтому я знаю, что рыбьей крови в полемике Вы не любите. Ну, и я ее не люблю, и поэтому можно вести разговор напрямую. Мне пятьдесят лет. До тридцати пяти я работал инструктором альпинизма в разных горных системах. С тех пор — профессиональный моряк, работаю в Дальневосточном пароходстве. Я —

представитель того "племени", которое "когда-то бросило отчизну". Хочу сказать, что строчкой "вам есть где жить, а нам — где умирать" Вы оскорбляете память моего отца, командира в бригаде Котовского, а в Отечественную зам. ком. 211 стр. дивизии, оскорбляете меня. Кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, Родину? Ведь за кордон уезжают не только евреи. А. Кузнецов, А. Солженицын, В. Некрасов и С. Сталина евреями не были. Значит, есть причины социального, а не национального характера. Может быть, забвение этих причин привело к тенденции (и не только у Вас), когда понятием "русский" подменяется понятие "советский". Не думаю, что Ваши стихи являются выражением государственной политики.

Поэтому я решил ответить Вам стихами. Правда, аудитории у нас разные. Вы говорите на весь Советский Союз, а я, в силу определенных причин, только с Вами. Но это меня не пугает. Потому что я говорю с настоящим поэтом".

К письму было приложено стихотворение, которое необходимо привести целиком.

ОТВЕТ СТ. КУНЯЕВУ

И где найдешь еще такие
Березы, как в моем краю...
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю.

Павел Коган

Да, я видел их резко и близко
На просторах родимой страны,
Тех, кто в кожу мне, словно редиску,
Сеял предощущенье вины.

Что, мол, держит тебя? Осторожность?
Ты чужой, ты нездешний листок,
Ты, конечно, лелеешь возможность
Гнать лошадок на Ближний Восток.

Мол, признайся, дружок мой сердечный,
Обнажив сокровенную нить:
Сможешь к звездочке пятиконечной
Дополнительный лучик пришить?

Ненавистны мне эти дебаты,
Я ответить по-русски хочу,
Ведь, как взрыв трехэтажного мата,
В переводе я не прозвучу.

Я снимаю рыбацкую робу,
Что под солнцем таскал, под луной,
И в ответ им свинцовую злобу
Вырываю из клетки грудной.

Ваши фразы меня не растлили,
Вашу хитрость видал я в гробу,
Мне не нужно во славу России
Дуть при всех в жестяную трубу.

Я рожден на Подоле картавом,
Я — от плоти родимой земли,
И под киевским, тихим каштаном
И отец мой, и мама легли.

Я прошел по волнам и по травам,
Я работал и дрался, как мог,
И в пролившемся море кровавом
Мой семейный течет ручеек.

Так что знайте, "дружки дорогие",
Очень четкое мненье мое:
Мне т а м не испытать ностальгии —
З д е с ь умру, не дождавшись ее...

Стихи слабые, но искренние и по-своему впечатляющие. Одна беда — последняя строчка, как показала жизнь, оказалась фальшива. Так же, как у Межирова — "я родился в России и умру здесь". Ян Вассерман умер не в России.

Мой ответ, естественно, не замедлил себя ждать, и между нами началась переписка, по-моему, не менее серьезная, нежели между Астафьевым и Эйдельманом.

"Здравствуйте, Ян!

Вот Вам первый вариант ответа на Ваше письмо: это стихотворение и строчка "Вам есть где жить, а нам — где умирать" имеет отношение только к тем, кто оставляет родину. Ни памяти Вашего отца, ни Вас лично она не касается. Так что излишне нагнетать страсти фразами, подобной: "кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, родину?" Родину отнять никто ни у кого не может. Человек отнимает ее у себя сам. В крайнем случае, у него всегда есть выход — прочитайте еще раз эпиграф к моему стихотворению из Ахматовой ("и ложимся в нее и становимся ею — потому-то ее называем своею"). Кстати, в конкретных примерах, споря со мной, Вы не точны. Солженицын уехал не по своей воле, его "выдворили", как было сказано в официальном сообщении.

В своих выступлениях за границей он не раз подчеркивал эту разницу в своей судьбе по сравнению с теми, кто уехал по своей воле.

Настоящая фамилия Анатолия Кузнецова, кажется, Герчик. На этом можно было бы и закончить и еще раз повторить, что к евреям Вашего склада, ассимилировавшимся в русской стихии и культуре, мои стихи не имеют никакого отношения, так же как и стихи "Разговор с покинувшим родину", из той же книги.

Правда, есть у меня и второй, более сложный вариант ответа, но он для людей, желающих не только возмущаться, но и мыслить. Давайте подумаем вот о чем. Сколько евреев уехало из Союза? — Более чем 300 тысяч. Цифра официальная. На деле думаю, что больше. Почему бы Вам не обратить внимание на это обстоятельство, а потом уже на мое стихотворение? Материал для поэта, мыслителя, социолога — интереснейший! Я не сомневаюсь в Вашей искренности и в окончательном выборе Вами судьбы, но что значит Ваша личная судьба, Ваш единичный выбор перед феноменом еврейского духа, уникального в истории человечества, перед генами, постоянно зовущими от исхода к исходу, от одной родины к другой — и все это длится более двух тысячелетий, во время которых меняются десятки родин. Что же Вы думаете, за одно поколение, за одну жизнь человеческую этот дух растаял, развеялся, растворился? Рядом с ним на весах истории Ваша личная судьба, да и судьба Вашего отца — пылинки... За себя Вы ручаетесь, а за сына своего сможете поручиться? А за внука? Уверены ли Вы, что в них не проснется и не оживет все то, что двинуло в разные концы света 300 тысяч советских евреев? Что это — беда или вина? Многие говорят: антисемитизм, гонения и т. д. Но я вот недавно приехал из Болгарии, где никаких гонений не было и откуда в конце сороковых годов уехало 45 тыс. евреев, как только был создан Израиль (45 тысяч из 50-ти!). Вы говорите о славной судьбе отца, делавшего революцию, но разве мало их, отпрысков профессиональных революционеров, литвиновых, якиров и пр. болтается сейчас на Западе, плюнув на свою родину, которую строили их отцы и деды? Так что Ваш пример и опыт эмоционально понятен, но исторически неубедителен...

И еще одно "но"... Я могу осудить традиционную ненадежность части еврейства, исторически подтвержденную, как патриот своей родины, но как философ, историк и поэт — я с интересом всматриваюсь в судьбу этого племени,

пытаясь понять его тайну. Почему же Вы отказываете мне в этом праве свободно мыслить и излагать свои мысли тем способом и с тем талантом, который мне свойственен? Почему я не должен думать и размышлять о трагических, величественных, низких, кровавых, светлых, темных и, может быть, безысходных путях, по которым идет человечество? Только потому, что Вы никуда не собираетесь уезжать и что Ваш отец воевал славно и достойно? Ваше письмо опять возвращает меня к мысли, что при всех достоинствах, которыми обладает еврейский национальный характер, ему недоступно одно: трезвое и беспощадное отношение к самому себе. Вспомним, как Иоанн Грозный осудил Курбского, как Тарас Бульба расстрелял Андрия, как Петр Алексея послал на смерть... А мне стоит лишь со многими печалями, сомнениями, оговорками затронуть тему патриотизма и предательства, как на меня сыплются письма (весьма стандартные), подобные Вашему. Табу! Об этом — не сметь!

А русские смеют и осуждают себя, как никто. Не Чернышевский ли сказал о своем народе "сверху донизу все рабы"? А Пушкин — "не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"... Может быть, в такой жесткости к себе больше правды, чем в бесконечных "табу", к которым и Вы, оказывается, привержены...

До свиданья.

Ст. Куняев".

Ян с большой охотой, как мне показалось, ответил мне немедля страстным, противоречивым и даже наивным письмом, в котором совмещались и его советская искренность и еврейская политизированность, "злоба дневи сего", столь свойственная людям этого склада.

"Здравствуйте, Станислав.

Благодарю Вас за письмо. Боюсь быть навязчивым, но мне необходимо еще раз написать Вам. Вы сейчас доказали мне, что раздражительность — плохой советчик. Этот упрек полностью принимаю. Я ведь и раньше понимал, что Вы во многом правы. Во многом, но, надеюсь, не во всем. Да, не хватает у меня юмора, чтобы плясать на собственных похоронах. Может быть, с точки зрения вечности, моя судьба — пылинка. Но ведь это моя судьба и судьба моих детей, и ручаться за сына и внука я действительно не могу — здесь Вы снова правы. И правы насчет "тени первородной сла-

бости". Это я понимал и раньше. Но трудно мне принять эту правоту. Ведь инстинктивно ощущая эту тень, я рвался и в горы, и в моря, где и сейчас работаю. И в стихах своих всю жизнь пытался ее (тень) преодолеть. А вот насчет трезвого и беспощадного отношения к себе в национальном и личном плане — позвольте не согласиться. Я еврей. И ненавижу среди нас породу парикмахеров и продавцов, такие есть, даже если они доктора наук. Три самые страшные подлости в жизни мне сделали евреи. Но мне кажется, даже если я был бы русским, я бы не делал из этих фактов глобальных выводов. Вы доказываете отсутствие у евреев самокритичного отношения к себе, приводя Гоголя, Пушкина, Блока. А я бы мог привести Бабеля — очень самокритичного в национальном плане. Или поэта Хаима Бялика, его строчки (во время погрома у еврея изнасиловали жену):

И он пойдет спросить раввина,
Достойно ли его святого чина,
Чтоб с ним жила такая. Слышишь? С ним!
И все пойдет, как было.

А теперь вернемся к понятию "Родина". Черт его знает, может, цифры и проценты, которые Вы приводите, имеют доказательную основу. Я сейчас хочу говорить не о массе, которая ищет, где жить. Я хочу говорить о патриотах. Ведь можно любить Родину и не любить несправедливость, если она в данное время свойственна твоей земле. Я почти не знал Кузнецова. Когда-то, в 60-е годы, когда я жил в Ялте, меня познакомил с ним Толя Приставкин. И я совершенно не предполагал, что его фамилия Герчик. Хрен с ним. Но Виктор Платонович Некрасов был для меня самым близким другом. И дело не только в его дырках и орденах, полученных под Сталинградом. Просто до сих пор я не встречал такого честного и порядочного человека, каким был он. Но и он тоже как-то на берегу Днепра в Киеве сказал мне: ты-то сможешь смотаться на Запад, опять же гены, а я вот не смогу. Ну, это подробность. Так вот, неужели Ваш гнев в стихах вызывает только арифметическое отношение уехавших евреев? У нас недавно проходили Фадеевские дни. Все было очень торжественно. А я не могу забыть судьбу Андрея Платонова.

За Платоновых — отца и сына,
Нет тебе спасенья — нет и нет.
Как Иуду не спасла осина,
Так тебя — казенный пистолет.

И поверьте мне, что если бы Фадеева звали трижды Герчик-Якир, я все равно написал бы эти строчки. Когда-то общественной совестью пытался быть Е. Евтушенко. Но ведь у него не было и 1/10 (простите за арифметику) той пронзительной искренности, которая есть у Вас. И неужели Вас, поэта, не волнует судьба пылинки, ведь это чья-то судьба? В общем, после Ваших стихов стало мне хреново. И потому что приходится оправдываться, и потому, что не нахожу пока контрдоводов. Может, действительно не хватает

...мужества со славой лечь в могилы,
Иную жизнь в легендах обрести?

Еще раз благодарю Вас за письмо. В Москве или во Владивостоке — очень хотел бы с Вами встретиться.

До свиданья.

Уважающий Вас Ян Вассерман

9/X-81 г."

...Переписка наша разрасталась как снежный ком. К сожалению, не все письма Яна сохранились в моем архиве, так же, как и не все копии моих ответов к нему. (Чувствуя исторический характер этого "русско-еврейского" романа, я снимал копии со своих писем к Вассерману.)

Он сделал, к сожалению, ложный шаг, стал засыпать меня своими стихами, естественно, ожидая признания их достоинств. Но стихи были пронизаны неистребимым комплексом художественной неполноценности, отсутствием свободы, фельетонностью стиля, иногда эффектной, но чаще плоской иронией, грешили излишней рациональностью и неприемлемым для меня скептицизмом. Помню, что я назвал их в одном из писем "деревянными", а если и оценил — то словами "игра ума" — не более.

Это, конечно, даже не обидело, а сокрушило бедного Яна, и наша переписка стала носить все более мрачный характер. Он все чаще стал упрекать меня в том, что я вовлекаюсь в некие "националистические" или "черносотенные организации", являющиеся "инструментами нападения" и "морального террора" для людей "свободной мысли", еврейство — все сильнее и сильнее стало проступать и в его письмах и в его стихах.

“Ассимиляционная оболочка” на моих глазах в течен
да—полутора стала расползаться и облезать клочьями.

СОПЛЕМЕННИКАМ

С боязнью городового
Всегда мои соплеменники
Пытались расправить спины,
Держа гениальные скрипки
В своих рахитичных лапках,
Держа огневые перья,
Писавшие буквы декретов,
В курчавых моих соплеменниках,
На синих снегах России
Осевших, как оседает
Пыль после взрыва бомбы,
В каждом моем соплеменнике
Живет холодный сапожник,
С изогнутой страхом спиною,
Рисуя на плотной бумаге
Логичные фразы доносов.
Но вдруг появился рядом
Злобный, усатый пристав,
И карликовыми березами
Они к земле прижимались.
Они чужие фамилии
Натягивали, как шубы,
Но гнулись, как знаки вопросов,
Испуганные их спины.
И это знал досконально
Мудрый усатый пристав,
По спинам их маршируя,
Его сапоги улыбались.
Всю жизнь я, как мог, боролся
Со слабостью первородства.
Всю жизнь я их ненавидел,
Всю жизнь убегал от клана,
И мне помогали в этом
Черные скалы Памира,
И мне помогали в этом
Волны всех океанов.
Всю жизнь я ношу на теле
Кривые, красные шрамы,
Они мое тело рвали
За то, что был непохожим,
Все это мне понятно,
Мне только одно непонятно:
Откуда из них появлялось
Так много детских поэтов,
Прекрасных детских поэтов
С пронзительными стихами,
И могут ли в норах змеиных
Гнездиться синие птицы?

И второе стихотворение, после которого я окончательно понял, что Вассерман не выдержал нагрузок и ожиданий, возложенных мною на него:

Я лишен национальной спеси,
Рос от той проблемы вдалеке.
Так случилось — ни стихов, ни песен
На родном не слышал языке.

Но бывает — будто издалече
Слышу я гортанный, древний крик,
Бронзою мерцает семисвечье,
И в ермолке горбится старик.

Мой народ — века он прожил в пленных,
Кровью истекал в любой грозе,
И ее теперь осталось в венах
Меньше, чем в колосьях и лозе.

Голос крови... Я не слышал зова.
Сколько нас осталось, знаешь ты?
На три дня древнегерманской злобы,
На пять лет рассейской доброты.

"Здравствуйте, Ян!

В бумажных завалах обнаружил Ваше давнее письмо, на которое в свое время не ответил по разным причинам — просто забыл, честно говоря. Но поскольку не люблю, чтобы последнее слово оставалось за оппонентом, делаю это сейчас.

Грустно мне было читать о том, что Ваших соплеменников (Вы мне прислали стихотворение "Соплеменники" и еще одно — о голосе крови) всю жизнь угнетали российские городовые, "злобные и усатые приставы"; а они, бедные, сгибали спины и писали прекрасные детские стихи.

Ненависть Ваша к городовым в стихотворении была выражена предельно эмоциональным языком...

Бедный Ян, в какое время ты жил? Рядом с мировой революцией, ГУЛАГом, раскулачиваньем и гибелью миллионов крестьян "злобный и усатый пристав" — да это же просто Санта Клаус! Я предвижу ответ: Сталин! Нет, на Сталина все не спишешь... Хочешь знать, каковы были настоящие, а не сказочные городовые в 20—30-х годах? Посмотри список награжденных за строительство первого в мире лагеря-канала, где отрепетировалась вся будущая система геноцида. Изучи и список писателей, воспевших это детище Нафталия Френкеля — "турецкого негоцианта", теоретика и основа-

теля всей будущей системы ГУЛАГа. Вот они, настоящие сталинисты! Что бы он делал без Ягоды (Иегуды), Бермана, Френкеля, Фирина, Раппопорта, Шкловского, Безыменского, Инбер, Авербаха, Багрицкого?! Копии сделаны с книги "Беломорканал имени Сталина". 1934 год. Очень поучительная книга, советую достать, почитать, сделать выводы... Вот настоящие городовые нашего времени, а не какой-то бутафорский жандарм из поэмы Багрицкого "Февраль", перекочевавший в твое стихотворенье "Соплеменникам".*

Так что кроме "древнегерманской злобы и российской доброты" есть еще в мире кое-что пострашнее. Во всяком случае, нацисты изобрели свои лагеря после Глеба Бокия, Нафталия Френкеля, возможно, опираясь на их разработки. Много русских крестьян (задолго до 37 года!) сложили свои косточки на берегах канала и на Соловках. А ты все кричишь: городовые! вместо того, чтобы каяться за своих "соплеменников" — организаторов всероссийского ГУЛАГа.

"И могут ли в норах змеиных гнездиться синие птицы?" — спрашиваешь ты.

Отвечаю: птицы — нет, а френкели и берманы — да.

Всего доброго

Станислав Куняев".

Сегодня я отдаю себе отчет, что такой постановки вопроса в начале 1980-х годов сын комдива и героя гражданской войны выдержать не мог. Я сам вольно или невольно оттолкнул его от русской судьбы и русской стихии. Что делать? Судьба распорядилась и мною и бедным Яном. А потому мы, как в море корабли, уходили все дальше друг от друга.

"Здравствуйте, Станислав!

*Благодарю, что вспомнили. Все получил. Красочная получается картинка. Возражать тут нечего. И не потому, чтобы не получилось: "Два сына соседних народов такой завели разговор..."** Исходя из присланного Вами, из своего знания, из теперешних наблюдений, я могу понять Ваше — и не только Ваше — отношение к определенному нацменьшинству. И оправдать его. Я имею в виду отношение оправдать. Правда, тогда придется поколебать еще кое-какие постулаты, носящие более интернациональный характер. Но разговор сейчас не об этом. Хочу Вам сообщить и надеюсь,*

---

* Я послал ему ксерокопии из этой книги.

** Строчка из моего стихотворения.

что Вы поверите мне на слово: я — лично, я — Ян Вассерман, не проектировал концлагерей, не прославлял их, не пел во здравие душегубов и убийц, присущих культу. Считаю, что для этого были использованы национальные черты еврейства, точнее, ставшие к тому времени национальными, созданными многовековым угнетением, в том числе и Россией, хотя это не оправдание. Вообще, я уверен, что никакую подлость анамнезом оправдать нельзя. Но простите мне мой эгоцентризм: как говорил один царь-трезвенник, у которого киряли придворные: "для непьющего человека я слишком часто стал страдать от пьянки". Евреи меня считают чужаком, и совершенно правильно считают. В морях и в горах я их не видел. Но я не хочу, чтобы другие ручки, которые давят меня, как поэта, проделывали это под лозунгом мести еврейству, так много принесшему зла русскому народу. Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вам всего доброго и, конечно, новых талантливых стихов. Если Вас не затруднит и Вы вышлете мне новый "День поэзии", буду очень благодарен.

С уважением.

Посылаю Вам свою пародию на Вас.

Ян Вассерман"

Текст пародии был таков:

Ночь, Безлюдье. Скука. Дешевизна.
Этажи прижаты к этажу.
Я один, как призрак коммунизма,
По пустынной площади брожу.

Ст. Куняев. "Швеция, Стокгольм..."

В Швеции не узнан и не признан,
В рамочки валютные зажат,
Прохожу, как призрак коммунизма,
Пусть буржуи загодя дрожат.

Все мои попытки выпить — всуе,
Прохожу я трезвый, не косой,
Я им в перспективе нарисую
Давку за вареной колбасой.

Я их призываю рушить троны,
Начинать гражданскую войну
И платить по сто четыре кроны
За дерьмо, что стоило одну.

Это мое письмо Вассерману написано как ответ на его несохранившееся, в котором он обижался на меня за мои оценки его стихов, которые уязвили Яна.

"Здравствуйте, Ян!

Перестаньте кипятиться по пустякам. "Игра ума" (даже и фельетонная) в наше время на дороге не валяется. Так что считайте, что я Вам отдал должное. Она есть и у меня, Вы правы, но в куда меньшей степени, поскольку я этому свойству особенно не доверяю.

И перестаньте, пожалуйста, пугать себя и меня "организацией", которая является "инструментом нападения". Какое нападение, когда после каждого выступления Кожинова на него бросается целая свора продажных борзописцев — оскоцкие, николаевы, суровцевы — имя им легион. А перед ними открыты двери любой прессы. Вот о чем лучше подумайте.

"Наши лошади шли по цветам..." (Вы иронизируете: лошадей много, а цветов мало, и опять подтверждаете мою мысль о фельетонной игре ума.)

Стихи эти посвящены моему лучшему в жизни другу Эрнсту Портнягину. По отцу он Левин. Отец еврей, мать — русская. Я это пишу Вам для того, чтобы Вы не иронизировали по поводу "девичьих" фамилий Окуджавы и Кузнецова. Для меня не имеет значения, что по крови Портнягин еврей больше, чем Окуджава. Я воюю не с людьми, а с идеями и взглядами. У Портнягина же еврейская половина естественно и счастливо ассимилировалась русской (ленинский идеал разрешения еврейского вопроса. Поскольку Ваш отец-революционер был из ленинской гвардии, как я понимаю, Вам должно быть это близко и понятно). Если же Вам интересно, почему я любил этого человека Портнягина — прочитайте книгу моей критической и дневниковой прозы "Свободная стихия". Поглядите также книгу Эрнста, изданную мной после его смерти... В ней не только игра ума, но и свободная стихия жизни.

Что же касается Ваших рассуждений о Рубцове — то Вы правы, но мне всегда было мало только одной поэтической судьбы. Тем более что она, как правило, реализуется посмертно. Кстати, Вы пишете: "у Вас счастливая литературная судьба". Не завидуйте. Она вся вопреки обстоятельствам, а не по их воле. Попробуйте жить так сами, и узнаете, что стоит это "счастье".

И еще. Будете мне писать — пишите, ради бога, более серьезные и умные письма. Вы же это умеете.

Всего доброго".

В ответ я получил серьезное, хотя и не очень умное письмо, из которого явствовало, что наш роман подходит к концу. Сын

профессионального революционера, увы, никак не мог "сдать" мне своих единомышленников — революционного поэта Багрицкого и комиссарского сына Окуджаву. Как не мог понять и крестьянского сына Сергея Викулова.

"Здравствуйте, Станислав!

Большое Вам спасибо за книгу хорошего человека Эрнста Портнягина. Я хотел Вам ответить сразу же, но меня срочно бросили в моря, там я по разным причинам дошел до состояния анабиоза (а может, я путаю?) — короче — до ручки, списался и в темпе поменял квартиру на Кишинев. Где и нахожусь сейчас в ожидании обменного ордера.

Ваша критическая книга была у меня задолго до Вашего письма. Я ее перечитывал несколько раз, после каждой статьи проводя бой с тенью по всем правилам профессионального бокса. Скажите, Станислав, Вам не кажется, что Вы зачастую судите поэтов не по законам, а по революционному правосознанию, и вот он Вам, родненький 17-й годочек? Например, Окуджаву? Я не уверен, что поэт может выносить приговор поэту на основании арифметического подсчета междометий, местоимений и т. д. Вы же отрываете от стихов мелодию, гитару, а зачем? Ведь это сплав, монолит. Вы не играете в преферанс? Там есть аналогичная ситуация: "Догнали попа, отобрали козырного туза и оставили без одной". Если бы из Ваших стихов убрать мысль, жесткий темперамент и не совсем (скажем так) мягкое отношение к человеку, оставив и размер, и рифму, Вы бы тоже стали очень уязвимы.

Прочел я сейчас и Ваши "Вольные мысли". И позвольте мне сказать, что Вы иногда ударные интонации делаете не по тому месту. В частности, о содружестве ворона с бойцом. Да, многие связывают ворона с выклеванными глазами, но вряд ли стоит поэту идти за установившимися представлениями. Вон веками чайку считают эталоном чистоты, символом и т. д. Считают. В основном, маринисты из Подмосковья. А Вы знаете, что моряки ненавидят чаек? Что чайки выклевывают глаза у тех, кого несут волны, одетых в спасательные пояса? И не всегда они бывают мертвыми, иногда просто обессиленными. Мне приходилось с бота поднимать трупы с выклеванными чайками глазами. Строчки эти у Багрицкого неудачны без принципиальной подоплеки. А то, что он упоминает Тихонова, Сельвинского, Пастернака (без Твардовского), так они действительно были популярны. И Багрицкий не создавал им популярность, а отмечал факт. Да и часто

популярность и истинная поэтическая сила не совпадают. Тихонова и Пастернака я и сейчас люблю, Сельвинского местами, но все-таки: "Комиссарское сердце из боя возвратилось тяжелым, как гром, и по сердцу пятно голубое голубиным скользнуло крылом..." Такое я не забываю. Да и не только я. Вы сами пишете, что прогнозы в поэзии даже на 2—3 десятилетия — дело неблагодарное. А у этих поэтов, по-моему, как писал Поженян — "Есть прожитые жизни, у которых все, как это ни грустно, впереди". Между прочим, споря с Вами заочно, я многое у Вас относил за счет чисто писаревского отношения к литературе, за счет органичного писаревского дарования.

Я, Станислав, ловлю себя на том, что предъявляю Вам претензии за всю нашу литературу. Но ведь Вы сами ставите и пытаетесь решать вопросы глобального характера. И я еще не убедил себя, что Вы решаете их неправильно. Мне попал в руки номер "Поэзии", в которой Вы — член редколлегии. Со стихами Смелякова: "Эти Лили и эти Оси..." Я люблю стихи Смелякова. Безотносительно к любви я ему многим обязан. Он дал мне первую премию на Всесоюзном поэтическом конкурсе "Комсомолки" в 1963 году. В сборнике "Горсть огней" он написал обо мне хорошие слова. Он меня печатал в московских "Днях поэзии". Стихи "Эти Лили и эти Оси" очень сильные. "И, как вермут ночной, сосали золотистую кровь поэта..." Может, это все правда. Но я подумал о другом. Что сказал бы или что сделал бы Владимир Владимирович Ярославу Васильевичу, если бы ожил и прочитал. Он, который в последнем письме правительству называл брехобриков своей семьей и любил ее всю жизнь. Кстати, вернемся к нашим воронам. В этом же номере — вирш Викулова. Вы, наверно, читали этот вирш. Как он (Викулов), защищая сельских женщин, стрелял в горбоносых, картавых ворон, которые клевали кур, застрелил одну ворону и сказал: "то-то".*

Викулов меня не удивляет. Ему надо в клан, он хочет найти общность с кланом хотя бы по форме одежды. Потому что по стихам его можно принять только в клан, член которого писал в 1941 году в немецких листовках: "Бей жида, политрука, просит морда кирпича".

Но вот почему Вы его не тронули в своих "Вольных мыслях", для меня загадка. Если руководствоваться справедливостью для всех, а не справедливостью направленной. В поезде

---

* "Эти Лили и эти Оси", "брехобрики" — из стихотворения Я. Смелякова, посвященного Маяковскому.

из Владивостока одолжил "Литературку" и прочел Ваше стихотворение из будущего "Дня поэзии". Таким я Вас не знал. Такому добру кулаков не нужно. Рискую обратиться к Вам с просьбой. В Молдавии с русскими книгами невероятно трудно. Не согласитесь ли Вы прислать мне "День поэзии", когда он выйдет? так получилось, что в Москве мне сейчас не к кому обратиться. Ну, а если судьба занесет Вас в Кишинев, буду рад Вас увидеть. Всего Вам доброго.

Буду рад получить от Вас письмо.

Ян Вассерман".

Окончательный разрыв между нами наступил сразу, осенью 1983-го, через два года после начала переписки.

Ян не выдержал моих требований ни к ассимилированному еврейству, ни к комиссарам, ни к его поэзии. Последнее письмо было написано, видимо, во хмелю, судя по плохой амикошонской лексике и по решительности выражений.

23.10.83

"Стас!

Когда-то давным-давно за год до моей смерти ты написал мне, что у меня деревянные мозги. Так вот, лучше быть с деревянными мозгами, как у Буратино, чем с мозгами, залитыми гудроном, по которым ты марширеуешь в своих лакированных сапогах.

Посылаю тебе стихи, чтобы ты хоть что-нибудь понял. Хотя ты ни х... не поймешь. Потому что твой талант уже в третьем нокдауне от твоего благоприобретенного.

Verte!

А я знаю, что от честного поединка ты не откажешься.

Ян.

И не носи ты кожиновское пальто. Оно тебе не идет".

Да, ни дать ни взять — лихой иерусалимский казак, сын комиссара! Когда я прочитал это письмо, то мне вспомнилась строчка из "Маскарада":

И этот гордый ум сегодня изнемог.

* * *

Во времена моей литературной молодости самым многотиражным и популярным считался, конечно, журнал "Юность".

Его главный редактор Валентин Катаев — блистательный

стилист, умный и расчетливый человек, был кумиром левой молодежи. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Аксенов, Гладилин, Амлинский — не без основания считали журнал своим домом, а Катаева отцом родным, называя его уважительно и почти душевно: “Валюн”...

Но и я всегда читал его прозу с интересом, а иногда и с восхищением.

До сих пор помню героев его сурового рассказа “Сын полка”, прочитанного еще подростком во время войны. А “Белеет парус одинокий” — как ни пересматривай ныне историю, по моему убеждению, одна из лучших повестей для юношества, как, впрочем, и “Школа” Аркадия Гайдара. И даже совершенно забытая ныне повесть “Шел солдат с фронта” до сих пор помнится мне яркими картинами, сильными характерами, увлекательным сюжетом. Что и говорить — талантливый был человек, под стать другому замечательному писателю-авантюристу Алексею Толстому. О них обоих, кстати, не зря была сочинена в 20-е или в 30-е годы хлесткая эпиграмма:

Я человек простой,
читаю негодяев,
таких, как А. Толстой
и Валентин Катаев.

Лично с Валюном я познакомился с 1967 году в Переделкино. Я тогда был составителем юбилейного (50 лет советской власти!) сборника “День поэзии” и, узнав, что Катаев всю жизнь пишет стихи, поехал к нему на дачу: чьи же еще стихи печатать в таком номере, как не одного из немногих свидетелей и участников революции! Кстати, недавно, перелистывая этот юбилейный номер, нашел в нем много забавного. Как лакейски-восторженно в тот год нынешние ренегаты от литературы воспевали власть Советов!

Ну что тебе гражданская война!
Отечественной, что ли, не хватило?
Но почему-то сызнова она
Кавалерийской лавой накатила.

Это тихий и вечно себе на уме Константин Ваншенкин, ныне осмелевший и всячески пинающий мертвого советского льва в своих недавно изданных мемуарах.

Эти гении рубок и митингов жарких,
комиссары далекой гражданской войны,
в сапогах из кирзы

и в скрипучих кожанках
наполняют мои беспокойные сны.

Это феноменально бездарный Владимир Савельев, в августе 1991 года первым запустивший в газеты лживую весть о том, будто бы Союз писателей СССР — осиное гнездо гэкачепистов, и сделавший себе на этом доносе карьеру при новом режиме. Римма Казакова, до сих пор жадно ищущая местечко в демократическо-тусовочном истеблишменте, в 1967 году славила во все горло "красное это пространство на карте".

Но Бог с ними, с мелкими ренегатами, речь не о них, речь о человеке куда более крупном — о Валюне...

Он принял меня в Переделкино с радушием человека, привыкшего к восхищению молодых литераторов, но одновременно умеющего понимать молодость, подлаживаться к ней, подпитываться ее энергией.

— Ха-ха! Вспомнили, что Катаев начинал как поэт? А Катаев всю жизнь стихи пишет! Его Иван Алексеевич Бунин еще благословил на сей подвиг!

Он был в какой-то изысканной фланелевой рубашке, чисто выбритый, благоухающий дорогим одеколоном.

Его глаза озорно поблескивали, а крючковатый нос с хищно вырезанными ноздрями как будто принюхивался к новому посетителю. Как бы желая уяснить его сущность. И весь он излучал некое сияние лоска, комфорта, успеха. Победитель, да и только! Он пригласил меня за широкий письменный стол и, покопавшись в книжных полках, достал папку со стихами.

Стихи были написаны явно талантливой рукой и выгодно отличались от мертвой революционной риторики всяческих Безыменских и Антокольских, впоследствии напечатанных в том же "Дне поэзии".

Не Христово небесное воинство,
Возносящее трубы в бою,
Я набеги пою бронепоезда,
Стеньки Разина удаль пою.

Что мне Англия, Польша и Франция!
Пули, войте и, ветер, вей,
Надоело мотаться по станциям
В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое, —
Если ночью в несметных звездах
Пламена полноты небывалые
Голубеют в спиртовых снегах.

Ни крестом, ни рубахой фланелевой
Вам свободы моей не купить.
Надоело деревни расстреливать
И в упор водокачки громить.

(1920)

Мы с ним отобрали из папки несколько стихотворений для "Дня поэзии", и я уехал.

Главный редактор сборника Ярослав Смеляков, когда узнал что у нас есть стихи Катаева, удивился, но остался чрезвычайно доволен.

Второй раз мне пришлось поговорить с Валентином Петровичем через десять с лишним лет, когда он, один из секретарей Московской писательской организации, позвонил из Переделкино и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на мне:

— Я не приеду на ваш секретариат и вообще моей ноги в Московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете в Союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш секретариат войдет в историю, как исключивший из своих рядов Василия Аксенова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу!

Я не удивился, поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции "Юности" в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на прием в Союз писателей Ивана Шевцова? Только так. Недаром же Евтушенко в своих мемуарах пишет, что "Катаев был крестным отцом всех шестидесятников". Но каково было мое изумление, когда буквально через несколько месяцев в июньском номере "Нового мира" за 1980 год я прочитал трагическую катаевскую повесть "Уже написан Вертер".

Террор еврейского ЧК в Одессе, революционный палач Макс Маркин, местечковый вождь еще более крупного масштаба Наум Бесстрашный, бывший террорист эсер Серафим Лось — он же Глузман, и целая армия безымянных исполнителей приговоров, расстрелы в гараже, юнкера, царские офицеры, красавицы гимназистки, которых заставили раздеться перед смертью — все это в 1980-м году, задолго до того, как мы прочитали "Щепку" В. Зазубрина или мельгуновский "Красный террор", буквально потрясло читающую и думающую Россию.

Как стыдливо вспоминает Анатолий Гладилин в статье к 100-летию Валюна: "Помнится, после "Уже написан Вертер" страсти опять разгорелись". Однако о том, что пожар вокруг

Катаева, нарушившего табу на "русско-еврейский вопрос", разгорелся нешуточный, свидетельствует письмо, пришедшее от читательницы на адрес Московской писательской организации летом 1980 года. Оно было обращено к Катаеву, но я не рискнул передать столь оскорбительное послание восьмидесятидвухлетнему старику. Письмо анонимное. Стиль и орфография — как в подлиннике.

"Пишу, прочтя книгу "Уже написан Вертер" и думаю, что это жгучая зависть, что Вы просто хороший советский писатель, но и только, а курчаво-шепеляво-слюнявые Эренбург, Пастернак, Гейне, гении, которые останутся в веках. Вообще я думаю, что такая ненависть может быть объяснена только завистью. Какое имеет значение, какие губы, какой нос! Главное это нутро человека, его душа и его дела. А дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересует шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", то он не думал, что его заменят на "Бей жидов, спасай Россию", а по вашему, по интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы "Будьте Вы все прокляты". Троцкизм хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и изображать евреев как гитлеровцев это значит быть им самому. Всем честным русским людям (Короленко, Горький, Маяковский, Толстой, Евтушенко) всегда был чужд и ненавистен антисемитизм и шовинизм, которым так и дышит Ваше писание. А как же быть с картавым Лениным? Ведь мать у него была Бланк, это потом она стала Ульяновой и подарила миру своих четырех таких прекрасных детей.*

Хотя сейчас в наше время Ленина бы не только не приняли в партию, его даже не взяли бы на работу в полурежимное предприятие, ведь сейчас проверяют родство до третьего колена, как при Гитлере. Так что можете гордиться. Ваша так называемая повесть в духе времени.

Да сколько бы евреев не жгли, не резали, не убивали физически и духовно, они могут и должны идти с гордо поднятой головой. Этот народ дал миру таких гениев, как Эйнштейн, Бор, Маркс, Гейне, Фейхтвангер, Эренбург, Левитан, Пастернак, Мандельштам, Маршак и многие другие. И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50—100 лет вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках пока

---

* В предисловии к повести редакция объясняет факт ее публикации необходимостью борьбы с "охвостьями троцкизма".

будет существовать этот мир. Их имена будут стоять рядом с именами тысяч честных гениев всех национальностей. И никакие плевки подонков вроде вас не сотрут их с вековой летописи.

Я все думала, почему единственный отрицательный тип в повести — русская женщина (остальные все евреи), а потом поняла, как же аристократ может унизиться до того, чтобы лечь с жидовкой. А вы знаете Витте унизился, но он все равно останется Витте, а вы Катаевым.

Жидовка с лошадиной-лосиной физиономией".*

Возмущенная читательница не знала, что жена "антисемита Катаева" была женщина с библейским ветхозаветным именем Эстер и что зятем Валюна является главный редактор журнала "Советише Хаймланд" Арон Вергелис. Да, да, тот самый Вергелис, который в 1949 году написал письмо в партийную организацию Союза писателей с требованием очистить литературные ряды от сионистов, буржуазных националистов и просто бездарных писателей еврейского происхождения. Не знала она, наверное, и то, что свою повесть Валюн назвал строчкой из Пастернака и что стихи Пастернака и Мандельштама в повести вспоминаются много раз...

Работая над этой главой в мае нынешнего года в родной Калуге, я решил перечитать повесть, чтобы освежить в памяти многое, по поводу чего негодовала в 1980 году анонимная поклонница Маркса и Ленина. Я пошел в областную библиотеку имени В. Г. Белинского, нашел в каталоге среди десятков изданий Валентина Катаева два, в которых была напечатана повесть, и спустился в абонементный зал.

Мы с женщиной, бывшей на выдаче книг, прошли в книгохранилище, нашли полку с изданиями Катаева, пересмотрели их все, однако ни одного, ни другого издания с повестью на полке не было.

— Книги пропадают, — с огорчением ответила библиотекарша на мой вопрос.

Тогда я пошел в соседний читательский зал периодики и попросил выдать мне июньский номер "Нового мира" за 1980 год, но, открыв его, я ахнул. Страницы 122—158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок.

Видя мое огорчение, сотрудница библиотеки пришла на помощь:

---

* Слова из катаевской повести, характеризующие одного из ее персонажей.

— У нас есть еще один контрольный экземпляр, который вообще-то не выдается, но раз Вам очень нужно...

Я сел за стол, перечитал повесть и выписал несколько отрывков из нее, которые и возмутили двадцать лет тому назад “жидовку с лошадиной-лосиной физиономией” и которые, наверное, послужили причиной того, что с библиотечных стеллажей исчезли две книги Катаева, а из “Нового мира” было вырвано 28 страниц.

О Науме Бесстрашном: “Стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконною звездой”. О чекистах одесской “чрезвычайки”: “Юноша носатый”, “черно-курчавый, как овца”. О бывшем эсере-террористе Серафиме Лосе: “Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом”.

О главном чекисте: “У Маркина был неистребимый местечковый выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого”.

“— У тебя сидит один юноша, — начал Лось.

— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово “знаешь”, как “жнаишь”, а слово “сидит”, как “шидит”.

— Ты просишь, чтобы я его выпустил?

Он произнес “выпуштиль”.

— Я застрелю тебя на месте.

“На месте” он произнес как на “мешти”.

О юнкере Диме, ненадолго вышедшем из ЧК, в то время как его фамилия уже была напечатана в списке расстрелянных: “Увидев его, квартирная хозяйка, жгучая еврейка... вдруг затряслась, как безумная, замахала толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом: — Нет, нет, ради бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вы расстреляны и теперь вас здесь больше не живет. Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать!”

Еще о Науме Бесстрашном: “Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию... У него, так же, как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами”.

И, наконец, о них всех предсмертная записка русской дворянки Ларисы Германовны, увидевшей в расстрельных списках имя своего сына юнкера Димы: “Будьте вы все прокляты”.

...Да, не прост был Валюн, "крестный отец всех шестидесятников", бывший юнкер, из рода русских офицеров и учителей, дворянин по происхождению, участник первой мировой войны... Наверное, его настолько потрясли кровавые ужасы еврейско-чекистского террора, развернувшегося по воле Троцкого, Землячки (Залкинд) и Бела Куна, что всю оставшуюся жизнь, с одной стороны, он подлаживался к советской власти "страха ради иудейска", а с другой — тайно мечтал написать всю правду о кошмаре, свидетелем которого юный Катаев стал в 1920 году.

И можно было себе представить, как, лелея и воспитывая шестидесятников, демонстративно разыгрывая истерику против принятия в Союз писателей "антисемита Ивана Шевцова", соглашаясь с расхожим мнением критиков, что он, Катаев, является представителем знаменитой "одесской школы", вместе с бывшими чекистами Бабелем и Багрицким, вместе с Олешей и Львом Никулиным, как Валюн ждал своего часа, чтобы посчитаться со всей этой братией и сказать когда-нибудь (лучше перед самой смертью, чтобы у них не оставалось времени затравить его!) всю правду — как бы это ни ошеломило шестидесятников — всю правду об их местечковых дедах и отцах.

Но надо отдать должное и либералам-шестидесятникам: выдержка и партийная дисциплина у них, детей профессиональных революционеров, террористов и подпольщиков, оказалась на высочайшем уровне. Никто из них в том 1980 году не посмел разрушить в глазах читательской общественности образ своего вождя и вольнодумца Валюна: ни одной статьи, ни одной рецензии, ни одной речи на каком-нибудь партсобрании не появилось в те годы. Лишь далекие от партийной дисциплины читательницы с "лошадиными физиономиями" и местечковым акцентом, негодуя, посылали письма в редакции газет и журналов да в Союз писателей. Но письма эти складывались в архив. Утечки информации относительно взглядов Валюна не должно было быть!

То, что Катаев сознательно и продуманно осуществил план своего исторического реванша, что такого рода национальные соображения не были случайны для него, подтверждается весьма любопытным фактом.

В 1913 году "Одесский вестник" — орган губернского отдела Союза русского народа опубликовал следующее стихотворение:

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА
В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый,
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни Господь
Россию и царя.

Стихи были подписаны пятнадцатилетним гимназистом Валентином Катаевым.

Но это еще не все. Полутора годами раньше тринадцатилетний подросток (!) напечатал в том же издании стихотворение, в котором были такие строки:

И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.

Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?

За такие взгляды выдающегося публициста Михаила Осиповича Меньшикова чекисты расстреляли на Валдае в 1918 году без суда и следствия. Валентин Катаев, видимо, понимал, что он в годы революционного террора также мог быть удостоен той же участи, и почти всю жизнь скрывал эту тайну своей судьбы, либеральничал, воспитывал аксеновых и гладилиных, ездил по миру с Эстер, юдофильствовал, а в своей рабочей келье на втором этаже переделкинской дачи с мстительным наслаждением сочинял поистине судьбоносную повесть “Уже написан Вертер”.

В начале 90-х годов в одном из московских издательств вышел однотомник Катаева, в котором из сакраментальной

повести тихо и подло то ли наследниками, то ли редакторами были выброшены все “юдофобские” цитаты, приведенные мной выше. Мародеры все-таки взяли реванш и надругались над последней волей Валюна. Но ведь что написано пером — не вырубишь топором, и “рукописи не горят”.

Жаль, что я не собрался два года тому назад, к столетию “Валюна”, написать эти страницы. Юбилей его был по достоинству отмечен лишь публикациями Евтушенко, Вознесенского, Гладилина. Патриотическая пресса презрительно промолчала.

...Я только напоследок хочу вспомнить, что когда собрался со стихами уходить из его переделкинского дома, то он сказал “подождите”, нашел в кипе машинописных страничек одну с коротеньким стихотворением и, заметно волнуясь, прочитал его вслух:

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой “Одесса”
Пробегает шумя мимо нас.

Пыль за ним поднимается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня,
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

— Вот это стихотворение обязательно напечатайте! — каким-то особенно проникновенным голосом произнес Катаев. Может быть, в эти минуты он вспомнил себя юного, двадцатилетнего, похожего на юнкера Диму, расстрелянного чекистом Наумом Бесстрашным. А прообразом Наума Бесстрашного Катаеву послужил, конечно же, человек, сыгравший роковую роль в судьбе Есенина — Яков Блюмкин. Недаром в конце повести Валентин Катаев рисует сцену, взятую из реальной судьбы Блюмкина: Наум Бесстрашный провозит из Турции в Москву письмо Троцкого Радеку. Но письмо это попадает в руки Сталину, и Наум Бесстрашный, пытаясь спасти свою жизнь, ползает по полу, обнимая и целуя сталинские сапоги. Более потрясающей сцены, возвеличивающей Сталина, в нашей литературе я не знаю...

Наверное, великий Валюн ценил Сталина и многому учился у него. Терпению и умению ждать своего часа, потому он и сумел обмануть “юдофилов”. Коварно и блестяще. Можно сказать, по-сталински.

* * *

Третьего марта 1988 года мы выступали в Московском инженерно-физическом институте, может быть, самом знаменитом техническом вузе Москвы. Зал был переполнен студентами. Записки нам — авторскому активу журнала “Наш современник” были самые разные: глупые, умные, оскорбительные, восторженные, не было только спокойных или равнодушных. Все они свидетельствовали о том, что противостояние в обществе вот-вот достигнет своего пика.

Вопрос: Недавно В. Коротич выступал в Риге, где несколько раз клятвенно заверял: “Мы доведем до конца нашу перестройку в этой стране”. Что это — наглость или реальная расстановка сил?

Мой ответ: И то и другое.

Вопрос: Юлиан Семенов привел цифры — 12 миллионов заключенных и 20 миллионов ссыльных на момент смерти Сталина. Вы согласны?

Мой ответ: Юлиану Семенову не жалко наших людей. Он может назвать цифру и тридцать миллионов, и пятьдесят...

Вопрос: Ну хоть вы-то не из “Памяти”? С остальными ясно. Ответьте громко. У нас гласность.

Мой ответ: Записка анонимная. Если у нас гласность — ну хоть бы подписались. Членского билета “Памяти” у меня нету. С его вождями я не знаком. Но беспамятным дебилом быть не хочу и вам не советую.

Моя статья “Все начиналось с ярлыков”, проводящая параллель кровавой русофобии двадцатых—тридцатых годов с русофобией конца восьмидесятых (сентябрь 1988 года), вызвала ярость всей демократической прессы и бурные отклики читателей журнала. Приведу несколько из них, чтобы показать, каковы были настроения людей в это роковое время.

“Вы затронули очень важную и щепетильную сторону культа личности. Сейчас распространены публикации, в которых своеобразно реабилитируется та многочисленная группа людей, стоявших у власти. Ведь это они кормили тигренка, а когда он вырос, стали подсовывать ему своих друзей-соратников.

С. Павлович, рабочий, Алма-Ата”.

“Спасибо за Есенина, за истину тех лет. Ваша статья, как удар в переносицу, разбила не только лики прошлых и

настоящих угодников, но и кривое зеркало официального мнения по многим вопросам.

С. Медведев, Татарская АССР, г. Бугульма".

"Какую зловещую роль в судьбах народных крестьянских поэтов сыграли многие деятели культуры, в том числе известные писатели и поэты, которые своим авторитетом подпирали беззакония и расправу над своими соратниками по перу! Разве не отголоском периода навешивания ярлыков является тот факт, что сегодня страницы многих периодических изданий полны разноголосицы, личных выпадов, оскорблений. В истории нам нужна правда, а не домыслы, которыми, например, изобилуют пьесы драматурга Шатрова "Брестский мир" и "Дальше, дальше, дальше".

К. Хапов, г. Ростов-на-Дону".

"Почему памятник только жертвам сталинских репрессий? А что с жертвами репрессий двадцатых годов? Что они, не люди? Неужели их память недостойна увековечивания? Надо или общий памятник всем жертвам революции и репрессий, или отдельные памятники — жертвы Сталина, жертвы Троцкого, жертвы Дзержинского, жертвы Свердлова, жертвы Ягоды, жертвы Бермана и т. д.

Однако создается впечатление, что такой ход событий кому-то невыгоден. Они быстро выдали информацию по 37-му году, создают мемориал, вершат гражданский суд над Сталиным, чтобы вывести из-под суда своих духовных отцов и дедов.

И. В. Мартынов, г. Минск".

"Ведь, действительно, черт возьми, и Бухарин и подобные ему, а также мастера слова — Светлов, Багрицкий и другие прямо или косвенно имели отношение к чудовищному кровопролитию: либо помыли руки в крови, либо пальчики замочили. Эх-ма! Слов нет... Боюсь перейти на непечатные слова и раздумья... Тошно от этой правды, но она сейчас нужнее, чем хлеб. Оскотинились. Да и мудрено было бы не оскотиниться с такой литературной, телевизионной и эстрадной кормежкой. А журнал Ваш, чувствую, сожрут: слишком силы неравные!

Всего доброго

Васильев А. А., г. Москва".

Еще несколько писем об исторической драме тех лет.

От Е. Г-вой, специалиста по античной филологии, автора нескольких книг, вышедших в серии ЖЗЛ, датированное ноябрем 1990 года:

"Из двадцати лет пребывания в Академии я вынесла убеждение, что судьба способного русского человека, не скрывающего своих патриотических и антикапиталистических убеждений, предрешена заранее. Но Бог вывел меня на Юрия Ивановича Селезнева. Он ободрил, поддержал меня. Светлая вечная память ему и царствие небесное. Казалось бы, дело наладилось. Я опубликовала в ЖЗЛ биографию Еврипида и Эпикура, сдала биографию Плутарха, но грянула перестройка...

Я просыпаюсь каждое утро в ужасе: рушится наше государство, я вижу воочию некоторых из тех, кто его разрушает, — и ничего не могу сделать. Если бы не дитя, я бы эмигрировала или, может быть, отравилась бы. Я не могу видеть гибели Отечества, бессильная чем-нибудь помочь, и не могу жить вечно "под колпаком", под которым сейчас оказалось большинство патриотической интеллигенции.

Помогите мне, поддержите меня морально. Мне хотелось бы, чтобы Вы полчаса поговорили со мною, может быть, это вернет мне надежду и веру в наше общее будущее.

P. S. Мое письмо носит сугубо личный характер. Публикация его равносильна моей гибели".

А вот письмо с Украины, откуда в прежние времена я получал (даже из сел!) столько милых, добрых, сердечных посланий.

"...Если бы Вы слушали республиканское радио, то ужаснулись бы — все об отделении нас от России. Ни одного журналиста нет, который сказал бы, что это противоестественно.

Где, в какой стране могло такое случиться? Я и мои близкие пережили голод, войну, два брата погибли, защищая всю нашу державу, а теперь один брат живет в Курске, другие родственники в Сибири — значит, за границей. Что же это такое? За что на старости лет?! По какому праву? Может, это покажется Вам смешным, но надежда какая-то есть на Вас, на Распутина, на Шафаревича, что-то предпринять Вы должны, не молчите. Вы лучше всех понимаете, насколько это страшно — отделить нас от всего родного. Такая обида берет

за русский, украинский народ, за белорусов... От кого отделиться? Пусть антихристы отделяются! Если можете — поддержите морально и действенно...

Простите за беспокойство.

Изотова Екатерина Евгеньевна и многие другие.

22.09.92,

г. Днепропетровск"

Весной 1990 года я был приглашен на встречу деятелей культуры с президентом и генсеком М. С. Горбачевым. Встреча произвела на меня удручающее впечатление. Разруха, как пожар, охватывала страну, а писатели и актеры жаловались высшей власти на то, что мало получают, что государство чересчур много забирает себе из того, что должно принадлежать им.

Об этом, к примеру, скорбел Петр Проскурин, а Алексей Баталов пугал собравшихся русским бунтом, "бессмысленным и беспощадным".

Сам Горбачев развернул перед нами совершенно убогую и косноязычную программу "перехода к рынку" и будущего рыночного благополучия... Собственно, с этого я и начал свое выступление, которое многим в зале, да и самому Горбачеву, было, как говорится, против шерсти.

Вот текст моей речи в несколько сокращенном виде:

"По случайному совпадению со мной оказался блокнот, в котором год тому назад я записывал некоторые отрывки из выступления Горбачева в узком кругу перед руководителями журналов, газет и других средств массовой информации... Вот отрывки из прошлогодней моей почти стенографической записи:

"Нас толкают с левых позиций не туда", "Рынок! Но это же Польше предлагает валютный фонд! Боливии предлагают! Надо же знать народ. Семьдесят лет не зря же мы жили. Нельзя же безответственно теоретизировать".

"Левая фраза, столь привлекательная по форме, срывающая аплодисменты, оборачивается огромными человеческими трагедиями, трагедией социализма".

"Что нам предлагают нового? Возвращение капиталистической собственности? Возвращение в капитализм? Но это же нищета философии".

"Проходил демократический форум в Ленинграде. Его

программа — частная собственность, ликвидация монополии партии, конфедерация — по всем позициям все против перестройки".

"Кое-кому хочется ломать народ через колено, кто-то рвется к власти, пытается реализовать свои политические амбиции..."

Год тому назад я мысленно аплодировал этим мыслям генсека, а сейчас с горечью думаю: и башмаков еще не износили — а где эта твердая определенная воля? Где слово президента, столь нужное народу, растерявшемуся перед раскрытой пастью голода, нищеты, свирепого рынка?

Молчание. Или даже переход на деле на совершенно другие, противоположные позиции.

Я внимательно прочитал недавно подписанные Горбачевым Парижские соглашения. Сложные документы. Не так просто понять все их политические глубины. Одно место особенно озадачило меня — то, где говорится об "обязательном демократическом устройстве" государств, подписавших историческую хартию.

Ну а если, допустим, нынешний Молдавский парламент заявит, что приднестровское и гагаузское движение опасно для молдавской демократии — то не означает ли это, что содружество 134 государств под эгидой ООН не пошлет свое объединенное воинство для усмирения инакомыслящих? А если в нашем обществе вызреет монархическая идея или образуется военное положение? Так что, на мой взгляд, перед тем, как соглашаться на "обязательность демократии", наверное, надо было бы нашему лидеру получить благословение на то как минимум Верховного Совета...

Мы здесь много говорим о бедственном положении творческой интеллигенции. Уезжают. Впадают в панику. Утекают мозги... Да, конечно, обидно. Но сегодня наша жизнь, с ее разрухой, злобой, неустроенностью, такова, что на родине удержать художника может лишь чувство патриотизма. На мой взгляд; и несвоевременно и даже стыдно нам сейчас бороться с государством за свои, что ни говорите, кастовые денежные интересы в то время, когда 40 млн граждан нашей страны живут за чертой бедности. Сегодня мы все, за исключением баловней судьбы, жуликов и организованной мафии, живем по объективным законам и возможностям нашего общества. В Америке и конгрессмен и рабочий зарабатывают больше нашего парламентария и нашего рабочего. Так что будем по одежке протягивать ножки. Но должна же существовать система нравственных приори-

тетов! А то слушаю по радио вздохи и плачи по поводу того, что "Виртуозы Москвы" уехали из нашей страны, и думаю: ну, уехали, заключив хорошие контракты. С имуществом, с дорогими государственными инструментами, уехали, потому что им, по их понятиям, мало платят... Так в чем же вы, журналисты, обвиняете общество и государство? В чем? В том, что бедное общество не может "виртуозам" платить по их мастерству? И мы охаем и плачем, в то время когда по нашей стране криком кричит горе выброшенных из своих гнезд шестисот тысяч русских беженцев... Их палатки в полкилометре от этого зала, а средства массовой информации льют слезы по "Виртуозам Москвы".

А происходит такая подмена приоритетов все потому, что в последние годы многие газеты, журналы, телевизионные комментаторы изо всех сил разрушали и оплевывали патриотическую идею нашей истории и нашей жизни.

С горечью вспоминаю, как радовались идеологи так называемой демократической прессы тому, что многие кандидаты от патриотического блока в Российский парламент потерпели поражение на выборах. Как торжествовали, как смаковали на разные лады их поражение... И в голову никому из них не пришло, что патриотическая идея всегда спасала нас в самые трагические времена истории. Я убежден и ныне, что без патриотической воли все экономические, государственные и политические реформы у нас провалятся. Без патриотической энергии перестройка будет загублена. Так что, оплевывая патриотизм, мы, я имею в виду многих сидящих в этом зале, загоняем себя в тупик.

Что же мы приобрели в результате последних лет перестройки? Самое главное, что у всех на устах, — это "свобода и гласность".

Но я вспоминаю слова великого Есенина, который, наверное, любил свободу сильнее и искреннее, нежели мы все, вместе взятые, сидящие в этом зале.

Помните, как в 1923 году, он, потрясенный всем, что увидел за годы голода, разрухи и гражданской войны, с ужасом выдохнул:

Еще закон не отвердел,
страна шумит, как непогода,
хлестнула дерзко за предел
нас отравившая свобода.

Да, мы сегодня отравлены такой же черной свободой кровопролития, хищничества, свободой разгула преступных

страстей. Все мы помним слова Чехова о том, что нам надо по капле выдавливать из себя раба. Да, надо. Но сегодня нам кроме этого надо уже ведрами вычерпывать из своих жил чернуху отравившей нас свободы...

И еще два слова. Алексей Баталов вспомнил слова Пушкина о "русском бунте, бессмысленном и беспощадном". Но это ведь цитирование Пушкина на школьном уровне. Не в русский народ были направлены стрелы пушкинского сарказма, потому что великий патриот России и мудрец Александр Пушкин так продолжил свои размышления: "Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка". Я все время вспоминал эти слова, когда слышал призывы экстремистов на массовых митингах в Лужниках, на Красной и Манежной площадях...

Пушкин призывал нас к патриотической ответственности. Так будем достойны этого призыва..."

Хлопали мне с осторожностью, глядели на Горбачева, а тот сидел в президиуме, поджав губы, держа руки на столе, с каменным выражением лица, похожий на Муссолини.

На встречу с Горбачевым я был приглашен уже как главный редактор. В то время, кстати, главных редакторов журналов утверждали на Политбюро ЦК КПСС, и мои друзья Василий Белов, Валентин Распутин, состоявший в декоративном президентском совете, потратили немало сил, чтобы убедить генсека не возражать против моего назначения.

Впрочем, время уже было смутное и безответственное.

В августе 1989 года Сергей Васильевич Викулов окончательно решил: "Приходи в мой кабинет и принимай журнал, а в ЦК рано или поздно утвердят. Никуда они не денутся".

Мы так и поступили. Несколько позже состоялось-таки заседание Политбюро, на котором, как мне рассказывали партийные чиновники, А. Н. Яковлев был против моего утверждения, но Горбачев будто бы сказал ему:

— Александр Николаевич! Мы пошли тебе навстречу — передали "Огонек" Коротичу, а "Знамя" Бакланову. Ну давай бросим кость русским писателям.

Задним числом — через месяц-полтора после того, как я взял "Наш современник" в свои руки, меня пригласил к себе безликий партийный функционер, секретарь ЦК по идеологии В. Медведев, для того, чтобы с важным видом сообщить, что мое утверждение состоялось. Заодно он попытался и повоспитывать меня. Перед ним лежал номер журнала "Кубань", в

котором было какое-то мое интервью, где я касался русско-еврейского вопроса.

— То, что Вы могли себе позволить как частное лицо, то не должны позволять как главный редактор, — и поглядел на меня строгим и совершенно пустым взглядом. Но я уже понимал всю формальность и этого разговора и этого якобы назначения. Мы уже были предоставлены сами себе. А Горбачев с Яковлевым и Медведевым морально готовились к тому, чтобы сдать и страну и партию.

В эти же дни в моем кабинете раздался телефонный звонок.

— Звонят из приемной Лигачева. Егор Кузьмич сейчас будет говорить с Вами.

Лигачев говорил энергично и напористо:

— Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с утверждением в должности. Надеемся, что журнал будет вести литературную политику в интересах партии и народа. Если будут какие-либо трудности — обращайтесь ко мне лично.

Но глядя на то, как разворачиваются события, я понимал, что все эти утверждения в должности, звонки, уверения в поддержке безнадежно запоздали.

Россия не успевала создать и организовать свою национальную силу для сопротивления и мировой закулисе и своим собственным разрушителям и для правильных отношений со своими собственными, сбитыми с толку и лишенными инстинкта самосохранения обывателями.

1989—1991 годы были страшными по накалу русофобии, которая вспыхнула, как направленный взрыв, в слоях общества, названного Игорем Шафаревичем “малым народом”. Каждый раз в эти дни с тягостным чувством я включал телевизор, спускался к почтовому ящику или шел в редакцию. Какое письмо я получу сегодня? Ну что еще намалевали на наших дверях и окнах ночью? Какую мерзость и какую клевету сегодня я услышу с голубого экрана из уст Александра Любимова или Александра Политковского, Татьяны Митковой или Владимира Молчанова?

А может быть, опять разбито стекло на вывеске “Наш современник”?

В эти дни, когда русская патриотическая мысль, чувство и воля были словно бы оглушены, растеряны, смяты объединенными русофобскими силами нашей “пятой колонны”, оставалось только все запоминать, крепить личное мужество и терпеть до лучших времен.

Разбираешь, бывало, читательскую почту и наряду с ободряющими и душевными письмами вдруг прикасаешься к

конверту, который источает токи, обжигающие пальцы, слепящие зрение, туманящие разум. Чтобы не быть голословным и чтобы нынешнее молодое поколение читателей не думало, что я все это сочиняю, приведу лишь несколько писем такого рода. Оригиналы я бережно сохраняю, на всякий случай, если наша юриспруденция вдруг обвинит меня в том, что я сам сочинил эти письма, чтобы разжечь очередную межнациональную рознь.

"В союз писателей РСФСР
Московская писательская организация
Москва 121069 Герцена 53,
Куняеву

Слушай, ты Куняев, недавно в газете "Комсомольская правда" была статья о черносотенной неформальной организации "Память". К слову там был упомянут и недоброй памяти Кожинов — ярый черносотенец и погромщик. Так вот, за этой "Памятью" так и маячат тени В. Белова, Шуртакова, Проскурина, всей мерзко смердящей шайки лабазников, лавочников и погромщиков. Защищая Белова, вы Куняев выдаете себя с головой все сволоч извращаете и пытаетесь завуалировать антисемитизм Белова высокими фразами. А на самом деле Белов не что иное как посредственный писаришка и его приверженность черносотенным взглядам ставит его в двусмысленное положение. Хорошую же вы услугу — черносотенцы делаете революционному процессу — разжигаете антисемитизм усугубляете нац. распри. Только благодаря таким как вы до сих пор в России существует негласная процентная норма и др. виды нац. дискриминации. И страна безнадежно отстала от западной цивилизации. Зарубите себе на своем носу Куняев что настоящие русские писатели-интеллигенты чурались антисемитизма, как дурной болезни а вы с Беловым, Кожиновым, Ю. Сергеевым — словом со всеми подонками тянете в сторону мракобесия и фашизма. И тот факт что Вас уже разоблачили в "Комс. правде" и "Известиях" это справедливое вам воздаяние за подлые делишки. И даже если Миша Бриш порождение злоказненной и непристойной фантазии Белова — какое дело Белову до этого. Белова в США уже не пустят. Черносотенцы в Царской России хотя и бились головой об стенку от ненависти к людям евр. нац., но даже они не додумались обвинять людей только за то, что хотят поки-

нуть страну, где их притесняют. Бьемся об заклад что ваше вонючее кодло будет сдано на корм собакам Булгакова и графа Толстого и назло Вам космополиты будут хорошо жить, пить прекрасное вино на всех континентах и пахнуть французскими духами а ты жри прокисшие щи с тараканами".

Без подписи. Орфография и стиль, как в оригинале.

Подлее всего были обвинения, бросаемые нам "Огоньком", "Литературкой", "Известиями", телевидением и массой других изданий и вещаний, в том, что русские писатели-"патриоты" взывают к "голосу крови", обвиняют в "антипатриотизме" писателей, в жилах которых течет "нерусская кровь", объявляют врагами всех, "у кого кровь смешанная и нечистая", утверждают, будто бы лишь "чистокровность" лежит в основе "русской идеи", словом, скатываются на расистские позиции. Вот цитаты из огоньковских статей тех лет:

"Идея чистоты крови не дает спать спокойно, взывает к действию".

"Обращение к биологическому голосу крови".

"О "рязанском десанте" и чистоте крови".

А "Московская правда" от 16.2.1990 года опубликовала не что-нибудь, а "обращение ученых бюро отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР" о том, что якобы творилось на VI пленуме Союза писателей РСФСР:

"Дело дошло до того, что пленум Союза писателей РСФСР в 1989 году провозгласил теоретическую модель расовой чистоты нашей литературы".

Но надо сказать, что наиболее трезвые еврейские головы еще пытались в начале перестройки понять нас и даже поддерживали наши взгляды.

Свидетельство тому письмо журналиста Марка Виленского, который совершенно иначе воспринял мое выступление на рязанском секретариате 1988 года, нежели оголтелые борзописцы из "Огонька":

"Уважаемый Станислав Юрьевич!

Признаюсь, что я не без раздумий вывел слово "уважаемый". Скажу откровенно — до сегодняшнего дня Вы были одним из наиболее ненавидимых мною людей на земле. Причины — Высоцкий, могила "майора Петрова", Павел Коган с товарищами.

Но сегодня, изучая историю "рязанского десанта", я

прочитал в "Лит. России" от 28 октября стенограмму и был изумлен и приятно поражен Вашими мудрыми и правильными словами по еврейскому вопросу.

Ни один из левых либерал-демократических интернационалистов, включая Гранина, Евтушенко, Вознесенского, не сказал этих необходимейших, облегчающих душу и проясняющих ситуацию слов. Вы же, человек из лагеря "заединщиков", подозреваемых (увы, не всегда без оснований) в черносотенстве, подтвердили, что человек еврейского происхождения может быть фактически русским. Проведенное Вами различие между Шагалом и Левитаном предельно убедительно. Тем самым вы нанесли удар по антисемитизму, за что вам глубочайшее спасибо. Я русский человек, еврей по паспорту, не знающий другого языка, кроме русского, думающий и видящий сны на русском языке, женатый на русской, пропитанный Чеховым, Пушкиным, Есениным. Если во мне и взыграет какой-либо национализм, то только русский, но я его старательно подавляю, оставаясь убежденным интернационалистом. Вы пишете, что когда кто-то "отрицает или не замечает еврейскую национальную стихию со всеми особенностями ее исторического развития, то тем самым ожесточает еврейское сознание". Правильно! Но сознание таких людей, как я, ожесточает прежде всего нежелание признать нас русскими. Перечитываю, глазам своим не веря, чудесные, золотые слова: "Евреи сами устали от такого двусмысленного состояния, и если мы, русские, протянем руку, они скажут "спасибо". "Спасибо" я Вам и говорю. После сказанного Вами в Рязани, я полагаю, что могу попросить Вас ознакомиться с моей выстраданной рукописью "Легко ли быть евреем, если ты — русский?"

Но агрессивный фланг еврейства не унимался. Жертвенной крови в этот смрадный костер подливал в своих публикациях мелкий писатель, но широко известный идеологический функционер Александр Борщаговский своими кощунствующими причитаниями: "обвиняется кровь, и ничто другое", "недоверие к крови, презрение к крови, ненависть к крови". Он сам хмелел от своих же заклинаний и становился похожим на своего соплеменника, персонажа из замечательного рассказа Исаака Бабеля Нафтулу Герчика, совершавшего в Одессе обряд обрезания плоти иудейским младенцам:

"Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его

бороде. Он выходил к гостям захмелевший... Жена вытирала салфетками кровь с его бороды..."

Вот он, настоящий культ крови, который русскому человеку, озабоченному всю жизнь своей душой, никогда не понять. А все крики о пристальном внимании русских к "проблеме крови", может быть, есть не что иное, как фрейдистский комплекс, о котором хорошо сказано в русской пословице: "с больной головы на здоровую".

Все эти расистские бредни приписывались нам как аксиома, не требующая доказательств. Наши якобы подлинные заявления о том, "что настоящими русскими писателями могут быть только люди с чисто русской кровью", бесцеремонно придумывались и сочинялись досужими клеветниками. Никто из наших хулителей никогда и нигде не привел буквально ни одной такой цитаты из каких-либо наших статей, речей, выступлений, потому что никто из нас никогда не говорил и не писал подобных глупостей.

Но как бы то ни было, в итоге наивные и доверчивые читатели, науськанные огоньковскими и прочими провокаторами, среди которых особенно усердствовали две Ивановых — Татьяна и Наталья, Оскоцкий, Овруцкий, Дейч и прочие, страстно проклинали нас в письмах вот такого содержания:

"Уважаемый т. Куняев! Выписываю "ЛГ" и "Огонек". Дважды столкнулась с Вашей фамилией — речь на пленуме СП и упоминание в статье Н. Ивановой. Этого д о с т а т о ч н о (**Ст. К.!**)*, чтобы понять, "кто есть кто". Между прочим, судя по Вашей фамилии, себя причислять к "чистопородным русским" Вы не можете.* (Я никогда этого не делал! — **Ст. К.**) *И о какой чистокровности нации можно говорить после почти 200-летнего татаро-монгольского ига, засилия поляков, евреев, немцев. Какие же вы все убогие и жалкие! Конец XX века, земля нафарширована атомным оружием — и рядом мышиная возня претендентов на чистокровность. Вот произведений Ваших и ваших коллег я что-то не читала и даже не слышала о таких писателях. Если не хватает таланта, то хоть чем-нибудь прославиться? А из-за таких "чистокровных", как Вы, приходится терпеть в адрес русских* (неужели русская пишет? — вот горе-то! — **Ст. К.**) *самые нелестные эпитеты: недавно пришлось слышать по телевизору высказывание иностранца: "Я думаю, что русские — и не люди вовсе".*

Л. Пащенко,
г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 133, кв. 34".

Письмо настолько демонстративное, что я специально привожу даже адрес корреспондентки: поверьте — она не выдумана мною. Одна только мысль, я помню, сверлила мою душу: письмо грамотное... Неужели эта женщина — русская?! Какое вырождение, какой позор, и наш общий и мой личный, что мы вольно или невольно вырастили таких грамотных денационализированных роботов!

Вот чем оборачивались для нас писания дейчей, ивановых и оскоцких. Они знали, что делают. Им надо было провести массированную психическую атаку на обывательские головы и выиграть время для обеспечения победы "пятой колонны". И они этого добились. По крайней мере, на сегодняшнем этапе истории.

Но как все грубо и несправедливо! Что мы не знали, что ли, что в жилах Пушкина есть капли африканской крови, что Достоевский и Некрасов чуть ли не полуполяки? Что Жуковский — сын турчанки, а фамилии Тургенев и Аксаков — тюркского корня? Что Гоголь малороссиянин? Что Александр Блок по отцовской линии из немцев?

Все это мы знали лучше наших хулителей, и потому те бредни, которые они нам приписывали, естественно, ни произносить, ни писать не могли. Тем более что глянешь на Валентина Распутина или Александра Вампилова — и видишь в разрезе их глаз и цвете лица нечто якутское, бурятское, гуранское. А Вячеслав Шугаев, объявленный по недоразумению в одно время русским антисемитом? Да он же чуть ли не подлинный татарин!

Мой друг Анатолий Передреев однажды на каком-то писательском съезде стоял рядом со мной у Кутафьей башни.

Мы увидели четверых живых классиков, шедших бок о бок вдоль Александровского сада и приближавшихся к нам. Это были Василий Белов, Федор Абрамов, Владимир Личутин и Дмитрий Балашов. Маленькие — каждый метр с кепкой, — коротконогие, скуластые, с рыжеватыми бороденками (по крайней мере, трое из четверых)... Кто-то из них был в тулупе, кто-то в сапогах, кто-то в красной деревенской рубахе...

Анатолий Передреев — стройный, высокий красавец, человек южнорусской породы, понимая, что выгодно отличается от них, лукаво толкнул меня в бок:

— И это великие русские писатели?! Да это же вепсы! — И захохотал, довольный своею шуткой.

Да если бы в этой нашей борьбе с борзописцами демократии речь шла всего лишь навсего об отдельной судьбе каждого из нас, о личном достоинстве и личной чести! Нет,

сатанинский план был грандиозен: унизить, оскорбить, оклеветать всю русскую историю, всю родословную народа. Этот поистине крестовый (а скорее антихристовый) поход, как всегда, возглавляли "инженеры человеческих душ": Синявский (*"Россия-сука!"*), Василий Гроссман (*"Россия — тысячелетняя раба"*), Татьяна Щербина (*"Да, да, все русские, в скобках советские люди — шизофреники", "Может быть, все русские — сумасшедшие?", "Россия должна быть уничтожена", "Русские дебильны в национальном отношении"* (Ромуальдас Озолас)... *"Русский народ — народ с искаженным национальным самосознанием"* (Галина Старовойтова).

Им вторили политики, академики, телеведущие, утверждая, что жаждущие крови русские вот-вот начнут еврейские погромы:

"Они назначили погромы на день Святого Георгия в начале мая" ("Вашингтон пост", Виталий Гольданский).

"Пятого мая должны произойти погромы" (Владимир Молчанов — с экрана телевизора).

"Звонят читатели: "Извините, погромы будут в Москве и Ленинграде или в Киеве тоже? Подскажите, куда вывезти семью?". "Нельзя ли передать вам личный архив на сохранение?" Стыдно слышать эти робкие вопросы! Стыдно отвечать! И как утешить этих людей, если прокуроры, милиция, горкомы и райкомы... ждут "фактов". Безграмотно и безнравственно полагать, что преступление — это факт погрома. Между тем преступление уже свершилось: "призыв к погрому". (Из передовой статьи "Литературной газеты" от 7.2.1990 года.) Тираж ее тогда достигал пяти миллионов. Представляете, как заражала она страну трихинами страха, ненависти, истерии, сочиняя в своих недрах жалкие сценарии о каких-то звонках, не соображая даже того, что если такие звонки и были, то несчастные люди, звонившие в "Литгазету", обращались туда, как в некий штаб по организации погромов, как в некий информационный центр, где все обо всем должны знать, поскольку вся информация, все сценарии сочиняются в его недрах.

Бессовестные журналисты тех времен — Юрий Соломонов, Ирина Ришина, Юрий Рост, Нина Катерли — не удосуживались даже сочинить, не то что процитировать, поскольку таких цитат в природе нет: где и когда, какие русские писатели, какая "Память" призывала громить несчастных евреев. И никто, никто не привлек этих провокаторов к ответственности за "разжигание межнациональной розни"!

Метастазы клеветы, разливаясь по системам информационного кровообращения, проникали в провинцию, отравляя русофобским зловонием некогда консервативно-целомудренные страницы провинциальных газет. Моя родная калужская молодежная газета тоже не выдержала и забилась в антирусском эпилептическом припадке: *"Русский характер исторически выродился. Реанимировать его — значит вновь обрекать страну на отставание"*. Словом, как лесной пожар, пламя "черного интернационала" бушевало и в столицах, и в провинции, и в главных, и во второстепенных, и даже в каких-то научных изданиях. Помню, выписал из какого-то журнала размышления лингвиста С. Болотова: *"Русский мат — едва ли не единственное творение русского духа..."*

Впечатление было таково, что весь тот ураган, то цунами, то восстание таившихся до времени темных сил было при помощи направленного взрыва обрушено на Россию.

Время уважительной полемики — вспомним письма Яна Вассермана! — прошло безвозвратно. Борьба пошла не на жизнь, а на смерть.

Воздух был переполнен трихинами ненависти, клеветы и отчаяния, которые поражали всех без разбора.

Вспоминаю, какую бурю чувств вызвало в моей душе, казалось бы, незначительное событие. В один из осенних дней 90-го года я шел к метро мимо забора из металлических прутьев, окружавшего наш "элитарный" литфондовский детский сад. У забора стоял мальчик лет пяти, крепко схватившийся ручонками за металлические прутья. Лицо его было серьезным и сосредоточенным. Сжимая прутья и чуть-чуть раскачиваясь, он бормотал что-то, и когда я приблизился к нему, то услышал нечто, от чего у меня дрожь прошла по спине. Мальчик медленно, чуть ли не по слогам с неподвижным лицом повторял одни и те же слова:

— А я — русский... А я — русский...

Входивший тогда в моду писатель Вячеслав Пьецух, словно выродившийся наследник маркиза де Кюстина, упрощал до идиотизма в "Литературной газете" все русофобские формулировки своего пращура в статье, названной в подражание маркизу "Открытие России":

"Талдычат про великую Россию... И что, собственно, в ней великого"; "нашествие Наполеона одолели, однако не одержав ни одной победы"; "В Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную армию в две недели"; "за полтора тысячелетия мы так и не удосужились создать систему национального воспитания"; "патриотизм — обман зрения...

опиум для народа"; "наши пословицы — ведь тоже чистый срам"; "Россия — страна, не приспособленная для человеческого жилья, как мертвая Антарктида".

И всю эту зловонную смесь ненависти, невежества и высокомерия приходилось слышать, читать, переживать, терпеть... Именно так, грубо и нагло готовилась августовская провокация 1991 года. Но все-таки как внезапно и неожиданно для себя проговаривались русофобы. И хотели бы промолчать, но очень уж не терпелось сказать самое главное, и вылезало оно из всех маскировочных оберток, как шило, которое в мешке не утаишь. Помню, в "Литературной газете" № 2 за 1992 год было опубликовано письмо некоего читателя И. Хорола, восхваляющее Горбачева: *"Прочитал очень интересное интервью А. Н. Яковлева. Конечно, автор прав. Горбачев — великая фигура. Он просто не мог учесть, а тем более изменить биологию своего народа".* Далее автор сравнивает Горбачева с Дж. Неру, Б. Расселом. А. Эйнштейном, А. Сахаровым и многими "другими великими людьми XX века".

Так вот в чем таилась голубая мечта русофобов: "изменить биологию своего народа". Какой грандиозный, какой фантастический, какой соблазнительный замысел! Ведь до сих пор это не удалось ни Троцкому, ни гитлеровским расистским столпам науки, ни нашим отечественным специалистам по евгенике... *"Изменить биологию народа"* под силу разве что Творцу, создавшему всех нас, черных, белых, желтых, с одной лишь ему ведомой целью... Поистине богоборческую задачу поставила "Литературная газета" в этом письме перед Горбачевым и горько сожалела, что не смог он ее выполнить, силенок не хватило справиться с русским менталитетом, с нашим "извечным рабством", с нашей генетической тягой к авторитаризму... Какая уж тут демократия, если для нее, оказывается, надо *"изменить биологию народа"*!

Я не зря упямянул Троцкого и двадцатые годы. Именно тогда вершился план привить русскому человеку и "американскую деловитость", и стопроцентный атеизм, и беспощадность в классовой борьбе... Так что попытка "изменить биологию" уже была. Ради нее российская история чудовищно извращалась, следуя геббельсовской логике о том, что ложь, чтобы ей поверили, должна быть великой.

Недавно вышла в свет книга серьезного историка Г. Костырченко "В плену у Красного фараона". Автор отнюдь не патриот, как историк он скорее антисталинист, но в большинстве случаев с успехом удерживается на объективной точке исследования после тщательнейшего изучения президентского

архива. Вот что пишет он о так называемой кампании по выселению советских евреев в Сибирь, якобы задуманной Сталиным:

"Л. А. Шатуновская — непосредственная участница описываемых событий... приводит распространенные тогда слухи, что в Сибири уже строились бараки, а также готовились товарные вагоны для ссыльных".

"Отсутствие фактов, подтверждающих эту версию, в комментарии компенсируется публицистическим пафосом, полунамеками, противоречивыми туманными рассуждениями".

Негласный информатор госбезопасности И. В. Нежный, известный театральный деятель тех лет, по словам Костырченко, *"в последующие годы вплоть до своей смерти в начале 70-х годов продолжал широко делиться своей версией о планах Сталина в отношении евреев в начале 1953 года. Может быть, поэтому предположение о готовившемся Сталиным переселении евреев в Сибирь переросло со временем для многих в реальное и вполне доказанное намерение".*

Кстати, однофамилец (а может быть, и отпрыск?) "информатора" И. Нежного — А. Нежный, продолжая провокаторские традиции предшественника, в годы перестройки много сил потратил на доказательство якобы существующей связи высших иерархов церкви с КГБ. Ни одного документа, ни одного решения, ни одного доказательства о якобы готовившемся и уже подготовленном (на уровне списков, имевшихся у дворников!) переселении всего советского еврейства в сибирские лагеря не найдено ни в одном архиве, и тем не менее историк А. Ваксберг в книге о Лиле Брик пишет в 1998 году: *"13 января 1953 года "Правда" сообщила об аресте "врачей-убийц" и предстоящем суде над "заговорщиками в белых халатах". Это был предпоследний акт задуманной Сталиным кошмарной мистерии. Последним должно было стать линчевание "убийц" и депортация всех евреев в Сибирь, где им предстояло "искупить свою вину перед советским народом".* Легендарный советский чекист П. Судоплатов комментировал в своих мемуарах эту ситуацию так: *"Если подобный план действительно существовал, то ссылки на него можно было бы легко найти в архивах органов госбезопасности... Я считаю, что речь идет только о слухе..."*

Но вот как кликушествовал в 1990 году о той же исторической ситуации известный советский писатель Александр Евсеевич Рекемчук:

"Увы, документами, свидетельствами подтверждено

(?! — **Ст. К.**), *что 8 марта 1953 года должна была состояться публичная, при стечении десятков тысяч людей, казнь так называемых "врачей-убийц", в основном еврейской национальности. Вслед за этим планировалась высылка евреев из Москвы, Ленинграда, других центров России в концентрационные лагеря на Дальний Восток. Лагеря были подготовлены, виселицы делались, судилище в московском цирке подготовлено, роли распределены" ("Красноярский комсомолец", 23.6.1990 г.).*

Скольких людей он запугал, сколько душ заставил испытать страх погрома, сколько евреев после прочтения того бреда побежали в иностранные посольства, сколько языков пламени, названного ныне "национальной рознью", вспыхнуло в обывательских душах! И ничего, прошли годы, старый благостный Рекемчук ходит по Москве, издает книги, радуется успехам демократии. В той же статье, кстати, я был назван "идеологом фашистского движения", подписавшим "фашистское письмо 74 русских писателей". А ведь за десять лет до того мы работали с ним вместе секретарями Московской писательской организации, заседали, обедали, иногда выпивали, он клеймил в печати "власовца Солженицына", а иногда, во время приема в Союз писателей новых членов на наших секретариатах, склонялся ко мне и шептал на ухо: "Сегодня мы что-то много евреев принимаем. Давай вот этих зарежем, проголосуй против, а то слишком заметно будет". Но я если и голосовал против, то лишь тогда, когда видел, что человек бесталанен, и незачем ему числиться в справочнике Союза писателей.... Вот кого надо было бы судить за распространение лживых слухов и разжигание межнациональной розни — Ваксберга, Рекемчука, Нежного. Один из них только попался — некто Норинский, который от имени "Памяти" послал в "Знамя" надменное письмо, в котором была угроза расправы с главным редактором Баклановым. Тот с возмущением опубликовал факсимильный текст, но еврейский провокатор Норинский вскоре был пойман с подобными письмами и получил год тюрьмы условно.

Провокационного вранья в те годы было столько, что не было возможности осмыслить, ответить и опровергнуть его.

Помню, как Марк Дейч, опричник и цепной пес демократии, борясь с патриотической прессой, с пеной у рта доказывал на страницах "Огонька", что никакого декрета "О борьбе с антисемитизмом" в 1918 году не было: *"Декрет опять же выдуман"*, кричал он на всю страну, попирая и журналистскую этику, и факты, и историю. Ибо, как вспоминает А. Лу-

начарский в книге "Об антисемитизме" (М.—Л., 1929 г.): *"когда тот декрет был написан Я. М. Свердловым и принесен Ленину, Ленин его прочел и красными чернилами своей собственной рукой на этом документе приписал: "Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона"*.

Опытный политик Иосиф Сталин был такого же мнения и на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки 12 января 1931 года ответил:

"В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью" (Собр. соч., т. 13, стр. 28). А теперь я немного поиронизирую: вот кто были настоящие борцы с антисемитизмом — Ленин, Сталин, Свердлов! Не то что Кобзон или Сванидзе. Поскольку в ближайшие десятилетия никакого православного государства (когда кругом заказные убийства и работорговля) мы не построим, то надо бы использовать опыт великих вождей. По всей Москве вместо глупых реклам о колготках, "прочных, как истинные чувства", надо развесить их изречения: "Антисемитам — смертная казнь!.." А мы что делаем? Сталина поносим, Ленина жаждем из Мавзолея выбросить, памятник Свердлову снесли... Ну как тут антисемитизму не поднять голову! Вот Господь нас и наказал появлением Баркашова и Макашова. Немедля надо Новодворской с Боровым постричься и покаяться и цветы к Мавзолею и к могиле Сталина принести. А демократическим властям своим указом восстановить памятник Свердлову во всей красе и величии...

Да, слово "жид" можно поставить вне закона. Давайте окончательно легализуем мат и порнографию, но слово "жид" страшнее любого матерного слова, выжжем каленым железом! Для этого парламенту относительно этого слова надо принять соответствующий закон (такого закона нет). Нам придется изъять из всех общественных библиотек все книги, в коих это слово присутствует: "Повесть временных лет" легендарного Нестора, древнерусские былины об Абраме-Жидовине, изданные недавно тома Даля с толкованием запрещенного слова, многие книги Пушкина, Достоевского, Гоголя, Некрасова, Блока, Есенина... Книги эти должно публично сжечь на площадях (дабы макашовым неповадно было!), как сжигались во времена Третьего рейха книги Гейне, Гете, Шиллера, Томаса Манна на площадях в Германии. Нам

придется переименовать историческое понятие “ересь жидовствующих” в “ересь еврействующих”, всемирно известного писателя Андре Жида в Андре Еврея, а легендарный персонаж библейской истории Вечный Жид также отныне в России должен называться Вечным Евреем.

Кстати, в 20-е годы советской власти многие книги Пушкина, Блока, Есенина, а также словарь Даля выходили именно с такими купюрами.

С незапамятных времен народы, борясь друг с другом за место под солнцем, насытили свои верования, свою литературу, свой язык множеством сюжетов, заповедей, мыслей, афоризмов, которые с точки зрения современной убогой юридической мысли всегда в той или иной степени “разжигают национальную рознь”.

Книги Ветхого завета полны оскорбительных выпадов против народов, чьи потомки живут и здравствуют и поныне.

Русские былины, песни и пословицы полны сюжетов, которые, при желании, любой нынешний ничтожный юрист может трактовать как антисемитские и антитатарские. “Незваный гость — хуже татарина”, “А нехристь, староста-татарин”... Стихи и поэмы великого Шевченко полны чувств и мыслей, уязвляющих национальное достоинство “русских”, “москалей”, “великороссов”. Я уж не говорю о всякого рода эпитетах из сочинений наших гениев: “бежали робкие грузины”, “злой чечен ползет на берег”, “ко мне постучался презренный еврей”...

Объявить все это вне закона можно, как и начать историю всего человечества с чистого листа, но это не под силу ни нынешнему министру юстиции, ни главе президентской администрации, ни самым умным законодателям, ни Совету безопасности ООН, ни даже НАТО. Отмена всей человеческой истории может случиться лишь после Второго Пришествия... Так что придется нам еще подождать какое-то время.

* * *

Однако вернусь к 1989—1990 годам...

Пресса и ТВ все мощнее, все примитивнее и грубее натравливали на Василия Белова, Игоря Шафаревича, Вадима Кожинова, Валентина Распутина, да и на всех нас — а нас было не так уж много! — беснующуюся русофобскую чернь. Науськанные мелкими журналистами вроде какой-нибудь Лосото или Кучкиной, их клевреты однажды ночью

подобрались к нашей редакции, разбили вывеску, намалевали на стеклах окон масляной краской шестиугольные звезды, написали на дверях всяческие оскорбления: *"Белов — мертвец", "Россия родина свиней", "Все вы с голоду подохнете"...* Что нам было делать? Разве что вызвать корреспондента газеты "На боевом посту", чтобы он сфотографировал все эти художества для истории и опубликовал их.

Но в ответ получаем очередное послание, мишенью которого стал другой наш член редколлегии, Игорь Шафаревич:

"Русская свинья шафаревич, тебя презирают, ненавидят и гонят, как проказу все республики. Только трусливый русский ублюдок может не замечать этого. Ублюдок шафаревич, евреи торчат тебе костью в горле по той причине, что примитив — злейший враг разума, а также потому, что все русские свиньи смелы десять на одного. Ублюдок шафаревич, только врожденная русская тупость могла довести страну до ее нынешнего состояния. И только врожденная русская подлость позволяет винить во всем евреев. Ублюдок шафаревич, то, что русские нация рабов — аксиома и не цепляйся к Гроссману, не шипи, русская свинья.

Впрочем словосочетание "русская свинья" по отношению к такому ублюдку, как ты, оскорбительно для свиньи. Нет в природе твари, сопоставимой по зловонию, подлости, трусости с ублюдком русской национальности. Ты можешь биться в конвульсиях, мир лишний раз убедится в правоте Гроссмана, профессора из Эстонии Маду и многих других". (Аноним. Стиль и орфография сохранены.)

Да, подумал я, прочитав ту прокламацию, эпоха дискуссий, время Эйдельманов и Вассерманов прошло. Жанр "переписки из двух углов" вырождался на глазах.

В эти же дни я получил письмо неанонимное и с обратным адресом: г. Москва, М. Ботаническая, дом 12, кв. 6. Левиной Р. С.

"Куняев! Бесишься, что мы уезжаем за границу жить? Кто в Америку, а кто в свою страну Израиль, где не будем видеть ни одной русской хари, от которой воняет щами и квасом. И ты осмелился по радио тявкать, как пишет Т. Иванова в "Книжном обозрении", № 77 от 23.11.90 года (вот они — провокаторы! — **Ст. К.**), *на евреев, что мы бежим. Не бежим, а уезжаем. Раньше уехали бы, но нужно было, чтобы кто-нибудь вызов сделал. Оттого и сидели здесь, жрали говно вместе с вами. Да это счастье отсюда уехать из этой*

помойки с русским навозом. А вы подыхайте здесь. Захлебнетесь преступностью. Питанием вонючим. Пару Чернобылей надо вам. Мы уезжаем и просим Бога, чтобы он всех вас наказал за нас. Экология, преступность, голод, никакого просвета. Жопу нечем прикрыть скоро вам будет.

Я рассердилась, узнав, что Израиль прислал апельсины, огурцы, помидоры, сухое молоко. Еще чего не хватало! Пусть подыхают с голоду. И пробрался же ты (конечно, за взятку) на такую должность. Долго ты собираешься на ней сидеть? Или нанять людей, чтобы тебя кокнули и разбросали части твоего мерзкого тела так, чтобы их никто не нашел? А? Ведь ты деревня, лимитчик, а ведь туда же, где все люди, в журналистику подался. Вот такие вы все. Понаедете из деревень, тявкаете на собраниях и выбирают вас в начальники. У нас к твоему сведенью беспокойство, тревога состоит в том, как бы вывезти отсюда побольше серебра, бриллиантов, золота, поменять деньги (а они у нас у всех есть) на доллары и увезти. Вот в чем тревога наша, но все успешно пока удается. Одно расстройство, что наши евреи понавезли с собой навоз — русских жен. Сейчас слава Богу в Израиле спохватились, что пропустили их и не будут давать им гражданства. Или пусть принимают иудейскую веру.

Я бы не разрешила им нашу веру брать. Слишком много чести. Надо было развестись с ними и оставить их здесь. Пусть их берет замуж Ванька — дрэк или Васька — тухэс. Ты понял мою любовь за все к русичам, и к тебе в частности... А в Америку еще хочешь съездить гнида? Да кто тебя пустит, мразь. Чтоб ты сдох!!! Да сбудется все, что мы тебе желаем".

Я могу понять религиозный фанатизм, расовую ненависть, политическое неприятие, но чтобы добровольно выворачивать свое нутро, чтобы с таким наслаждением гордиться якобы поголовной причастностью своих соплеменников к мошенничеству, воровству и цинизму, чтобы так презирать живущих на одной с ними земле людей?! Ведь, желая уязвить меня, эта женщина изобразила всех евреев последними негодяями, а русских последними дураками. Оболгала два великих народа...

Боже мой, в какой зловонной тьме скиталась ее душа, которую можно только пожалеть за полную безблагодатность жизни. Я даже хотел поехать по адресу, указанному на конверте, но не решился. От мистического ужаса: вдруг приеду в Марьину Рощу, позвоню, и мне откроет дверь не человек, а

какое-нибудь сатанинское существо из фильмов Хичкока...

Но в то же время получить такое письмо было несбыточной удачей. Публикуя его сейчас, я чувствую себя свободным от того, чтобы приводить какие-то аргументы об особенностях худшей части еврейства. Но это мне стало понятным не сразу. А тогда, читая подобное, надо было собрать все духовные силы, чтобы не стать антисемитом. Однако было забавно узнать, что соглядатаи следили за каждым нашим шагом. Именно весной 1990 года, когда мы, “группа русских писателей”, собирались по приглашению американского посла Мэтлока в Америку, перед самым отъездом я получил то послание.

Я после долгих колебаний все-таки решился опубликовать эти мерзкие письма, чтобы те, кто помоложе меня, поняли, какие силы тьмы противостояли и противостоят русскому человеку. Но одновременно они должны понять, насколько отравлены злобой души этих существ, и если Бог не в силе, а в правде, если наше дело правое, а оно иным быть не может, поскольку вызывает столь низменные чувства у его противников, то победа будет за нами. А побежденных за их “скрежет зубовный”, за то, что по их письмам видно, как злоба выела их дотла, до зловонного смрада, исходящего из их чрева, можно только пожалеть.

Ярость, овладевшая в то время самыми худшими фанатиками любого националистического отребья, выплескивалась со столичных улиц и площадей, отравляла тихую жизнь наивной русской провинции. Помню, как-то летом приехал в Калугу и пошел погулять в калужский бор, отдышаться, привести мысли в порядок, немного отвлечься на родине от мутных гражданских страстей. Иду по лесной тропинке, мимо могучих темно-коричневых стволов, слушаю пенье птиц, дышу смолистым воздухом и вдруг вижу стенд, врытый в землю. На нем обычная надпись “Сосна обыкновенная. Основная порода древостоя бора. Произрастает на бедных песчаных почвах. Очень светолюбива. Этой сосне 350 лет. Таких сосен в бору 82”. А внизу гвоздем по масляной белой краске процарапано: “Возлюбите Богом избранный народ. Мы умнее вас. Скоро весь мир будет наш. И этот лес тоже. Такова воля Бога”. И рядом звезда Давида начертана. Еврейский вызов. А чуть ниже русский ответ: “А не пошли бы вы со своим избранным народом...” — и дальше крепкое русское слово. Вот до каких почвенных уровней докатилась злоба, расколовшая в те годы наше общество.

А угрозы, сыпавшиеся Белову, Проханову, Шафаревичу — их были не десятки, а сотни. Были и телефонные звонки с

проклятиями и обещаниями скорой расправы, и даже стихи, а то и поэмы.

Помню, как после публикации в "Комсомолке" стихотворения "Разговор с покинувшим Родину" я получил действительно целую поэму, где обзывался "неофашистским бесом", "экс-поэтом", "педерастом", "бандеровским мессией" и т. д. Поэма заканчивалась на высокой драматической ноте:

И стыдно так за "Комсомолку",
что помогла такому волку —
раз не устроила прополку! —
оттиснуть мерзкие "стишки".
А Стасик — гнусная дешевка,
сработавший эс-эс-листовку
так подло и, конечно, ловко —
побереги свои кишки!

Думаю, что ее автором был один из завсегдатаев Центрального Дома литераторов, впоследствии уехавший в Америку...

Боже мой! Какую психическую атаку мы выдержали, какие оскорбления, какую клевету перетерпели и не сошли с ума, не наложили на себя руки, не спились... Всех писем не процитировать, да и нужды нет. Хочу только сказать, что от отчаянья (прямых угроз я не боялся, знал, что это лишь "террор среды", заказных убийств тогда еще не было) спасали другие письма — дружеские, ободряющие, человеческие.

Помню свою радость, когда зимой 1989 года после тяжелой операции получил письмо от Валентина Распутина, словно бы почувствовавшего, что мне нужно помочь в трудные для меня дни жизни.

"Дорогой Стас!

Как ты поправляешься? Наверное, передавали тебе, что в Ленинграде, куда мы ездили с "Нашим современником", на каждой встрече о тебе спрашивали. Слух, что ты в больнице, среди своего народа распространился быстро, и потому спрашивали не из любопытства.

Ленинград мы не "взяли", как Рязань, никто, кроме местного фонда культуры, знаться с нами не желал, а фонду удавалось добыть все больше заводские клубы. Но народ туда собирался грамотный, и встречали хорошо, правда, опытному глазу всякий раз можно было рассмотреть ребят-афганцев, готовых утихомирить провокаторов, но до этого кроме одного случая в первый день, когда меня не было, не доходило. Напряжение порой чувствовалось, не без этого; парню,

который подвез нас с Володей Крупиным, всю машину исцарапали свастикой. Выбрав часок, сама любезность и радость, вошел я к своим давним приятельницам в букинистический магазин, которые в прежние годы и портрет мой держали вместе с евтушенковским, но прием был холодно-любезным, а Евтушенко висел уже без меня. Но дело не в этом. Меняется и Ленинград. Прочитал сейчас статью Вадима Кожинова в 1-м номере "Нашего современника" и вспомнил, каким же простофилей тогда, в 1969 году, был и я. Природа за ночь без книг и радио успевала кое-что внушить заблудшему сыну, но приходил день — и опять все то же давление со всех сторон и обработка действовали еще несколько лет.

Не знаю, выслали ли тебе последний номер "Литературного Иркутска" — на всякий случай высылаю. В следующем даем твою статью. Прекрасная статья! Постоянное сопротивление и давление сделало вас с Вадимом замечательными бойцами и мыслителями со своим архивом и досье. П. В. Палиевский выезжал только по праздникам — и сейчас блещет, но мускулатура не та.

Спасибо за книгу с "Арбатом". Много в ней и кроме "Арбата" хорошего, чего я не знал даже и из 60-х.

Обнимаю тебя. Гале и сыну поклон.

Твой В. Распутин".

Да и другие читатели на рубеже восьмидесятых—девяностых годов не только искали у нас помощи, но нас еще ободряли, как могли, хотя, как я мог судить по их письмам, чувство растерянности и брошенности властью все сильнее и сильнее овладевало душами людей.

"...Признаться, вчера я ожидал нечаянной радости, когда включил в машине приемник — звучали стихи о России, севере — наши, русские, не фальшивые. Кто же это? И вот знакомое — эти строки я читал в "Нашем современнике", однажды прочувствованные, они не забылись, проходных слов здесь нет. Остановился на обочине, слушаю, что ни стихотворенье — открытие и полное созвучие с собственными мыслями, настроениями. Такое испытывал только тогда, когда читал "Бесов" и некоторые дневники Ф. М. Не случайно, думаю, и Вы вспомнили... "Ах, Федор Михалыч"... Но что же делать, Станислав Юрьевич, — неужели все-таки "с кулаками"? Вот и здесь у Вас раздумье на эту тему: вроде бы надо объединиться перед лицом смертельной опасности, но то ли

что-то не дает, то ли удерживают нравственные сомнения ("И вы, дорогой мой, и вы...") Пока мы взвешиваем, сомневаемся — горловина мешка затягивается.

А. Артеменко"

Запись из моего дневника от 13 января 1992 г.

"Каковы достижения демократии за годы перестройки — никому толком не понятно. Гласность — другое дело. Она считается высшим достижением эпохи — все жадно питаются плодами гласности... Но кто эти все — опять же политизированная интеллигенция, творческие натуры, образованные демагоги из всяческих академий общественных наук, инженеры душ человеческих.

Им бы еще не хвалить гласность! Представилась возможность вытащить из столов все крамольные размышления, все обиды, претензии, счеты, выставить напоказ миру, народу, истории... И неплохо заработать на этом. Да, да! Не стесняйтесь, ребята, признайтесь, тот, кто успел попасть в эпицентр этого круговорота со своими чонкиными, собраниями анекдотов о Сталине, с никому не нужными на Западе бесконечными антитоталитарными эпопеями, с якобы историческими монографиями о Сталине, о Троцком, о Бухарине... Парламентские дискуссии, зарубежные турне, теледебаты, валютные гонорары, сериалы передач по "Свободе", бесконечные интервью — вот сочные плоды гласности для избранных. Плоды, осевшие такими плотными денежными слоями на счетах, что им не грозит никакая инфляция и никакой рынок. Потому-то и можно призывать призрак этого рынка, который бродит по России. Страшен этот призрак народу, не получившему от гласности ничего, кроме отвращения к так называемой интеллигенции".

До кровавого октября оставался еще год с лишним. Горюю, что у меня, бросившего тогда все силы на спасение журнала, не осталось их, чтобы последовать советам умного человека, написавшего мне вот это письмо летом 1992 года.

"Я давнишний читатель и почитатель Вашего журнала. Хочу поделиться некоторыми соображениями о нем. Журнал несомненно лидирует в течение последних 3 — 4 лет. Это наиболее солидное и серьезное издание. Другие, традиционно почитаемые публикой, журналы существенно проигрывают

"НС". Высокий интеллектуальный уровень, научная корректность стали отличительной чертой журнала. Публикуемая литература великолепна. Прекрасная проза, прекрасная поэзия. Не хочу упоминать конкретные публикации, т. к. для этого пришлось бы просто переписать оглавление. Хваленый интеллектуализм ваших оппонентов изрядно полинял. Полинял хотя бы потому, что у них почти всегда имеется, более или менее искусно скрытая, ложь. Именно "НС" задал в свое время тон в осмыслении событий недавней нашей истории. Начало, пожалуй, было положено В. Кожиновым, его статьей "Правда и истина". После Ваших публикаций от детективного (детеарбатского) варианта истории пришлось отказаться. Равно как отказаться от канонизации новых комсвятых. К началу 1990 г. интерес к журналу резко возрос. Среди моих знакомых появилось много подписчиков. Часто можно было видеть журнал у пассажиров метро. Однако уже к апрелю 1990 г. я заметил, что журнал читают далеко не все, кто на него подписался. Постепенно он исчез и у пассажиров. Расспросы показали, что в основе этого — страх. Страх быть репрессированным, страх оказаться не с толпой, страх оказаться наедине с жуткой правдой, страх понимания. (Кто-то сказал, что для завершения геноцида достаточно ликвидировать подписчиков "НС", "МГ" и "Дня"). Кроме того, понимание происходящего предполагает в качестве ответа активную позицию, а занять ее не все способны. Ваш журнал во многом содействовал формированию национального самосознания у русских людей, но понявших мало, и рассеяны они настолько, что часто им трудно объединяться. Как китам при низкой численности трудно встретиться в океане для спаривания. В институте, где я работаю — около 600 сотрудников. На государственно-патриотических позициях стоит только 6—10 человек. Существует четкая поляризация общества. С одной стороны, небольшое количество людей, понимающих, что же произошло с их родиной, с другой стороны — конформистски настроенное большинство, управляемое страхом и желтой прессой. Среди последних много вдохновенных предателей. Ситуацию можно было бы считать безнадежной, если бы не пример наших революционеров начала века. Они показали, на какие чудеса способна грамотная, четкая организация. Ведь властям про них все было известно, осведомителей в их рядах было множество, однако своего революционеры (к сожалению) добились. Этому нам нужно учиться. Мне довелось прочитать интересную бумагу "Катехизис еврея в СССР". Прочитал и позавидовал. До чего

же им просто. Всё за них кем-то продумано. Каждый их шаг опекаем. Мы же делаем многое кустарно, в одиночку. При этом мы будем обречены на неуспех, если не станем учитывать опыт врага. И в первую очередь, опыт закрытости, опыт организации. Я понимаю, что трудно вести себя закрыто в своей стране. Однако следует осознать, что в условиях оккупации русским о русском говорить нужно только с русскими. Нужно воспитывать в себе чувство самодостаточности. Мы же все время стараемся кому-то показать, какие мы умные. Я довольно внимательно слежу за патриотической прессой. Опубликовано за последнее время много. Более того, опубликовано практически все, что нужно для понимания происходящего. Тем не менее понять происходящее и произошедшее многим крайне трудно из-за обилия и фрагментарности опубликованного. Ведь мало кто сможет превратиться в книжного червя, а если и превратится, то сможет прийти к самым неожиданным выводам. Почему возникает необходимость в компактном изложении целостного взгляда? Необходимость в резюме? Иначе мы будем топтаться на месте. Я после долгих раздумий пришел к выводу, что "резюме" должно состоять из трех небольших брошюр (по 1—2 авторских листа каждая), которые следует распространять по всей стране. Малый объем сделает их удобными для прочтения и репродуцирования. Условно эти брошюры я назвал бы так: I — История поражения России, II — История жизненных сил России (история выживания), III — Катехизис русского человека (практическое наставление по повседневному бытовому и социально-политическому поведению). В первой брошюре нужно четко рассказать о том, что с нами произошло. Мы побежденная нация, а не нация дураков, сделавших неверный выбор. А это уже не безнадега. Любой народ может оказаться побежденным. Да и кто бы сумел выстоять против всего мира, имея тем более такую 5-ю колонну, как у нас? Об этом нужно сказать ясно, четко и недвусмысленно и, соответственно, сделать выводы для дальнейших действий.

Во второй брошюре следует рассказать, в чем всегда была наша сила, что помогало нам выживать, что делало нас великой державой, что дает нам право говорить: я горжусь тем, что я русский. Нужно рассказать о казаках, староверах и поморах. Особо нужно рассказать о славянофилах. Нужно объяснить, что "славянофильство" — норма, "западничество" — патология, как бы импозантно ни выглядели его представители. Нужно несколькими словами высмеять

западничество, показать его ущербность. Талантливо показать.

Третья брошюра должна содержать наставления о том, как вести себя, с тем чтобы объединяться и крепчать, несмотря на все разногласия и противоречия, с тем чтобы жить, не поддаваясь на провокации. В этой брошюре должны быть обозначены основные ценности и задачи, объединяющие всех. Должно быть сказано, как жить, не обращая внимания на обвинения в фашизме и прочем.

Брошюры эти должны быть написаны в форме утверждений, но не доказательств. Их дух — не полемика, а напор жизни. Ни в коем случае не следует делать одну книгу. Большую книгу многие не прочтут. Прочитав же одну малую книжку, прочтут и две другие. По опыту чиновничьей работы знаю, что понять (или решить) за один раз люди способны только один вопрос. Два вопроса уже нечто неразрешимое, месиво, говорильня.

Выносить на свет Божий эти писания следует после коллективного обсуждения группой экспертов. Эти писания должны быть явлением не столько литературным, сколько политическим. Писаться они должны тайно. Ибо только тайная сила — сила подлинная.

За последнее время я читал много обращений к народу. Практически все они плохи. В них очень много слов, много риторики, много понятного лишь узкому кругу лиц. Такие обращения мало чем отличаются от обычных газетных статей, желания распространять их не возникает. Предлагаемое мною резюме должно быть написано очень сильно. Распространять его в первую очередь следует среди молодежи, чтобы она входила в жизнь через ворота нашего знания, среди военных и среди работников милиции.

Ответьте мне, пожалуйста".

Далее следовали фамилия, имя и адрес, которые, по понятным причинам, я привести не могу, ибо программа, начертанная этим умным русским, еще пригодится нам в будущем.

Вместо послесловия

Отзывы читателей
на журнальную публикацию книги

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Только что закончил читать Вашу книгу воспоминаний в "Нашем современнике" (точнее, ее очередные главы в № 7). Переживаю просто бурю чувств. Ваша работа — одна из самых значительных, которые я прочитал за последние годы. Из номера в номер я все больше втягивался в чтение. Оговорюсь, поэзия меня не увлекает и не увлекала. Однако через Вашу книгу прошло осознание того, что, как я понимаю, Вы и проводите красной нитью сквозь повествование: честное, правдивое слово — главный рубеж обороны русского самосознания. Я с Вами согласен. В книге Вы это доказываете блестяще!

Увы, лишь недавно стал задумываться над отношениями между различными нациями, мировоззрениями, хотя занимался самообразованием всю жизнь. Лишь недавно я смог осмысленно сказать о себе: я русский и православный. И вот год за годом, параллельно с Вашим повествованием, я вспоминаю и свою жизнь. Мне есть чем в жизни гордиться, но сколько же приходится каяться!

Восемь лет (с учебой) я служил в войсках специального назначения ГРУ ГШ. Был в Афганистане. Есть два ордена. У нас было мощное и современное оружие, но главным оружием мы не владели. Наши души оказались беззащитны перед либеральной пропагандой. Пишу "наши" и осекаюсь. Надо говорить о себе. Да, да, мне — кадровому разведчику — не хватило прочности! Но ведь мы не знали (я говорю о своих однокашниках и по училищу, и по службе) даже таких простейших понятий, как: державность, соборность, вера и т. д.! Что-то, конечно, приходило интуитивно, какими-то

полунамеками, но, взращенные на интернационализме, "советском" патриотизме, мы не знали ни основ веры, ни русской истории... Слова теснятся, что об этом говорить. Среди тонн макулатуры, заполонившей книжные прилавки, я лишь недавно разыскал и впервые прочитал книги Митрополита Иоанна, патриотическую периодику...

Мне 36 лет. Из армии ушел сам, хотя документы лежали в академии. В Афганистане пришло понимание нашей "беспочвенности". Мы на самом деле были там "интернационалистами" (хотя в эти идеи на заключительном этапе войны, когда я там был, уже никто не верил. Просто была мужская работа). Афганцы жили в своей культуре, за это я лично их уважал. Было желание по возвращении в Россию что-то сделать для возрождения нашей культуры. "Русской", "православной" — эти слова придут позже. Идеи демократии воспринимал как возможность жить по правде. Сегодня я могу сказать, что интуитивно был православным всегда (в том смысле, что нравственный закон, общинные и государственные интересы для меня всегда были выше личного благополучия и мнения людей). Но я тогда считал это "общечеловеческими ценностями", я думал, что так живут все честные люди во всем мире. Советская пропаганда даже не научила меня, моих сверстников видеть, что есть Запад, что нам, русским, на самом деле противостоит. Наивность и открытость перед иезуитами!

За 9 лет с моей помощью вышло 4 книги по истории того места, где я вырос и живу теперь — в родном районе Тверской области. Два года на свои средства я издаю, с периодичностью один раз в два месяца, краеведческий альманах "Удомельская старина". Был инициатором множества краеведческих мероприятий. Депутат районного Совета. Почти безуспешно и в меньшинстве пытаюсь с группой коллег противостоять чиновничьему произволу. Печатаю в местной прессе статьи по "русскому вопросу". Вокруг немало людей, которые читают патриотическую прессу, немало православных, но "культура жертвы" утеряна во многом, над всем витает протестантский дух стяжательства... Впрочем, все это Вы видите и знаете не хуже меня.

Спасибо всем тем людям, кто в условиях колоссального морального давления выстоял, продолжает стоять в русской вере. Через жертву и самоотречение утверждалось христианство, через веру, жертву, самоотречение утверждается и сегодня русская национальная идея, рано или поздно пытливый ум находит дорогу из сатанинского лабиринта. Военное мужество меркнет перед мужеством духовным, я могу сказать это

абсолютно уверенно! Как и первые христиане, мы не должны считать, сколько перед нами врагов. Их все равно больше, чем друзей. Но только "верность до смерти" утвердила христианство, только "верность до смерти" позволяет рассчитывать на победу в титанической борьбе Правды и кривды. А если суждено погибнуть, то погибнуть православным и русским, не побежденным. У меня растут двое парней. Я учу их: не страшно умереть, страшно жить негодяем.

Я не сентиментальный человек. Разведчик — это мой образ жизни до сих пор: в меньшинстве против превосходящих сил, меня это не пугает. Еще раз спасибо Вам. Держитесь! Мы выстоим или умрем не побежденными.

Дмитрий Подушков,
г. Удомля Тверской области

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Начиная с января, после прочтения первого номера журнала, а потом и в феврале, и в марте, и в апреле, знакомясь с главами Вашей книги воспоминаний, я всякий раз порывался написать Вам и сказать спасибо за то, что Вы разворошили литературный гадюшник и мужественно, не устрашившись клеветы и мести, показали, кто есть кто. Необычность Вашей книги именно в том, что, перестав цацкаться с "именами", Вы показали их человеческую суть, тем самым изнутри взорвали логово литературной мафии, которая клепала и славу, и деньги, и бесчисленные свои книги, отодвигая в сторону часть более талантливых людей, но честных и скромных.

Теперь уже литературная общественность не по слухам, как прежде, а с Вашей книгой в руках может с полным правом сказать: подлец... оборотень... русофоб...

Мне вспоминается, какой ажиотаж в свое время вызвал катаевский "Алмазный мой венец", хотя имена там были полуспрятаны, а фактики излагались почти любовно. Но все это — алмазная пена. Без Вашей же книги теперь не обойдется ни один историк литературы, исследующий литературный процесс второй половины уходящего века.

Мне почему-то всегда мнилось, что Георгий Васильевич Свиридов — фигура трагическая, как всякий истинный талант в России. Я не ошибся. Вы впрямую не говорите об этом,

однако сквозь строки это явственно ощущается. Книгу бы о нем написать Вам.

Одним словом, Вы молодец. Поздравляю Вас и читателей с честной и мужественной книгой. Это — Поступок, не говоря уже о том, что она сделана крепко, совестливо, с болью о России, о литературе русской.

Вит. Сердюк,
г. Иваново

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Мир Вам.

Позвольте поделиться с Вами впечатлениями от прочтения главы из Вашей “Книги воспоминаний и размышлений” “Сучий паспорт”, посвященной Евтушенке (думается, такое склонение — норма, кстати, XIX века — тут уместно).

Отрадно, что биография Евтушенки уже при жизни получает должное освещение. Хотя все сущностные моменты были прорисованы уже у Солженицына (в “Теленке”), но те штрихи, которые Вы вносите в образ кумира советской молодежи, весьма ценны и, так сказать, “ложатся”...

Но для исторической правды, думается, надо было бы указать одно обстоятельство, у Вас, понятно, опущенное: Евтушенка был нужен советской власти. Его фронда прекрасно вписывалась в общую удушающую атмосферу 60—80-х. Советская власть его “сделала”, такие комсомольские поэтические волчата ей как раз были нужны. Конечно, и личная подлость тут тоже много значит, но всемирной популярности одной подлостью все-таки не достигнешь. Да и не подлее он был других — обыкновенный советский писатель... Западу он льстил как некий “символ”, вроде бы какой-никакой “борец”.

В XIX веке он был бы заурядным стихоплетом в каком-нибудь журнале, а вот XX век — его возвеличил. Если вдуматься, так оно и должно было быть: раз Флоренский — во рву, а Ильин — в изгнании, то, конечно, Евтушенка должен становиться властителем дум.

Печально, но приходится сказать, Станислав Юрьевич, что неприлично то, что Ваши “отношения с Евтушенко в 60-х и даже 70-х годах были вполне приличными”. Потому что для людей другого — не советского — воспитания его советчина

была неприличной с самого начала. Никаких перерождений мы в нем не видим; ну стал где-то чуть подлее — ну и что? — это ж Евтушенка. Никто из приличных людей никогда никаких иллюзий в отношении его и не питал...

Так что Маугли, Станислав Юрьевич, возрос в Вашем советском зверинце, а уж потом начал охотиться в джунглях капиталистического Запада, а кто там у вас был удавом или тигром — принципиального значения не имеет, сожрали бы любого. Так что начни выписывать сучьи паспорта, то очередь получилась бы внушительная.

В заключение позвольте Вас поблагодарить за толковое исследование о Есенине и пожелать здоровья и помощи Божией.

Обидного сказать не хотел, но высказаться почел своим долгом.

Протоиерей
Алексий Сидоренко,
г. Тобольск

* * *

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

С удовольствием читаю Ваши воспоминания. Интересно написали Вы об Анатолии Передрееве. Признаюсь, этот материал захватил мое сердце больше, чем все другие, опубликованные во втором номере "Нашего современника" за 1999 г. Честное слово, я не подыгрываю Вам. Я думаю даже, что воспоминания бьют по современному режиму куда действеннее, чем статьи. Ибо они показывают уровень духовной жизни в советское время, и он совершенно несопоставим с бедностью ее в нынешние "демократические" времена. Может, я ошибаюсь, но мне думается, что журналу нужны, вернее, не журналу, а нам, читателям, особенно молодым, рассказы и статьи о том, как по-настоящему прекрасна была советская действительность, несмотря на все негативные стороны жизни в то время. Конечно, без всякой назидательности, а так, как это делаете Вы в своих воспоминаниях.

Геннадий Кузнецов,
г. Новокузнецк

* * *

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитала главу “Русско-еврейское Бородино”. В целом я согласна со всеми Вашими высказываниями. На мой взгляд, еврейская нация в настоящее время переживает свой ренессанс, и есть все основания полагать, что сионизм поставил этот “еврейский ренессанс” на службу своим политическим целям. Русским же необходимо сполна использовать свой дар коллективизма и свое стремление к справедливости и равенству. А это русским может дать только социализм. Ставка народно-патриотических сил на религию мне представляется ошибочной. Ставка на социализм — не есть движение вспять, как все еще представляется многим, а есть лишь законное отвоевывание захваченных у нашего народа социальных позиций и подобна отвоевыванию захваченных гитлеровцами советских территорий.

О. Енишерлова,

г. Москва

* * *

Здравствуйте, дорогой Станислав Юрьевич!

Хочу Вас поблагодарить за книгу “Поэзия. Судьба. Россия”. Ваше детство, юность — как у меня, я с двенадцати лет работала в колхозе, мы еще кормили евреев из Ленинграда. Сталин сказал про них: наглые, в дверь не пускают — в форточку влезут. (Березовского я гнидой зову — Бог им судья...) В Ваших воспоминаниях мне все интересно. Какие были люди! Какое счастье, что Вы знали Рубцова! У меня один его сборник “Подорожники”; и поем мы с дочкой Любочкой (она музыкант) “В горнице моей светло...”; прекрасные стихи, почему их не печатали? Какая у него судьба тяжкая, да и у Шукшина не намного слаще...

Л. Василовских,

г. Севастополь

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я выписываю Ваш журнал 10 лет и в дальнейшем буду выписывать обязательно. Прочитываю все — от корки до корки. Нравятся многие авторы: Олег Платонов, Александр Казинцев,

Игорь Шафаревич и др. Очень люблю Вадима Кожинова, его “Загадочные страницы истории XX века”. Из современных писателей и поэтов люблю В. Белова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Личутина, Ю. Кузнецова, Н. Тряпкина, Г. Горбовского. Очень понравилось Ваше жизнеописание Сергея Есенина, а книга воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия” меня просто восхитила. Замечательно Вы рассказали о Куприне: “Хорошо он знал их племя”. Много интересного и нового узнала о Багрицком, о Межирове. Я давно уже поняла, изучая историю, что евреи везде “подставляли” русских людей, таких, например, как С. Перовская, С. Халтурин, Желябов и др. А сами всегда оставались в стороне. Замечательно Вы сказали о Межирове и Астафьеве: “Виктор Астафьев еще может опомниться и раскаяться. Александр Межиров — никогда. Он может только сменить кожу”. “Растащили Россию на псевдонимы” — это очень метко сказано.

Мы в нашем городе создали клуб “Пушкинский”, делаем доклады, иногда пишем статьи в местные газеты. Многие из нас почитатели творчества Николая Рубцова, Сергея Есенина. Собираем литературу об этих поэтах, но, к сожалению, многие издания до наших краев не доходят...

Т. Ф. Цевун (Голева),

г. Артем Приморского края

* * *

Станислав Юрьевич!

Читаю Ваше повествование о жизни Вашей и немногих друзей — тоже писателей-патриотов, увидевших врагов России, врагов Христа, сатанинских, умных, лукавых фарисеев с их планами. На сегодня они придумали самолеты недосягаемые, что бомбы бросают на людей и города Югославии. Весь ум их безумный уходит на обслуживание хитрости, подлости античеловеческой. Антигерои, они Югославию, как связанного Христа, сзади били и смеялись: “прореки, если ты Бог, кто тебя ударил!” Ваше повествование мне лично все более и более раскрывает суть христианства, приближает к тайне России.

Тут “друг еврей” с Украины зашел и, не читая Вас, говорит, что Россия “держалась”, пока ею командовали евреи. Вот так...

Борис Бернштейн,

Израиль

* * *

Станислав Юрьевич!

Читаю Вашу работу “Поэзия. Судьба. Россия”, и возникает ассоциация с 1942 годом, когда по швам трещал весь мир: “Впадая в раж, кликушествовал Гитлер. // Поганил небо шершень-“мессершмитт”, // Лапландский мох топтали монстры Дитля. // И Роммель рвался к граням пирамид”. Мы отстаивали Севастополь и готовились к обороне Сталинграда и Кавказа. А на другом “конце” земного шара, в районе Соломоновых островов, шли жестокие схватки за Гаудалканал (тогда писали Гвадалканал). 8—9 августа 1942 года у о. Саво японский адмирал Микава нанес жестокий урон силам американцев, которые потеряли сразу несколько тяжелых крейсеров. Японцы действовали исключительно напористо. Казалось, им успешно противостоять невозможно.

К октябрю 1942 года в район битв и японцы и американцы подтянули линейные силы. 12—13 ноября произошел ночной бой у о. Гаудалканал. Со стороны японцев — силы вице-адмирала Хироаки Абэ в составе линейных кораблей “Хиэй” и “Киригсима” и 15 эсминцев, от США — крейсеры “Сан-Франциско” (флаг рир-адмирала Дэна Коллэхэна), “Портлэнд”, легкий крейсер “Хэлинэ”, 2 крейсера ПВО и 8 эсминцев.

В ночном бою адмирал Коллэхэн направил свой крейсер сквозь строй японских кораблей и вступил в единоборство с линейным кораблем адмирала Абэ “Хиэй”. Это было “безумство храбрых”. Против шести 356-миллиметровых орудий японского линкора “Сан-Франциско” выставил девять калибра 203 мм. Против снарядов массой в 635 кг — снаряды по 118 кг. Тогда у нас писали: “Адмирал Каллаган прошел сквозь строй японских кораблей, поражая их своей артиллерией...” В “Хиэй” попало 85 снарядов, и днем 13 ноября он был добит авиацией и открыл кингстоны.

Ваш подвиг сродни подвигу адмирала Коллэхэна. Осветив сражения на литфронте, раскрыв роль пачкунов типа Мориц в борьбе против русских писателей, Вы показали себя истинным героем. Хвала и Слава Вам, Поэт-паладин!

П. Чаплинский,

ст. Платнировская

Краснодарского края

Содержание

Станислав Юрьевич Куняев

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ

Книга 1

Русский человек

Редактор
Г.М.Гусев

Художественный редактор
М.Г.Акколаева

Корректоры
С.А.Артамонова, С.Н.Извекова

Операторы
Е.Я.Закирова, Ю.Г.Бобкова

Подписано в печать 20.12.2000. Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 22,68 + вкл.
Тираж 3000. Заказ № 425

ННОК «Редакция журнала «Наш современник»,
103750, Москва, Цветной бульвар, 32.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ГУП «Облиздат», 248600, г.Калуга, Старый Торг, 5.



С матерью и с отцом. 1937 г.



Ровесница Пушкина
прапрабабка Ст. Куняева
Пелагея Лапшина.
1870 г., г. Петрозаводск.



Прабабка Ст. Куняева
Е. Герасимова.
1890 г., г. Петрозаводск.

Дед Ст. Куняева, калужский сапожник
Н. М. Железняков, с племянником. 1916 г.



Карамзинская больница
с. Рогожка Арзамасского уезда.
Семья земского врача
А. Н. Куняева. 1911 г.

Нижний Новгород.
Больница Красного Креста. 1913 г.
Первый справа — дед Ст. Куняева
главный врач А. Н. Куняев.
Вторая слева Н. А. Куняева, бабушка поэта.

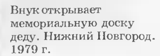
Зданіе больницы.

Въ кругу: старшій врачъ А. Н. Куняевъ, популярный хирургъ и земскій дѣятель.



Фотография из журнала "Огонек" за 1913 г.





Внук открывает мемориальную доску деду. Нижний Новгород. 1979 г.

Ст. Куняев с сестрой Натальей. Село Пыщуг. 1942 г.

Калуга. Средняя ж/д школа № 9. Восьмой класс. 1948 г.
Третий справа в верхнем ряду Ст. Куняев.



Чемпион Калуги
по плаванию. 1951 г.

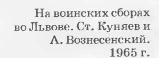
МГУ. I курс филфака. Весна 1953 г.
Первый слева в нижнем ряду Ст. Куняев.

Филологи на военных сборах.
Тверская область. Август 1956 г.
Во втором ряду второй слева Ст. Куняев.

С женой Галей.
Кавказ. 1965 г.



В гостях у пограничников.
Южные Курилы. 1963 г.



На воинских сборах
во Львове. Ст. Куняев и
А. Вознесенский.
1965 г.





На строительстве железной дороги Тайшет — Абакан. 1959 г.



Анатолий Передреев на фоне Братской ГЭС. 1959 г.

Справа налево — Ст. Куняев, А. Передреев, В. Соколов, И. Шкляревский. Тверской бульвар. 1963 г.



Справа налево — Н. Рубцов, А. Передреев, В. Дробышев. 1962 г.



В гостях у писателей Киргизии.
Б. Слуцкий и Ст. Куняев. 1965 г.

На родине Николая Рубцова.
Ст. Куняев с женой и сыном,
А. Передреев. 1985 г.

Дарственная надпись
на книге Н. Рубцова "Звезда полей".

Памятник
Николаю
Рубцову
в Тотьме.



А. Межиров и Г. Митасов. 1970 г.



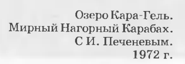
На старой дороге Николая Рубцова.
В. Кожинов, Ст. Куняев, А. Передреев.
1985 г.

Великий Устюг.
В центре В. Коротаев.
1974 г.





В калужском бору. 1970 г.



Озеро Кара-Гель.
Мирный Нагорный Карабах.
С И. Печеневым.
1972 г.



На берегах Мегры. Весна 1978 г.



С сыном Сергеем на охоте.
Беломорский Север. 1975 г.





Между арабами и евреями.
Мост короля Хусейна. 1978 г.

На вручении Есенинской премии.
Слева — В. Распутин, справа — Г. Гусев.
Рязань. 1995 г.

Ст. Куняев с сыном Сергеем
в Константиново. 1995 г.



Станислав
КУНЯЕВ

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ

